

Система экономических противоречий, или Философия нищеты. — Том 1

Пьер-Жозеф Прудон

1846

От редактора электронной версии

Представляем вашему вниманию первый и единственный перевод "Философии нищеты" на русский язык, который был издан в 2021 году. Предисловие к книге написано ее переводчиком А. А. Антоновым-Овсеенко. Несмотря на свой пухлый объем в сотню страниц, какой-то ценности оно не несет. Автор пытается "приклеить" Прудона к идеям либерализма, пространно рассуждает об СССР, критикуя Маркса и социализм. Однако, мы решили оставить его предисловие в качестве редкого образца либерального взгляда на прудоновскую философию.

Стоит предупредить, что Прудон использует методологию Гегеля "тезис-антитезис-синтез", противопоставляя антиномии друг другу и выводя из них новое знание. Поэтому не спешите делать выводы от его очередной броской фразы, возможно через несколько страниц он сам же ее и опровергнет. То, что он пишет, всегда нужно воспринимать в общем контексте.

На сегодняшний день без перевода на русский язык остаются большинство произведений Прудона, включая важнейшие для анархизма "Общая идея революции XIX века" и "О федеративном принципе". Будем стараться восполнять эти пробелы в русскоязычном сегменте анархического движения. Свои замечания, пожелания и предложения оставляйте в нашем телеграм-канале.

Приятного чтения!

Панда, Федерация анархистов

ОГЛАВЛЕНИЕ

Пьер-Жозеф Прудон. Биография

А. А. Антонов-Овсеенко. Прудон как предтеча, или Формула общественного счастья

Пролог

Глава I. ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКЕ

§ I. Противостояние *факта* и *права* в экономике обществ

§ II. Недостатки теорий и критики

Глава II. О СТОИМОСТИ

§ I. Противостояние стоимости потребления и стоимости обмена

§ II. Формирование стоимости: определение богатства

§ III. Применение закона пропорциональности стоимостей

Глава III. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭВОЛЮЦИИ. ЭПОХА ПЕРВАЯ. РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА

§ I. Антагонистические эффекты принципа разделения

§ II. Бессилие полумер. — Г-да Бланки, Шевалье, Дюнойе, Росси и Пасси

Глава IV. ЭПОХА ВТОРАЯ. МАШИНЫ

§ I. О роли машин в их отношениях со свободой

§ II. Противоречие машин. Происхождение капитала и наемного труда

§ III. Средства защиты от губительного влияния машин

Глава V. ЭПОХА ТРЕТЬЯ. КОНКУРЕНЦИЯ

§ I. Необходимость конкуренции

§ II. Подрывные эффекты конкуренции и разрушение с ее помощью свободы

§ III. Лекарства от конкуренции

Глава VI. ЭПОХА ЧЕТВЕРТАЯ. МОНОПОЛИЯ

§ I. Необходимость монополии

§ II. Катастрофы в труде и извращения идей, вызванные монополией

Глава VII. ЭПОХА ПЯТАЯ. СТРАХОВКА ИЛИ НАЛОГ

§ I. Синтетическая налоговая идея. Отправная точка и развитие этой идеи

§ II. Антиномия налога

§ III. Губительные и неотвратимые последствия налога (прожиточные, законы против роскоши, страховка сельскохозяйственная и промышленная, патенты на изобретения, торговые марки и т. д.)

Глава VIII. ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЧЕЛОВЕКА И БОГА В ВИДУ ЗАКОНА ПРОТИВОРЕЧИЯ, ИЛИ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОВИДЕНИЯ

§ I. Вина человека. Разоблачение мифа о грехопадении

§ II. Описание мифа о Провидении. Отступление Бога

Пьер-Жозеф Прудон (1809—1865 гг.). Биография

Родился 15 января 1809 г. в предместье французского Безансона в семье крестьянина, переквалифицировавшегося в рабочего пивоваренного завода. Потеряв работу, отец организовал бочарное производство, которое закрылось за недостатком средств, и семья попала в тиски нищеты. Подобные переипетии с раннего детства влияли на формирование мировоззрения Прудона, родителям которого, тем не менее, удалось отправить его, по достижении 12-летнего возраста, в Безансонский колледж. Но и здесь недостаток средств вынуждает Прудона оставить учебу и определиться на работу в местную типографию. С 1831 г. Прудон в качестве наборщика много путешествует по Франции, затем возвращается в родной Безансон, где становится соучредителем новой типографии, самостоятельно изучает греческий и иврит, издает свое первое сочинение — *Essai de grammaire générale* (Опыт всеобщей грамматики). В 1838 г. Прудон получает стипендию Безансонской академии, которую присуждали малообеспеченным молодым ученым: на средства стипендии Прудон переезжает в Париж, где погружается в изучение К. Сен-Симона, Ш. Фурье, Ж.Б. Сэя, С. Сисмонди, Т. Мальтуса. По окончании стипендии Прудон работает секретарем в суде, приказчиком торгового дома, продолжает изучать труды прошлого, ведет собственные изыскания. Прудон считает, что причина бедности заключается в противоречиях экономического строя; в качестве инструмента для разрешения этих противоречий он формулирует концепцию натурального обмена, которую реализует на практике в проекте *Banque d'échange* (Банка обмена), более известного как *Banque du peuple* (Народный банк). Стараниями Прудона количество акционеров банка превысило 12 000 человек, размер капитала достиг 36 000 франков. Однако после того, как Прудон в 1849 г. публикует в своей газете *Le Peuple* (Народ) статью *Le Président de la République est responsable* (Президент Республики ответственен) с жесткой критикой действующей власти, его приговаривают к трехлетнему заключению и штрафу, в результате чего Прудон прекращает банковские занятия. До того на волне революции 1848 г. Прудона избирают депутатом Национального собрания, где он выступает с проектом выдачи беспроцентных кредитов для народа за счет повышения налогов (проект не был принят). В 1858 г. за издание книги *De la justice dans la Révolution et dans l'Eglise* (О справедливости в революции и в церкви) его осуждают на новый трехлетний срок, но Прудон успевает эмигрировать в Бельгию, откуда после амнистии в 1863 г. возвращается на родину, в Париж, где умирает в 1865 г.

Наиболее спорной из теорий Прудона считается Теория разделения труда, в описа-

нии которой он фактически пропагандирует возврат к системе организации труда, существовавшей до начала эпохи его разделения; в описании Теории народонаселения указывает на собственность как причину нищеты; в Теории конституированной (синтетической) стоимости предлагает в процессе купли-продажи исходить не из мнения покупателя и продавца (спроса и предложения), а из заранее подсчитанных трудозатрат и времени на производство продукта. Выдвинул еще целый ряд теорий и идей; считается одним из основателей идеологии анархизма, от возможности реализации которого отрекся незадолго до смерти.

А. А. Антонов-Овсеенко. Прудон как предтеча, или Формула общественного счастья

Комментарий к 1-му тому русскоязычного перевода сочинения Пьера-Жозефа Прудона «Система экономических противоречий, или Философия нищеты»

Настоящий русскоязычный перевод «Философии нищеты» состоялся впервые после того, как в 1846 г. она была издана в Париже на родном для Прудона французском языке. С тех пор работа получила самое широкое хождение в мире: неизвестным ее содержание оставалось лишь в русскоязычном пространстве.

Но кто такой Прудон, и почему мы должны сегодня вчитываться в написанное им почти двести лет назад? Пьер-Жозеф Прудон, как об этом известно из биографии, прославился работами о собственности, формулированием теорий разделения труда, народонаселения и синтетической (социальной) стоимости, концепции натурального обмена, реализованной в получившем широкую известность Народном банке. Он также обрел популярность как публицист и издатель, считается, среди прочего, одним из основателей идеологии анархизма. Но, разумеется, одного перечисления заслуг и выдвинутых идей будет недостаточно для того, чтобы все-таки понять, для чего погружаться в чтение того, что было актуально две сотни лет назад. Однако в том-то и дело, что написанное Прудоном тогда и в особенности последовавшая со всех сторон реакция на его труды оказали прямое, непосредственное воздействие на то, что происходит теперь. Можно сколько угодно ругать мировоззрение Прудона, присущий ему специфический стиль изложения, — как этим, например, занимались в течение длительного времени Карл Маркс и Фридрих Энгельс, — но отказать ему в остающейся по сей день актуальности невозможно.

Первый шаг к наработке своего авторитета как экономиста и философа Прудон сделал в вышедшем в 1840 г. произведении «Что такое собственность?», когда ввел в широкий политический оборот определение собственности как кражи¹. «Этот неожиданный выпад произвел на французов ошеломляющее впечатление, — напишет в 1848 г. по просьбе Маркса в статье «Прудон» для *Neue Rheinische Zeitung* Фридрих Энгельс. — Правительство Луи-Филиппа, суровый Гизо, которому чуждо было чувство юмора, оказалось достаточно ограниченным, чтобы посадить

¹ Прудон П.-Ж. Что такое собственность? / Пер. Ф. Капелюша. — Лейпциг; Санкт-Петербург: Мысль, 1907. — 253 с. — С. 9.

Прудона на скамью подсудимых. Но напрасно. Можно было рассчитывать, что за такой пикантный парадокс он получит оправдание от любого французского суда. Правительство осрамилось, и Прудон стал знаменитым человеком»².

Уже тогда неординарностью взглядов и специфическим стилем изложения Прудон заставил содрогнуться не только правительство и праздно интересующую публику, но и ученый свет. Обращаясь в упомянутой брошюре к вопросу о собственности, он поначалу отвлекает читателя, задавая рассуждением на постороннюю тему — о рабстве, рассчитывая на поддержку тезиса о том, что «отымать³ у человека его мысль, его волю, его личность, значит распоряжаться над его жизнью и смертью: обращать человека в рабство, значит убивать его»⁴. Но «почему же мне не ответить и на другой вопрос: *Что такое собственность?* точно так же: *Собственность — воровство*», — продолжает свою мысль о рабстве Прудон, как бы вынуждая читателя во втором случае, как и в первом, присоединиться к своему мнению. Тем не менее далеко не все автоматически, как на это рассчитывал Прудон, согласились тогда (равно как не соглашались и теперь) с этим определением собственности. Во-первых, против подобной трактовки понятия собственности категорически возразили члены Безансонской академии — чьим стипендиатом числился и на чьи средства Прудон, как оказалось, не только издал нашумевшую брошюру, но даже осмелился посвятить ее Академии. Во втором издании брошюры Прудон опубликовал это возражение, которое содержит сообщение об удовлетворении следующих требований одного из академиков:

- 1) Чтобы Академия самым формальным образом отвергла и отказалась от произведения стипендиата имени Сюар [каковым и являлся Прудон. — А.А.А-О.], так как оно было обнародовано без согласия Академии и приписывает ей взгляды, совершенно противоположные взглядам каждого из ее членов.
- 2) Внушить стипендиату, на случай если книга эта выйдет вторым изданием, опустить посвящение.
- 3) Поместить постановление Академии на этот счет в ее печатных протоколах»⁵.

Прудона этот гнев академиков лишь подзадорил, и во втором издании брошюры он сопроводил это их протокольное заявление язвительными замечаниями, вроде характеристики самого протокола как «крикливого» и просьбы к читателям «не

² Энгельс Ф. Прудон. В книге: Маркс К. Нищета философии. Ответ на «Философию нищеты» г. Прудона. — М.: ОГИЗ; Госполитиздат, 1941. — 184 с. — С. 163.

³ Лексика по оригиналу. — А.А. А-О.

⁴ Прудон П.Ж. Что такое собственность? / Пер. Ф. Капелюша. — Лейпциг; Санкт-Петербург: Мысль, 1907. — 253 с. — С. 9.

⁵ Прудон П.-Ж. Что такое собственность? / Пер. Ф. Капелюша. — Лейпциг; Санкт-Петербург: Мысль, 1907. — 253 с. — С. 4–5.

судить об уме моих соотечественников по нашей Академии»⁶.

Даже экономист Жером-Адольф Бланки, к мнению которого Прудон апеллирует и чье письмо в свой адрес в качестве ответа на отповедь Академии он также публикует в предисловии ко второму изданию, попросил Прудона не смешивать его имя с таким категорическим суждением по поводу собственности. При этом Бланки нам важен здесь настолько, насколько довольно часто Прудон обращается к нему и в «Философии нищеты», но еще и потому, что работа Прудона «Что такое собственность?» состоит из двух частей, названных им «мемуарами», и второй мемуар посвящен собственно Бланки и назван: «Письмо к Бланки о собственности» (первый мемуар работы называется «Исследование принципа права и правительства»). «Спешу выразить Вам свою благодарность за любезно пересланный мне второй мемуар Ваш о собственности, — пишет в ответном письме к Прудону Бланки. — Я прочел его со всем интересом, естественно внушенным мне знакомством с первым мемуаром. Я очень рад, что Вы изменили несколько резкость изложения, которая придавала этому столь важному произведению аллюры и вид памфлета; ведь Вы, милостивый государь, вызвали во мне серьезные опасения, и понадобилось не более, не менее, как Ваш талант, чтобы успокоить меня относительно ваших намерений. Человек не расходует столько действительных знаний, чтобы зажечь пожар в своей стране. Этот колючий тезис: «Собственность есть воровство» в состоянии был бы оттолкнуть от Вашей книги даже серьезные умы, которые не судят по ярлычку, если бы Вы настаивали на нем в его дикой примитивности. Вы смягчили форму, но не изменили своей доктрине; и хотя Вы сделали мне честь и выставили меня соучастником Вашего грозного пророчества, я не могу принять этой солидарности, которая бесспорно почетна для моего таланта, но компрометирует меня во всем остальном»⁷.

Как ничто другое, кажется, в этом абзаце из обращения Бланки к Прудону характеризует и труды, и саму личность этого человека: Прудон был настолько провокационен по форме и смелым по содержанию для своего времени, насколько остается таким же в восприятии современников. Многие как тогда, так и в нынешние времена согласятся с Бланки в том, что «у нас слишком часто злоупотребляют всякого рода собственностью [речь о Франции первой половины XIX в., но не относится ли то же самое по-прежнему и к любой другой стране в первой половине XXI в.? — А.А. А-О.]. Но из злоупотреблений я не заключаю о необходимости (ее) полной отмены — героическое средство, очень подобное смерти, которая тоже избавляет от всех болезней. Я пойду еще дальше: скажу Вам, что злоупотребления собственностью кажутся мне самыми недостойными злоупотреблениями; но, повторяю, можно найти средства против них, не прибегая к нарушению, а тем паче к уничтожению собственности. Если наши законы плохо регулируют пользование собственностью, то

⁶ Там же, с. 5.

⁷ Прудон П.-Ж. Что такое собственность? / Пер. Ф. Капелюша. — Лейпциг; Санкт-Петербург: Мысль, 1907. — 253 с. — С. 5.

можно ведь их переделать. Наше гражданское уложение не Коран; мы не преминули доказать это. Итак, измените законы, но избегайте анафем»⁸.

Несмотря на очевидно скандальный — исходя из приведенного выше, характер авторитета, которым начал пользоваться Прудон после выхода сочинения «Что такое собственность?», и даже невзирая на то, что само определение собственности как воровства он позаимствовал у одного из деятелей Великой французской революции Жака-Пьера Бриссо⁹, широким распространением этого определения человечество обязано именно Прудону. Кроме того, представляется несомненным, что это определение заставило тогда и заставляет по сей день задуматься и серьезных экономистов и философов, и всех, кто так или иначе сознательно участвует в созидании мира, над вопросом о том, что такое, в самом деле, собственность — откуда она берется, и насколько справедливо, что то или это принадлежит тому или этому, а не наоборот. Жгучести вопросу придает и тот факт, что **со времен Прудона введенное им в оборот определение собственности никто из экономистов так и не отважился всерьез оспорить**; все они, относившие ли себя к сторонникам рыночных отношений, или плановой экономики, с самого начала и по сей день просто делают вид, что подобного определения — о собственности как краже не существует, или что оно не соответствует действительности.

Включая, между прочим, Маркса и Энгельса, которые, фактически одобряя и разделяя такую позицию в отношении собственности, озаботились, тем не менее, подготовкой расширенных возражений Прудону — правда, не по поводу его труда о собственности, а именно по поводу «Философии нищеты», которую мы здесь и имеем честь представлять. И это чрезвычайно веская причина для того, чтобы пристально изучить написанное Прудоном почти двести лет назад: дело в том, что именно Прудон в своей «Философии нищеты» напрямую спровоцировал то, что в скором времени после ее издания напишут в своем знаменитом «Манифесте коммунистической партии» Маркс и Энгельс о бродящем по Европе призраке коммунизма; «Философии нищеты» Маркс обязан и своим «Капиталом». Далее мы это продемонстрируем на примерах, а пока подтвердить сказанное поможет нижеследующая цитата из предисловия Энгельса к произведению Маркса под названием «Нищета философии. Ответ на «Философию нищеты г. Прудона»»: «Настоящее произведение было написано зимою 1846—1848 гг., когда Маркс окончательно выработал основные принципы своих новых исторических и экономических воззрений. Незадолго до того появившаяся «*Systeme des Contradictions économiques ou Philosophie de la misère*» Прудона дала ему повод развить эти основные прин-

⁸ Там же. С. 5—6.

⁹ Бриссо дал это определение в самом названии своего сочинения, написанного в год Великой французской революции — 1789 г., *La propriete c'est le vol*, фр. — Собственность это воровство (кража). Это становится известным, в частности, из текста письма Маркса редактору берлинского *Social-Demokrat* И.Б. Швейцеру, направленному для публикации по случаю смерти Прудона. — См.: Маркс К. Нищета философии. Ответ на «Философию нищеты» г. Прудона. О Прудоне (Письмо К. Маркса Швейцеру). — М.: ОГИЗ; Госполитиздат, 1941. — 184 с. — С. 169.

ципы и противопоставить их взглядам человека, которому предстояло занять с этого времени самое видное место среди французских социалистов той эпохи. С того времени, когда оба они в Париже часто проводили целые ночи в спорах по экономическим вопросам, пути их расходились все больше и больше»¹⁰. И как бы ни старался Энгельс обратить внимание читателя на расхождения во взглядах Прудона и Маркса, которые в дальнейшем он охарактеризовал как «пропасть», очевидно одно: Прудон, как это ясно из слов Энгельса, оказал непосредственное воздействие на формирование теории Маркса.

Теоретические выкладки Прудона оказали также мощное воздействие и на формирование государственных идеологий и практик последующих эпох. Достаточно упомянуть, что в Конституции СССР от 1936 г., а затем и в ее редакции от 1977 г. был с почетом зафиксирован главный принцип социализма, который хотя и так же, как в случае с Бриссо, был сформулирован ранее Сен-Симоном, но широкое распространение получил именно с подачи Прудона: «От каждого — по способностям, каждому — по труду». Другое дело, что принципу этому так и не суждено было до конца осуществиться на практике: о причинах этого и о том, как именно Прудон сформулировал его в своей «Философии нищеты», мы также в подробностях расскажем далее.

Кроме того, мы исходили из необходимости исправить историческую несправедливость, отмеченную в начале нашего комментария и допущенную в отношении трудов Прудона в русскоязычном пространстве: от момента, когда «Философия нищеты» впервые увидела свет в 1846 г. прошло около 180 лет, и все это время труд Прудона оставался не переведенным на русский язык. Теперь же мы с гордостью объявляем, что эта несправедливость исправлена.

Однако в чем именно заключалась эта несправедливость, — спросите вы, — только ли в том, что труд Прудона так долго не переводили на русский? Мало ли заслуживающих уважения произведений прошлого не переведены до сих пор... Нет, не в этом заключалась несправедливость, точнее, не только в этом. А в том, что упомянутая рецензия Маркса на этот труд под названием «Нищета философии, или Ответ на книгу г. Прудона» не только была с давних пор переведена и неоднократно издавалась на русском — в отличие от труда, по поводу которого была написана, — но и в том, что критикой его содержания были заняты целые поколения русскоязычных «исследователей», которых ничуть не смущал тот факт, что их знакомство с «Философией нищеты» происходило исключительно со слов Маркса, опосредованно, путем простого переложения того, что с самого начала говорили о Прудоне Маркс и Энгельс, а затем и их видные последователи, в частности Ленин. «Еще Маркс, разоблачая “социализм” Прудона, доказал своей сокрушительной критикой прудонистских идей, что в теоретическом отношении Прудон не возвы-

¹⁰ Маркс К. Нищета философии. Ответ на «Философию нищеты» г. Прудона — М.: ОГИЗ; Госполитиздат, 1941. — 184 с. — С. 5.

шался над уровнем буржуазного горизонта. Подобно буржуазным экономистам и идеологам, Прудон принимал товарное производство и обмен товаров за вечные и неизменные основы общества... Критикуя частную собственность как “кражу”, Прудон относил эту критику лишь к капиталистической крупной собственности... всячески отстаивал... мелкую частную собственность, воспевая ее как основу экономического прогресса», — напишет в 1955 г. известный советский историк Н.Е. Застенкер и продолжит цитатой из Ленина: «Не уничтожить капитализм и его основу — товарное производство, а *очистить* эту основу от злоупотреблений, от наростов и т.п.; не уничтожить обмен и меновую стоимость, а, наоборот, “конституировать” ее, сделать ее всеобщей, абсолютной, “справедливой”, лишенной колебаний, кризисов, злоупотреблений, — вот идея Прудона»¹¹, которая несмотря на налет утопичности не может не показаться привлекательной человеку в здравом рассудке — в противовес откровенно пугающему требованию Ленина «уничтожить товарное производство». Исключительность происшедшего с «Философией нищеты» Прудона заключается также и в том, что рецензия Маркса на труд Прудона была написана — вы не поверите! — по просьбе самого Прудона, который до ее публикации находился с Марксом по крайней мере в приятельских отношениях, но именно после ее публикации эти отношения разладились. Это подтверждает Энгельс в своем предисловии к ответу Маркса на труд Прудона, цитату из которого мы выше привели. В этом предисловии Энгельс в развитие своей мысли о расхождении во взглядах Маркса и Прудона также отмечает: «Сочинение Прудона доказало, что теперь уже между ними лежит непроходимая пропасть, игнорировать которую тогда стало невозможно, и Маркс в этом своем ответе констатировал окончательный разрыв»¹².

Такую динамику своих отношений с Прудоном — от дружеских к их полному разрыву после публикации ответа на «Философию нищеты» — подтверждает в 1865 г. и Маркс в своем письме редактору берлинского *Social-Demokrat* И.Б. Швейцеру, составленному по случаю смерти Прудона, в котором Маркс, в частности, сообщает: «Во время моего пребывания в Париже в 1844 г. у меня завязались личные отношения с Прудоном. Я потому упоминаю здесь об этом, что и на мне до известной степени лежит доля вины в его “*sophistication*”, как называют англичане фальсификацию товаров. Во время долгих споров, часто продолжавшихся всю ночь до утра, я заразил его, к большому вреду для него, гегельянством, которого он, однако, при незнании немецкого языка не мог как следует изучить. То, что я начал, продолжал после моей высылки из Парижа г-н *Карл Грюн*. В качестве преподавателя немецкой философии он имел передо мною еще то преимущество, что сам ничего в ней не понимал. Незадолго до появления своего второго крупного произведения — “*Философия нищеты и т. д.*” — Прудон сам известил меня о нем в очень подробном письме, в котором, между прочим, имеются следующие слова: “*J’attends votre férule critique*”

¹¹ Застенкер Н.Е. Об оценке Прудона и прудонизма в «Коммунистическом манифесте» — в сб. Из истории социально-политических идей. — М.: Изд-во АН СССР, 1955. — 752 с. — С. 491—492.

¹² Маркс К. Нищета философии. Ответ на «Философию нищеты» г. Прудона. — М.: ОГИЗ; Госполитиздат, 1941. — 184 с. — С. 5.

(Жду вашей строгой критики). Действительно, эта критика вскоре обрушилась на него (в моей книге *“Нищета философии и т. д.”*, Париж, 1847) в такой форме, что навсегда положила конец нашей дружбе»¹³.

Теперь же мы гордимся тем, что имеем возможность, после вложенных усилий, предоставить судить о том, насколько Маркс был прав или не прав в своей оценке труда Прудона, самому читателю — а не только Марксу. При том, что автор перевода оставляет такое же, как у Маркса, право критики Прудона как за любым из читателей, так и за самим собой — и в том, что касается смыслов сказанного, а также стиля и особенностей лексики. И если говорить о специфике языка Прудона (далее мы к этой теме еще вернемся), то даже Маркс посчитал необходимым отметить его неоспоримые достоинства, хотя и сделал это не в отношении «Философии нищеты», а по адресу предшествующего сочинения о собственности. «В этом произведении Прудона, — комментирует Маркс работу «Что такое собственность?», — преобладает еще сильная мускулатура стиля. И стиль этот я считаю главным его достоинством. Видно, что даже там, где Прудон только воспроизводит старое, для него это самостоятельное открытие; то, что он говорит, для него самого было ново и расценивается им как новое. Вызывающая дерзость, с которой он посягает на “святая святых” политической экономии, остроумные парадоксы, с помощью которых он высмеивает пошлый буржуазный рассудок, уничтожающая критика, едкая ирония, проглядывающее тут и там глубокое и искреннее чувство возмущения мерзостью существующего, революционная убежденность — всеми этими качествами книга *“Что такое собственность?”* электризовала читателей и при первом своем появлении на свет произвела сильное впечатление»¹⁴.

При этом упомянутая Марксом «мускулатура стиля», присущая сочинению о собственности, в значительной степени сохранилась и в «Философии нищеты» (мы это покажем в дальнейшем): странно, что Маркс этого не заметил. Сам ответ Маркса на «Философию нищеты» Прудона был опубликован впервые в 1847 г. — в грозовой атмосфере предстоявшей революции 1848 г., и с тех пор бережно перепубликовывался социалистами разных стран с настойчивостью, заслуживающей лучшего применения. Поэтому нам нет нужды пересказывать здесь его содержание — так же, как ранее не было необходимости пересказывать содержание работы «Что такое собственность?». Достаточно сказать, что объемная критика Марксом Прудона в этом ответе была уничтожающей и даже уничижающей, как, впрочем, это было принято в то время и во все времена, предшествовавшие социальным потрясениям в Европе и в России начала XX в. (см. хотя бы на стилистику В.И. Ленина по адресу противников, которых он сам себе выбирал): две главы с восемью параграфами посвятил Маркс поэтапно, как ему представляется, разгрому

¹³ Маркс К. Нищета философии. Ответ на «Философию нищеты» г. Прудона. О Прудоне (Письмо К. Маркса Швейцеру). — М.: ОГИЗ; Госполитиздат, 1941. — 184 с. — С. 169.

¹⁴ Маркс К. Нищета философии. Ответ на «Философию нищеты» г. Прудона. О Прудоне (Письмо К. Маркса Швейцеру). — М.: ОГИЗ; Госполитиздат, 1941. — 184 с. — С. 168.

положений Прудона. «К несчастью г-на Прудона его странным образом не понимают в Европе. Во Франции за ним признают право быть плохим экономистом, потому что там он слывет за хорошего немецкого философа. В Германии за ним, напротив, признается право быть плохим философом, потому что там он слывет за одного из сильнейших французских экономистов. Принадлежа одновременно к числу и немцев и экономистов, мы намерены протестовать против этой двойной ошибки»¹⁵, — начинает с откровенных издевок в адрес Прудона это свое произведение Маркс (не отказывая и себе самому в использовании «мускулатуры стиля»), а оканчивает цитатой откровенно угрожающего характера из Жорж Санд: «Битва или смерть; кровавая борьба или небытие. Такова неумолимая постановка вопроса»¹⁶.

Тем не менее главным, что следует отметить в отношении Маркса к Прудону в целом (а не только в отношении его отдельных сочинений), это то значение, которое он придавал роли Прудона в истории европейского социализма. «Его первое произведение “*Qu'est-ce que la Propriété?*” является безусловно самым лучшим его произведением, — сообщает Маркс в упомянутом письме редактору берлинской газеты *Social-Demokrat* И.Б. Швейцеру. — Оно составило эпоху если не новизной своего содержания, то хотя бы новой и дерзкой манерой говорить старое. В произведениях известных ему французских социалистов и коммунистов “*собственность*”, разумеется, не только была подвергнута разносторонней критике, но и утопически “*упразднена*”. Этой книгой Прудон стал приблизительно в такое же отношение к Сен-Симону и Фурье, в каком стоял Фейербах к Гегелю. По сравнению с Гегелем Фейербах крайне беден. Однако *после* Гегеля он сделал эпоху, так как выдвинул *на первый план* некоторые неприятные христианскому сознанию и важные для успехов критики пункты, которые Гегель оставил в мистическом *clair-obscur* [полумраке]»¹⁷. Так же и Прудон, согласимся в этом с Марксом, вывел на свет и обострил вопрос о собственности и многое другое из того, что оставили в предшествующем «полумраке» его предшественники.

* * *

А теперь перейдем к недостаткам этого сочинения Прудона, обнаруженным как с учетом критики Маркса, так и самостоятельно (для достоинств время и место найдется далее). Так, ранее мы обещали вернуться к вопросу о присущем Прудону специфическом характере изложения — к отмеченной Марксом «мускулатуре стиля». Действительно, в том, что касается «Философии нищеты», с которой мы

¹⁵ Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения, тт. 1—39. Издание второе. — М.: Издательство политической литературы, 1955—1974 гг. — Т. 4. — 615 с. — С. 69.

¹⁶ Там же — С. 185.

¹⁷ Маркс К. Нищета философии. Ответ на «Философию нищеты» г. Прудона. О Прудоне (Письмо К. Маркса Швейцеру). — М.: ОГИЗ; Госполитиздат, 1941. — 184 с. — С. 167—168.

здесь имеем дело, в этой книге Прудон местами так явно пытается опутать читателя длиннотами синонимических рядов, увлечь его красотами стиля, что подчас у него это превращается в самоцель. Чего стоит один только пример с растянувшейся на две страницы первого тома¹⁸ фразой, в которой Прудон нещадно громит социалиста Луи Блана, перечисляя противоречия его экономических воззрений в сопровождении собственных язвительных комментариев. Прудон начинает эту фразу с противоречия, будто бы заключенного в самом названии книги Луи Блана «Организация труда», а заканчивает облеченным в самый едкий сарказм предложением остановиться «на седьмом (противоречии), потому что иначе мы бы не закончили и на семьдесят седьмом»¹⁹.

Филологу, кроме того, наверняка покажется сомнительным пристрастие Прудона к использованию силлепса — синтаксического оформления семантически неоднородных элементов в виде ряда однородных членов предложения. Некоторые авторы используют этот прием умышленно, с юмором, чтобы повеселить читателя; для демонстрации силлепса существуют даже специальные выражения, вроде имеющего широкое хождение в русском языке про «шел дождь и два студента». Именно такие «дождь» со «студентом» идут у Прудона в ходе его разъяснений тезисов Жан-Жака Руссо о недостатках общественного устройства, когда он говорит, что «Руссо... лишь в общей и безапелляционной манере заявил о том, что социалисты повторяют *в деталях и в каждый момент прогресса*, — знать, что общественный порядок несовершенен, и что чего-то в нем всегда не хватает»²⁰.

Прудон сваливает в кучу, перечисляя одно за другим в качестве синонимов, неоднородные понятия, чтобы, может быть, в очередной раз поразить читателя богатством лексики, но на самом деле приводит его в замешательство, — как в случае с объяснением последствий действия монополии, одним из которых, среди прочего, стала, согласно Прудону, «в политическом порядке классификация человечества на *семьи, племена, города, нации, государства*»²¹: племена и нации здесь составляющие этнические, к политическим же скорее относятся понятия семей, городов и государств.

Таким же образом Прудон смешивает понятия, когда рассматривает в параграфе о налогах происходящее, с точки зрения распределения, «в четырех больших разделе-

¹⁸ Proudhon P.J. *Système des contradictions économiques, ou Philosophie de la misère*. En 2 tt. T. I. Deuxième édition. — Paris, Garnier Frères. — 1850. — 400 p. — P. 270—271.

¹⁹ Proudhon P.J. T. I. — P. 271.

²⁰ Proudhon P.J. T. I. — P. 346.

²¹ Proudhon P.J. T. I. — P. 245.

ниях коллективного труда, добычи, производства, торговли, сельского хозяйства»²²: здесь Прудон путает отрасли производства, такие как сельское хозяйство, с этапами производства, такими как добыча, и с самим производством.

Сомнительным выглядит использование Прудоном силлепса и там, где он приступает к доказательству отсутствия во вселенной высшего разума, или, как многие его привыкли называть, Бога. «Некоторые упорядоченные сами в себе сущности, такие как кристаллы, растения, планетная система, которые в ощущениях, которые они заставляют нас испытывать, не вызывают у нас, подобно животным, чувство ради чувства, кажутся нам совершенно лишенными сознания»²³, — заявляет Прудон, но, кажется, за исключением того, что кристаллы, растения и планетная система действительно лишены сознания, во всем остальном между ними нет ничего общего, и помещать их в ряду однородных членов предложения, как это делает Прудон, вряд ли целесообразно. За что следует хвалить Прудона в этом случае, так это за утверждение о том, что «оснований располагать разум в центре мира существует не больше, чем предполагать его на кончике спички; и может случиться так, что если разум, сознание, где-то и существует, то только в человеке»²⁴.

Однако вскоре Прудон нарушит это хорошее впечатление очередным применением силлепса, когда заявит о своем допущении, «что идея Бога является прообразом и основой принципа власти и произвола, который в нашей задаче — уничтожить или, по крайней мере, подчинить везде, где бы он ни проявлялся — в науке, в работе, в городе»²⁵.

В рассуждениях Прудона, к сожалению, можно обнаружить и содержательных противоречий не менее, нежели у тех экономистов и политических деятелей, на чьи воззрения он яростно нападает. Так, серьезные подозрения в противоречивости вызывают его рассуждения о товарах с вложенным трудом. «Любой продукт является репрезентативным признаком труда. / Любой товар можно, следовательно, обменять на другой, и повсеместная практика это доказывает, — сообщает Прудон.— Но исключите труд: у вас останутся только более или менее крупные утилиты, которые, не будучи носителями ни какого-либо экономического характера, ни какого-либо человеческого признака, несоизмеримы друг с другом, то есть, логически, не способны к обмену»²⁶, — продолжает он и тут, кажется, впадает в заблуждение, потому что, как мы знаем, товарный обмен существовал уже в эпоху собирательства, и в нем участвовали исключительно «изделия» самой природы, труд человека в них

²² Proudhon P.J. T. I. — P. 276.

²⁵ Proudhon P.J. T. I. — P. 357.

²⁴ Proudhon P.J. T. I. — P. 357.

²⁵ Proudhon P.J. T. I. — P. 389.

²⁶ Proudhon P.J. T. I. — P. 94.

отсутствовал, за исключением таких трудозатрат, которые требовались на поиск утилитов — товаров, произведенных природой. В другом месте Прудон в полемике вопрошает: «Почему экономисты не распространяют изо всех сил эту простую и яркую истину: труд каждого человека может обрести только ту стоимость, которую он содержит, и эта стоимость пропорциональна услугам всех других работников; если, как им кажется, работа каждого должна оставить излишек?»²⁷. Здесь кажется оспоримым то, что «стоимость пропорциональна услугам всех других работников», — поскольку совсем не обязательно, что все работают с одинаковой, равной отдачей, даже если обязательно, что любая работа оставляет излишек, и что труд человека имеет только ту стоимость, которую он содержит в себе.

Случается, что Прудон допускает и вовсе роковые ошибки, тем более трагические, чем более рьяно он настаивает на истинности этих положений. Так, если в одном месте Прудон поначалу старательно обосновывает положительные эффекты от повсеместного внедрения машинного производства, в другом месте он еще более тщательно доказывает обратное, объявляя технический прогресс виновником бедственного положения пролетариата. «Шарлатаны, которые предлагали эксплуатировать железные дороги, громко шумели о важности локомотива для циркуляции идей... Как будто идеям, чтобы распространяться, нужны паровозы! Но кто же тогда мешает идеям течь из Института на окраины Сент-Антуана и Сен-Марсо, по узким и убогим улочкам Сите и Марэ, повсюду, наконец, где обитает это множество, еще более лишенное идей, чем хлеба? Откуда взялось убеждение, что между парижанином и парижанином, невзирая на *омнибусы* и местную почту, расстояние сегодня втрое больше, чем в четырнадцатом веке?»²⁸, — яростно вопрошает Прудон, как будто не желая замечать того очевидного для жителей больших городов в середине XIX в. факта, что именно локомотивы, увеличившие скорость доставки почтовых отправок — прессы и переписки, в том числе научного характера, — резко увеличили интенсивность обмена информацией и фактически ускорили прогресс. Невзирая на это и явно находящийся под впечатлением лозунгов движения луддитов, восставших против внедрения машин в ткацкое производство в Англии в первой четверти XIX в., Прудон продолжает угрюмо обвинять:

«Подрывное влияние машин на социальную экономику и положение трудящихся осуществляется в тысячах способов, которые все взаимосвязаны и одинаково называются: увольнение, сокращение зарплат, перепроизводство, затоваривание, порча продукции, банкротства, выдавливание рабочих из их класса, вырождение вида и, наконец, болезни и смерть»²⁹.

Таким же, как в случае с применением паровозных локомотивов, ретроградом

²⁷ Proudhon P.J. T. I. — P. 105.

²⁸ Proudhon P.J. T. I. — P. 169.

²⁹ Proudhon P.J. T. I. — P. 170.

выглядит Прудон и в своих рассуждениях о предназначении торговой марки (бренда). «Принцип закона, который должен применяться к товарным маркам, — говорит г-н Ренуар, — то, что эти марки не могут и не должны превращаться в гарантии качества», — цитирует Прудон одного из современных ему экономистов и тут же вступает в полемику с ним: «Если принять принцип г-на Ренуара: для чего тогда будут использоваться марки? Что для меня важно прочесть на бутылочной пробке, вместо *вина в двенадцать* или *вина в пятнадцать*, «Компания Энофиль», или другое, какое угодно производство? Меня волнует не имя продавца, а качество и справедливая цена товара»³⁰. Но история промышленности и торговли показывает, что имя производителя товара, его торговая марка или тождественны высокому качеству, и, следовательно, именно имя продавца играет главную роль при покупке товара потребителем — вопреки отношению к этому Прудона; или, если качество товара оставляет желать лучшего, марка производителя служит аргументом для предъявления ему претензий — как фактически этого требует экономист Ренуар.

Приводят в замешательство и нападки Прудона по адресу налога на роскошь, в особенности его аргументация в пользу того, что распространению роскоши нужно всемерно способствовать, в том числе и прежде всего в рабочей среде (!). «Рабочий потеет, лишает себя и ужимает себя, чтобы купить украшение для своей невесты, ожерелье для своей маленькой дочери, часы для своего сына: и вы отнимаете у него это счастье, если он не платит ваш налог, то есть ваш штраф!»³¹ — возмущается Прудон, и в этом месте его переживания могут у кого-нибудь вызвать настоящее умиление. Но его последующая досада по поводу излишнего, будто бы, налогообложения представителей состоятельных классов, наверняка вызовет совсем другие чувства: «Мелкий буржуа тратит 600 франков на горничной, прачке, белошвейке, коммивояжерах; и если исходя из экономии, которая всех устраивает, он возьмет прислугу, то налоговый в интересах средств к существованию накажет эту мысль о сбережении!»³².

В другом месте Прудон атакует, что есть мочи, преимущества рыночных отношений, когда заявляет, что «если Франция в течение двадцати пяти лет не ощущала общего дефицита», то «причина заключается не в свободе торговли, которая очень хорошо умеет, когда она этого хочет, производить полноту пустоты и при наличии изобилия заставить царствовать голод: это связано с улучшением путей сообщения (доставки), которые, сокращая расстояния, вскоре возвращают равновесие в момент, вызванный локальной нехваткой»³³. Но ведь совершенствование средств транспорта,

³⁰ Proudhon P.J. T. I. — P. 324.

³¹ Proudhon P.J. T. I. — P. 304.

³² Proudhon P.J. T. I.— P. 305.

³³ Proudhon P.J. T. I. — P. 329.

обеспечившее, в свою очередь, ускорение доставки товаров, возникло именно под воздействием свободных рыночных отношений — в этом Прудон в очередной раз противоречит не столько себе самому, сколько законам развития экономики...

* * *

Противоречий подобных тем, которые мы привели выше, обильно вуалируемых стилистическими красотами, у Прудона обнаруживается, к сожалению, более, чем хотелось бы даже его самым рьяным противникам, первым из которых, — по причинам, о которых мы выскажемся далее, был Карл Маркс. Но если говорить о достоинствах, то оценке *способностей Прудона предвидеть* то, какие формы примет развитие общественных отношений в экономике в будущем, тогда — в середине XIX в., никто, разумеется, не уделял должного внимания, и сейчас для этого настало самое время. Вот пример. В полемике с противниками конкуренции Прудон еще в середине XIX в. фактически обрисовал то, что будет происходить в далеком будущем с экономикой любого стремящегося к достижению коммунистического равноправия государства: «Конкуренция необходима для создания стоимости, то есть для самого принципа распределения и, следовательно, для достижения равенства. Конечно, я стараюсь не отрицать, что труд и заработная плата могут и должны быть гарантированы; у меня даже есть надежда, что эра этой гарантии не далека: но... прикажите, чтобы с 1 января 1847 года работа и заработная плата были гарантированы всем: немедленно громадная остановка заменит кипучую деятельность промышленности; фактическая стоимость быстро упадет ниже номинальной; металлические деньги, невзирая на их изображение и печать, подвергнут испытаниям ассигнации; продавец запросит большее, чтобы поставить меньшее; и мы окажемся в нижнем кругу нищенского ада, в котором конкуренция находится лишь на третьем месте»³⁴.

Конечно, сторонники экономики распределения (ставим знак равенства с противниками конкуренции) немедленно возразят на это, что никакая «остановка» не постигала промышленность коммунистической империи под названием СССР во все время его существования, более того — в 30-е гг. XX в. страна, наоборот, совершила модернизационный рывок. Да, — на это немедленно возразим и мы, — но пресловутый «рывок» был совершен, во-первых, с самым широким привлечением иностранных специалистов, то есть с использованием так называемых буржуазных методов организации производства, и, во-вторых, в атмосфере смертельного страха, спровоцированного массовыми репрессиями, от которых погибали как обычные рабочие и крестьяне, прежде всего зажиточные, так и отечественный инженерный состав, в котором остро нуждалась промышленность. Например, такой типичной

³⁴ Proudhon P.J. T. I. — P. 194–195.

«стройкой века», как знаменитый Днепрогэс, сооружавшийся в течение 1927—1932 гг., руководил квинтет американских специалистов во главе с инженером Хью Купером, гидротурбины производства компании General Electric поставлялись также из США, большинство прочего оборудования — из Германии... Значительная часть таких строек совершалась в буквальном смысле с использованием рабского труда заключенных сети концентрационных лагерей, входивших в систему печально известного ГУЛАГа (Главное Управление ЛагереЙ). А такой сравнимый по масштабу с Днепрогэсом объект, как Беломорско-Балтийский канал, был полностью сооружен заключенными БелБалтЛага, погибавшими прямо на месте строительства от истощения и невыносимых условий работы. Громадную часть научных достижений советские ученые и инженеры совершали также, будучи заключенными, в конторах-«шарашках» системы ГУЛАГа. При этом подавляющая часть погибавших на возведении коммунистических «пирамид» советских рабов-заключенных были ни в чем не виновны. То есть экономика СССР полагалась на такую же формулу взаимоотношений в обществе, какая бытовала в Древнем Египте: на самом верху советской пирамиды располагался с комфортом фараон и его ближайшее окружение, в самом низу, под управлением армии чиновников, — огромное количество рабской, или во всяком случае дешевой, практически дармовой рабочей силы.

Что характерно: вне ГУЛАГа советский уклад жизни и организация производства базировались на трех «китах» социалиста Луи Блана, сформулированных почти за сто лет до начала строительства Днепрогэса, Беломорско-Балтийского канала и других строек коммунизма: «Система г-на Блана может быть обобщена в трех пунктах, — вступил в письменную схватку с социалистическим прожектом переустройства мира Прудон, — 1. Создать из власти большую инициативную силу, то есть, говоря по-французски, сделать произвольное всеисильным, чтобы реализовать утопию. / 2. Создать и спонсировать за государственный счет народные цеха. / 3. Истребить частную промышленность под давлением конкуренции с национальной (государственной) промышленностью. / И это все»³⁵. И нельзя оставить незамеченным то, что первым в спор с социалистическим прожектерством вступил именно Прудон.

Как показала История, экономика СССР, в которой государство гарантировало зарплаты, но оказалось не в состоянии обеспечить соответствующую производительность труда и качество производимой продукции, в конечном итоге обнаружила себя в том самом, упоминаемом Прудоном кругу «нищенского ада», когда средства от продажи нефти, газа и других природных ресурсов были израсходованы на вооружения и гонку в космосе, а отечественная промышленность и сельское хозяйство задохнулись в бесплодных попытках обеспечить потребности населения: повсеместный дефицит провоцировал контрабанду промтоваров, создание системы спецснабжения для узкой прослойки номенклатуры, а недостачу хлеба руководители этой колченогой экономики компенсировали ежегодными закупками пшеницы в США и Канаде. Политически СССР прекратил существование в 1991 г. именно

³⁵ Proudhon P.J. T. I. — P. 227.

вследствие происшедшего до того распада его экономики, а не по какой-либо другой причине. И именно Прудон фактически предсказал этот конец, хотя, разумеется, даже не мог предполагать возникновения на территории бывшей царской империи новой империи советского образца, в границах которой последователи Луи Блана предпримут заранее обреченную на провал попытку насильственного обобществления производства.

...Но мы, кажется, в запале собственной полемики со сторонниками различных социалистических идей запамятовали о текущей задаче, состоящей в восхвалении провидческих способностей Прудона. Между тем совершенно небезосновательными оказались его предчувствия в отношении предстоявших вскоре же после второго издания «Философии нищеты» (1850 г.) перемен во Франции. «Напрасно приверженцы власти, все эти доктринальные династико-республиканцы³⁶, которые отличаются друг от друга только тактикой, льстят себе утверждением в привнесении повсюду реформ», — напишет Прудон в адрес приверженцев Наполеона III — Шарля Луи Наполеона Бонапарта (племянника Наполеона I), занимавшего в 1848—1852 гг. пост первого президента Второй Французской республики. Прудон предчувствовал, что союз между представителем имперской династии и республиканцами лишь временный, что этот союз наполнен противоречиями и обязательно будет нарушен. «С тех пор, как мудрость князя объединилась с голосом народа, какое откровение было провозглашено? какой принцип порядка был открыт? Какой выход из лабиринта привилегий отмечен? — транслирует эти противоречия Прудон. — До того, как князь и народ подписали этот странный компромисс, чем их идеи не походили друг на друга? и с тех пор, как каждый из них пытается нарушить договор, так чем же они отличаются друг от друга?»³⁷. Договор нарушил именно «князь», то есть Наполеон III, провозгласивший себя, по примеру пращура, императором в 1852 г.: Прудон как в воду глядел.

Ценен для нас и *Прудон-летописец* — в тех многочисленных частях своего труда, где он рассказывает о своих мироощущениях от происходящего вокруг — в палатах ли французского парламента, в деловом или культурном сообществах. Прудон старательно отражает как самые мелкие, так и местами кардинальные изменения в развитии общественных отношений в Европе и Франции в середине XIX в., пусть даже подчас он оценивает эти изменения негативно. Так, например, Прудон совершенно не оценил преимуществ закона об авторских правах, идея которого родилась в головах французских парламентариев в начале 40-х гг. XIX в., заявив буквально: «Четыре года назад в палатах родилась странная идея — создать закон о литературной собственности! как будто значение идеи не стремилось стать всем, а

³⁶ Proudhon P.J. T. I. — P. 335.

³⁷ Proudhon P.J. T. I. — P. 336.

стиль — ничем»³⁸.

«Театр лишь изредка привлекает деловых людей и ученых; и в то время как ценители удивляются упадку искусства, философ-наблюдатель видит в нем только прогресс в духе мужественного разума, более раздраженный, чем восхищенный этими сложными безделушками»³⁹, — напишет далее Прудон и тем самым запечатлеет исторический момент, в котором деловые и научные круги Франции пренебрегали театром; но как же в будущем поменяется отношение к великому искусству сцены в мировом бизнес-сообществе!

То же самое, что с идеей закона об авторских правах, происходит у Прудона с идеей Бланки об участии рабочих во владении производством. «В своей вступительной речи за 1845-й год г-н Бланки объявил в качестве средства спасения объединение труда и капитала, участие рабочего в прибыли, то есть начало промышленной солидарности... — сообщает Прудон и далее буквально ерничает над тем, с кем — как мы это показали в начале комментария, — состоял ранее в уважительной переписке: «Я не знаю, какие средства предлагает использовать г-н Бланки для реализации своей отважной мысли; будь то создание национальных цехов, или государственное спонсорство, или экспроприация предпринимателей и их замена компаниями рабочих, или, наконец, если он просто порекомендует работникам сберегательную кассу, и в этом случае участие может быть отложено до греческих календ»⁴⁰. То есть, употребляя это античное выражение («Ad Calendas Graecas», лат.), означающее, что обсуждаемое событие произойдет неизвестно когда или вообще никогда, Прудон выражает сомнение в возможности практической реализации идеи Бланки. «Стоит ли экспроприировать предпринимателей и играть общественным достоянием, чтобы воздвигать конструкции тем более хрупкие, что собственность окажется раздробленной на бесконечно малые акции и не будет более поддерживаться прибылью, у компаний кончится балласт, и они больше не будут застрахованы от бурь?»⁴¹ — патетически восклицает далее Прудон.

Такие же сомнения в идее Бланки выражали и последователи Маркса, такие, как Ленин в России, но европейское будущее продемонстрировало массу примеров устойчивости схемы соучастия работников в прибылях предприятия, предложенной Бланки, уже в XIX в., а затем в еще большей степени в XX и XXI вв. Более того, именно собственность предприятий, будучи «раздробленной» на большое количество акций, торгующихся на бирже, начала приносить в будущем прибыли их многочисленным владельцам, даже и находящимся в разных частях света. Выходит, что именно

³⁸ Proudhon P.J. T. I. — P. 124.

³⁹ Proudhon P.J. T. I. — P. 124.

⁴⁰ Proudhon P.J. T. I. — P. 126.

⁴¹ Proudhon P.J. T. I. — P. 127.

Бланки был прав, а Прудон, Маркс и Ленин, — которые каждый на свой манер или мягко намекали на необходимость принятия других мер, или прямо требовали революции для одномоментного разрешения всех противоречий между трудом и капиталом, — оказались неправы. Но и в этом случае, как и в случае с идеей закона об авторских правах, откровения Прудона ценны для нас старательной фиксацией подробностей полемики экономистов в середине XIX в., исповедовавших разнонаправленные и подчас прямо противостоявшие друг другу теории и практики.

Прудон способен также *приятно удивить филологов* (в той же степени, в какой он до тех пор их серьезно огорчал), специализирующихся на специфических особенностях языка, возникающих в качестве реакции на исторические этапы развития общественных отношений, технологического, научного и культурного прогресса. «Язык девятнадцатого века состоит из фактов и цифр, и это наиболее примечательно для нас, которые, используя наименьшее количество слов, могут выразить большинство вещей. Тот, кто не знает, как говорить на этом языке, немилосердно низведен к риторам; о нем говорят, что у него нет идей», — напишет Прудон, который сам, впрочем, совсем не страдает сухостью изложения, и продолжит: «В зарождающемся обществе прогресс языка обязательно предшествует философскому и индустриальному прогрессу и долгое время служит обоим. Но наступает день, когда мысль выходит за рамки языка, или, как следствие, превосходство, сохраняемое в литературе, становится для общества явным признаком упадка»⁴².

Язык самого Прудона, которым он пользуется в «Философии нищеты» (выполняем данное выше обещание вернуться к этой теме), также заслуживает отдельного изучения — и потому, что преимущества «мускулатуры стиля» даже его главный критик Карл Маркс считал достоинством труда «Что такое собственность?», и невзирая на стилистические излишества, которыми Прудон так щедро украсил свой текст.

Стоило бы посвятить отдельную диссертацию исследованию того, как Прудон использует *сарказм* — а делает он это превосходно, чего стоит один только его выпад против тех, кто считает экономическую науку способной разрешить все противоречия между трудом и капиталом уже к середине XIX в.: «Но, господа, с искренним сожалением и глубоким недоверием к себе я вынужден попросить вас дать несколько разъяснений. Если вы не можете исправить наши пороки, предоставить нам по крайней мере внятные тексты, предоставить нам ясность, подайте в отставку»⁴³, — высказывается в адрес самонадеянных экономистов Прудон. Сарказм звучит и в личных выпадах Прудона, таких, как выпад против экономиста Дюнойе, на заказную (от государства) активность которого он издевательски указывает, говоря, что «все знают, что г-н Дюнойе, непреклонный в отношении теоретических принципов в

⁴² Proudhon P.J. T. I. — P. 124.

⁴³ Proudhon P.J. T. I. — P. 213.

своих трудах, очень любезен в практике в Государственном совете»⁴⁴. Впрочем, социалистам достается от Прудона в не меньшей степени; «правительство... выберет *моральных* работников и даст им *хорошие* зарплаты», — цитирует социалиста Луи Блана Прудон, критикуя таким образом размытость применяемых им характеристик «светлого» будущего. — Поэтому г-ну Блану нужны люди, сделанные нарочно: он не льстит себе, что учитывает все виды темпераментов. Что касается зарплат, г-н Блан обещает, что они будут *хорошими*; это проще, чем определить измерение»⁴⁵.

Местами Прудон возвращает к жизни чувствования французской народной массы, выразившиеся в коротких *mots* и поговорках, наподобие той, что относится к следам длительного исторического противостояния Франции с Пруссией. В одном из мест своей «Философии нищеты» Прудон небезосновательно оспаривает предположение социалистов о желании рабочего с большей производительностью делиться зарплатой с теми, кто производит меньше, и, как говорят в народе, «работать на прусского короля» (*produire, comme dit le peuple, pour le roi de Prusse*⁴⁶).

Латинизмы Прудона, начиная от имеющих до сих пор широкое хождение — таких, как *ipso facto* (в силу факта), *alter ego* (другое я), *Auri sacra fames!* (Священная жажда золота!), *Dominus dedit, Dominus abstulit, sit nomen Domini benedictum* (Бог дал, Бог взял, да будет имя Господа благословенно), до менее употребляемых и более редких, вроде *Nihil est in intellectu, quod prius non fuerit in sensu* (Нет ничего в сознании, чего бы не было раньше в ощущении), — также могут стать объектом отдельного филологического исследования на предмет отображения с их помощью авторских установок.

Более того, заканчивая здесь рассуждения об особенностях языка Прудона, следует отметить, что и содержательные противоречия его «Философии нищеты» — такие, как в оценках эффекта от внедрения машинного производства (положительных поначалу, резко отрицательных затем), следует скорее отнести к желанию автора блеснуть перед читателем глубиной погружения в тему, поразить его действительно существующими или мнимыми противоречиями человеческого бытия, и обезоружив его таким образом, оставив в растерянности перед блеском стилистических красот, заставить склониться в итоге к тем или иным авторским выводам и установкам.

⁴⁴ Proudhon P.J. T. I. — P. 218.

⁴⁵ Proudhon P.J. T. I. — P. 230.

⁴⁶ Proudhon P.J. T. I. — P. 242.

* * *

...Возвращаясь к оценке Прудона Марксом, отметим, что даже не отмеченные выше недостатки «Философии нищеты» (их примеры мы привели объективности ради), служили основными причинами раздражения Маркса; не потому марксисты в целом и их последователи, в том числе Ленин в России, считали Прудона мелкобуржуазным социалистом. Их раздражало в нем совсем иное — его очевидная предрасположенность к преимуществам свободного рынка, несмотря на парадокс, заключающийся в том, что Прудон изначально заработал известность знаком равенства между собственностью и кражей. Тем не менее в «Философии нищеты» Прудон с самого начала прямо противопоставляет озабоченному состоянием неимущих классов социализму такой рыночный механизм, как ростовщичество, говоря, что «очевидность и всеобщая благосклонность оказались на стороне ростовщиков; они выиграли битву против социализма, и огромные, неоспоримые выгоды для общества этого инструмента начали служить основой легитимации ростовщичества»⁴⁷. Ясно, что Маркс и марксисты презирали ростовщичество как финансовый инструмент, наносящий вред благосостоянию трудящихся масс, и, следовательно, переносили это свое презрение на Прудона.

Маркса наверняка раздражали у Прудона и такие его утверждения, как то, что «не существует, что касается противоречия, присущего понятию стоимости, ни причины, ни возможного объяснения»⁴⁸. «Стоимость уменьшается по мере увеличения производства, а производитель может прийти к бедности, постоянно обогащаясь»⁴⁹, — говорит чуть ранее Прудон, довольно убедительно иллюстрируя это примером, в котором крестьянин, собравший двадцать мешков пшеницы, считает себя вдвое богаче, чем если бы он собрал только десять мешков; но если урожай пшеницы будет удвоен по всей стране, то двадцать мешков можно будет продать с меньшей стоимостью, чем десять, если урожай будет вполтину меньше.

В другом месте предрасположенность Прудона к рыночным отношениям проявляется в ходе его полемики с Леоном Фошэ, который настаивает на обязательности государственных компенсаций как деклассированным промышленникам, утратившим производство по причинам конкуренции, так и рабочим, потерявшим работу в результате внедрения инноваций или затухания одних отраслей промышленности и расцвета других. «Насколько мы считаем химерическими доктрины, которые представляют правительство как универсального поставщика работы в обществе, — цитирует Леона Фошэ Прудон, — настолько же нам кажется справедливым и необходимым, чтобы любое перемещение рабочей силы, производимое во имя

⁴⁷ Proudhon P.J. T. I. — P. 51.

⁴⁸ Proudhon P.J. T. I. — P. 71.

⁴⁹ Proudhon P.J. T. I. — P. 69.

общественной пользы, было только средством компенсации или переходом, и что ни отдельные лица, ни классы не приносятся в жертву государству. У власти в хорошо организованных странах всегда есть время и деньги для смягчения таких ограниченных бедствий. И именно потому, что развитие промышленности исходит не от власти, потому что она рождается и развивается от свободного и индивидуального побуждения граждан, поэтому правительство обязано, когда оно нарушает свой курс, предложить им вид возмещения или компенсации»⁵⁰. Но «промышленный прогресс и, следовательно, работа по деклассификации и реклассификации в обществе являются непрерывными, это не особый переход, который следует найти в случае внедрения какой-либо инновации, но на самом деле общий принцип, органический закон перехода, применимый ко всем возможным случаям и производящий эффект сам по себе, — атакует в ответ Прудон. — Сспособен ли господин Леон Фоше сформулировать этот закон и примирить различные антагонизмы, которые мы описали? Нет, так как он предпочитает останавливаться на идее компенсации. У власти, говорит он, *в хорошо организованных странах всегда есть время и деньги, чтобы смягчить такие ограниченные бедствия*. Прошу прощения у отважных намерений г-на Фоше, но они кажутся мне совершенно неосуществимыми. / У власти есть время и деньги только на то, что она изымает у налогоплательщиков. Компенсация пониженным налогом деклассифицированных промышленников означала бы остракизм новых изобретений и внедрение коммунизма с помощью штыков, а не решение проблемы... Компенсация, применяемая в соответствии с мнением г-на Фоше, либо приведет к промышленному деспотизму, к чему-то вроде правительства Мехмета-Али, либо выльется в налог на бедных, то есть в бесполезную пародию»⁵¹.

Разумеется, в глазах всех марксистов и самих основоположников этого течения такое очевидное предпочтение рыночных отношений, отрицание необходимости государства вмешиваться в эти отношения, такое явное противление зарождающемуся коммунизму выглядело настолько же буржуазным и враждебным, насколько сложно было противопоставить аргументации этой «буржуазной враждебности» что-то убедительное (Маркс, однако, как мы это увидим далее, нашелся, что противопоставить Прудону).

Отдельные же высказывания Прудона вообще могут вызвать подозрения в его сугубой приверженности рыночным отношениям и в отрицании им необходимости учета интересов трудящихся классов. «Со способностью изменять пропорциональность налога правительство имеет в своем распоряжении быстрое и надежное средство лишать по своему усмотрению капитала его владельцев, — сообщает Прудон в разделе, посвященном критике прогрессивного налога, — и это страшно: видеть повсюду этот великий институт, основу общества, объект стольких противоречий, стольких законов, такой лести и стольких преступлений, — СОВ-

⁵⁰ Proudhon P.J. T. I. — P. 184.

⁵¹ Proudhon P.J. T. I. — P. 184—185.

СТВЕННОСТЬ, подвешенную на кончике нити над зияющей пастью пролетариата»⁵². Но в каждом из таких случаев, как мы это покажем далее, подобные подозрения будут беспочвенными: Прудон, образно говоря, сознательно накаляет страсти, вызывая возмущение категоричностью своих высказываний, — чтобы впоследствии приступить фактически к опровержению самого себя, — таковы используемые им нестандартные приемы.

В иных местах своего повествования Прудон, кроме всего, допускает и прямо оскорбительные эпитеты в адрес социализма, пусть и предваряя их некоторыми реверансами: «В чем я обвиняю социализм, хотя и появившийся небеспричинно; так это в том, что он остается так долго и так упрямо глупым»⁵³. В других местах он не скупится на обобщения и обвинения социализма в клевете на общественное устройство. «Социализм... — говорит Прудон, — утверждает и доказывает, что этот порядок легкомыслен, противоречив, неэффективен; он порождает угнетение, нищету и преступление: он обвиняет (если не сказать клеветает) на все прошлое общественной жизни и всеми силами подталкивает к переделу нравов и институтов»⁵⁴. Или, как заявляет Прудон в полемике с социалистом Луи Бланом, также направляя стрелы сарказма по адресу его трудов: «Я отдаю должное отважным намерениям г-на Блана; я люблю и читаю его произведения и особенно благодарю его за оказанную услугу, состоящую в разоблачении в его “Истории десяти лет” неизлечимой несостоятельности его партии»⁵⁵.

Ярость марксистов и самого Маркса, кроме того, наверняка вызывали и такие пассажи Прудона, в которых он без должного осуждения относится к самым жестким (и жестоким) действиям власти по подавлению протестов рабочих, отстаивавших свои права в неравной борьбе с монополиями. К высказыванию на сей счет Прудон подбирается издали, в очевидном стремлении застраховаться от обвинений в бесповоротном способствовании капиталистическим порядкам. Прудон заводит речь о волнениях шахтеров в Рив-де-Жие в 1844 г., защищавших свои зарплаты от урезания со стороны владельцев угледобычи. Образование монополии в угольном бассейне Луары, кроме того, спровоцировало повышение цен на топливо. Но Прудон в ходе анализа ситуации шаг за шагом выстраивает линию защиты власти, утверждая, что в своем поведении она следовала «принципу свободной конкуренции» и не имела возможности восстановить конкуренцию и предотвратить монополию, поскольку «право коалиции по закону идентично праву ассоциации; монополия — основа нашего общества, как конкуренция — его завоевание; и при условии отсутствия беспорядков власть отпустит ситуацию на самотек и будет наблюдать

⁵² Proudhon P.J. T. I. — P. 298.

⁵³ Proudhon P.J. T. I. — P. 76.

⁵⁴ Proudhon P.J. T. I. — P. 42.

⁵⁵ Proudhon P.J. T. I. — P. 226.

за происходящим. Как она может вести себя по-другому? Может ли она запретить законно образованную торговую компанию? Может ли она заставить соседствующих операторов уничтожить друг друга? Может ли она запретить им сократить расходы? Может ли она установить максимум? Если бы власть сделала только одну из этих вещей, она бы отменила установленный порядок. Таким образом, власть не может выступать с какой-либо инициативой: она создана для защиты и содействия одновременно как монополии, так и конкуренции с учетом патентов, лицензий, взносов за землю и других сервитутов, которые она установила в отношении собственности». «Когда шахтер, которого мы должны рассматривать в событиях в Рив-де-Жие как истинного представителя общества лицом к лицу с владельцами угледобычи, решил сопротивляться росту монополистов, отстаивая свою зарплату, и противопоставить коалиции коалиции, власть расстреляла шахтера⁵⁶, — продолжает отстаивать интересы государства в противостоянии рабочих и капитала Прудон. — А политические громилы обвиняют власть, предвзятую, по их словам, жестокою, продающуюся монополию и т. д. Что касается меня, я заявляю, что этот способ оценки действий власти кажется мне не очень философским, и что я отвергаю его изо всех сил»⁵⁷.

Разумеется, эта вычлененная из контекста рассуждений Прудона цитата лишь на поверхностный взгляд может характеризовать его как беспартийного защитника интересов капитала и даже, более того, сторонника подавления протестов с помощью оружия: на самом деле он с помощью той самой, отмеченной Марксом «мускулатуры стиля» старается завлечь читателя в закоулки своей философии — с тем, чтобы в дальнейшем, не сразу, ошарашить его выводами противоположного характера. Прудон, таким образом, намеренно эпатирует читателя, или, — как подобную линию поведения принято называть в эпоху интернета, — занимается троллингом.

«Фокус» Прудона заключается в том, что с критикой социализма и коммунизма он выступает с не меньшим энтузиазмом, нежели он это делает в отношении капитала. «Я готов признать положительные эффекты механизма собственности; но я замечаю, что эти эффекты полностью компенсируются теми несчастьями, которые порождает этот механизм, — говорит Прудон. — Как ранее признавался в английском парламенте один известный министр, и, как мы вскоре продемонстрируем, в современном обществе прогресс нищеты параллелен и адекватен прогрессу богатства, что полностью сводит на нет достоинства политической экономии»⁵⁸. «Ошибка социализма до сих пор заключалась в том, чтобы увековечивать религиозные мечтания, отправляясь в фантастическое будущее, вместо того, чтобы постигать реальность, которая его сокрушает, — заявляет в другом месте Прудон, — так же,

⁵⁶ Выделено мной. — А.А. А-О.

⁵⁷ Proudhon P.J. T. I. — P. 314—315.

⁵⁸ Proudhon P.J. T. I. — P. 64.

как вина экономистов состоит в том, что в каждом свершившемся факте они видят запрет на любую гипотезу изменений»⁵⁹.

В другом месте — в разделе о разрушительных эффектах конкуренции (преимущества которой воспеваются в предшествующем разделе) — Прудон рассказывает печальные истории ремесленников и крестьян Тосканы, одни из которых производили соломенные шляпы, другие выращивали шелкопряда и хранили секреты окрашивания ткани, использовавшиеся в процессе производства черных шелковых простыней. Умения первых были использованы для налаживания промышленного производства, секреты вторых похитил французский фабрикант, изображавший из себя любопытствующего туриста, и также поставил на службу промышленности. «А теперь спросите себя, потеряют ли свои рабочие места эти заводчики шелкопряда, эти производители черных простыней и шляп? — едко интересуется Прудон. — Именно: им докажут, что это в их интересах, поскольку они смогут покупать одни и те же продукты с меньшими затратами, чем когда они сами их производят. Вот что такое конкуренция... Конкуренция с ее убийственным инстинктом отбирает хлеб у целого класса работников и видит в этом только улучшение, экономику: — она подло ворует секрет и аплодирует этому как открытию; — она меняет местные зоны производства в ущерб целому народу и заявляет, что ничего не делает, кроме использования преимуществ своего климата. Конкуренция нарушает все представления о справедливости и правосудии; она увеличивает реальные издержки производства за счет ненужного приумножения используемого капитала, провоцирует поочередно повышение и спад цен на продукты, развращает общественное сознание, подменяя своей игрой закон, поддерживает повсюду разбой и недоверие»⁶⁰. Правда, тут же оговаривается Прудон (дабы, не дай бог, не прослыть противником рыночных отношений), «без этого ужасного характера конкуренция потеряла бы свои самые лучшие результаты; без произвола в обмене и тревог рынка труд не сможет сделать так, чтобы одна фабрика опережала другую, и, если не поддерживать напряжения, производство не совершит ни одного из своих чудес»⁶¹.

В итоге Прудон, оставаясь насколько социалистом, настолько же приверженцем рыночных отношений, а также одновременно противником того и другого, направляет огонь и желчь своего красноречия сразу в обе стороны.

«Теория Мальтуса, и в этом большая заслуга этого писателя, заслуга, которую никто из его коллег не учитывал, заключается в сведении к абсурду всей политической экономии, — сообщает в одной из частей «Философии нищеты» Прудон. — Что же касается социализма, то Платон и Томас Мор уже давно охарактеризовали его одним

⁵⁹ Proudhon P.J. T. I. — P. 111—112.

⁶⁰ Proudhon P.J. T. I. — P. 207.

⁶¹ Proudhon P.J. T. I. — P. 207.

словом: УТОПИЯ, то есть отсутствие, химера»⁶².

«В социализме нет ничего такого, чего не было бы в политической экономии, и этот вечный плагиат является бесповоротным осуждением обоих»⁶³, — заявляет он в другой части.

Прудон не упускает возможности направить свою критику и в адрес такого заметного в XIX в. общественного института, как церковь. «Богословы называли *вождеделение* или *алчный аппетит* страстью чувственных вещей, следствием, по их мнению, первородного греха», — начинает издали атаку на церковь Прудон, но тут же и обрушивается на нее всей силой, указывая на отнюдь не во всем подобающую роль этого общественного института в общественных же отношениях: «Меня сейчас мало волнует, что такое первородный грех; замечу только, что алчный аппетит богословов есть не что иное, как эта *потребность в роскоши*, о которой сообщала Академия гуманитарных⁶⁴ наук как о доминирующем мотиве наших времен»⁶⁵.

И такая — критическая одновременно в разных направлениях позиция Прудона вызывала, разумеется, шквал критики со всех сторон, при том, что из всех многочисленных ответов на его нападки наиболее известной в веках так и осталась едкая рецензия Маркса (с просьбой о написании которой, напомним, Прудон сам же к нему и обратился). Тем более, что и коммунизм, вслед за социализмом, Прудон не оставил своим вниманием, говоря, что «никто не имеет права навязывать свои товары другим: единственным судьей полезности или, что то же самое, необходимости, является покупатель. Итак, в первом случае вы являетесь арбитром соответствия; во втором — я. Уберите взаимную свободу, и обмен перестанет служить проявлением промышленной солидарности: это будет грабежом. Коммунизм, кстати, никогда не преодолеет эту трудность»⁶⁶.

Прудон, кроме всего, присоединяется к еще одному упомянутому выше врагу марксизма (каковым его, без сомнения, считали сами марксисты) — к Бланки, который в изъятых Прудоном из контекста фразам отрицает возможность организации труда. На самом деле Бланки, наоборот, настаивает на такой возможности

⁶² Proudhon P.J. T. I. — P. 60. Выделение шрифтами по оригиналу. — А.А.А-О.

⁶³ Proudhon P.J. T. I. — P. 272. (Курсив — Прудона.)

⁶⁴ Дословный перевод с французского слова *moraies* (в названии Академии) — моральных, нравственных (второе значение — духовных). Предпочтем выйти за рамки дословного перевода и применить к Академии наук термин гуманитарных. Кроме того, из упоминаний Прудона Академии не ясно, какую именно Академию он имеет в виду. Но следует предположить, что речь идет о Безансонской академии, стипендиатом которой Прудон был некоторое время с 1838 г. — А.А. А-О.

⁶⁵ Proudhon P.J. T. I. — P. 354.

⁶⁶ Proudhon P.J. T. I. — P. 72.

— через организацию совместного, между работниками и хозяевами, владения производством, через его акционирование. Но Прудон находит место, в котором Бланки призывает «уважать добрые и верные намерения», но одновременно — не бояться «сказать, что издать книгу об организации труда⁶⁷ — это в пятидесятый раз повторить трактат о возведении в квадрат круга или о философском камне»⁶⁸.

* * *

Разумеется, к таким выпадам Маркс, претендовавший на высокое место в иерархии европейского коммунизма, не мог оставаться равнодушным: выход в свет «Философии нищеты» он воспринял как нападение. Ответным шагом послужила та самая, написанная по просьбе самого Прудона «Нищета философии» Маркса, в предисловии к которой он откровенно заявляет, что был занят в этой работе не столько противостоянием с Прудоном и его «Философией нищеты», сколько оттачиванием собственных философских и политэкономических установок. «Читатель поймет, почему, выполняя этот неблагодарный труд, мы часто должны были отвлекаться от критики г-на Прудона, чтобы приниматься за критику немецкой философии и одновременно делать некоторые замечания по политической экономии»⁶⁹, — напишет в предисловии к «Нищете философии» Маркс. Однако и этого Марксу показалось мало, особенно с учетом нарастающей на его глазах популярности «Философии нищеты», и вскоре он привлекает Энгельса сначала для совместного написания знаменитого «Манифеста», а затем для финансирования «Капитала». Так труд Прудона послужил катализатором для формулирования и последующих многочисленных переизданий постулатов Маркса, направленных на то, чтобы составить конкуренцию «Философии нищеты», в самом тексте которой обнаруживаются места, ставшие отправными точками для тех или иных положений в работах Маркса и Энгельса. Так, в главе «Манифеста» о буржуа и пролетариях Маркс и Энгельс развивают (хотя, разумеется, недословно) тезис Прудона о разрушительном влиянии машин и разделения труда, говоря, что в результате этого влияния «труд пролетариев утратил всякий самостоятельный характер, а вместе с тем и всякую привлекательность для рабочего»⁷⁰. Можно согласиться с тем, что с началом машинной эпохи рабочий становится «простым придатком машины, от него требуются только самые простые, самые однообразные, легче всего усваиваемые приемы» и что «массы рабочих, скупенные

⁶⁷ Выделение по оригиналу.

⁶⁸ Proudhon P.J. Т. I. — P. 128.

⁶⁹ Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения, тт. 1—39. Издание второе. — М.: Издательство политической литературы, 1955—1974 гг. — Т. 4. — 615 с. — С. 69.

⁷⁰ Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения, тт. 1—39. Издание второе. — М.: Издательство политической литературы, 1955—1974 гг. — Т. 4. — 615 с. — С. 430.

на фабрике, организуются по-солдатски. Как рядовые промышленной армии, они ставятся под надзор целой иерархии унтер-офицеров и офицеров»⁷¹ и т. п. Но нельзя отрицать и того, что машинное производство и разделение труда, против чего яростно выступал Прудон, и ему вторили Маркс и Энгельс, в конечном итоге способствовали общему прогрессу человечества: неправы в этом случае оказались все трое, но хронологически первым — Прудон.

В дальнейшем, в главе «Пролетарии и коммунисты», в тексте «Манифеста» также слышится отзвук работы Прудона, предшествовавшей «Философии нищеты», — там, где Маркс и Энгельс от имени всех коммунистов выражают намерение «выразить свою теорию одним положением: уничтожение частной собственности»⁷².

В параграфе же «Манифеста» о «буржуазном, или консервативном социализме» Маркс и Энгельс переходят к прямой атаке на Прудона, когда говорят, что к этому виду социализма следует отнести «экономистов, филантропов, поборников гуманности, радетелей о благе трудящихся классов, организаторов благотворительности, членов обществ покровительства животным, основателей обществ трезвости, мелкотравчатых реформаторов самых разнообразных видов», сообщают, однако, что «этот буржуазный социализм разрабатывался даже в целые системы» и предлагают в качестве примера именно «Философию нищеты»⁷³. Здесь во фразе о том, что «самое подходящее для себя выражение буржуазный социализм находит только тогда, когда превращается в простой ораторский оборот речи» слышится отзвук упомянутой Марксом ранее «мускулатуры стиля» Прудона⁷⁴.

«Свободная торговля! в интересах рабочего класса; покровительственные пошлины! в интересах рабочего класса; одиночные тюрьмы! в интересах рабочего класса — вот последнее, единственно сказанное всерьез, слово буржуазного социализма», — продолжают разгром Прудона авторы «Манифеста». — Социализм буржуазии заключается как раз в утверждении, что буржуа являются буржуа, — в интересах рабочего класса»⁷⁵. Но именно с тем, что капиталист или, как это привычнее звучит в стилистике Маркса и Энгельса, — буржуа, создающий новые производства и объединяющий в них массы рабочих, действует в конечном итоге в интересах

⁷¹ Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения, тт. 1—39. Издание второе. — М.: Издательство политической литературы, 1955—1974 гг. — Т. 4. — 615 с. — С. 431.

⁷² Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения, тт. 1—39. Издание второе. — М.: Издательство политической литературы, 1955—1974 гг. — Т. 4. — 615 с. — С. 438.

⁷³ Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения, тт. 1—39. Издание второе. — М.: Издательство политической литературы, 1955—1974 гг. — Т. 4 — 615 с. — С. 453—454.

⁷⁴ Маркс К. Нищета философии. Ответ на «Философию нищеты» г. Прудона. О Прудоне (Письмо К. Маркса Швейцери). — М.: ОГИЗ; Госполитиздат, 1941. — 184 с. — С. 169.

⁷⁵ Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения, тт. 1—39. Издание второе. — М.: Издательство политической литературы, 1955—1974 гг. — Т. 4. — 615 с. — С. 454.

пролетариата, следует согласиться с Прудоном.

Знаменитая «революционность» пролетариата, на которую указали в «Манифесте» Маркс и Энгельс (а затем пытались использовать по всему миру их последователи, в том числе Ленин в России), также взята ими напрямую из Прудона. «Как можно не замечать, что эти идеи противоречивы, и что если пролетариат сможет достичь определенной степени развития, он сначала использует ее, чтобы революционизировать общество и изменить все гражданские и промышленные отношения?»⁷⁶ — патетически вопрошает в ходе полемики со сторонниками разделения труда и машинного производства Прудон и далее прямо пророчествует: «Рабочий класс в Париже и в больших городах наполнен этими идеями уже лет двадцать пять; тогда скажите мне, что этот класс не является решительно, энергически революционным! И он будет становиться таким все более и более по мере того, как он обретает идеи справедливости и порядка, особенно когда он осознает механизм собственности»⁷⁷. Эта и подобные фразы Прудона как раз и трансформировались затем в намерение коммунистов, в лице Маркса и Энгельса, «перед всем миром открыто изложить свои взгляды, свои цели, свои стремления и сказкам о призрак коммунизма противопоставить манифест самой партии»⁷⁸, а затем в окончании этого манифеста — в прямую угрозу для мирового капитала, исходившую от тех самых революционных качеств пролетариата, на которые до того указал Прудон: «Коммунисты считают презренным делом скрывать свои взгляды и намерения. Они открыто заявляют, что их цели могут быть достигнуты лишь путем насильственного ниспровержения всего существующего общественного строя. Пусть господствующие классы содрогаются перед Коммунистической Революцией. Пролетариям нечего в ней терять кроме своих цепей. Приобретут же они весь мир. / Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»⁷⁹.

«Манифест» вторит Прудону не только в том, что касается содержания в целом и в отдельных подпунктах, — он в значительной степени повторяет его и по форме. Как Прудон в своей «Философии нищеты» спорит одновременно со сторонниками рыночных отношений и коммунизма, попутно нападая на тех, кто пытается разрешить противоречия между трудом и капиталом с помощью религии (мы говорили об этом выше), так же и Маркс с Энгельсом в своем «Манифесте», в главе о социалистической и коммунистической литературе, атакуют одновременно «феодалный социализм», «мелкобуржуазный социализм» (здесь они фактически полемизируют с Прудоном, не называя его имени), затем «немецкий, или “истин-

⁷⁶ Proudhon P.J. Т. I. — P. 181.

⁷⁷ Proudhon P.J. Т. I. — P. 181.

⁷⁸ Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения, тт. 1—39. Издание второе. — М.: Издательство политической литературы, 1955—1974 гг. — Т. 4. — 615 с. — С. 423.

⁷⁹ Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения, тт. 1—39. Издание второе. — М.: Издательство политической литературы, 1955—1974 гг. — Т. 4. — 615 с. — С. 459.

ный” социализм», «консервативный, или буржуазный социализм» (здесь авторы «Манифеста» уже обращаются персонально к Прудону) и, наконец, оканчивают атаку разбором противостояния «критически-утопического социализма и коммунизма»⁸⁰.

Причем лексика и стилистика, которую используют Маркс и Энгельс в «Манифесте», также во многом походит на то, как излагает свои мысли Прудон: сарказм точно так же соседствует здесь с издевками и прямыми оскорблениями по адресу всех противников, которых им только удалось заметить на поле сражения. «Известно, что на манускриптах, содержащих классические произведения языческой древности, монахи поверх текста писали нелепые жизнеописания католических святых. Немецкие литераторы поступили с нечестивой французской литературой как раз наоборот. Под французский оригинал они вписали свою философскую чепуху, — напишут в подпункте «с» «Манифеста» о «немецком, или “истинном” социализме» Маркс и Энгельс. — Например, под французскую критику денежных отношений они вписали “отчуждение человеческой сущности”, под французскую критику буржуазного государства — “упразднение господства Абстрактно-Всеобщего” и т. д.»⁸¹.

Нет сомнений, что цель такого приема, состоящего в организации нападения одновременно в нескольких направлениях, — как в случае Прудона, так и Маркса с Энгельсом, — состоит в том, чтобы представить лишь свое мировоззрение в качестве единственно верного в оценке путей и средств разрешения общественных противоречий. Но и в этом, по форме и стилистике изложения, Прудон, как видим, оказался предтечей.

Очевидные совпадения с тем у Прудона, как он сам видел и оценивал происходящее, вызывали у Маркса такое жгучее раздражение, что в 1846 г. — непосредственно в год выхода «Философии нищеты» — он в письме русскому историку литературы Павлу Анненкову написал: «Признаюсь откровенно, что в общем я нахожу эту книгу плохой — и очень плохой. Вы сами шутите в своем письме по поводу “уголка немецкой философии”, которым г. Прудон щеголяет в этой бесформенной и претенциозной работе, но Вы полагаете, что его экономические построения не были отравлены ядом философии. Я также далек от того, чтобы приписывать погрешности экономических построений г. Прудона его философии. Г-н Прудон дает нам ложную критику политической экономии не потому, что он является обладателем смехотворной философии, — он преподносит нам смехотворную философию потому, что совершенно не понял современного общественного строя в его сцеплениях [dans son engrenement], употребляя термин, который г. Прудон

⁸⁰ В кавычках находятся оригинальные названия подпунктов одного из параграфов «Манифеста». — А.А. А-О.

⁸¹ Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения, тт. 1—39. Издание второе. — М.: Издательство политической литературы, 1955—1974 гг. — Т. 4. — 615 с. — С. 451.

заимствует у Фурье, как заимствует у него многое другое»⁸².

Через год, в 1847 г. Маркс, не оставляя намерений разрушить теоретические построения Прудона, продолжает начавшуюся схватку выходом «Нищеты философии», а всего через два года выпускает в паре с Энгельсом пресловутый «Манифест», который стал не просто ответом на вызов Прудона, но и местами, как мы это показали, фактически продолжением его «Философии нищеты».

Нужно ли повторять после этого, что и «Капитал» Маркса стал прямым продолжением того, что начали Маркс и Энгельс в своем «Манифесте» — то есть развернутым ответом Прудону? Первое издание «Капитала» под заглавием «К критике политической экономии» состоялось в 1859 г. И издававшийся вплоть до начала XX в. усилиями сначала Энгельса, затем Каутского частями полный текст «Капитала» фактически стал воплощением именно этой линии защиты теорий социализма и коммунистического равноправия как от «мелкобуржуазности» Прудона, так и от всех прочих течений.

А теперь задумаемся: если бы «Философия нищеты» Прудона была на самом деле таким ничтожным произведением, каким его старательно изображает Маркс, стал бы он тратить силы и время на столь масштабный ответ представителю «буржуазного социализма»? Без Прудона, осмелимся утверждать, не было бы ни «Манифеста», ни «Капитала». Именно из выведенного Прудонем революционного качества пролетариата, как мы это показали выше, родился «Манифест», именно из сформулированного Прудонем противоречия между полезной стоимостью и стоимостью обмена, проявляющегося на практике в том, что увеличение производства провоцирует уменьшение стоимости произведенного товара, Маркс вывел свою теорию в «Капитале». Прудон первым сообщил о необходимости существования третьего вида стоимости — «конституированной» (или «образованной»), в его терминологии (в дальнейшем Прудон развивает свое понимание стоимости как происходящей «по трем аспектам: полезная стоимость, обменная стоимость и синтетическая стоимость, или социальная стоимость, которая является истинной стоимостью»⁸³). Более того, «аксиома, общепринятая экономистами, заключается в том, что вся работа должна оставлять излишки», — говорит на стр. 98 первого тома своей «Философии нищеты» Прудон: именно из этих «излишков» и «конституированной» стоимости Прудона, настаиваем, появилась пресловутая «прибавочная» стоимость Маркса.

Несомненно, что и Прудон после продолжавшихся ночи напролет споров с Марксом (по приведенному выше собственному свидетельству Маркса) питался его мыслями и терминологией как до написания «Философии нищеты», так затем при ее

⁸² Маркс К. Письмо П. Анненкову. В книге: Маркс К. Нищета философии. Ответ на «Философию нищеты» г. Прудона. — М.: ОГИЗ; Госполитиздат, 1941. — 184 с. — С. 150.

⁸³ Proudhon P.J. T. I. — P. 113.

написании и после того. И разве предназначение спора не в том, чтобы даже в самых яростных попытках достижения превосходства над оппонентом, не желая того и, может быть, сопротивляясь, — достичь понимания происходящего? Нет сомнения в том, что Прудон — судя по тому, что он направил рукопись «Философии нищеты» на рецензирование именно Марксу, — искренне преследовал и в спорах с ним, и в написании своего труда одну цель — поиск выхода их тупика противоречия между трудом и капиталом. Как нет сомнения в том, что Маркс, наоборот, не ставил во главу угла достижение этой цели в содружестве с кем бы то ни было: Марксу было важно добраться до вершины в одиночестве, в крайнем случае — в сопровождении Энгельса, оплачивавшего этот поход. Прудон был занят поиском истины и потому искал изъяны одновременно и слева, и справа — и в лагере социалистов, и в рядах их противников. Маркс, в отличие от Прудона, заявил, что истина ему известна без всяких поисков. И теперь ясно, почему Ленин присоединился сначала к старшему (для него) последователю Маркса Плеханову, а затем, яростно отвергнув того, кого небезосновательно считал своим учителем, и, направив в его сторону массу критических стрел, безапелляционно присоединился именно к Марксу: он был ему ближе своей категоричностью, отсутствием сомнений, а заодно и союзников в походе к вершинам популярности.

Но Маркс по крайней мере хронологически, как мы это показали выше, следовал за Прудоном, отталкивался от Прудона и безвозбранно пользовался им, когда создавал в противовес ему собственную теорию противоречий между трудом и капиталом. Удобная позиция, оставляющая легкий привкус мошенничества. И это также следует учитывать в качестве еще одного ответа на заданный в самом начале вопрос о том, зачем понадобилось доставать из пыльного сундука «Философию нищеты» Прудона и тратить время на ее перевод.

«Капитал» Маркса, кроме того, его русскоязычные последователи постарались закрепить в истории в качестве основного пособия по политической экономии, посвятив, вслед за своим идеологическим пастырем, множество трудов, посвященных критике Прудона, и цинично пользуясь тем, что «Философия нищеты» так и не была переведена на русский язык. Бесчестная тактика. Но все тайное когда-нибудь становится явным. В отношении Прудона это становится явным здесь и сейчас.

При этом ярость Маркса в отстаивании устоев «марксизма» перед нападками, как ему казалось, Прудона вызвана еще одним ярким обстоятельством. Прудон при ближайшем рассмотрении оказывается не так далек от тех самых устоев марксизма, как это, может быть, хотелось бы самому Марксу, — несмотря на зафиксированную здесь же ранее его приверженность рыночным отношениям. Исследователи советского периода, изучавшие тернистые пути развития социально-политических идеологий прошлого, были вынуждены отмечать: «Классики марксизма-ленинизма неоднократно указывали на то, что между различными течениями пролетарского

социализма имеется общность ряда исходных теоретических позиций»⁸⁴, имея в виду, что это положение относится в равной степени и к Прудону. Действительно: Прудон, напомним в очередной раз, первым из современников Маркса широко распространил определение собственности как акта воровства. Марксу просто некуда было деться от этого исходившего от Прудона определения, как и от набравшей популярность из его же трудов формулировки главного социалистического принципа — о требовании от каждого по способностям и компенсации по труду. Маркс вследствие этого почувствовал жгучее желание доказать, что Прудон легковесен, поверхностен, что настоящее разъяснение противоречий между трудом и капиталом еще впереди, и именно он, Маркс, его предоставит. Но беда (для Маркса) в том, что в своей «Философии нищеты» Прудон пошел дальше определения собственности, приняв за основу для расчета стоимостей количество человеческого труда, вложенного в производство тех или иных товаров, после чего пресловутые «устои марксизма» начали удивительным образом походить на то, что сформулировал Прудон.

«Общественная экономика, в которой никакие исследования a posteriori (на основании опыта) не могли напрямую раскрыть закон пропорциональности стоимостей, может охватить его в той самой силе, которая его производит, и которую пора сделать известной, — сообщает Прудон. — Эта сила, которую А. Смит восхвалял так красноречиво, и которую его преемники игнорировали, оставив ему эту привилегию, эта сила — ТРУД... Это труд, только труд, который производит все элементы богатства и который объединяет их до последних молекул в соответствии с законом переменной, но определенной пропорциональности. Наконец, это труд, который, как основной жизненный принцип, беспокоит, mensagitat (планирует) материю, tolem (основную массу) богатства и обеспечивает его»⁸⁵.

Прудон предельно социалистичен, если можно так сказать, и в том, когда присоединяется к положению Ж.-Б. Сэя о том, что «каждый продукт стоит того, что он стоит», и настаивает, что единицей измерения этой стоимости должен быть рабочий день и, главное, что все рабочие дни одинаковы в своей производительности»⁸⁶... Требование же Прудона, возмущенного тем, что грузчики лионского порта получают заработную плату, схожую с таковой университетских профессоров, — насильственно понизить доход одних за счет увеличения у других, взято, кажется, прямо из

⁸⁴ Застенкер Н. Е. Об оценке Прудона и прудонизма в «Коммунистическом манифесте» — в сб. Из истории социально-политических идей. — М.: Изд-во АН СССР, 1955. — 752 с. — С. 491. (В целом Н. Е. Застенкер, надо отдать ему должное, в этой своей публикации постарался скрыть за фразами дежурного осуждения идеологии Прудона серьезный труд по исследованию важнейшего периода его деятельности, касающегося кануна революции 1848 г. во Франции, в частности участия Прудона в газетной публицистике, чем скорее способствовал популяризации Прудона, нежели его критике).

⁸⁵ Proudhon P.J. T. I. — P. 84.

⁸⁶ Proudhon P.J. T. I. — P. 106.

отдаленного будущего государств социалистического блока XX в.

«Одной из первых реформ, которая будет действовать среди рабочих классов, будет сокращение заработной платы одних одновременно с повышением у других»⁸⁷, — такое утопическое, как показала История, условие «справедливого» распределения выдвигает среди прочего Прудон, что как две капли воды походит на то, что попытался внедрить впоследствии в практику социалистического строительства Ленин.

Правда, что и социалистичность Прудона, надо отдать должное, далеко не везде отталкивает, даже если смотреть с расстояния в 180 лет. Не могут не вызывать симпатии его восклицания, издаваемые в разных частях «Философии нищеты», подобные следующему. «Как могут быть приемлемыми богатства, для которых вложенный труд не является показателем? — вопрошает с укоризной Прудон. — И если труд создает богатство и узаконивает собственность, как объяснить потребление богатого бездельника? Как может быть справедливой система распределения, при которой продукт стоит, по мнению отдельных людей, иногда больше, иногда меньше, чем стоит на самом деле?»⁸⁸. Действительно, как?

«Очень просто, — скажет читатель, — стоимость любого продукта в рыночных условиях определяет, как известно, режим спроса и предложения, и в зависимости от этого стоимость может сколь угодно большой или, наоборот, малой, даже ниже себестоимости производства». Исходя из этого постулата, человечество изобрело немало инструментов извлечения богатств при полном отсутствии сколько-нибудь ощутимого вложения труда; чего стоят одни только игры со стоимостями на бирже. Но правда и то, что состояние, происходящее из производства, построенного поэтапно «с нуля», с приложением в равной степени как умственных, так и физических усилий, вызывает несравненно большее уважение, нежели то, которое возникло «из воздуха», в результате ролевых игр с деньгами. Именно так, от заранее вложенных умственных и физических усилий появился промышленный капитал Генри Форда. И не кто иной, как Прудон задолго до начала эпохи массового производства автомобилей способствовал укреплению именно такого, уважительного отношения к богатствам, происходящим от заранее вложенных усилий.

«Если... есть богатства, которые происходят не от труда, откуда берется привилегия владения этими богатствами? Какова законность монополии? Поэтому давайте однажды разоблачим эту теорию непродуктивного права потребления, эту юриспруденцию наслаждения, эту религию праздности, священную прерогативу касты избранных!»⁸⁹ — издает далее совсем уже революционное восклицание

⁸⁷ Proudhon P.J. T. I. — P. 143.

⁸⁸ Proudhon P.J. T. I. — 1850 — 400 p. — P. 107.

⁸⁹ Proudhon P.J. T. I. — P. 108.

Прудон, провоцируя и предвосхищая позднейшие требования к насильственному свержению существующего неравенства состояний. Происшедшая напрямую из этого восклицания Прудона формула звучала уже как «отобрать и поделить», и именно ею пользовались в будущем все те, кто вел пролетариев станка и пашни на свержение предыдущих установлений человечества...

А таким предложениям Прудона, как то, чтобы узаконить запрет на совмещение двух заработков и ограничить гонорары во всех занятиях «6,000 в Париже, и 4,000 — в департаментах»⁹⁰, аплодировали бы, наверное, любые строители плановой коммунистической экономики будущего. Впрочем, аплодисменты наверняка сменились бы осуждением, когда на замечании Прудона в адрес экономистов: «И что! вы опускаете глаза!... Признайте тогда, что ваши законы против роскоши — только лицемерие»⁹¹ — стало бы ясно, что он, во-первых, предлагал эти меры гипотетически и, во-вторых, делал это с единственной целью снятия налогового бремени с предметов роскоши (что с точки зрения марксизма выглядит уже совсем неприлично).

В проявлении своих социалистических убеждений, даже и несмотря на яростную критику социализма и коммунизма в иных частях «Философии нищеты», Прудон идет даже дальше всех социалистов, вместе взятых, — особенно там, где он яростно выступает против технического прогресса и вскрывает пагубность, как ему кажется, промышленных инноваций, начиная с изобретения первых машин, таких, как печатный станок Гутенберга (ранее мы уже обращали внимание на этот, как нам представляется, недостаток мировоззрения Прудона). «В 1836 году в мастерской в Манчестере работали девять станков, каждый по триста двадцать четыре веретена, которыми управляли четыре прядильщика. В дальнейшем конвейер удвоили, и в каждый станок ввели шестьсот восемьдесят веретен, и двух человек хватало, чтобы управлять ими», — цитирует Прудон «Экономический журнал» от 1842 г. и продолжает от себя: «Таков грубый факт ликвидации рабочего машиной. Простой комбинацией трое из четырех рабочих вытеснены; какое значение имеет то, что через пятьдесят лет, когда население земного шара удвоится, клиентура Англии увеличится в четыре раза, будут построены новые машины, английские фабриканты заберут назад своих рабочих?»⁹². «Я был свидетелем введения полиграфических машин и могу сказать, что своими глазами видел, как сильно пострадали печатники, — фактически выступает уже в роли яростного противника прогресса Прудон (хотя в целом, разумеется, не отрицает его конечной пользы для человечества). — За пятнадцать-двадцать лет, что утвердилось механическое производство, часть рабочих потеряли работу, другие покинули свою страну, некоторые умерли от нищеты: так происходит перестройка рабочих в результате промышленных

⁹⁰ Proudhon P.J. T. I. — P. 305.

⁹¹ Proudhon P.J. T. I. — P. 305.

⁹² Proudhon P.J. T. I. — P. 162—163.

инноваций»⁹³.

Но вновь, как только мы в очередной раз в ходе изучения «Философии нищеты» решаем, что Прудон на наших глазах превращается в неисправимого ретрограда, он начинает блистать мыслями, опережающими время. Только что он яростно опротестовывал пользу технического прогресса и разделения труда, как уже горячо высказывается за это разделение и попутно пропагандирует конкуренцию (оставив, впрочем, машинное производство под огнем своей критики). «Конкуренция так же важна для труда, как и его разделение, — говорит Прудон, — поскольку само разделение возвращается в другой форме или, скорее, возводится во вторую степень; разделение, говорю я, уже не такое, как в первую эпоху экономического развития, адекватное коллективной силе, следовательно, поглощающее личность рабочего в цеху, но рождающее свободу, делая каждое подразделение труда суверенитетом, в котором человек проявляет свою силу и независимость. Словом, конкуренция — это свобода в разделении и во всех разделенных частях: начиная с самых всесторонних функций, она имеет тенденцию реализовываться даже при низком уровне фрагментарной работы»⁹⁴.

В другом месте Прудону удается то, что до него мало кому приходило в голову даже пытаться осуществить: в процессе анализа противоречий между трудом и капиталом предоставить читателю возможность взглянуть на дело глазами представителей этого капитала. Читатель, привыкший к уверениям в том, что капиталисты угнетают рабочих, замирает, как громом пораженный, когда узнает, что это капитал, наоборот, постоянно находится под угрозой давления со стороны наемного труда, — что иногда является лишь плодом воображения хозяев производств, но подчас в полной мере соответствует действительности (тому немало примеров в эпохе развитого капитализма). После того, как рабочие в Англии объединились в коалицию, чтобы противостоять сокращениям зарплат и рабочих мест, английский фабрикант, которого цитирует Прудон, принялся усовершенствовать производство таким образом, чтобы обходиться минимумом наемного труда: «Неподчинение наших рабочих заставило нас задуматься о том, чтобы обойтись без них. Мы предприняли все мыслимые усилия, чтобы заменить работу людей более послушными орудиями, и достигли цели. Механика избавила капитал от гнета труда. Везде, где мы все еще используем человека, это только временно, в ожидании, что будет изобретено средство, чтобы исполнять его работу без него»⁹⁵. Прудон кидается в атаку на этого представителя капитала, очевидно не представляющего себе, что следующий по пятам за усовершенствованием промышленности рост безработицы необходимо спровоцирует спад потребления и, следовательно, перепроизводство и затоваривание: безработным не на что потреблять. «Что за система, которая

⁹³ Proudhon P.J. T. I. — P. 163.

⁹⁴ Proudhon P.J. T. I. — P. 192.

⁹⁵ Proudhon P.J. T. I. — P. 164.

заставляет торговца с восторгом думать о том, что предприятие скоро сможет обойтись без людей! *Механика избавила капитал от гнета труда!* Это как то, если бы министерство старалось избавить бюджет от гнета налогоплательщиков. Безумство! если вы платите рабочим, они становятся вашими покупателями: что вы будете делать со своими произведенными продуктами, когда, уволенные вами, они больше не будут их потреблять? Кроме того, противодействие машин, задавив рабочих, не замедлит ударить по хозяевам; ибо если производство исключает потребление, то вскоре само по себе вынуждено остановиться», — восклицает Прудон и продолжает цитатой из публикации в «Эдинбургском обозрении» с нарастающим сарказмом в своем комментарии: «В четвертом квартале 1841 года в результате четырех крупных банкротств в одном городе Англии на улицу отправились 1,720 человек». — Эти банкротства были причиной перепроизводства, а значит, недостатка возможностей или бедственного положения народа. Как жаль, что механика не может также избавить капитал от потребительского гнета! Какое несчастье, что машины не покупают ткани, которые они производят! Это было бы идеальное общество, если бы торговля, сельское хозяйство и промышленность могли существовать без человека на земле!» — и сколько праведного социалистического гнева в этом высказывании Прудона! Как и в его выпаде против монополии (о неминуемости существования которой он, разумеется, успел сообщить ранее): «После того, как монополия сделала свой подсчет дохода, прибыли и процентов, работник-потребитель сделал свой; и получается, что, пообещав ему зарплату, представленную в трудовом договоре сотней, ему фактически дали только семьдесят пять. Таким образом, монополия провоцирует банкротство своих наемных работников, и совершенно точно, что она жива своим грабежом»⁹⁶, — говорит Прудон и этим своим последним, привлекательным для любого социалиста утверждением возвращает читателя к воспетому даже Марксом труду «Что такое собственность?», в котором он, напомним, бросил в лицо мировой буржуазии жгучее обвинение в том, что собственность — это кража.

Итак, Прудон в своей «Философии нищеты», как до того и в труде «Что такое собственность?», к досаде Маркса, оказался ближе к марксизму, чем того хотелось бы самому Марксу, и это означало, что у каждого социалиста, практика или теоретика, с тех самых пор появился выбор «берега», к которому он мог бы прибиться, — выбор из Прудона и Маркса, но при этом Прудон оказался еще и хронологически первым в трактовке противоречий экономики. Марксу, разумеется, хотелось бы, чтобы этого выбора не было, чтобы только его и Энгельса выкладками пользовались бы до скончания века социалисты всего мира. И Марксу почти удалось реализовать это свое намерение — если бы не мы с вами, здесь и сейчас.

⁹⁶ Proudhon P.J. T. I. — P. 253.

* * *

Однако в чем видел собственное призвание Прудон, какими были его цели? Во-первых, Прудон старательно, во всех своих работах стремится к тому, чтобы дать свое, отличное от всего, что было до него (и желательно от того, что будет после), объяснение центральных экономических противоречий — несмотря на то, что с очевидностью полагается на экономическое учение прошлого. Да это и не могло быть иначе: любое новое, как известно, — не только хорошо забытое старое, но происходит из него. Так же и Маркс в своей теории прибавочной стоимости полагался, ничуть не смущаясь, на труды Адама Смита и Давида Рикардо; Прудон это делал наряду с Марксом, но Маркс, сочтя методы и стиль Прудона дилетантскими, обрушился на него с уничижающей критикой, не преминув, тем не менее, воспользоваться выкладками Прудона. Однако Прудон действительно и во многом, невзирая на критику Маркса, стал первопроходцем, и, в частности, в том, как он атакует одновременно социалистов и сторонников рынка: он то и дело подводит читателя к мысли, что не правы ни первые, ни вторые, и, следовательно, требуется нечто принципиально иное. Обращаясь, в частности, к социализму, Прудон призывает к поиску третьего пути: «Что предписывает наука в подобной ситуации? / Разумеется, не задерживаться в необоснованной, неуловимой, неразрешимой среде; но обобщить и открыть третье правило, факт, или высший закон, который объясняет фикцию капитала и миф о собственности и примиряет его с теорией, приписывающей труду происхождение всякого богатства. — Вот что должен был бы предпринять социализм, если бы он хотел действовать логически»⁹⁷. Но социализм до самого своего конца в разных частях света, — заметим мы здесь от себя, — продолжал и продолжает демонстрировать упорство в отстаивании своих требований и напрочь отказывается даже рассуждать о сделке со сторонниками политической экономии в том виде, в каком ее понимал Прудон, и в каком ее следует понимать и сегодня, то есть в виде науки, обосновывающей преимущества свободного рынка, занятого саморегулированием.

Прудон, кроме всего, проявляет вполне искреннее негодование в спорах с теми, кого на самом деле следовало бы считать представителями мелкобуржуазной науки — за что именно в этой части своих рассуждений добился насколько сдержанных, сквозь зубы, настолько же искренних похвал от самого Маркса. «Капитал — это материя богатства, как деньги — материя валюты, как пшеница — материал хлеба», — цитирует Прудон представителя консерваторов от экономики г-на Росси, — и, продолжая серию до конца, как земля, вода, огонь, атмосфера — материал всех наших изделий. Но это труд, только труд, — то, что последовательно создает каждое полезное качество, данное этим материям, и, следовательно, превращает их в капиталы и богатства»⁹⁸, — возвращает Прудон экономиста Росси на землю. И

⁹⁷ Proudhon P.J. T. I. — P. 53.

⁹⁸ Proudhon P.J. T. I. — P. 109.

Росси вызывает тем большее возмущение Прудона, что ранее он признавал именно труд источником богатства и лишь затем, в развитие, решил в своих рассуждениях поменять труд на капитал. Да и сам капитал, если следовать за ходом мысли у Росси, появился как бы из ниоткуда, поскольку он представляет его в виде изначальной материи... Разоблачение таких «теорий» тоже следует отнести к заслугам Прудона.

«Мир, человечество, капитал, промышленность, деловая практика существуют: вопрос только в поиске их философии, иными словами, в том, чтобы организовать их»⁹⁹, — заявляет Прудон. И хотя выясняется, что в этой фразе Прудон вновь упрекает социалистов в том, что они вместо поиска решения заняты поиском капиталов, — и тогда «что же удивительного в том, что им не хватает реальности?»¹⁰⁰, — ясно, что с тем же упреком он готов обратиться и к экономистам-рыночникам, однако ведет прежде всего к тому, что именно он в своем труде озабочен тем, чтобы дать человечеству новую философию. Во обеспечение этой своей стратегической задачи Прудон хоть и подспудно, но старательно, шаг за шагом стремится к созданию вокруг своей персоны имиджа революционера общественных наук. В чем же заключается эта революционность? Очевидно, прежде всего — в выведении Теории формирования так называемой конституированной (синтетической) стоимости, которую Прудон, считая квинтэссенцией полезной и обменной стоимостей, предложил человечеству в качестве упомянутого «третьего правила», «факта», или «высшего закона». Этот же закон, напомним, согласно Прудону, «объясняет фикцию капитала и миф о собственности и примиряет его с теорией, приписывающей труду происхождение всякого богатства». Прудон склоняется к тому, что при формировании конституированной (синтетической) стоимости произведенного продукта следует исходить не из субъективного мнения продавца и покупателя, а из вложенных трудозатрат и времени. К такому пониманию он подбирается не спеша. «Когда мы говорим: работа этого человека стоит пять франков в день, это как если бы мы говорили: продукт ежедневной работы этого человека стоит пять франков, — сообщает Прудон. — Согласно этому анализу, стоимость, рассматриваемая в обществе, естественно сформированном путем разделения труда и обмена между производителями, представляет собой *соотношение пропорциональности продуктов, составляющих богатство*; и то, что специально называется стоимостью продукта, представляет собой формулу, которая в денежном выражении указывает на долю этого продукта в общем богатстве. — Полезность является основой стоимости; труд формирует отчет; цена — это выражение, которое, помимо aberrаций (искажений), которые нам придется изучить, переводит этот отчет. / Таков центр, вокруг которого колеблются полезная стоимость и обменная стоимость, точка, в которой они разрушаются и исчезают; таков абсолютный, неизменный закон, который доминирует над экономическими потрясениями, капризами промышленности и торговли и который

⁹⁹ Proudhon P.J. T. I. — P. 272.

¹⁰⁰ Proudhon P.J. T. I. — P. 272.

управляет прогрессом»¹⁰¹.

Оставим за доброй волей вдумчивого читателя подробное выяснение того, как следует понимать действие сформулированного Прудонем закона на практике. Здесь же отметим от имени и «по поручению» Прудона, что «теория измерения или пропорциональности стоимостей, да будет известно, — это сама теория равенства. Аналогично, фактически, в обществе, где мы видели, что тождество между производителем и потребителем является полным, доход, выплачиваемый бездельнику, подобен ценности, брошенной в огонь Этны; так же рабочий, которому назначается чрезмерная заработная плата, подобен жнецу, которому дают целую буханку за один колос: и все, что экономисты назвали непроизводительным потреблением, не что иное, как в основе своей нарушение закона пропорциональности»¹⁰².

В качестве промежуточного итога своих умозаключений Прудон, среди прочего, приходит к такому пониманию теории последовательного структурирования стоимостей, при котором рецептом общественной гармонии становится необходимость «непрерывно производить с наименьшими трудозатратами, максимально возможным количеством и наибольшим разнообразием стоимостей, чтобы обеспечить достижение для каждого наибольшей суммы физического, духовного и интеллектуального благополучия, а для всего человеческого вида — высочайшего совершенства и бесконечного величия»¹⁰³.

В вопросе достоинств и пороков конкуренции, то есть того же вопроса противоречия между трудом и капиталом, Прудон придерживается политики центризма: он признает, что рыночная система несовершенна, но не отрицает ее преимуществ по существу. Для подтверждения отрицательной стороны «медали» Прудон приводит мнения экономистов Бланки и Дюпена: «Г-н Бланки... соглашается с г-м Дюпеном, то есть с практикой, что конкуренция не свободна от упреков... Г-н Дюпен... приводит в качестве обвинения конкуренции мошенничество, продажу фальшивых грузов, эксплуатацию детей»¹⁰⁴. В свою очередь, позицию защиты конкуренции излагает г-н Пасси, который в пересказе Прудона «со своей обычной логикой замечает, что всегда найдутся нечестные люди, которые и т. д., — Обвиняйте человеческую натуру, восклицает он, но не конкуренцию»¹⁰⁵. Сам Прудон высказывается по этому поводу минутой раньше, когда говорит, что «предотвращение или невмешательство — вечная альтернатива экономистов: их гений не выходит за рамки этого. Напрасно им кричат, что речь не идет ни о том, чтобы что-то предотвращать, ни о том, чтобы

¹⁰¹ Proudhon P.J. T. I. — P. 89. (Курсив по оригиналу.)

¹⁰² Proudhon P.J. T. I. — P. 90.

¹⁰³ Proudhon P.J. T. I. — P. 111.

¹⁰⁴ Proudhon P.J. T. I. — P. 219.

¹⁰⁵ Proudhon P.J. T. I. — P. 219.

все разрешать; то, что от них требуется, что ожидает общество, — примирение: эта двойная идея не умещается в их мозгу»¹⁰⁶.

Если возвратиться к вопросу о том, в чем видел собственное призвание Прудон, то следует заметить, что он незаметным для праздного интересующегося читателя образом, как бы между прочим, привнес в дело еще одно ценнейшее определение одного из самых ключевых понятий, с помощью которых человек отличает себя от животного, — понятие свободы, заявив, что «свобода тем более совершенна, чем больше она соотносится с законами разума»¹⁰⁷. И чем больше она соотносится с законами разумного ограничения, — позволим себе продолжить эту мысль Прудона, — которые устанавливаются не сами по себе, а в форме государства и силой государства, понятие о котором необходимо сопровождает понятия о свободе и разуме.

Однако с государством у Прудона отдельные взаимоотношения: будучи одним из основателей идеологии анархизма, он полагал, что пореформенное состояние общества не подразумевает необходимости существования государства. С каковым тезисом, кстати, полностью согласуется также возникшее постфактум положение классического марксизма о конечном «отмирании государства»: работа Ф. Энгельса «Анти-Дюринг», в которой обосновывается это положение, была впервые опубликована в 1878 г. Однако изначально, следуя за первооткрывателями законов общественного развития, Прудон в отношении государства стал продолжателем Гегеля, заявившего однажды, что «государство само по себе есть нравственное целое, осуществление же свободы есть абсолютная цель разума»¹⁰⁸ (гегельянством, напомним, Прудона «заразил» Карл Маркс).

С Прудоном как с продолжателем Гегеля, однако, впоследствии диссонировало другое положение классического марксизма, выведенного Энгельсом в работе «Происхождение семьи, частной собственности и государства» (1884 г.), — о том, что «современное представительное государство есть орудие эксплуатации наемного труда капиталом»¹⁰⁹. Революционерам же, развивал Энгельс свою мысль, высказанную ранее в «Анти-Дюринге», государство также потребуется, но лишь на время, необходимое для подавления, в свою очередь, тех, кто ранее подавлял рабочих, — господствующих классов. Именно это понимание государства взял на буквальное вооружение в скором будущем Ленин, когда заявил, что «государство

¹⁰⁶ Proudhon P.J. Т. I. — P. 218.

¹⁰⁷ Proudhon P.J. Т. I. — P. 159.

¹⁰⁸ Гегель Г. В. Ф. Сочинения. В 14-ти тт. Т. VII. Отдел третий. Государство. — М.-Л.: Соцэкгиз, 1934. — С. 267—268.

¹⁰⁹ Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. См.: К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, 2-е изд., т. 21. — М.: Госполитиздат, 1961. — с. 171—172.

— аппарат насилия в руках господствующего класса»¹¹⁰, — имея в виду, точно по Энгельсу, что этим самым господствующим классом должен в итоге стать неимущий пролетариат. Именно к этому Ленин повел дело на практике, и нам сегодня следует вновь признать, что скорее Прудон оказался прав в своем, приведенном выше, определении совершенства свободы в прямой зависимости от ее соотношения с разумом, нежели его современники Маркс и Энгельс (и еще менее Ленин), требовавшие революционной смены господствующих классов: такие революции, как показала История, приводят к тому, что из некогда подавляемого пролетарского большинства по завершении всех революционных преобразований неизменно выделяется новая узкая прослойка собственников, которая в точности, как до того свергнутая ими старая прослойка хозяев, принимается подавлять вновь остающееся «на бобах» неимущее большинство.

К слову, об анархизме Прудона, о котором мы вскользь упомянули выше. Ярость критики, которую обрушили на него Маркс и Энгельс, имела тем меньше оснований, чем более схожими и, если угодно, анархическими в отношении государства были их собственные взгляды. Энгельс в работе «Происхождение семьи, частной собственности и государства» заявлял: «Государство существует не извечно. Были общества, которые обходились без него, которые понятия не имели о государстве и государственной власти. На определенной ступени экономического развития, которая необходимо связана была с расколом общества на классы, государство стало в силу этого раскола необходимостью. Мы приближаемся теперь быстрыми шагами к такой ступени развития производства, на которой существование этих классов не только перестало быть необходимостью, но становится прямой помехой производству. Классы исчезнут так же неизбежно, как неизбежно они в прошлом возникли. С исчезновением классов исчезнет неизбежно государство. Общество, которое по-новому организует производство на основе свободной и равной ассоциации производителей, отправит всю государственную машину туда, где ей будет тогда настоящее место: в музей древностей, рядом с прялкой и с бронзовым топором»¹¹¹. Но классы не исчезли, как не собирается, судя по всему, отмирать и государство. И не Маркс с Энгельсом, Плехановым и Лениным, следовательно, оказались правы, а скорее Прудон, отказавшийся на смертном одре от идей анархизма, увидевший невозможность их реализации ни в каком отдаленном будущем...

Но не только в отношении роли государства и не только с положениями классического марксизма вступает в спор Прудон в своей «Философии нищеты». Так, в полемике с экономистом Шевалье, настаивавшем на срочном проведении образовательных реформ во Франции, Прудон между делом высказывает сомнения в целесообразности одномоментного предоставления всем слоям общества избирательных прав,

¹¹⁰ Ленин В. И. Карл Маркс. ПСС (третье издание). В 30-ти тт., т. 19. — Л.: Партиздат ЦК ВКП(б), 1935. — С. 74.

¹¹¹ Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. См.: К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, 2-е изд., т. 21. — М.: Госполитиздат, 1961. — С. 173.

говоря, что «общее количество гражданских должностей составляет шестьдесят тысяч или три тысячи ежегодных вакансий; какой ужас для власти, если, внезапно приняв реформистские идеи г-на Шевалье, она окажется в осаде пятидесяти тысяч просителей!», и продолжает: «Следующее возражение часто выдвигалось республиканцам без ответа с их стороны: когда у каждого будет удостоверение избирателя, станут ли депутаты лучше, а пролетариат — более продвинутым? Я обращаюсь к г-ну Шевалье с тем же вопросом: когда каждый учебный год принесет вам сто тысяч специалистов, что вы будете делать?»¹¹². Оставим в стороне специфические аргументы, касающиеся спора об образовательной реформе, — тем более, что сомнений в необходимости обеспечения преференций для реализации лозунгов Великой французской революции о свободе, равенстве и братстве Прудон, кажется, не высказывает. Но отдадим должное Прудону в том, что касается его сомнений в преимуществах теории всеобщего избирательного права. История человечества во времена, последовавшие за теми, в течение которых жил и работал Прудон, не являла примеры самых негативных последствий внезапного обретения массами избирательных прав — когда к условно называемым «высшим» слоям общества в руководящей верхушке в одночасье присоединялись представители из условно «низших»: в таких случаях подонков во власти в одночасье оказывалось (и по сей день оказывается во всех уголках мира) в два раза больше, и они, разумеется, всегда бывали (и по сей день бывают) менее всего заинтересованы в обеспечении подлинного представительства интересов тех, кто их выбирал.

И в целом демократические свободы, если они появлялись внезапно, как правило приводили в замешательство тех, во имя которых они были провозглашены. Массы, находившаяся в течение веков и тысячелетий в той или иной форме зависимости от руководивших ею привилегированных слоев, являла собой растерянное от открывшихся возможностей стадо домашних животных, для которых вдруг открылись ворота загоня: «животные» разбредались, кто куда, иные выживали, другие попадали в лапы диких «зверей», то есть переходили в разряд изгоев общества, пополняя ряды преступных сообществ. Так произошло в России в 1861 г., когда крестьян, веками находившихся в рабской зависимости от помещиков, в одночасье освободили: крестьяне попросту не знали, что делать с этой свободой.

Изменения в общественном устройстве, наступавшие одновременно под воздействием революционного рвения масс, ведомых пассионариями, не только потрясли государственное устройство, но и приводили к самым кровавым последствиям: к таким результатам привели войны короля с парламентом в Англии в XVII в., ужасающими по количеству бессмысленно пролитой крови стали и результаты Великой французской революции. Перечень аналогичных примеров продолжился затем в XIX в. во Франции и в других странах, а также в России в начале XX в.: революционные реформы, направленные на ликвидацию проявлений абсолютизма, демократизацию общества и расширение прав тех, кто их был до того лишен,

¹¹² Proudhon P.J. T. I. — P. 134.

неизменно и повсеместно приводили к установлению еще худших, не виданных до того форм авторитаризма и деспотии, — достаточно в рамках этого обсуждения упомянуть имена Кромвеля в Англии, Робеспьера и Наполеона во Франции, Сталина в России...

Причем не только реализация революционных политических реформ в разных частях света приводила к мало ожидаемым и зачастую кровавым последствиям. Реформы экономического порядка, осуществлявшиеся в новейшие времена истории человечества, если они проходили одновременно, также не несли за собой ожидавшихся положительных результатов. Так было с внезапным вхождением экономики России в рыночные отношения в начале 90-х гг. XX в., когда распределение акций предприятий в виде «ваучеров» в массе населения привело к масштабному мошенничеству и сосредоточению владельческих прав в среде немногочисленной группировки жуликов, обеспечивших настоящее, прямо по Марксу, слияние государства и капитала. Массы здесь не обрели того, что для них предназначалось реформой, а страна так и не оказалась приобщенной к рынку в его цивилизованной форме; капитал здесь по-прежнему, на момент первой четверти XXI в., оставался в тесном сращении с авторитарным государством, находился в прямой зависимости от его аппарата, а рынок существовал в рамках искаженной, усеченной этим государством модели. И целый ряд стран в постсоветском пространстве, таких, как Белоруссия, ступали по этому пути след вслед за Россией...

В чем же дело? Как обеспечить совпадение устремлений революционеров к обеспечению демократических прав и свобод с готовностью к реализации этих прав и свобод тех, для кого они предназначаются? Очень просто: исходя из приведенной выше полемики Прудона и заданных им патетическим тоном вопросов, массы должны быть заранее подготовлены к реализации революционных реформ в политике и экономике; культурный и образовательный уровень большинства населения должен быть таким, чтобы каждый из участников общественного процесса понимал — что именно воспоследует в случае его голосования на выборах за того или иного политика, ту или иную партию; какие возможности для расширения своего благосостояния он обретет, или, наоборот, потеряет, если речь идет о реформах экономического порядка. Без этого проведение каких бы то ни было реформ теряет всяческий смысл, а революции необходимо ведут лишь к массовому пролитию крови и последующей деградации общественных отношений.

Примечательно, что в полемике с экономистом Шевалье Прудон, сам того не ведая, приближается к оценке реализации марксистских идей на практике, предпринятой сначала в России после переворота 1917 г., а затем и в других странах и частях света: то есть оценка событий произошла в сознании Прудона задолго до того, как произошли сами эти события. Причем попытки реализации идей марксизма на практике были настолько же настойчивыми, продолжившись в искаженных формах даже и в XXI в., насколько и безуспешными, а Прудон вновь оказался провидцем еще и в этом вопросе, присоединившись в полемике с Шевалье к представителю

другой экономической школы — г-ну Дюнойе.

«Если государство обязано всем дать образование, то вскоре появится претензия на то, что оно должно дать работу, потом жилье, потом еду... К чему это приведет?»¹¹³ — цитирует Прудон Дюнойе, не предполагая, что именно такую патриархальную, заведомо ошибочную по своей сугубо потребительской сущности схему государственно-экономического устройства безуспешно попытаются внедрить сначала большевики в СССР после 1917 г., а затем и их последователи по всему миру.

Достоинства и недостатки рассуждений, нестандартной позиции Прудона в отношении тех, кто находился (и находится поныне) по «правую» или «левую» сторону рыночных отношений, мы уже, кажется, обсудили в достаточной мере. Но что делать? Какие средства предлагает Прудон для разрешения противоречия между трудом и капиталом? В размышлениях о причинах распространения нищеты Прудон, среди прочего, заговаривает о том, о чем в принципе не принято говорить в ученой среде, в которой любые явления, включая нищету, представляют, как Маркс, в виде расчетов, будто бы объясняющих все. «Первоначальная задача для всех одинакова: почему, еще раз, крещение цивилизации не дало одинакового эффекта для всех? — задается вопросом Прудон. — Разве это не означает, что сам прогресс является привилегией, и что человеку, у которого нет ни колесницы, ни коня, предназначено вечно блуждать в грязи? О чем я говорю? для полностью обездоленного человека желание спастись нереализуемо: он упал настолько низко, что даже амбиции погасли в его сердце»¹¹⁴.

В поиске выхода из этого положения Прудон вновь ссылается на Дюнойе, который, в свою очередь, говорит о необходимости, «чтобы человек уже приобрел на работе определенное благополучие, прежде чем он почувствует с некоторой живостью эту потребность улучшить свое состояние, которое я называю жаждой благосостояния»¹¹⁵. Не правда ли, как это перекликается с уже высказанным нами ранее тезисом — о том, что культурный и образовательный уровень большинства населения должен быть таким, чтобы каждый из участников общественного процесса понимал — что именно воспоследует в случае его голосования на выборах за того или иного политика, ту или иную партию; какие возможности для расширения своего благосостояния он обретет, или, наоборот, потеряет, если речь идет о реформах экономического порядка? И это как раз то, о чем говорит Прудон, осторожно ссылаясь на Дюнойе: прежде чем требовать от человека стремления к улучшению своего благосостояния, сначала нужно, во-первых, освободить его от тягостных дум об элементарном куске хлеба и крыше над головой, а затем уже предоставить ему,

¹¹³ Proudhon P.J. T. I. — P. 136.

¹¹⁴ Proudhon P.J. T. I. — P. 140.

¹¹⁵ Proudhon P.J. T. I. — P. 141.

через просвещение и развитие интеллекта, возможности сознательного принятия важных решений, влияющих на его личное благосостояние, но касающихся в целом политического устройства и организации экономики. Да, пусть в этом моменте мы возвращаемся к тому, против чего протестовали ранее вместе с Прудоном и Дюнойе — против иждивенческих требований к государству о предоставлении работы, потом жилья, еды и т. д. Но именно в этом и состоит роль государства при разрешении проблемы противоречия между трудом и капиталом — в том, чтобы создать и гарантировать равные права и возможности для всех, кто готов прилагать собственные усилия для улучшения своего положения в обществе. Проще говоря, эта роль заключается в том, чтобы сначала накормить человека как следует, а потом требовать от него проявления высоких стремлений и дум.

...Тут вы скажете, что если не совершать революций, не отбирать капиталы у богатых, чтобы распределить их среди бедных, то возможности останутся по-прежнему неравными: капиталы останутся в руках у тех, кто родился в семьях, владеющих этими капиталами; у «низших» же слоев как не было капиталов до появления на свет их новых представителей, так им и неоткуда будет взяться. Но речь не о заведомом, а *prigori*, наличии капитала: сам по себе капитал еще не гарантирует наличия у его владельца стремления к повышению своего культурного, образовательного уровня и к увеличению этого имеющегося капитала; нерадивый представитель «высших» слоев способен его попросту прогулять. Поэтому речь идет о **равных возможностях** реализовать себя в условиях рыночной экономики. «Равенство, его принцип, его средства, его препятствия, его теория, причины отсрочек его наступления, причина общественного и изначального неравенства: вот то, что следует изучить, невзирая на сарказм неверия»¹¹⁶, — говорит об этом в Прологе к своей «Философии нищеты» Прудон. Следовательно, роль государства заключается еще и в том, чтобы создать такой высокий **уровень развития рыночной экономики**, каковой необходимо обеспечит равенство прав и возможностей как для тех, кто обладает капиталом от рождения, так и для тех, кто этого капитала а *prigori* лишен, зато не лишен устремления и решимости улучшить как свой образовательный и культурный уровень, так и уровень благосостояния. Таких возможностей не способна, как показывает исторический опыт, предоставить так называемая социалистическая, распределительная экономика: непременным условием развития рынка является не социализм (и не так называемая социалистическая демократия как ее суррогат), а **демократия** как форма общественно-государственного устройства, для развития которой, в свою очередь, требуется соблюдение ряда необходимых условий — таких, как приоритет прав личности, свобода собраний, вероисповеданий; свободные выборы; независимый суд; свободные сми; разделение властей и т.д.

Но разумеется также, что как понятие свободы становится осязаемым лишь при условии ее ограничения рамками разума (выше мы это уже обсуждали), так и понятие демократии обретает смысл в заранее определенных границах, точнее

¹¹⁶ Proudhon P.J. T. I. — P. 29.

— в границах уголовного кодекса, за которыми в ходе реализации демократии на практике одним членом общества начинаются нарушения прав другого.

И пусть, как возражают на это всегда сторонники марксизма-ленинизма, попытки построения социализма приводят к действительному (по их мнению) наступлению равенства всех слоев населения: это равенство — иллюзорное, это равенство пребывания огромного большинства в нищете, за исключением жирующей на этой нищете узкой прослойки правящей номенклатуры, реализующей свои амбиции в условиях авторитарных государств. И это на практике гораздо хуже всех вместе взятых издержек рыночных отношений, вроде периодических кризисов, ценового свирепства и бездушия монополий: в конце любого спада на рынке всегда находится рост; у нищеты регулируемой экономики есть только вход, выход отсутствует.

Но важно помнить, что успех на пути выхода из нищеты находится в руках не только одного государства, исповедующего демократические устои в политике и рыночные — в экономике. Как нельзя, если говорить о религии, насильно затащить человека в рай, так невозможно заставить человека жить лучше, если он сам того не желает: выше мы лишь коснулись этого вопроса, еще раз обратим на него внимание здесь. «Заставить народ пользоваться преимуществами образования? — Это невозможно»¹¹⁷, — прямо заявляет Прудон, и нельзя сказать, что у него не хватает оснований для таких заявлений. Однако нам следует сказать о таких кажущихся эфемерными понятиях, как устремления, расположенность, готовность и **решимость самого человека** к тому, чтобы предпринимать усилия, направленные на улучшение своего благосостояния. Об этих качествах не принято говорить в ученой среде, но именно они, присущие конкретному индивидууму или отсутствующие у него, являются еще одним неперенным (хотя и не достаточным, как и остальные) условием для разрешения противоречия труда и капитала. Прудон подводит к этой мысли, за что следует в очередной раз отдать ему должное, хотя далее он и развивает свои рассуждения до сомнительного постулата о «дикости» рабочих слоев: «Нищета рабочих классов происходит в основном из-за их нехватки сердечности и духовности, или, как где-то сказал г-н Пасси, из-за слабости, инерции их духовных и интеллектуальных способностей. Эта инерция объясняется тем, что так называемые рабочие классы, все еще частично дикие, не чувствуют с достаточной живостью желания улучшить свое положение».

Простим Прудону эту «дикость», тем более, что далее он вполне разумно объясняет ее тем, что «поскольку это отсутствие желания само по себе является результатом нищеты, из этого следует, что нищета и апатия являются другим следствием и причиной, и что пролетариат находится в замкнутом кругу»¹¹⁸. Действительно, «дикими» представители рабочих слоев остаются лишь потому, что изначально, по факту рождения в нищете, в обездоленных семьях, их разместили на нижнем

¹¹⁷ Proudhon P.J. T. I. — P. 336.

¹¹⁸ Proudhon P.J. T. I. — P. 141.

этаже общественного устройства, оставив практически без какой-либо возможности оторваться от этого дна, чтобы улучшить свое положение. И здесь Прудон в очередной раз фактически подтверждает постулат о собственности как продукте воровства — при том, что у рабочих заранее украли не только и не столько капитал, сколько саму возможность встать с колен. Но означает ли это, что если всей массе рабочих в одночасье предоставить возможность встать с колен — получить образование и улучшить свое благосостояние, то вся эта масса, как один, использует эту возможность по назначению? Мы уже говорили: большинство ни за что не воспользуется такой возможностью, а растранижит ее, сочтя безнадежными любые попытки соревноваться с теми, кому высокое положение и владение капиталом достались по наследству. Говорили мы ранее и о том, что не всякий представитель так называемых «высших» классов, которому волею судеб заранее были предоставлены привилегии во владении капиталом, в пользовании административными возможностями и прочими преимуществами высокого положения, воспользуется этими привилегиями: многие предпочтут прогулять и само благосостояние, и возможность его улучшить.

Итак, мы решили — вместе с Прудоном, а он, в свою очередь, в совокупности с современными ему экономистами и учеными прошлого, — что для разрешения противоречия между трудом и капиталом, или, проще говоря, для ликвидации нищеты в рабочих слоях требуется изначально гарантировать для этих слоев заработок, достаточный как для поддержания достойного уровня материального благосостояния, так и для повышения своего образовательного и культурного уровня. Что, в свою очередь, позволит представителям рабочих слоев поднять голову из небытия, в котором они пребывали в эпоху зарождения капитала, и уже сознательно принимать решения, касающиеся как своего собственного развития, так и направлений развития общества и государства. Мы также сказали, что реализация этой схемы возможна лишь в условиях демократии, действующей в совокупности со всей полнотой рыночной экономики, включая комплекс ее преимуществ и недостатков. Таким образом, в свою очередь, будет обеспечено если и не полное равенство возможностей в повышении материального и образовательного уровня для всех слоев населения, то очень близкое к этому. В итоге, шаг за шагом мы подвели себя к составлению некоей формулы, примитивной по существу, но тем не менее демонстрирующей совокупность условий, которые требуется соблюдать человечеству для перманентного разрешения вековых противоречий труда и капитала. Эта условная **формула общественного счастья** может выглядеть как:

$$(M+D) + E + A = Sc$$

где «M+D» — создаваемая государством рыночная экономика в ее взаимодействии с демократической формой общественно-государственного устройства (здесь «M» происходит от слова «market» — рынок, а «D» — от слова «democracy» — демократия); «E» — от слова «equality» (равенство) — обозначает равные возможности для улучшения материального благосостояния и образовательного уровня; и «A» — от слова «aspiration» (устремление) — обозначает ту самую решимость и готовность

нуждающихся в улучшении своего благосостояния тратить собственные усилия на достижение этой цели. «Sc» в качестве искомого результата состоит, в свою очередь, из латинских «S» — от слова «solution» (решение) и «c» — от слова «contradiction» (противоречие). То есть: **рынок во взаимодействии с демократией и равные возможности вкупе с собственными устремлениями индивидуума приведут к выходу из нищеты.**

Разумеется, не все так просто: данные этой формулы слишком абстрактны, их расплывчатость не позволяет раз и навсегда разрешить проблему противоречия между трудом и капиталом для всего человечества во всех частях света: мы не располагаем числительными, которыми можно было бы заменить буквенные обозначения нашей «формулы общественного счастья». Насколько различен уровень общественно-государственного и экономического развития в разных странах, насколько различны культурные, религиозные и этногосударственные традиции народов, в них проживающих, настолько же будут отличаться понятия рынка и демократии, бытующие в этих странах и у этих народов, в каждом отдельном случае. Более того, внутри составляющих этой формулы заложены собственные противоречия, состоящие в отсутствии точного определения рыночного состояния экономики и равных, возможностей для нуждающихся в улучшении своего благосостояния. В самом деле: если с демократией все более-менее ясно — ее определение, вкупе с тем, которое мы осмелились привести выше, до нас уже сформулировали многие (несмотря на вопли автократов по всему миру о порочности этой формы общественно-государственного устройства в сравнении с положительными, будто бы, свойствами диктатур), — то как можно зафиксировать момент развития экономики, в котором оканчивается государственное регулирование и начинается рынок? И что значит «равные права и возможности»? В каких единицах их следует измерять? Даже простой сравнительный пересчет предприятий, находящихся в государственной и частной собственности, не гарантирует достоверного определения уровня рыночных отношений: частный капитал, находящийся в руках лояльных к власти олигархов, как показывает практика таких государств, как Россия и Китай, и в XXI в. не воспроизводит условий для функционирования по-настоящему рыночной экономики.

В ряду из четырех понятий, из которых складывается результат, лишь одно — решимость желающих улучшить свое благосостояние, на удивление, оказывается достаточно подходящим для перевода в числительное: эта решимость, если она существует у конкретного индивидуума, обязательно проявляется во взаимодействии с остальными необходимыми обстоятельствами, и измеряться она может, например, в количественных показателях тех городских и сельских пролетариев, которые в определенный момент своего развития решаются потратить усилия и средства на повышение образовательного и (или) профессионального уровня с конечной целью улучшения своего благосостояния. Можно, например, подсчитать, сколько из них успешно сдает вступительные экзамены при поступлении в соответствующие учебные заведения в определенный отрезок времени, какое количество их оканчивает и находит работу с повышением оплаты своего труда и уровня положения

в административной иерархии, — в сравнении с той оплатой и тем положением, которое занимали эти граждане до того. Но остальные составляющие формулы по-прежнему сохраняют свое положение в рамках буквенных обозначений. И это подтверждает, что одномоментного разрешения главного вопроса всех времен и народов — о противоречии между трудом и капиталом, не существует. Но это и не требуется. «Нет пути к свободе, потому что свобода и есть путь», — сказала однажды премьер-министр Индии Индира Ганди. Точно так же нет пути к достижению всеобщего экономического счастья, потому что оно заключается в неустанном следовании путем его поиска.

О чем мы говорим? — О том, что в целом ряде стран, таких, как США, промышленно развитых странах Европы и Азии, противостоящих примером своих рыночных отношений и высокого уровня демократии политике огосударствления бизнеса и превращения граждан в простые винтики авторитарного механизма, удалось приблизиться к тому, чтобы максимально большие слои населения находились на устойчиво высоком, далеком от нищеты уровне благосостояния. Противники демократии и рынка по всему миру тотчас примутся возражать, что успех этих государств будто бы доказывает старую истину о превосходстве над неимущими пролетариями тех, кто по факту рождения оказался наделенным богатством: таким же образом, скажут они, государства, лишённые обширных территорий и ресурсов, оказываются в заведомо неравном положении в сравнении с теми странами, которые, напротив, этими территориями и ресурсами располагают изначально. Но логика этого рассуждения будет правильной только в случае, если само рассуждение будет доведено до конца: точно так же, как повеса из богатой семьи способен прогулять даром доставшееся ему состояние, и государства, наделённые громадными территориями и богатейшими ресурсами, в состоянии их бесконечно «проматывать» на коммунистические эксперименты, неизменно приводящие к обеднению масс. Примером этого стала экономическая история России, начиная с послереволюционного периода первой четверти XX в., включая весь советский период, продолжением которого стала путинская автократия с ее искаженной государственно-частной формой капитализма, а также история последовавших ее путем других государств в разных частях света, вроде кастристской Кубы, коммунистического Китая, постсоветских автократий и диктатур в Белоруссии, Туркменистане и других стран в конце XX — первой четверти XXI вв.

...Но мы, кажется, на время забыли о предмете нашего обсуждения — работе Прудона «Философия нищеты», написанием которой он, между тем, непосредственно содействовал созданию приведенной выше формулы. И вот как именно он это осуществил. Во-первых, Прудон первым настаивал на необходимости обеспечения тех самых равных возможностей для участия в конкуренции, в возможности чего (но не в необходимости) мы сами выражали сомнения выше. «Чтобы конкуренция была универсальной, нужно обеспечить для всех возможность конкурировать; необходимо уничтожить или изменить господство капитала над трудом, изменить отношение хозяина к работнику, одним словом, антиномию разделения труда

и машин; нужно ОРГАНИЗОВАТЬ ТРУД»¹¹⁹, — заявил в полемике с экономистом Дюнойе Прудон. Кроме того, погружаясь в очередной раз в глубину противоречий с самим собой, Прудон, напомним, яростно оппонирует наступлению технического прогресса, доказывая на примере расширения железных дорог, что внедрение новой техники через ликвидацию ручного труда ведет к безработице и обнищанию масс. «Давайте теперь предположим, что все эти трудности преодолены, — пытается найти выход из положения Прудон (и для нас отправной точкой для составления формулы были примерно такие же рассуждения), — давайте предположим, что рабочих, потерявших работу с появлением железной дороги, будет достаточно для исполнения услуг, которые требуются для поддержания мощности локомотива, что компенсация осуществляется без разрывов, никто не пострадает; напротив, благосостояние каждого увеличится на долю прибыли, получаемой от железнодорожных перевозок. Кто тогда, спросят меня, препятствует тому, чтобы вещи происходили с такой регулярностью и определенностью? И что может быть проще для разумного правительства, чем управлять всеми переходными процессами в промышленности таким образом?»¹²⁰. Никто, — ответили мы выше в ходе расшифровки составляющих формулы, — за исключением тех членов общества, которые и при наличии обстоятельств, способствующих повышению прогресса общества в целом и росту уровня их личного благосостояния, вполне добровольно не участвуют в этом общественном и личном прогрессе, оставаясь там, где они есть. Ответ Прудона отличается от нашего, но не слишком: «То, что связывает прогресс общества и заставляет его переходить от Харибды к Сцилле, заключается именно в том, что оно не организовано»¹²¹. Но еще точнее на этот свой вопрос Прудон ответил там, где сравнил движение человечества с движением колонны солдат, которые, «уходя одним и тем же шагом в одно и то же мгновение под размеренные удары барабана, постепенно теряют свои интервалы. Все движется вперед; но расстояние от головы до хвоста безостановочно удлиняется; и это обязательный эффект движения — чтобы были отставшие и заблудшие»¹²². Но да не воспримут это высказывание Прудона как свидетельство его заведомо жестокого отношения к тем слабым и заблудшим, у которых не хватило сил соответствовать напряжению марша. Прудон говорит здесь не в принципе об отставших, но о тех, кто сделал это добровольно, от нежелания прилагать какие бы то ни было усилия для улучшения собственного благосостояния. Это правда, что их ожидает незавидный удел, но, конечно, их не следует вскармливать, как трутней, за счет тех, кто, наоборот, прилагает усилия для движения вперед: иначе этот вариант будет походить на горячо опротестовываемую

¹¹⁹ Proudhon P.J. T. I. — P. 210.

¹²⁰ Proudhon P.J. T. I. — P. 180.

¹²¹ Proudhon P.J. T. I. — P. 180.

¹²² Proudhon P.J. T. I. — P. 172.

здесь систему распределительной экономики.

...Возвращаясь к теме сравнения постулатов Прудона с мировоззрением его яростного противника Маркса, к оценке Марксом уровня подготовленности Прудона, следует заметить, что Прудон, в отличие от своего всесторонне образованного противника, действительно скорее самоучка: один окончил гимназию, изучал целый ряд предметов в университетах Бонна и Берлина, другой не смог, в силу жизненных обстоятельств, окончить колледж Безансона и потом лишь в самостоятельном режиме, несистемно, изучал труды экономистов и философов прошлого. Еще ранее само различие в происхождении обоих предопределило отставание Прудона от Маркса в том, что касается образованности и широты кругозора: Маркс появился в семье адвоката, отцом Прудона был бывший крестьянин, перешедший в разряд рабочих пивоваренного завода; Прудону с ранних лет было не до чтения книг — нужно было зарабатывать на хлеб, Маркс же располагал свободным временем для основательной подготовки. В результате для трудов Прудона местами характерен поверхностный подход, они изобилуют рассуждениями и отличаются бОльшим, нежели у Маркса, многословием; для рассуждений Маркса, наоборот, характерны сосредоточенность, системный подход, кругозор и глубина знаний. И если хорошенько «прополоскать» и как следует «отжать» Прудона, то в сухом остатке, говоря простым языком, останется немного. Но это ничуть не умаляет достоинств его трудов. Ведь именно так и работают старатели на приисках, просеивая тонны песка в поисках драгоценных крупиц золота. Именно так поступаем с Прудоном и мы. Кроме того, вся конкретика Маркса, напомним, зиждется на критике Прудона и, значит, отталкивается от него: ничто не дает такого толчка прогрессу науки, как критика одних теорий и практик с точки зрения других; действие этого правила наглядно демонстрирует как раз пример соотношения трудов Прудона и Маркса.

* * *

...Марксу и Энгельсу в разных частях света наследовало — что касается попыток реализации их теории на практике, — множество энтузиастов разного калибра. В России в качестве последователей этого течения выступил Плеханов, за ним — Ленин. Причем Ленин, кажется, решил воплотить марксизм на российской почве непосредственно, отбросив как несущественный тот факт, что Маркс создавал «Капитал», отталкиваясь, как мы это показали, не в последнюю очередь от Прудона и полагаясь одновременно и прежде всего на опыт промышленно развитых стран Запада — но никак не на опыт России. Однако именно Россия, которая обращает на себя внимание громадностью занимаемых территорий и недр, из-за исторически возникшей и сохраняющейся по сей день отсталости в развитии экономических и общественных институтов не подпадала раньше и не подпадает до сих пор под возможность анализа так, как может быть рассмотрен и проанализирован прогресс в странах с развитой экономикой и общественными институтами — так,

как рассматривал этот прогресс Маркс. Правда, что к категории таких стран — с отсталостью экономических и общественных институтов — могут быть отнесены многие другие страны на земном шаре. Но речь идет именно о России, потому что здесь Ленин осуществил самую яркую попытку путем революции в одночасье разрешить противоречие между трудом и капиталом. И, разумеется, потерпел поражение в этой своей попытке — как мы об этом сообщали выше, и как это чудесным образом предрекал Прудон в рассматриваемой «Философии нищеты». На Западе разрыв в развитии производительных сил и производственных отношений, о котором говорили сначала Прудон, а за ним Маркс, к началу XX в. был в значительной степени преодолен: после забастовок и манифестаций, потрясших основы государственного строя как в ряде стран Европы, так и в США, в ходе которых профсоюзы выдвигали преимущественно экономические требования, рабочие в конце концов добились установления пакета социальных гарантий. Прудон приводит свидетельства того, что уже ко времени издания «Философии нищеты» в 1846 г. в Западной Европе пенсии рабочих формировались из текущих отчислений. Россия от подобных достижений была бесконечно далека и 70 лет спустя, именно поэтому конечная цель захвата власти большевиками в октябре 1917 г., состоявшая в одномоментном преодолении противоречия между трудом и капиталом, оказалась недостижимой — по крайней мере в том виде, в каком ее пытался воплотить Ленин. Цель эту задолго до Ленина насколько легкомысленно, настолько и кратко сформулировал социалист Луи Блан, а Прудон, разумеется, яростно раскритиковал. И надо отдать должное Ленину — за то, что в статье «О кооперации», написанной в 1923 г. (за год до своей смерти в январе 1924 г.) и относимой историками к так называемому «Завещанию», он от имени коммунизма советского образца, ни в коем случае не отказываясь от постулата классовой борьбы, заявил: «Теперь мы вправе сказать, что простой рост кооперации для нас тождественен... с ростом социализма, и вместе с этим мы вынуждены признать коренную перемену всей точки зрения нашей на социализм»¹²³. Ленин в этой статье, среди прочего, в подробностях описывает, как именно должна выглядеть социалистическая кооперация, говорит о ее преимуществах перед частным производством и необходимости обеспечения преференций, НО! — уже не отказывается от самой возможности существования и развития частного производства и капитала, то есть в принципе — от рыночных отношений.

Правда, Ленин сообщает, что средства производства на момент написания статьи находятся лишь «во временном пользовании» частных владельцев, что эта уступка сделана для возрождения экономики, и в продолжение своей мысли говорит вовсе не о необходимости более лояльного отношения к рыночным отношениям, как это можно было бы (и хотелось бы) предполагать. Коренная перемена точки зрения на социализм состоит, по мысли Ленина, в том, «что раньше мы центр тяжести клали и должны были класть на политическую борьбу, революцию, завоевание

¹²³ Ленин В. И. О кооперации. См.: Ленин В. И. ПСС в 55-ти тт. Т. 45. — М.: Политиздат, 1970. — С. 376.

власти и т. д. Теперь же центр тяжести меняется до того, что переносится на мирную организационную “культурную” работу»¹²⁴. Но даже и при этом условии очевидно, что Ленин, во-первых, был в принципе готов к переменам (и даже коренным) своих точек зрения, не стыдился и не считал это для себя чем-то зазорным, и, значит, во-вторых, при условии успешного развития новой экономической политики (нэп был начат при его жизни и по его инициативе) параллельно с кооперацией несомненно пришел бы к необходимости продолжения реформ.

Между прочим, экономические реформы в Китае привели в итоге к вполне мирному сосуществованию коммунистического государства и частного капитала. Но как то, к чему вел дело в советской России Ленин, так и тот факт, что Китаю удалось в первой четверти XXI в. достичь уровня второй, после США, экономики мира, не может служить примером удачного развития: весь «успех» Китая зиждется на громадном резерве чрезвычайно дешевой рабочей силы, особенно в сельской местности, где люди за отсутствием выбора вынуждены трудиться за гроши, обеспечивая низкую себестоимость любой (как сельскохозяйственной, так и промышленной) продукции, ее высокую конкурентоспособность на внутреннем и внешних рынках. Такое положение основной массе граждан навязано насильственно, сверху, и потому не может считаться инструментом разрешения противоречий между трудом и капиталом. К тому же отсутствие нормального, неискаженного рынка в Китае сочетается с жесткими ограничениями для развития гражданского общества, традиционными для авторитарных и диктаторских режимов во все времена.

На территории же СССР История распорядилась и вовсе иначе, и даже такой ущербной форме развития экономики, как в Китае, в СССР не суждено было осуществиться: Ленин умер, а его наследник на посту руководителя партии и государства свернул нэп и полностью выхолостил даже самую мысль о какой-либо иной собственности на средства производства, кроме государственной, чем заведомо обрек и экономику этого государства, и благосостояние его граждан на постепенное и медленное, — в зависимости от мировых цен на энергоносители, — обветшание. Это был марш в никуда — в экономическую пропасть, на дне которой и скончался в агонии в конце XX в. СССР.

Однако до того с упорством, заслуживающим лучшего применения, государственная идеология и экономическая практика СССР вновь и вновь возвращались к попыткам реализации главного социалистического принципа, получившего хождение именно из «Философии нищеты» Прудона: «От каждого — по способностям, каждому — по труду». Настало, думается, время выполнить обещание, данное в начале комментариев в отношении принципа, заявленного изначально Сен-Симоном, и того, как его сформулировал Прудон, и заметить прежде всего, что Прудон это сделал в таком контексте, который с его стороны был однозначно критическим. Вот

¹²⁴ Ленин В. И. О кооперации. См.: Ленин В. И. ПСС в 55-ти тт. — Т. 45. — М.: Политиздат, 1970. — С. 376.

как последовательно записано у Прудона: «Некоторые социалисты, воодушевленные, к сожалению, я заявляю об этом со всей ответственностью, евангельскими абстракциями, считали, что преодолевают трудность с помощью этих прекрасных изречений: — Неравенство способностей является доказательством неравенства обязанностей; — Вы получили больше от природы, дайте больше своим братьям, — и другие звонкие и трогательные предложения... Практическая формула, которая выходит из этих замечательных высказываний, состоит в том, что каждый работник должен все свое время обществу, а общество должно дать ему взамен все, что необходимо для удовлетворения его потребностей, в меру ресурсов, которыми оно располагает»¹²⁵. Наследники Прудона в СССР, следовательно, предпочли не замечать его критического тона в отношении постулата «От каждого — по способностям, каждому — по труду», но восприняли его буквально и так же буквально пытались воплотить.

Кроме того, ранее мы уже ссылались на высказывание Прудона о том, что единицей измерения стоимости должен быть рабочий день, и что все рабочие дни одинаковы в своей производительности, выведенное им, в свою очередь, из положения Ж.-Б. Сэя:

«Каждый продукт стоит того, что он стоит»¹²⁶. Социалист до мозга костей, Прудон, несмотря на собственные яростные выпады против течения, к которому сам принадлежал, подчас заведомо ошибался вместе со всем социализмом, вместе взятым, — в частности в том, что касается производительности рабочего дня. Как показала историческая практика, рабочие дни не могут быть одинаковыми по своей производительности, однако до того рьяные последователи Прудона в СССР — так же, как в отношении постулата о распределении благ — в течение длительного времени измеряли вклад каждого работника страны в общую копилку произведенного на полях и заводах именно в лаконичных «трудоднях».

Сарказм Истории, таким образом, заключается в том, что формулировку социалистического принципа, выбранную Прудоном в целях ее всесторонней критики, как и его ошибочный «трудодень», использовали и продолжают(!) безуспешно использовать сторонники социалистических теорий и практик по всему миру: очарованные словами, они не замечают пагубности смыслов. А между тем Прудон предупреждал: «Пусть мои друзья-коммунисты простят меня! Я был бы менее суров к их идеям, если бы не был непобедимо убежден в своем разуме и в своем сердце, что сообщество, республиканизм и все социальные, политические и религиозные утопии, которые пренебрегают фактами и критикой, являются самым большим препятствием на пути прогресса в настоящее время»¹²⁷. И в этом случае можно только подивиться

¹²⁵ Proudhon P.J. T. I. — P. 241.

¹²⁶ Proudhon P.J. T. I. — P. 106.

¹²⁷ Proudhon P.J. T. I. — P. 241.

тому, сколь мощное влияние оказал на течение социализма во всем мире Прудон — даже и несмотря на его собственные колебания между пристрастием к этому течению и его критикой.

Историческая заслуга большевиков состоит в том, что на примере одной громадной империи они поставили эксперимент, продемонстрировавший бесперспективность и пагубность для общественного и экономического развития человечества попыток реализации лозунга насильственного отбора средств производства у их владельцев с последующей раздачей в руки бывших наемных работников этих производств.

Эти бывшие наемные работники, будь то фабрично-заводские рабочие или крестьяне, были не готовы к тому, чтобы в одночасье переквалифицироваться в хозяев; производства сначала рухнули, а затем, даже и будучи восстановленными с использованием рабского труда (в том смысле, в каком были рабами граждане СССР), оказались не в состоянии конкурировать с производствами и экономиками развитых стран; во внутренней политике развитие общественных институтов вернулось в то же состояние свирепого подавления любого из видов общественных недовольств, в каком оно находилось в монархические времена, во внешней политике упор был сделан на враждебное окружение, необходимость ему противостоять и, следовательно, постоянно «бороться за мир». «Человек выходит из своей лени только тогда, когда нужда заставляет его; и самый верный способ погасить в нем интеллект — избавить его от всяких забот, отобрать у него соблазн прибыли и вытекающую из этого социальную разницу, создав вокруг него мир во всем мире, мир всегда, и перенести на плечи государства ответственность за его инертность»¹²⁸, — сказал задолго до начала любых попыток воплощения коммунистических идей на практике Прудон.

Отсталость, как показал опыт большевизма, не порождает ничего, кроме новой отсталости. Но если внимательно присмотреться к тому, какие тропы продолжают по сей день выбирать те, кто командует походом к коммунизму в разных частях света, какие средства передвижения они используют в этом походе, то непременно обнаружится, что наряду с авторитаризмом и диктатурой как формами общественно-государственного устройства главным методом в экономике для них остается максимальное огосударствление любых промышленных и сельскохозяйственных производств с последующим плановым распределением произведенного продукта. Но не ощутив воздействия производительности труда и капиталовложений на качество конечного продукта, не почувствовав вкуса прибыли и горечи потерь, наемные работники, — как это предрекал Прудон, — никогда не смогут по-настоящему почувствовать себя на месте собственников, не смогут обеспечивать ни свой личный прогресс, ни развитие страны, в которой проживают. И попытки модернизировать распределительную экономику, передавая в частные руки даже отдельные крупные производства, как это происходит уже в XXI в. в

¹²⁸ Proudhon P.J. T.I — P. 202.

странах с четко выраженной автократической ориентацией, — таких, как Россия и Китай,— в очередной раз приводят к процветанию немногочисленного класса коррумпированной номенклатуры и узкой прослойки мнимых собственников, назначаемых во владение чем-либо на условиях строгой подотчетности властям.

Тотальный контроль за качеством производства, вводимый взамен рыночных отношений в попытках революционного обобществления производства во имя этого самого качества, ведет к таким же результатам: когда само обобществление, реализуемое насильственным образом, проходит «успешно», ожидаемого улучшения не наступает — качество производства в отсутствие конкуренции, наоборот, падает. Прудон предвидел и это, когда в полемике о том, о чем именно должны сообщать потребителю наносимые на товары торговые марки производителя, заявлял:

«Если вы хотите гарантировать потребителю как стоимость, так и здоровье, вы должны знать и определять все, что составляет хорошее и честное производство, следить постоянно за руками производителя, следовать за каждым его шагом. Это не он производитель; это вы, государство, настоящий производитель. / То есть вы попали в ловушку. Или вы препятствуете свободной торговле, погружаясь в производство тысячами способов; или вы объявляете себя единственным производителем и единственным продавцом. / В первом случае, досаждая всем, вы в конечном итоге возмутите всех; и рано или поздно государство будет исключено, торговые марки будут отменены. Во-втором (случае) вы повсеместно заменяете индивидуальную инициативу действиями власти, что противоречит принципам политической экономии и основанию общества»¹²⁹. «Вы изберете середину? — оканчивает рассуждение по теме Прудон, — это фаворитизм, кумовство, лицемерие, худшая из систем»¹³⁰, но это именно то, — добавим от себя, — на чем основаны автократические и диктаторские режимы по всему миру в XXI в., будь то прямые последователи коммунистических идей в Китае, косвенные — в России и Белоруссии, диктатуры в Африке, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и т. д. Малое же предпринимательство в условиях автократий и диктатур с трудом выживает под единовременным давлением государственных регуляторов и крупного капитала и оказывается не в состоянии продуцировать возникновение хоть сколько-нибудь многочисленного среднего класса, на плечах которого вознеслись и устойчиво развиваются мощные промышленные демократии Запада.

Означает ли это, что рыночные условия, конкуренция и диктат то и дело нарождающихся монополий — лучшее из того, что может предложить самому себе человечество? Разумеется нет. Но в течение длительного периода в прошлом и на обозримое будущее это единственная альтернатива регулируемой экономике, существующей в условиях жесткого диктата со стороны властной номенклатуры. «Или конкуренция, то есть монополия и то, что из этого следует; или эксплуатация

¹²⁹ Proudhon P.J. T.I — P. 327.

¹³⁰ Proudhon P.J. T.I — P. 327.

государством, то есть высокая стоимость труда и постоянное обнищание; или, наконец, уравнительное решение, иными словами — организация труда, которая ведет к отрицанию политической экономии и уничтожению собственности»¹⁵¹, — заметил по этому поводу Прудон.

Маркс в середине XIX в. еще только набрасывал эскизы будущей катастрофы, приближению которой сам же и способствовал, а Прудон как будто предвидел, что и в будущем любая кургузая модернизация старых, провалившихся практик коммунизма, подобная косметическому ремонту в квартире, приведет лишь к ретушированию диктата, образованию уродливых подобий частной инициативы и рыночной экономики и в конечном итоге — к тому же повальному обнищанию наемного большинства. Новым и удивительным для Прудона в этом однообразном процессе наверняка оказалось бы то, насколько упорно и цинично пребывание своих граждан в нищете автократические правители и диктаторы по всему миру будут оправдывать вынужденными расходами на оборону, спровоцированными мифическим противостоянием с промышленно развитыми странами с демократической в политике и рыночной в экономике ориентацией. Круг замкнулся: для большинства граждан, проживающих в условиях автократии, тяжелое существование в условиях естественного, исторического феодализма прошлого фактически сменилось на такое же убогое существование в условиях феодализма нового образца — заретушированного, изображающего современность, но остающегося таким же мерзким, как и прежде, по своему существу. Следовать в этом направлении сегодня, невзирая на уже накопленный громадный опыт провалов, то есть вновь и вновь затягивать в нищету миллионы, — значит совершать настоящее преступление.

* * *

Что касается технической стороны вопроса, то известно о двух первых изданиях «Философии нищеты» Прудона на французском — от 1846 и 1850 гг. Текст второго, дополненного и исправленного Прудоном издания послужил основой для перевода. Что касается качества самого перевода, предупреждаем, что Прудон, во-первых, излагал свои мысли далеко не всегда в соответствии с общепринятыми правилами и обычаями, а во-вторых, далеко не все правила изложения, характерные для его времени, получили свое продолжение во времени настоящем. Мы же, в свою очередь, не считали возможным и необходимым исправлять Прудона в соответствии с современными обычаями. Так, к примеру, продолжение фраз после точки Прудон часто начинает не с прописной, а со строчной, например: «Министры, журналисты, пономари и педанты! **разве** этот мир обеспокоен проблемами социальной экономики? **разве** они слышали о конкуренции?» Так Прудон фокусирует внимание на продолжении своей мысли, и пусть так и будет (Маркс, к слову, использует тот же

¹⁵¹ Proudhon P.J. T.I — P. 218.

прием). Устаревшим является написание целых числительных с запятой, например **10,000**, но и это остается как у Прудона: подобные мелочи позволят сформировать более точное представление о филологических привычках тех времен. У Прудона также много выделений курсивом или прописными, сделанных им, разумеется, для того, чтобы акцентировать внимание на мыслях, заложенных в этих выделенных словах и словосочетаниях. Мы и эти выделения также старались бережно сохранить и перенести в русскоязычный перевод.

Однако и самый кропотливо выполненный, тщательный перевод, если он происходит вне знания существа дела, как известно, не способен передать настоящую мысль человека, особенно, если он ее записал, как Прудон, около 180 лет назад и посвятил щепетильным вопросам политической экономии и философии. Автор настоящего перевода рассчитывает, что его профессиональный опыт и знания позволили достичь результата, необходимого для понимания смыслов труда Прудона, однако заранее приносит извинения за неясность смысла некоторых переведенных частей фраз или фраз целиком: Прудон подчас ограничивается минимумом понятий, подразумевая, что об остальном читатель догадается самостоятельно, что, разумеется, далеко не всегда происходит. В целом же труд Прудона заслуживает, кажется, куда большего уважения, нежели то, которое ему оказал Карл Маркс и те русскоязычные критики времен СССР, которые позволили себе рассуждать о существовании предмета, не имея понятия даже о его форме.

Предупреждение. При прочтении первых строк пролога Прудона о «гипотезе Бога» не стоит переворачивать обложку, чтобы убедиться, что речь идет об экономических противоречиях. В дальнейшем речь пойдет именно о них, в прологе же Прудон разминается в красноречии и попытках ошеломить читателя неординарностью взглядов. Посмотрим, насколько ему это удалось ©

С благодарностью за содействие

Людмиле Васильевне Шарончиковой, Екатерине Шарончиковой и Рубену Мелик-Шахназарову.

С отдельной признательностью

главе издательства Folio Александру Красовицкому, нашедшему силы и средства для выпуска этого перевода и комментария к нему в столь непростые для печатной отрасли и всего человечества времена

Пролог

Перед тем, как войти в материал, являющийся объектом этих новых записок, я испытываю необходимость уделить внимание гипотезе, которая покажется без сомнения странной, но без которой мне не представляется возможным идти вперед и быть понятым: я хочу говорить о гипотезе Бога.

Предполагать Бога, скажут, — отрицать его. Почему вы не утверждаете?

Но разве я виноват, что вера вызывает сомнение? Если простое предположение о наличии высшего существа уже объявлено признаком слабоумия, и если из всех философских утопий эта — единственная, которую мир больше не выбирает? Разве я виноват, что лицемерие и глупость повсюду прячутся за такой ширмой? То, что некто предполагает во Вселенной неизвестную силу, которая управляет солнцами и атомами и заставляет крутиться всю машину, для него это предположение насколько необоснованное, настолько же естественное; предположение, которое невозможно проверить, но оно, однако, делает честь тому, кто его выдвинул. Но поскольку я в целях объяснения человеческих дел допускаю, со всей возможной осторожностью, вмешательство Бога, я могу быть уверенным в том, что это возмутит научную общественность и оскорбит слух: настолько наше благочестие чудесным образом дискредитировало провидение, так много шарлатанства всех расцветок оперирует этой догмой или этой выдумкой. Я видел современных верующих, и богохульство бродило по моим губам; я размышлял о народе, том самом народе, которого Бриден¹ называл лучшим другом Бога, и я содрогнулся от отрицания, которое могло меня миновать.

Терзаемый противоположными чувствами, я призвал к разуму; и только это, среди стольких догматических противоречий, диктует мне сегодня гипотезу. Догматизм априори, применительно к Богу, оставался бесплодным: кто знает, куда приведет нас гипотеза в свою очередь?

Поэтому я скажу, как именно, изучая в тишине моего сердца и вдали от других человеческих соображений таинство социальных революций, Бог, великий неизвестный, стал для меня гипотезой, — я имею в виду необходимое орудие диалектики.

¹ Жак Бриден (1701—1767), проповедник. — А.А. А-О.

I.

Если я прихожу через все последовательные преобразования к идее Бога, я считаю, что эта идея прежде всего социальная; под этим я подразумеваю, что она является скорее актом веры, возникающим в результате коллективного мышления, нежели индивидуальной концепцией. Но как и по какому случаю возникает этот акт веры? Важно определить это.

С точки зрения морали и интеллекта общество, или человек коллективный, отличается от индивидуума прежде всего спонтанностью действий, иначе говоря, инстинктом. В то время как индивидуум подчиняется или воображает, что он подчиняется только тем основаниям, о которых он полностью осведомлен и которым он в состоянии отказать или следовать им; к тому же он считает себя свободным, и тем более свободным, что он считает себя более разумным и более образованным, общество склонно к упражнениям, в которых ничто, на первый взгляд, не свидетельствует о наличии разума, но которые постепенно становятся похожими на результат воздействия высшего совета, существующего вне общества, и подталкивают его с непреодолимой силой к неизвестной сущности. Установление монархий и республик, кастовые разграничения, судебные институты и т. п. являются демонстрацией этой общественной спонтанности, последствия которой гораздо легче заметить, чем выявить принцип или объяснить их. Все усилия тех, кто вслед за Боссюэ, Вико, Гердером, Гегелем обращались к философии истории, до сих пор заключались в том, чтобы констатировать наличие провиденциальной судьбы, которая руководит всеми движениями человека. И я замечаю в связи с этим, что общество никогда не упускает возможности, прежде чем действовать, взывать к своему гению: как бы желая получить практическое указание свыше тому, что уже было воспринято интуитивно. Заклинания, оракулы, жертвоприношения, народные овалы, публичные молитвы — самая обычная форма этих запоздалых обсуждений в обществе.

Эта таинственная способность, полностью интуитивная, и, так сказать, сверх-социальная, мало или совсем не заметная в отдельных людях, но объемлющая человечество как вдохновляющий гений, является первичным фактом психологии.

Однако, в отличие от других видов животных, подчиненных как индивидуальным аппетитам, так и коллективным импульсам, человек располагает привилегией замечать и сообщать своему сознанию инстинкт или фатум, который им управляет; далее мы увидим, что он также обладает способностью проникать в него и даже воздействовать на его повеления. И первое устремление человека, охваченного энтузиазмом (божественным дыханием), — это поклонение невидимому провидению,

от которого он чувствует себя зависимым и которого он называет Богом, то есть жизнью, бытием, духом или, проще говоря, «я»: ибо все эти слова в древних языках — синонимы и омофоны.

Это Я, говорит Бог Аврааму, и Я с *Тобой...* и Моисею: Я *Сущий*. Скажи сынам Израилевым: Сущий направляет меня к вам. Эти два слова, «Сущий» и «Я», имеют в языке оригинала, наиболее религиозном из всех, которые использовали люди, одинаковый смысл¹. В другом месте, представ в качестве повелителя Моисея, он говорит: я; или же с удвоенной энергией: Я, Сущий. Кроме того, Бог Евреев является самым личным и самым добровольным из всех богов, и никто лучше него не выражает интуицию человечества.

Поэтому Бог предстает перед человеком в качестве «я», как чистая и постоянная сущность, которая возникает перед ним так же, как и монарх перед своим слугой, и который называет себя, иногда устами поэтов, законодателей и прорицателей, *tusa, potos, niten*; как Номос, иногда в качестве народной пословицы: *vox populi vox Dei* (глас народа — глас Бога). Это может быть использовано, среди прочего, чтобы объяснить, как существуют настоящие оракулы и ложные оракулы; почему некоторые индивиды после своего рождения не допускают для себя идеи существования Бога и одновременно охотно пользуются ею, если она представляется им коллективной душой; как в конечном итоге стационарные расы, такие как Китайцы, в конечном итоге теряют ее². Но, во-первых, что касается оракулов, ясно, что вся их уверенность исходит от вселенского сознания, которое их вдохновляет; и что касается идеи Бога, легко понять, почему отрицание и статус-кво также смертельны для него. С

¹ *le-hovah*, и в составе *lah*, существо; *Iao,iou-piter*, то же значение; *ha-iah*, héb. он будет; *ei*,gr. он есть; *ei-naï*, быть; *an-i*, héb. и в склонении *th-i*, я; *e-go*, *io*, *ich*, *i*, *m-i*, *m-e*, *t-ibi*, *te*, и все личные местоимения, в которых гласный *i*, *e*, *ei*, *oi* представляет личность в целом, а согласные — *m* или *n*, *s* или *t* используются для указания порядкового номера персонажей. В остальном, несмотря на спорность этих аналогий, я не возражаю против них: на этой глубине наука филолога является лишь облаком и загадкой. Что важно и что я замечаю, — так это то, что фонетические отношения имен, кажется, переводят метафизические отношения идей.

² В своих традициях китайцы сохранили память о религии, которая перестала существовать между пятым-шестым веком до нашей эры. (См. RAUTHIER, Китай, Париж, Дидо.) Еще более удивительным является то, что эти уникальные люди, теряя свой примитивный культ, похоже, поняли, что божественность есть не что иное, как коллективное «я» человеческого вида; так что на протяжении более двух тысяч лет Китай в своей популярной вере достиг бы последних результатов философии Запада. «То, что небо видит и слышит, сказано у Шу-Кинга, — это то, что люди видят и слышат. То, что люди считают достойным награды и наказания, — это то, что небеса хотят наказать и вознаградить. Существует интимная связь между небом и людьми: поэтому пусть те, кто управляют людьми, будут внимательны и сдержанны». Конфуций выразил ту же мысль по-другому: «Обрети привязанность людей, и ты получишь империю; — Потеряй привязанность людей, и ты потеряешь империю». Это общее соображение, мнение, господствующее в мире, повсюду стало откровением. Дао-те-Кинг еще более решителен. В работе, которая является лишь наметкой критики чистого разума, философ Лао-Цзы, постоянно идентифицирующий себя под именем Тао, — универсальный разум и бесконечная сущность; и даже, на мой взгляд, это постоянное отождествление принципов, которые наши религиозные и метафизические привычки настолько глубоко дифференцировали, что создает мрачность книги Лао-Цзы.

одной стороны, недостаток общения удерживает душу в животном эгоизме; с другой стороны, отсутствие движения, постепенно превращающее общественную жизнь в рутину и механизм, в конечном итоге исключает идею воли и провидения. Странная вещь! Религия, которая приходит в упадок под воздействием прогресса, погибает также от неподвижности.

Отметим, кроме того, что, относясь к расплывчатому и, так сказать, объективному сознанию универсального разума, первому откровению божественности, мы абсолютно ничего не предрекаем о самой реальности или нереальности Бога. Действительно, давайте признаем, что Бог — это не что иное, как коллективный инстинкт или универсальный разум: осталось только понять — что такое этот универсальный разум. Ибо, как мы увидим далее, универсальный разум не является частью индивидуального разума; иными словами, знание социальных законов или теории коллективных идей, хотя и выведено из фундаментальных концепций чистого разума, тем не менее остается эмпирическим, и заведомо не может быть открыто путем дедукции, индукции или синтеза. Из чего следует, что универсальный разум, к которому мы относим эти законы в качестве результатов его работы; универсальный разум, который существует, рассуждает, работает в определенной сфере и как реальность, отличная от чистого разума; точно так же, как система мироздания, хотя и созданная в соответствии с законами математики, является реальностью, отличной от математики, и из которой мы не могли бы вывести существование одной математики: из этого следует, говорю я, что универсальный разум — это именно то, что, говоря современным языком, древние называли Богом. Слово изменилось: что мы знаем о вещи?

Давайте теперь проследим за изменениями божественной идеи.

Высшее существо, созданное когда-то первым мистическим суждением, человек тотчас же обобщает с помощью другой мистики — аналогии. Бог, если можно так выразиться, только одно: оно наполняет мир.

Подобно тому, как ощущая свое социальное «я», человек приветствовал его *Автора*; аналогично, обнаруживая устремления и намерения животных, растений, родников, метеоров во всей вселенной, он приписывает каждому объекту в отдельности (а затем всему) душу, дух или гения, который руководит им, — следуя от этого обожествляющего установления, наивысшего в природе, которым является общество, к самым скромным существам, неодушевленным и неорганическим вещам. Поэтому от своего коллективного «я», взятого за высшую точку творения, до последнего атома материи, человек, следовательно, *расширяет* идею Бога, то есть идею личности и разума — как процесс создания демонстрирует, что сам Бог *расширил небо*, то есть создал пространство и время, и качества всех вещей.

Таким образом, без Бога, верховного властителя, вселенной и человека не было бы: таков промысел социальной веры. Но и без человека о Боге бы не помышляли — давайте преодолеем этого пункт — Бог бы не существовал. Если человечеству нужен

создатель, то и Богу, богам, нужно нечто не менее существенное: вся теогония, истории рая, ада и их обитателей, эти человеческие грезы, являются аналогом вселенной, которую некоторые философы назвали грезой Бога. И какое величие в этом божественном творении, общественном труде! Создание *демиургов* было стерто, уничтожено; тот, кого мы называем *Всемогущим*, был побежден; и на протяжении веков зачарованное воображение смертных отвлекалось от созерцания природы созерцанием олимпийских чудес.

Давайте выберемся из этого фантастического пространства: безжалостный разум стучит в дверь; нужно ответить на его суровые вопросы.

Кто такой Бог? — спрашивает он. Где он? Сколько его? Чего он хочет? Что он может? Что обещает? — и здесь, в пламени анализа, все божества неба, земли и ада превращаются в нечто непостижимое, бесстрастное, неподвижное, непостижимое, неразрешимое, одним словом, в отрицание всех атрибутов существования. Действительно, стремится ли человек одушевить каждый объект, либо он полагает, что вселенная управляется единой силой (из одного источника), он всегда лишь ПРЕДПОЛАГАЕТ некую бесконечную и безусловную сущность: то есть невозможно объяснить явления, которые он считает немислимыми. Тайнство Бога и разума! Чтобы сделать объект своего идолопоклонничества все более и более рациональным, верующий последовательно лишает его всего, что может сделать его реальным; и после чудес логики и гениальности атрибуты бытия оказываются такими же, как и атрибуты небытия. Эта эволюция неизбежна и фатальна: атеизм находится в основе всей теодицеи.

Давайте попробуем объяснить это.

Бог, создатель всего сущего, едва ли сам является продуктом сознания; иными словами: едва мы возвысили Бога от идеи общественного «я» до идеи вселенского «я», как тут же наша мысль принимается разрушать его под предлогом улучшения. Совершенствуйте идею Бога! Улучшайте богословские догмы! Это второе человеческое заблуждение.

Аналитический ум, неутомимый Сатана, который постоянно все изучает и подвергает сомнению, должен рано или поздно найти доказательство религиозного догматизма. Теперь, формулирует ли философ идею Бога, или объявляет ее неопределимой; приближается ли он к своей аргументации, или удаляется от нее, я говорю, что эта идея терпит поражение: и насколько невозможно, чтобы эти домыслы прекратились, настолько же необходимо, чтобы в долгосрочной перспективе идея Бога исчезла. Таким образом, атеистическое движение является вторым актом богословской драмы; и этот второй акт спровоцирован первым (актом) как следствие причины. *Небеса свидетельствуют о славе Всевышнего*, говорит псалмопевец; добавим: это же свидетельство его ниспровергает.

Действительно, в той мере, в которой человек наблюдает явления, он рассчитывает на посредников между природой и Богом: это отношения числа, образа и последовательности; органические законы, эволюции, аналогии; это некоторая цепь, в

которой явления происходят или неизменно называются одни как другие (друг другом). Он даже отмечает, что в развитии этого общества, частью которого он является, в игру вступают частные волеизъявления и совместные рассуждения; и он говорит себе, что великий Дух не воздействует непосредственно на мир и на него самого, ни произвольно и по капризу; но опосредованно, с помощью чувствительных пружин и механизмов. Приподнимая мысленно цепь явлений и причин, он помещает, в конце концов, Бога, как маятник.

Вне всех небес пребывает Бог небес,

сказал поэт. Таким образом, с первого скачка теории верховное существо возводится к функции движущей силы, стержня, краеугольного камня или, если позволено еще более тривиальное сравнение, конституционного суверена, правящего, но не управляющего, поклявшегося подчиняться закону и назначающего министров, которые его исполняют. Но под впечатлением миража, который его очаровывает, верующий не видит в этой нелепой системе, что новое доказательство возвышенности его кумира служит инструментом его же могущества и обращает его славу к мудрости людей.

Вскоре, не довольствуясь ограничением империи Всевышнего во все нарастающем почитании, решается на то, чтобы его разделить.

Если я — дух, который чувствует и излучает идеи, продолжает верующий, я также отношусь к абсолютной сущности; я свободный, создающий, бессмертный, равный Богу. *Cogito, Ergo Sum* (Я мыслю, следовательно, я существую); я думаю, следовательно, я бессмертен: вот вывод и перевод выражения *Ego Sum Qui Sum* (Я есть тот, кто я есть): философия, согласующаяся с Библией. Существование Бога и бессмертие души определяются в сознании таким же рассуждением: там человек говорит от имени вселенной, в которую он помещает свое «я»; здесь он говорит от своего собственного имени, не осознавая, что в этом закоулке он только повторяется.

Бессмертие души, настоящее расщепление божественности, происшедшее через большой промежуток после своей первичной демонстрации, казалось ересью приверженцам античных догм, не считалось доказательством божественного величия и необходимым условием вечного добра и справедливости. Без веры в бессмертие души невозможно понять Бога, говорят верующие, уподобляющиеся в этом смысле политическим теоретикам, для которых государственное представительство и неизменные и вездесущие госслужащие повсюду являются непрременными условиями монархии. Но насколько точна оплата за доктрины, настолько же вопиюще противоречивы идеи: также утверждение о бессмертии души — как скоро оно станет камнем преткновения для богословов, которые от начала времен Пифагора и Орфея тщетно пытаются согласовать божественные качества с человеческой свободой, а разум — с верой. Объект триумфа для нечестивцев!... Но иллюзия не смогла вдруг отступить: постулат о бессмертии души именно потому, что он служил ограничителем непостижимой сущности, был прогрессивен. Однако,

если человеческий разум обманывает себя частичным постижением истины, он никогда не опровергает себя, и эта настойчивость доказывает его непогрешимость. Мы получаем новое доказательство.

Делая себя подобным Богу, человек делал Бога подобным себе: эта корреляция, которая на протяжении веков характеризовалась как отвратительная, стала источником формирования нового мифа. Во времена патриархов Бог заключил завет с человеком; теперь, чтобы закрепить договор, Бог станет человеком. Он возьмет нашу плоть, наш образ, наши страсти, наши радости и наши печали, родится от женщины и умрет, как и мы. Затем, после этого безграничного унижения, человек все еще будет утверждать, что расширил идеал своего Бога, сотворив путем логического преобразования то, что он до сих пор называет создателем, хранителем, искупителем. Человечество еще не говорит: я и есть Бог; такая узурпация привела бы в ужас его благочестие; оно говорит: Бог во мне, Эммануил, *nobiscum Deus* (Бог с нами). И в то время, когда философия с гордостью и общественное сознание с ужасом закричали в едином порыве: боги уходят, *excedere deos*, начался период восемнадцати веков горячего поклонения и сверхчеловеческой веры.

Но близится роковой предел. Любая власть, которая позволяет себя ограничить, закончится демагогией; любое божество, которое определяет себя, превращается в столпотворение. Христалатрия — последний термин этой длительной эволюции человеческой мысли. Ангелы, святые, девственницы царят на небесах вместе с Богом, говорит катехизис; демоны и злодеи живут в аду вечных мучений. У общества цвета ультрамарин есть свои левые и правые: настало время завершить уравнение, чтобы эта мистическая иерархия спустилась на землю и показала себя в своей реальности.

Когда Милтон изображает первую женщину, которая смотрится в фонтан и с любовью протягивает руки к своему собственному образу, как будто хочет поцеловать его, он дает направление человеческому роду. — Ты обожаешь Бога, о человек! Этот Бог, которого ты сделал добрым, справедливым, всемогущим, мудрым, бессмертным и святым, — это ты сам: этот идеал совершенства — твой собственный образ, очищенный в пламенеющем зеркале твоего сознания. Бог, природа и человек — тройной аспекта одного и того же; человек — это сам Бог, постигающий себя через тысячу эволюций; в Иисусе Христе человек почувствовал Бога, и христианство воистину является религией Бого-человека. Нет другого Бога, кроме того, который от самого начала сказал: Я; нет другого Бога, кроме Меня.

Таковы последние выводы философии, которая выдыхается, раскрывая тайну религии и свою собственную тайну.

II.

Кажется, что все закончено; похоже, что человечество перестало обожать и мистифицировать самое себя, богословская проблема откладывается навсегда. Боги ушли: человеку остается только скучать и умирать в своем эгоизме. Какое страшное одиночество распространяется вокруг меня и проникает в глубину моей души! Мое волнение походит на разочарование, и с тех пор, как я сделался Богом, я вижу себя только в качестве тени. Возможно, я уникален, но мне очень трудно воспринимать себя абсолютным; и если я не абсолютен, то я — всего лишь половина идеи.

Меньшая часть философии отдаляется от религии, говорит ироничный мыслитель, большая часть — возвращается к ней. — Это наблюдение — унижительная правда. Вся наука развивается в течение трех последовательных эпох, которые можно назвать, сравнивая их с великими эпохами цивилизации, эпохой религии, эпохой софистики, эпохой науки¹. Таким образом, алхимия соответствует религиозному периоду науки, позднее названной химией, окончательный замысел которой еще не обнаружен; точно так же, как астрология соответствует религиозному периоду другой научной конструкции, астрономии. Теперь, после 60-летних насмешек над философским камнем, химики, движимые опытом, больше не осмеливаются отрицать возможность трансформации тел; в то время как астрономы, ведомые механизмом мироустройства, также подозревают о существовании законов его организации (то есть нечто схожее с астрологией). Разве это не тот случай, чтобы сказать, как философ, которого я цитировал ранее, что, если меньшая часть химии отдаляется от теории существования философского камня, ее большая часть, наоборот, приближается к ней; точно так же, если небольшая часть астрономов

¹ См., среди прочего, Auguste Comte, Курс философии позитива, и П.-Ж. Прудон, О создании порядка в человечестве. — Этот труд Прудона, на который он здесь ссылается, также до сих пор отсутствует в переводе на русский. — А.А.А-О.

насмехается над астрологами, ее большая часть астрологам верит?²

Я, конечно, менее склонен к вере в чудеса, чем большинство атеистов, но я и не могу

² Я не намерен положительно высказываться здесь о трансмутируемости тел или обозначать ее как цель для исследований; еще менее я претендую на то, чтобы говорить, каким должно быть мнение ученых по этому вопросу. Я только хочу указать на тот вид скептицизма, который заставляет рождаться в любом непредубежденном разуме самые общие выводы химической философии, или, лучше сказать, несовместимые гипотезы, которые поддерживают эти теории. Химия — это действительно антагонизм разума: со всех сторон она затрагивает фантастику; и чем больше опыт заставляет нас ее узнавать, тем больше она оказывается окруженной непостижимыми тайнами. Это размышление, которое мне только что было навеяно чтением «Записок о химии» г-на Либиха (Париж, Масгана, 1845, пер. Берте-Дюпини и Дюбрей-Элион).

Таким образом г-н Либих, изгнав из науки гипотетические причины и все сущности, допущенные древними, такие, как творческая сила материи, ужас пустоты, ректорский дух (*l'esprit recteur*) и т.д. (с. 22), немедленно признает, в качестве условия для понимания химических явлений, ряд не менее темных сущностей, — жизненную силу, химическую силу, электрическую силу, силу притяжения и т.д. (с. 146, 149). Это похоже на осознание свойств тел, как осознание психологами способностей души под именами свободы, воображения, памяти и т.д. Почему бы не придерживаться элементов? Почему, если атомы весят сами по себе, как, кажется, полагает г-н Либих, они не могут быть сами по себе электрическими и существовать сами по себе? Любопытная вещь! Материальные явления, подобно явлениям разума, становятся понятными, только если предположить, что они порождаются непостижимыми силами и подчиняются противоречивым законам: это то, что появляется на каждой странице книги г-на Либиха.

Материя, по словам г-на Либиха, по существу инертна и лишена какой-либо спонтанной активности (с. 148); как же тогда атомы что-то весят? Разве гравитация, присущая атомам, не является правильным, вечным и спонтанным движением материи? и то, что мы получим в качестве состояния покоя, не будет ли это скорее балансом? Зачем в этом случае иногда предполагать инерцию, противоречащую определениям, иногда внешнюю виртуальность, о которой ничто не свидетельствует?

Из того факта, что атомы *весят*, г-н Либих делает вывод, что они *неделимы* (с. 58). Каково суждение! Гравитация — это только сила, то есть вещь, которая не поддается осмыслению и которая позволяет воспринимать только ее явления; следовательно, это вещь, к которой неприменима концепция делимости и неделимости; и из наличия этой силы, из гипотезы неопределенной и нематериальной сущности мы заключаем, что существует неделимая материальность!

Кроме того, г-н Либих признает, что *нашему разуму невозможно представить* абсолютно неделимые частицы; он также признает, что факт этой неделимости не был доказан; но он добавляет, что наука не может обойтись без этой гипотезы: так что, согласно признанию мэтров, химия имеет в качестве отправной точки фикцию, которая противоречит разуму настолько, насколько она чужда опыту. Какая ирония!

Массы атомов, говорит М. Либих, неравны, потому что их объемы неравны: однако невозможно доказать, что химические эквиваленты выражают относительный вес атомов, или, другими словами, то, что мы увидим в результате расчета атомных эквивалентностей в качестве атома, составлено не из множества атомов. Все это означает, что больше материи весит больше, чем меньше материи; и поскольку гравитация является сущностью материальности, будет сделан обязательный вывод о том, что гравитация везде идентична сама по себе, в материи также существует тождество; что различие простых тел происходит или из-за различных видов соединений атомов или из-за различных степеней молекулярной конденсации, и что в глубине атомы являются трансмутируемыми, чего г-н Либих не допускает.

«У нас, — по его словам, — нет оснований полагать, что элемент преобразуется в другой элемент (с. 155).» Откуда это известно? Причины веры в это заключение вполне могут существовать и без того, чтобы вы замечали, и нет уверенности в том, что ваш разум находится в этом отношении на уровне вашего опыта. Но давайте признаем отрицательный аргумент господина Либиха, что из этого следует? То, что за пятьдесят шесть исключений, которые до сих пор оставались неснижаемыми, вся материя находится в постоянной метаморфозе. Тогда закон нашего разума предполагает в природе единство вещества, а также единство силы и единство системы; более того, ряд химических соединений и самих

не думать, что истории о чудесах, предсказаниях, волшебстве и т. п., не что иное, как искаженные рассказы о необычайных эффектах, произведенных определенными скрытыми силами или, как мы привыкли говорить, оккультными силами. Наша наука все еще настолько груба и полна недобросовестности; наши ученые демонстрируют столько нахальства при минимуме знаний; они настолько бесстыдно отрицают факты, которые смущают их, чтобы защитить мнения, которыми они пользуются, что я не доверяю их умам так же, как не доверяю суевериям. Да, я убежден, наш нынешний вульгарный рационализм — это начало периода, который благодаря науке станет поистине *невероятным*; вселенная, на мой взгляд, не что иное, как лаборатория магии, где нужно быть готовым ко всему... Иными словами, я возвращаюсь к главной теме.

Следовательно, было бы заблуждением, если представить себе такое после выводов, которые я сделал о трансформациях религии, что метафизика произнесла свое последнее слово о двойной загадке, выраженной в этих четырех словах: существование Бога, бессмертие души. Здесь, как и везде, самые передовые и наиболее устоявшиеся выводы разума, те, которые, кажется, навсегда решили теологический вопрос, возвращают нас к изначальному мистицизму и подразумевают существование новых данных невероятной философии. Критика религиозных взглядов заставляет нас насмехаться сегодня и над самими собой, и над религиями; однако же резюме этой критики — не что иное, как воспроизводство проблемы. Человеческий род, в тот момент, как я это пишу, находится на грани признания и подтверждения чего-то, что будет эквивалентом древнему представлению о Божественности; и это будет уже не спонтанным стремлением прошлого, а отражением непобедимой диалектики.

Если мы отвергаем спонтанное образование зародышей, мы должны признать их вечность; и поскольку, с другой стороны, геология доказывает, что земной шар не заселен ничем вечным, мы вынуждены признать, что в какой-то момент вечные зародыши животных и растений вылупились, в отсутствии

простых тел неминуемо приведет нас к этому. Как тогда отказаться следовать до конца пути, открытого наукой, и допустить гипотезу, которая является роковым выводом самого эксперимента?

Так же, как г-н Либих отрицает трансмутируемость элементов, он отвергает спонтанное образование зародышей. Тогда, если мы отвергаем спонтанное образование зародышей, мы должны признать их вечность; и поскольку, с другой стороны, геология доказывает, что земной шар не заселен ничем вечным, мы вынуждены признать, что в какой-то момент вечные зародыши животных и растений вылупились, в отсутствии отца или матери, на поверхности земного шара. Таким образом, отрицание стихийных поколений возвращает гипотезу этой спонтанности: что еще столь ненавистная метафизика предлагает более противоречивого?

Да не верит никто по этой причине, что я отрицаю ценность и достоверность химических теорий, ни то, что атомная теория кажется мне абсурдной, ни то, что я разделяю мнение эпикурейцев о стихийных поколениях. Все, что я хочу еще раз подчеркнуть, это то, что с точки зрения принципов химия нуждается в крайней терпимости, поскольку она возможна только при условии существования определенного количества домыслов, которые противоречат разуму и опыту, и которые разрушают друг друга.

отца или матери, на поверхности земного шара

Постараюсь пояснить так, в нескольких словах, чтобы меня услышали.

Если есть точка, в которой философы, несмотря на то, чем они обладают, наконец пришли к согласию, это, несомненно, различие между разумом и необходимостью, между субъектом и объектом мысли, между собой и отрицанием себя; между духом и материей, проще говоря. Я прекрасно понимаю, что все эти термины не выражают ничего настоящего и истинного, что каждый из них демонстрирует лишь отрыв от абсолюта, который и является настоящим и истинным, и что, взятые по отдельности, они все в равной степени содержат в себе противоречие. Но не менее верно и то, что абсолюта совершенно непостижим для нас, что мы осознаем его только в его противоречивых терминах, которые не выдерживают давления нашего эмпирического опыта; и который, если единение помогает нам обрести веру, то двойственность является первым условием науки.

Итак, кто думает, а кто уже подумал? Что такое душа, что такое тело? Я вызываюсь избегать этого дуализма. Есть как сущности, так и идеи: первые демонстрируют природные различия, подобно вторым в их понимании; так же, как идеи Бога и бессмертия души, несмотря на их идентичность, возникли последовательно и противоречиво в философии, все же, несмотря на их слияние в абсолюте, также «я» и «не-я» возникают отдельно и противоречиво в природе, и мы располагаем одновременно как мыслящими сущностями, так и теми, которые не способны мыслить.

Теперь, кто бы ни пытался думать об этом, знает сегодня, что такое различие, каким бы реальным оно ни было, является самым противоречивым и абсурдным. Бытие не может быть понято так же без учета свойств духа, как и без учета свойств материи: так что, если вы отрицаете дух, исходя из того, что он не подпадает ни под одну из категорий времени, пространства, движения, основательности и т. д., вы, кажется, одновременно лишаетесь всех атрибутов, которые составляют реальность, и я, в свою очередь, отрицаю материю, которая предстает передо мной лишь в своей пассивности, оцениваемой только по ее формам, и которая (своевольная и свободная) нигде не проявляется в качестве причины и не проявляется полностью как субстанция: и мы приходим к чистому идеализму, то есть к небытию. Но небытие противостоит чему-то — не знаю, чему, но тому, что существует и мыслит, объединяясь в состояние (не могу сказать, в какое) синтеза, или, наоборот неизбежного разрыва всех признаков бытия. Поэтому мы вынуждены начать с дуализма, чьи термины, которые нам хорошо известны, ошибочны, но которые, будучи для нас условием истины, обязывают нас; одним словом, мы вынуждены начать с Декарта и с эго человеческого рода, то есть с разума.

Но поскольку религии и философии, растворенные в анализе, слились с теорией абсолюта, мы так и не узнали лучше — что же такое дух, и мы отличаемся в этом от предков лишь богатством языка, которым мы прикрываем неизвестность,

которая нас окутывает. Только в то время, как для людей прошлых времен разум проявлялся извне, для современников, похоже, он проявляется изнутри. Теперь, независимо от того, помещаем ли мы его внутри или снаружи, как только мы утверждаем его в силу порядка, мы должны признать его везде, где проявляется порядок, или не признавать его нигде. Нет причин приписывать больше разума голове, которая произвела Иллиаду, чем той, которая открыла массу вещества, кристаллизующуюся в октаэдры; и, наоборот, настолько же абсурдно связывать систему мира с физическими законами, не принимая во внимание персональное это — так же, как приписывать победу при Маренго стратегическим комбинациям, не принимая во внимание Первого консула. Единственное отличие, которое можно отметить, это то, что в последнем случае мыслящее «я» локализовано в мозгу Бонапарта; тогда как в отношении вселенной это «я» не располагает особым местом и распространено повсюду.

Материалисты считали, что они придерживались противоположного мнения, утверждая, что человек, уподобляя вселенную своему телу, завершил это сопоставление, присвоив вселенной душу, подобную той, которую он считал основой своего бытия и своей мысли; таким образом, все аргументы существования Бога сводились к аналогии тем более ошибочной, поскольку сам термин сравнения был гипотетическим.

Разумеется, я не собираюсь защищать старый силлогизм: любая договоренность предполагает наличие упорядоченного разума; в мире существует замечательный порядок; следовательно мир — продукт разума. Этот силлогизм, столь часто используемый со времен Иова и Моисея, далекий от того, чтобы быть решением, — не что иное, как формула с неизвестным, которую предстоит решить. Мы прекрасно знаем, что такое порядок; но мы абсолютно игнорируем то, что мы подразумеваем под словом душа, дух или разум: иначе как мы можем логически вывести из присутствия одного существование другого? Поэтому я буду отвергать (существование Бога) вплоть до момента, пока не получу дополнительную информацию о предполагаемом доказательстве его существования, подкрепленном самим миропорядком; и я не увижу в этом подтверждении ничего иного, кроме философского уравнения. От концепции порядка до утверждения разума можно заполнить целую метафизическую пропасть; я не стану вновь демонстративно обсуждать проблему.

Но не об этом речь. Я хотел заметить, что человеческий разум был насильно приведен к разделению бытия внутри меня и вовне меня, в рассудке и материи, в душе и теле. Теперь тот, кто замечает исключительно возражение материалистов, доказывает, что именно оно (это возражение) отрицает в качестве объекта? Человек, обнаруживающий в себе духовный принцип и материальный принцип, что он, в свою очередь, провозглашает, кроме этой двойной сущности, приводя свидетельство подлых законов? Отметим несостоятельность материализма: он отрицает и вынужден отрицать, что человек свободен; следовательно, чем меньше свободы у человека, тем важнее становится его высказывание, и его следует рассматривать как выражение истины. Когда я слышу эту машину, которая говорит мне: я есть душа, и я

есть тело; хотя такое откровение поражает меня и смущает, оно приобретает в моих глазах авторитет, несравненно больший, чем у материалиста, который, исправляя сознание и природу, обязуется заставить их сказать: я материя и ничего, кроме материи, а разум — это только материальная способность познания.

Что будет, если, перейдя в наступление, я продемонстрирую, насколько убеждение о существовании тел или, иными словами, реальности чисто телесного характера является несостоятельным? — Материя, говорят, непроницаема. — Непроницаема для чего? Я, без сомнения, спрошу самого себя; ибо другие не осмелятся обратиться к разуму, поскольку это означало бы признать то, что хотелось бы отринуть. К кому я обращаю этот двойной вопрос: что вы знаете? И что это означает?

1) Непостижимость, с помощью которой пытаются охарактеризовать материю, является лишь гипотезой невнимательных физиков, огрубленным выводом из поверхностного суждения. Опыт демонстрирует бесконечную делимость материи, бесконечную расширяемость, беспредельную пористость, проницаемость для тепла, электричества и магнетизма, а также ее неопределенные свойства, взаимные влияния и бесчисленные преобразования: все то, что несовместимо с данными о непроницаемости. Эластичность, которая лучше, чем любое другое свойство материи, может привести, подобно пружине, или, наоборот, механизму торможения, привести к непроницаемости, варьируется в зависимости от тысячи обстоятельств и полностью зависит от молекулярного притяжения: тогда что может быть более непримиримым с непроницаемостью, чем это притяжение? Наконец, существует наука, с помощью которой можно окончательно установить *свойство проницаемости материи*: это химия. В самом деле, то, что мы называем химическим составом, означает ли оно же проницаемость³ ... короче говоря, мы знаем только формы материи; что касается вещества, — нет. Как же тогда можно убеждать в реальности невидимого, неосязаемого, неуязвимого, все время меняющегося, ускользающего,

³ Химики различают состав смеси так же, как логики отличают связь идей от их синтеза. Правда, однако, что, по мнению химиков, состав все равно будет представлять собой только смесь, или, скорее, агрегацию, не более случайную, но систематическую, — из атомов, которые будут производить различные соединения только благодаря разнообразию их расположения. Но это все еще только совершенно бесполезная гипотеза, гипотеза, которая ничего не объясняет и даже не отличается логикой. Как чисто цифровое или геометрическое различие в составе и форме атома создает такие разные физиологические свойства? Как, если атомы неделимы и непроницаемы, их соединение, ограниченное механическими эффектами, не оставляет их, по своей сути, неизменными? Где связь между предполагаемой причиной и следствием?

Поостережемся нашей интеллектуальной перспективы: существуют химические теории, подобные системам психологии. Размышление, направленное на то, чтобы понять явления, опирается на атомы, которые оно не видит и никогда не увидит, как на эго, которое оно больше не воспринимает: оно относится ко всем категориям; то есть оно различает, индивидуализирует, конкретизирует, перечисляет, противопоставляет то, что, будучи материальным или нематериальным, глубоко идентично и неразличимо. Материя, как и разум, играют для нас всевозможные роли; и поскольку их метаморфозы не являются произвольными, мы берем у них тему для построения этих психологических и атомных теорий, истинных, поскольку, условно говоря, они точно представляют для нас серию явлений; но в корне неверных с момента, как они претендуют на реализацию их абстракций и делают буквальные заключения.

доступного лишь для мысли, которой остаются видимой лишь смена маскарадных костюмов? Материалист! Я позволяю вам опробовать реальность ваших ощущений: что касается того, что их вызывает, то все, что вы можете сказать об этом, подразумевает следующее соответствие: что-то (что вы называете материей) является результатом ощущений, которые ведут к еще чему-то (что лично я называю рассудком).

2) Но откуда берется это предположение, что ничто не подтверждает (что не соответствует действительности) непроницаемости материи, какой в нем смысл?

В этом проявляется триумф дуализма. Материя объявляется непроницаемой — не так, как материалисты и толпа себе это представляют, исходя из своих ощущений, а сознательно. Это «я», непостижимая сущность, которая, чувствуя себя свободной, отчетливой и постоянной, и встречая вонне другую сущность, также непостижимую, но также отчетливую и постоянную, несмотря на ее трансформации, исходя из ощущений и идей, подсказывает ей, что «не-я» также расширено и непроницаемо. Непроницаемость — это фигура речи, образ, под которым мысль, отделенная от абсолюта, представляет материальную реальность, так же отделенную от абсолюта: но эта непроницаемость, без которой материя исчезает, является при более пристальном изучении не чем иным, как спонтанным суждением о сокровенном смысле, заведомой метафизикой, неподтвержденной гипотезой... разума.

Таким образом, предположим, что философия, отвергая богословский догматизм, одухотворяет материю или материализует мысль, идеализирует бытие или реализует идею; «я», идентифицирующее сущность и причину, везде подменяет (собой) все фразы, которые ничего не объясняют и ничего не означают: это всегда возвращает нас к вечному дуализму, и, исходя из требования верить самим себе, обязывает нас верить в Бога, если не в неких духов. Это правда, что, возвращая дух к природе, в отличие от древних, которые их отделяли друг от друга, философия привела к этому известному умозаключению, в котором обобщены почти все плоды ее поисков: дух познается в человеке, тогда как нам кажется, что *он не познается*. — «Тот, кто бодрствует в человеке, кто мечтает в животном, и кто спит в камне...», — сказал философ.

Философия в свой последний час, следовательно, знает не больше, чем в миг своего рождения: как если бы она появилась в мире только для того, чтобы проверить слова Сократа, она уверяет нас, торжественно прикрываясь похоронным одеянием: я знаю только то, что я ничего не знаю. Что я говорю? Философия знает сегодня, что все ее суждения основаны на двух одинаково сомнительных, одинаково невозможных, но также одинаково необходимых и роковых гипотезах — материи и духа. Таким образом, хотя ранее религиозная нетерпимость и философские разногласия, распространявшие повсюду невежество, оправдывали сомнение и провоцировали похотливую беспечность, торжество отрицания по всем пунктам больше не допускает этого сомнения; мысль, свободная от всех препятствий, но побежденная своими собственными успехами, вынуждена утверждать то, что

ей кажется явно противоречивым и абсурдным. Дикари говорят, что мир — это большой талисман, охраняемый большим духом (маниту). В течение тридцати веков поэты, законодатели и мудрецы цивилизации, передавая из века в век философскую лампу, не написали ничего более возвышенного, чем этот промысел веры. И здесь, в конце этого долгого заговора против Бога, который назвал себя философией, эмансипированный разум приходит к тому же выводу, что и разум дикаря: вселенная — это «не-я», воплощенная в «я».

Философия в свой последний час знает не больше, чем в миг своего рождения: как если бы она появилась в мире только для того, чтобы проверить слова Сократа, она уверяет нас, торжественно прикрываясь похоронным одеянием: я знаю только то, что я ничего не знаю

Поэтому человечество неизбежно предполагает существование Бога: и если в течение длительного периода, который заканчивается в наше время, оно верило в реальность своей гипотезы; если оно обожало непостижимый объект; если, осознав этот акт веры, оно сознательно, но уже не так свободно, настаивает на этом верховном существе, о котором оно знает, что это существо является лишь олицетворением его собственной мысли; если оно (находится) накануне того, чтобы возобновить свои магические заклинания, то следует полагать, что такое удивительное наваждение скрывает такую тайну, которая заслуживает того, чтобы быть совершенной.

Я говорю «наваждение» и «тайна», но без претензии на отрицание сверхчеловеческого содержания идеи Бога, так же, как не допуская необходимости новых символов, я имею в виду новую религию. Ибо, если нет никаких сомнений в том, что человечество в своем утверждении Бога или всего, чего хотите, под именем «я» или духа, невозможно также отрицать, что человечество самоутверждается так же, как оно познает себя; это проистекает (логически) из всех мифологий так же, как из всех религиозных доктрин. И поскольку, кроме прочего, это утверждение неопровержимо, оно, несомненно, связано скрытыми сообщениями, которые являются, насколько это возможно, научно точными.

Иными словами, атеизм, или, говоря по-другому, гуманизм, истинный во всей своей критической и отрицательной ипостаси, не был бы, — если бы он остановился на человеке таком, каков он есть от природы, если бы он отклонил как суждение противоречивое это изначальное утверждение человечества, что оно является дочерью, эманацией, образом, отражением или глаголом Бога, то гуманизм, я бы сказал, стал бы, если бы он таким образом отрицал свое прошлое, лишь еще одним противоречием. Поэтому мы обязаны предпринять критику гуманизма, то есть проверить, удовлетворяет ли человечество, рассматриваемое в целом и во все периоды его развития, божественной идее и выведенным дедуктивно всем гиперболическим и фантастическим атрибутам Бога; удовлетворяет ли оно им во всей полноте бытия, удовлетворяет ли оно самое себя. Одним словом, мы вынуждены выяснить, стремится ли человечество к Богу, в согласии с древней догмой, или оно

само становится Богом, как утверждают современники. Возможно, в конце мы обнаружим, что две системы, несмотря на их видимое противостояние, на самом деле в то же время и в своей основе идентичны: в этом случае непогрешимость человеческого разума в его коллективных проявлениях, как и в его помыслах, будет высочайше подтверждена. Одним словом, пока мы не проверим на человеке гипотезу Бога, атеистическое отрицание останется неподтвержденным.

Мы вынуждены выяснить, стремится ли человечество к Богу, в согласии с древней догмой, или оно само становится Богом, как утверждают современники. Возможно, в конце мы обнаружим, что две системы, несмотря на их видимое противостояние, на самом деле в то же время и в своей основе идентичны

Таким образом, предстоит продемонстрировать научное, то есть эмпирическое доказательство идеи Бога: к тому же такая демонстрация никогда ранее не предпринималась. Богословие, основывающееся на авторитете своей мифологии, философия, оперирующая своими категориями, Бог, остающийся в трансцендентальном состоянии, то есть недоступным для понимания, и неизменно существующая гипотеза.

Она существует, говорю я, эта гипотеза, более живучая и беспощадная, чем когда-либо. Мы приблизились к одному из этих роковых периодов, когда общество, пренебрегающее прошлым и обеспокоенное будущим, подчас азартно принимающее настоящее, оставляя немногим мыслителям-одиночкам позаботиться о новой вере; подчас взывает к Богу из бездны своих удовольствий и просит дать знамение, или ищет в созерцании своих революций, как во внутренностях жертвы, секреты своих судеб.

Что еще к этому добавить? Гипотеза Бога является законной, потому что она основана на самом человеке: следовательно, никто не может упрекнуть меня. Самое малое, что может любой верующий, это предоставить мне предположение (догадку) о том, что Бог существует; тот же, кто это отрицает, будет вынужден предоставить мне дополнительно, поскольку он это сделал до меня, все, что подтвердит это отрицание; что касается сомневающегося, то для него достаточно поразмыслить мгновение — чтобы понять, что в своем сомнении он непременно — не знаю, как, но рано или поздно, обязательно призовет Бога.

Но если я имею право, в качестве размышления, предполагать наличие Бога, я должен заслужить право утверждать это (с уверенностью). Другими словами, если моя гипотеза существует неотвратно, то на данный момент это все, на что я могу претендовать. Потому что утверждать — значит определять; при том, что любое определение, чтобы быть правдой, должно быть доказано эмпирически. Действительно, кто говорит об определении, тот говорит о связи, обусловленности, опыте. Тогда, следовательно, определение концепции Бога должно происходить для нас из эмпирической демонстрации, мы должны воздерживаться от всего, что в

поисках этого верховного неизвестного не получено опытным путем, — под страхом впасть в богословские противоречия и, как следствие, привести к возрождению атеистических протестов.

III.

Осталось только сказать, как именно, — если речь идет о книге по политэкономии, — я должен оставить фундаментальную гипотезу всей философии.

И, во-первых, для создания репутации общественной науки мне необходима гипотеза о Боге. — Когда астроном, чтобы объяснить систему мироустройства, полагается исключительно на то, что видит, и допускает, упрощая вульгарно, небесный свод, плоскую землю, солнце размером с шар и, описывая кривизну в атмосфере с востока на запад, он полагается на непогрешимость чувств, за исключением того, чтобы позднее исправить, по мере наблюдения, данность, от которой он обязан отталкиваться. Дело в том, что на самом деле астрономическая философия не могла *заранее* допустить, что чувства обманывают нас, и что мы не видим того, что видим: что произойдет, если исходить из этого принципа, с достоверностью астрономии? Но результат воздействия чувств мог бы, в некоторых случаях, исправляться самостоятельно, власть чувств остается непоколебимой, а астрономия — лишь возможной.

Точно так же общественная философия не допускает заранее, что человечество в своих действиях не может ни обмануть, ни быть обманутым: без этого во что превратится авторитет человеческого рода, то есть авторитет разума, синонимичный основанию верховенства народа? Но она (философия) считает, что человеческие суждения, всегда верные в настоящее время и непосредственно, могут последовательно дополнять и просвещать друг друга посредством накопления идей — так, чтобы всегда согласовывать главный вывод с частными и расширять сферу определенности на неопределенное время: что всегда подтверждает авторитет человеческих суждений.

Итак, первое разумное суждение, преамбула любого политического устройства, в поисках принципа, обязательно таково: есть Бог; что означает: общество управляется советом, предварительным обсуждением, интеллектом. Это суждение, которое исключает случай, является, следовательно, тем, что предоставляет возможность существования социальной науки; и любое историческое и позитивное изучение социальных фактов, предпринимаемое с целью улучшения и прогресса, должно предполагать наряду с существованием народа и существование Бога, если только мы не опровергнем позднее это суждение.

Таким образом, история обществ является для нас лишь долгим определением идеи Бога, раскрытием предназначения человека. И в то время как древняя мудрость

устанавливала зависимость от произвольного и фантастического представления о божественности, угнетая рассудок и сознание и удерживая развитие волей невидимого хозяина; — новая философия, переворачивая способ, ниспровергая авторитет Бога так же, как авторитет человека, и не принимая никакого другого ига, кроме власти фактов и доказательств, заставляет все сходиться к теологической гипотезе, как к последней из ее проблем.

Таким образом, человеческий атеизм — это последний предел морального и интеллектуального освобождения человека и, стало быть, последняя фаза философии, служащая проходом к реконструкции или научной проверке всех разрушенных догм.

Мне нужна гипотеза Бога — не только, как я только что сказал, чтобы придать смысл истории, но и чтобы узаконить реформы, которые будут осуществляться именем науки, в государстве.

Человеческий атеизм — это последняя фаза философии, служащая проходом к научной проверке всех разрушенных догм. Мне нужна гипотеза Бога — не только, чтобы придать смысл истории, но и чтобы узаконить реформы, которые будут осуществляться именем науки, в государстве

Предположим, что мы рассматриваем Божественность как нечто внешнее по отношению к обществу, поскольку она модерирует воздействие сверху (мнение беспочвенное и скорее иллюзорное); — предположим, что мы считаем ее имманентной, пребывающей внутри общества и идентичной этой безличной и бессознательной причине, которая, подобно инстинкту, заставляет цивилизацию двигаться (хотя безличность и невежество претят идее разума); — предположим, наконец, что все, что происходит в обществе, является результатом взаимосвязи его элементов (системы, вся заслуга которой состоит в том, чтобы превратить актив в пассив, сделать разум необходимостью или, что то же самое, принять закон за основу): из этого всегда следует, что проявления социальной активности, необходимо возникающие перед нами, или как признаки воли высшего существа, или как некий язык, присущий всеобщему и безличному разуму, или, наконец, как вехи необходимости, эти проявления станут для нас абсолютной властью. Ряды этих проявлений связаны во времени так же хорошо, как в сознании, свершившиеся факты предопределяют и узаконивают факты, которым предстоит совершиться; наука и судьба пребывают в согласии; все, что происходит, исходит из здравого смысла, и, взаимнообразно, — из опыта происходящего; наука имеет право участвовать в управлении, а то, что основывается на ее компетенции, оправдывает ее вмешательство в качестве суверенного.

Наука, выраженная, признанная и воспринимаемая единогласно как божественная, является царицей мира. Таким образом, благодаря гипотезе Бога, любая текущая или косная оппозиция, любой конец недопустимости, предлагаемый богословием, традицией или самомнением, оказывается безапелляционно и бесповоротно

отвергнутым.

Мне нужна гипотеза Бога, чтобы продемонстрировать связь, объединяющую цивилизацию с природой.

В самом деле, эта удивительная гипотеза, согласно которой человек уподобляется абсолюту, включая идентичность законов природы и законов разума, позволяет видеть в человеческом производстве творчество, объединяет человека и освоенный им земной шар, и в ходе эксплуатации этого пространства, в котором нас расположило провидение, и которое, таким образом, частично становится нашим производением, заставляет нас понять начало и конец всего. Следовательно, если человечество и не является Богом, оно тем не менее является его продолжением; или, если выразиться по-другому, то, что человечество делает сегодня обдуманно, точно так же, как и то, что оно предпринимает инстинктивно, обусловлено необходимостью. Во всех этих случаях и независимо от того, какого мнения кто-либо придерживается, одно остается несомненным — единство действия и правила. Разумные существа, актеры, ведомые разумом, мы можем смело проследовать от нас самих ко вселенной и к вечности, и, когда мы окончательно самоорганизуемся, с гордостью сказать: создание объяснено.

Таким образом, область исследования философии определена: традиция является отправной точкой для всех размышлений о будущем; утопия отвергнута навсегда; изучение «я», переносимого из индивидуального сознания в проявления общественной воли, обретает характер объективности, которого оно до сих пор было лишено; и, когда история становится психологией, богословие антропологией, естественные науки метафизикой, теория, полагающаяся на рассудок, происходит не из пустоты интеллекта, а из широко и непосредственно наблюдаемых неисчислимых форм природы.

Мне нужна гипотеза Бога, чтобы свидетельствовать о моей доброй воле по отношению ко множеству сект, мнений которых я не разделяю, но чьей злобы я побаиваюсь: — богослов, о котором я знаю, что во имя Бога он будет готов вытащить меч и, подобно Робеспьеру, играть на гильотине вплоть до уничтожения последнего атеиста, не подозревая, что этот атеист — он сам; — мистики, часть которых состоит в основном из студентов и женщин, марширующих под знаменем г-жи Ламеннэ, Куинэ, Леру и других, используют девиз: *Tel maître tel valet* (каков хозяин, таков слуга); каков Бог, таков народ; и чтобы установить зарплату рабочего, начните с восстановления религии; — спиритуалисты, которые, если бы я игнорировал права духа, обвинили бы меня в основании культа материи, против которого я возражаю всеми силами моей души; — сенсуалисты и материалисты, для которых божественная догма является символом ограничения и принципом порабощения чувств, без которых, по их словам, для человека нет ни удовольствия, ни добродетели, ни гения; — эклектики и скептики, книготорговцы — издатели всех старых философий, сами, однако, не философствующие, объединенные в обширном привилегированном братстве, выступающем против любого, кто смеет думать, верить или делать выводы

без их разрешения; — наконец, консерваторы, ретрограды, эгоисты и лицемеры, проповедующие любовь Бога из ненависти к ближнему, проклинающие со времен потопа свободу мирового зла и порочащие разум собственной глупостью.

Может ли быть так, что, обвиняя гипотезу, которая, отнюдь не кощунствуя по адресу высокочтимых иллюзий веры, лишь стремится заставить их появиться в дневном свете; которая вместо того, чтобы отвергать традиционные догмы и сознательные предрассудки, просит лишь проверить их; которая, защищая исключительные мнения, принимает в качестве аксиомы непогрешимость разума, и благодаря этому плодотворному принципу, вероятно, никогда не решится выступить против какой-либо антагонистической секты? Возможно ли, чтобы религиозные и политические консерваторы упрекали меня в нарушении общественных порядков, поскольку я уйду от гипотезы верховного разума, источника всей упорядоченной мысли; чтобы полухристианские демократы проклинали меня как врага Бога; и чтобы университетские торговцы приписывали мне нечестивое стремление отрицать значение их философских произведений, в то время как я лишь утверждаю, что философия должна изучаться в ее предмете, то есть в проявлениях общества и природы?...

Мне нужна гипотеза Бога, чтобы обосновать мой образ.

В неведении всего, что касается Бога, мира, души, судьбы; вынужденный действовать как материалист, то есть путем наблюдения и опыта, и делать выводы на языке верующего, потому что другого нет; не зная, следует ли понимать мои формулы, несмотря на то, что они богословские, в прямом или переносном смысле; в этом вечном созерцании Бога, человека и вещей, вынужденный терпеть синонимии всех терминов, охватывающих три категории — мысли, слова и действия, но не желая что-либо утверждать с одной стороны больше, чем с другой: строгость диалектики требует от меня, ни больше, ни меньше, предполагать наличие этого незнакомца, которого называют Богом. Мы полны Божественности, Jovis Omnia Plena; наши памятники, наши традиции, наши законы, наши идеи, наши языки и наши науки — все заражено этим перманентным суеверием, за границей которого нам не дано говорить или действовать, и без которого мы немислимы.

Наконец, мне нужна гипотеза Бога, чтобы объяснить публикацию этих новых Записок.

Наше общество наполнено событиями и заботами о будущем: как объяснить причину этих смутных предчувствий лишь с помощью вселенского разума, имманентного, если хотите, и постоянного, но безличного, и потому, стало быть, безгласного; — или с помощью идеи необходимости, если это подразумевает, что необходимость познаваема, и, следовательно, у нее есть предчувствия? Таким образом, вновь остается гипотеза движущей силы или демона, который давит на общество и

посылает ему видения.

Так вот, когда общество пророчествует, оно задает себе вопрос устами одних и отвечает устами других. И тогда становится мудрее, потому что умеет слушать и понимать, потому что это сам Бог говорил, *quia locutus est Deus*.

Академия гуманитарных¹ и политических наук предложила следующую задачу:

Определить основные факты, которые регулируют отношения прибылей с зарплатами, и объяснить соответствующие колебания этих отношений.

Несколько лет назад та же Академия спрашивала: *Каковы причины нищеты?* Поскольку в девятнадцатом веке нет другой задачи, кроме задачи о равенстве и реформе. Но сознание навевает, что хочет: многие принимаются размышлять над вопросом, но никто не отвечает. Наблюдательный совет (академии) поэтому возобновил свой запрос, но в более многозначительных выражениях. Она хотела бы знать, царит ли порядок в цеху; справедливы ли зарплаты; получают ли свободы и преимущества соответствующую компенсацию; является ли понятие стоимости, которое доминирует во всех актах обмена в тех формах, которые ему придали экономисты, достаточно точным; защищает ли кредит производство; правильно ли все обращается; распределяются ли издержки поровну на всех и т.д. и т.п.

Фактически нищета имеет в качестве непосредственной причины недостаточность дохода, и целесообразно знать, насколько, за исключением несчастных случаев и злой воли, доход работника бывает недостаточным. Это все тот же вопрос о неравенстве состояний, который делает столько шума в течение целого века, и который, по странному стечению обстоятельств, постоянно воспроизводится в академических программах, как если бы он был по-настоящему узловым для современности.

Следовательно, равенство, его принцип, его средства, его препятствия, его теория, причины отсрочек его наступления, причина общественного и изначального неравенства: вот то, что следует изучить, невзирая на сарказм неверия.

Я хорошо знаю, что академические взгляды не столь глубоки, и что они не терпят ничего нового в целом; но чем больше обращаются к прошлому, тем больше размышляют о будущем, тем больше, стало быть, мы должны верить во вдохновение: поскольку истинные пророки — те, кто не понимают того, что они пророчествуют.

¹ Мы уже сообщали в комментарии переводчика, что дословный перевод с французского слова *morales* (в названии Академии) — моральных, нравственных (второе значение — духовных). Предпочтем выйти за рамки дословного перевода и применять к Академии наук термин гуманитарных. Кроме того, из упоминаний Прудонем Академии неясно, какую именно Академию он имеет в виду. Но следует предположить, что речь идет о Безансонской академии, стипендиатом которой Прудон был некоторое время с 1838 г. — А.А. А-О.

Послушайте прежде всего:

Каково, говорит Академия, наиболее целесообразное применение принципа добровольного объединения в борьбе с нищетой?

И еще:

Изложить теорию и принципы договора страхования, изучив его историю, и вывести из теории и фактов преимущества развития, которые может дать этот договор, и различные приложения, которые могут оказаться полезными в состоянии прогресса, в котором в настоящее время находится наша коммерция и производство.

Публицисты соглашались с тем, что страхование, эта элементарная форма коммерческой солидарности, является сутью всего, Societas In Rebus (в интересах общества), то есть обществом, условия существования которого, основанные на чисто экономических отношениях, защищают человека от произвола.

Так что философия страхования или взаимной гарантии интересов, которая была бы выведена из общей теории обществ, societas in re, содержала бы формулу универсального объединения, в которую никто не верит в Академии. И когда, объединяя в одной точке зрения субъект и объект, Академия требует, наряду с теорией объединения интересов, создания теории добровольного объединения, она открывает нам, каким должно быть самое совершенное общество, и тем самым она подтверждает все, что более всего противоречит ее воззрениям. Свобода, равенство, братство, объединение! Каким непостижимым презрением нужно обладать, чтобы предложить гражданам эту новую программу прав человека? Таким образом, Каиафа пророчествовал об искуплении, одновременно отрицая Иисуса Христа.

По первому из этих вопросов в течение двух лет Академии были адресованы сорок пять записок: доказательство того, что субъект чудесным образом реагировал на состояние душ. Но невзирая на такое количество конкурентов, ни один из которых не был по достоинству оценен, Академия сняла вопрос, сославшись на недостаточность конкурентов, но на самом деле только потому, что провал конкурса был единственной целью, которую преследовала Академия, ей было важно без дальнейших церемоний объявить надежды сторонников объединения безосновательными.

Таким образом, господа из Академии дезавуируют в комнате для заседаний то, что они объявляли с кафедры! Такое противоречие меня лишь удивляет; не дай Бог вменить им это в качестве преступления. Древние считали, что революции были спровоцированы ужасными знаменами, и что, кроме всего, животные разговаривали. Это был образ, чтобы обозначить эти внезапно возникающие идеи и странные лозунги, которые неожиданно появляются в массах во времена кризиса и которые кажутся лишенными предшествующих появлений настолько, что они выходят за границы круга судебной системы. И в наше время подобное также не

могло не произойти. Объединившись на базе проявления рокового инстинкта и машинальной спонтанности, *rescuesque locuta*, господа из Академии гуманитарных и политических наук вернулись к своему обычному благоразумию, и рутинная вновь начала противоречить вдохновению. Так постарайтесь отличать мнения, ниспосланные свыше, и заинтересованные суждения, и примем за данность, что в дискурсах мудрецов, считающихся безошибочными, разум присутствует лишь частично.

Тем не менее, Академия, столь резко порвав со своими интуитивными устремлениями, похоже, почувствовала некоторое сожаление. Вместо теории объединения, в которую она, если вдуматься, больше не верит, она требует *критического изучения системы воспитания и образования Песталоцци, изложенной в основном в соотношении с достатком и моралью бедных классов*. Кто знает?

Возможно, с учетом соотношения прибылей и зарплат, ассоциации, организации труда, находятся в основе образовательной системы. Разве сама человеческая жизнь не является непрерывным процессом обучения? **Разве философия и религия не находятся в основе воспитания человечества? Поэтому организация образования означала бы организацию промышленности и создание общественной теории:** Академия в моменты просветления всегда возвращается к этому.

Какое влияние, по-прежнему интересуется Академия, оказывают прогресс и стремление к материальному благосостоянию на нравственность людей?

Этот новый вопрос Академии, взятый в его наиболее очевидном смысле, на самом деле банален и в лучшем случае риторичен. Но Академия, которая должна до конца игнорировать революционный смысл своих предсказаний, подняла занавес. И что же она увидела в глубине этого чувственного тезиса?

«Это то, — говорит она нам, — что вкус к роскоши и удовольствию, необычайная любовь, которую испытывает большинство людей, стремление душ и разумов быть заинтересованными исключительно этим, что согласие отдельных личностей и государства в том, чтобы сделать это мотивом и целью всех своих проектов, всех своих усилий и всех своих жертвоприношений, порождают общие или индивидуальные чувства, которые, полезные или вредные, становятся более действенными, нежели те, которые доминировали над людьми в другие времена».

Никогда еще у моралистов не было лучшей возможности, чтобы обвинить чувственность века, продажность совести и коррупцию, возведенную в качество средства управления: но что вместо этого делает Академия духовных наук? С бессознательным спокойствием она создает класс, в котором роскошь, столь долгое время отвергавшаяся стойками и аскетами, этими мастерами святости, должна появиться, в свою очередь, в качестве принципа поведения, столь же законного, чистого и великого, как и все те, на которые ссылались в прошлом религия и философия. Определите, говорит она нам, мотивы действия (сегодня, без сомнения, устаревшие

и изношенные), с помощью которых в истории преуспевает сладострастие, и по результатам (этого определения) рассчитайте последствия этого. Словом, докажите, что Аристипп опередил свой век, так же, как Зенон и д'Акемпис.

Итак, мы имеем дело с обществом, которое больше не хочет быть бедным, которое высмеивает все, что раньше было для него дорогим и священным, — свободу, религию и славу, если это не сопровождается богатством; которое, чтобы заполучить его, подвергается всем оскорблениям, становится соучастником всех подлостей: и эта пламенная жажда удовольствий, эта непреодолимая тяга к роскоши, будучи признаком нового исторического периода цивилизации, есть высшая заповедь и доблесть, исходя из которой мы должны работать, чтобы покончить с бедностью: так говорит Академия. Что же тогда происходит с заповедью искупления и счастьем воздержания? Какое неверие в воздаяние, обещанное для другой жизни, и какое отрицание Евангелия! Но, прежде всего, какое оправдание для правительства, которое удерживает золотой ключ системы! Как религиозные люди, христиане, стоики — последователи Сенеки, разом изрекли так много аморальных сентенций?

Академия, завершая свою мысль, отвечает нам.

Продемонстрируйте, как достижения в области уголовного правосудия, преследования и наказания за грабежи и нападения на людей знаменуют эпохи цивилизации от диких времен до государств с охраняемыми народами.

Можно ли поверить в то, что криминалисты из Академии гуманитарных наук предвидели такой итог своих предположений? Тот факт, что речь идет об изучении каждого из этих моментов, и что Академия на словах признает прогресс уголовного правосудия, является не чем иным, как постепенным смягчением, которое проявляется либо в форме уголовного преследования, либо наказания, поскольку цивилизация развивается в свободе, свете и богатстве. В случае, когда принцип репрессивных институтов противопоставляется всем тем, кто составляют благополучие общества, существует постоянная коррекция (исправление) всех частей пенитенциарной системы, как и судебного аппарата, таким образом, что последним итогом этих изменений будет следующим: установление порядка не является ни террором, ни пыткой; следовательно, ни адом, ни религией.

Какой разворот общепринятых идей! Какое отрицание всего того, что Академия гуманитарных наук призвана защищать! Но **если в процессе установления порядка уже можно не опасаться наказания ни в этой жизни, ни в следующей, где, следовательно, находятся гарантии защиты людей и имущества? точнее, без репрессивных институтов что будет с собственностью? а без собственности что станет с семьей?**

Академия, которая ничего не знает обо всех этих вещах, хладнокровно отвечает: *Опишите различные фазы организации семьи на земле Франции от древних времен до*

наших дней.

Что означает: определите, по предшествующим достижениям семейной организации, условия существования семьи в условиях равенства состояний, добровольного и свободного объединения, всеобщего единения, материального благополучия и роскоши, общественного порядка без тюрем, судов присяжных, полиции и палачей.

Можно удивиться тому, что, подобно самым смелым новаторам, поставившим под сомнение все принципы общественного порядка, религию, семью, собственность, справедливость, Академия гуманитарных и политических наук также не обсуждает проблему: какова наилучшая форма правления? Действительно, правительство является для общества источником, из которого проистекает любая инициатива, любая гарантия, любая реформа. Поэтому было интересно узнать, удовлетворяет ли правительство, — такое, какое сформулировано в Хартии, практическому решению вопросов Академии.

Но это было плохим пониманием оракулов, если бы можно было предполагать, что они действуют путем индукции и анализа; и именно потому, что политическая проблема была условием или следствием требуемых доказательств, Академия не могла выставить ее на обсуждение. Такой вывод открыл бы ей глаза, и, не дожидаясь записок конкурентов, она поспешила бы удалить всю свою программу. Академия берет выше. Она говорит:

Дела Божьи прекрасны своей изначальной чистой сущностью, *justificata in semetipsa* (справедливы и праведны); словом, они истинны, потому что это его слова. Мысли человека похожи на густые испарения, пронизанные длинными и тонкими молниями. *Так что же такое истина по отношению к нам, и каков характер рабства?*

Как если бы Академия сказала нам: вы проверите гипотезу вашего существования, гипотезу Академии, которая вас допрашивает, гипотезу времени, пространства, движения, мысли и законов мышления. Затем вы проверите гипотезу пауперизма, гипотезу неравенства условий, гипотезу всеобщего единения, гипотезу счастья, гипотезу монархии и республики, гипотезу провидения!...

Все это — критика Бога и рода человеческого.

Но, уверяю высокое собрание, что это не я устанавливал условия своей работы, это Академия гуманитарных и политических наук. Следовательно, как я могу соответствовать этим условиям, если я сам не наделен непогрешимостью, одним словом, если я не Бог и не пророк? Таким образом, Академия допускает, что божественность и человечество тождественны или, по крайней мере, соотносятся друг с другом (коррелятивны); но речь идет о том, в чем состоит эта корреляция: таков смысл проблемы достоверности, такова цель социальной философии.

От имени того же общества я — один из провидцев, которые пытаются ответить.

Задача колоссальная, и я не обещаю ее выполнить: я пойду настолько далеко, насколько Бог даст. Но, что бы я ни говорил, это исходит не от меня: мысль, заставляющая мое перо работать, не является моей персональной мыслью, и ничто из того, что я пишу, не приписывается мне. Я сообщу факты такими, какими я их увидел; я буду судить о них по тому, что я сказал о них; я назову каждую вещь ее именем самым энергичным образом, и никто не сочтет это оскорбительным. Я буду искать свободно и в соответствии с изученными мною правилами предсказаний, что, собственно, и требует от нас божественный совет, который в настоящее время красноречиво изъясняется устами мудрецов и неискренностью народа: и когда я буду отрицать все прерогативы, закрепленные нашей конституцией, я не стану притворяться. Я укажу пальцем, куда нас толкает невидимое острие; и ни мое слово, ни мое действие не будут раздражительными. В этом торжественном исследовании, к которому приглашает меня Академия, я располагаю бОльшим, нежели только право говорить правду, — я имею право говорить то, что думаю: пусть моя мысль, мои выражения и правда будут едины!

А вы, читатель, ибо без читателя нет писателя; вы — половина моего труда. Без вас я всего лишь звонкая медная монета; я чудесным образом высказываюсь с помощью вашего благосклонного внимания. Видите ли вы тот вихрь, который проносится мимо и называется ОБЩЕСТВОМ, из которого с такими ужасными вспышками ударяют молнии, громы и голоса? Я хочу, чтобы вы коснулись пальцем скрытых пружин, которые движут им; но для этого необходимо, чтобы вы, под моим руководством, снизились до состояния чистого разума. Глаза любви и наслаждения бессильны распознать красоту в скелете, гармонию в обнаженных внутренностях, жизнь в черной застывшей крови: так тайны общественного организма останутся скрытыми письменами для человека, чьи страсти и предрассудки оскорбляют мозг. Таких высот можно достичь только в безмолвном и холодном созерцании. Ощущайте, следовательно, как я, прежде чем развернуть перед вашими глазами страницы книги жизни, подготавливаю вашу душу тем скептическим очищением, которого всегда требовали от своих учеников великие учителя народов — Сократ, Иисус Христос, Святой Павел, святой Реми, Бэкон, Декарт, Галилей, Кант и т.д.

Кто бы вы ни были, покрыты ли лохмотьями нищеты или роскошными одеждами, я отдаю вас той светлой наготе, которую не омрачают ни дым богатства, ни яды завистливой бедности. Как внушить богачу, что разница в условиях происходит от ошибки в расчетах; и как бедняк со своей сумой поймет, что хозяин собственности обладает ею честно? Расспрашивать о печалях труженика для бездельника — самое невыносимое занятие; так же как воздать должное счастливицу для нищего — самое горькое варево. Вы воспитаны в достоинстве: я отрешаю вас, вы свободны. Слишком много оптимизма под этим одеянием предписаний (обязательств), слишком много субординации, слишком много лени. Наука требует восстания мысли: следовательно, мысль человека — это его очищение.

Ваша любовница, красивая, страстная, артистичная, одержима — хочется верить — только вами. То есть ваша душа, ваш разум, ваше сознание перешли в самый очаро-

вательный предмет роскоши, который природа и искусство произвели на вечные мучения очарованных людей. Я отделяю вас от этой божественной половины самого себя: слишком много сегодня желать справедливости и любить женщину. Чтобы мыслить с величием и остротой, нужно, чтобы мужчина разделил свою природу и остался в своей мужской ипостаси. Кроме того, в том положении, в котором я вас оставил, ваша любовница уже не узнала бы вас: вспомните жену Иова. Какой религии вы придерживаетесь?... Забудьте свою веру и, исполнившись мудрости, станьте атеистом. — Что! скажете вы, атеистом, несмотря на нашу гипотезу! — Нет, как раз ввиду нашей гипотезы. Нужно уже давно вознести свое мышление над божественными вещами, чтобы иметь право предполагать личность за пределами человека, жизнь за пределами этой жизни. Наконец, не бойтесь своего спасения. **Бог не гневается на того, кто не воспринимает его разумом, и не заботится о том, кто поклоняется ему лишь на словах; и в вашем состоянии самое безопасное для вас — ничего о нем не думать.** Разве вы не видите, что самой совершенной религией было бы отрицание всего? Пусть никакая политическая или религиозная фантазия не удерживает вашу душу в плену; это единственный способ сегодня не быть ни дураком, ни отступником. А! — восклицал я во времена моей восторженной юности, не услышу ли перезвон республиканской всеобщей (молитвы) и голоса наших священников, облаченных в белые туники и исполняющих гимн возвращения в дорийском стиле: *Измени, о Боже, наше рабство, как ветер пустыни — одним освежающим дуновением!*... Но я разочаровал республиканцев, и я больше не знаю ни религии, ни священников.

Хотелось бы еще, чтобы закрепить ваше суждение, уважаемый читатель, сделать вашу душу нечувствительной к жалости, превосходящей добродетель, равнодушной к счастью. Но требовать подобного от неопита было бы чересчур. Помните лишь и никогда не забывайте, что жалость, счастье и добродетель, а также родина, религия и любовь — это маски...

Глава I. ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКЕ

§ I. Противостояние факта и права в экономике обществ

Я утверждаю РЕАЛЬНОСТЬ экономической науки.

Это суждение, сомневаться в котором сегодня осмеливаются немногие экономисты, является, вероятно, самым смелым из всех, которые когда-либо выдвигал философ; а продолжение настоящих исследований продемонстрирует, я надеюсь, что величайшее усилие человеческого разума когда-нибудь обоснует его.

С другой стороны, я утверждаю *абсолютную определенность* и одновременно *прогрессивный* характер экономической науки, которая из всех наук, на мой взгляд, является наиболее понятной, наиболее чистой, лучше всего подтверждаемой фактически: новое суждение, которое делает эту науку логичной или метафизичной *in concreto*, и радикально меняет основы старой философии. Иными словами, экономическая наука для меня является объективной формой и реализацией метафизики; это метафизика в действии, метафизика, проецируемая на размытый промежуток времени; а тот, кто занимается законами труда и обмена, действительно и особенно метафизичен.

После того, что я сказал в прологе, это не должно удивлять. **Работа человека продолжает труд Бога, который, создавая все сущности, лишь реализует вечные законы разума.** Поэтому экономическая наука — это неизбежно и одновременно теория идей, естественное богословие и психология. Этого общего мнения было бы достаточно, чтобы объяснить, как, имея дело с экономическими вопросами, я должен был предварительно допустить существование Бога, и в каком качестве я, простой экономист, стремлюсь решить проблему определенности.

Но, спешу сказать, я не рассматриваю как науку тот бессвязный набор теорий, который уже около ста лет официально называют политической экономией, и который, невзирая на этимологию названия, является не чем иным, как сводом правил или обычной рутинной собственности. Эти теории предлагают нам лишь зачатки или первый раздел экономической науки; и потому, как и собственность, все они противоречат друг другу и применимы лишь частично. Доказательство этого утверждения, которое в некотором смысле является отрицанием политической экономии, — то, которое передали нам А. Смит, Рикардо, Мальтус, Ж.-Б. Сэй, и которое мы наблюдаем в течение полувека, происходит, в частности, из этих записок.

Недостаточность политэкономии всегда поражала созерцательные умы, которые,

будучи слишком очарованы своими мечтаниями, чтобы углублять практику, и ограничиваясь суждениями о ней по ее видимым результатам, с самого начала сформировали партию, противящуюся положению статус-кво, и предали настойчивой и систематической сатире над цивилизацией и ее обычаями. С другой стороны, собственность, являющаяся основой всех общественных институтов, никогда не испытывала недостатка в ревностных защитниках, которые, будучи известны под названием практиков, проигрывают битву за битвой критикам политической экономии и мужественно и ловко способствуют укреплению здания, возведенного одновременно общими предрассудками и свободой личности. Спор, до сих пор продолжающийся между консерваторами и реформистами, имеет своим аналогом в истории философии вражду реалистов и номиналистов; почти бессмысленно добавлять, что, как с одной, так и с другой стороны, и ошибка, и рассудок равны (равноправны), и что соперничество, узость и нетерпимость мнений были единственной причиной непонимания.

Таким образом, две державы борются за правление миром и проклинаят друг друга за благосклонность к двум враждующим культам: политической экономии, или традиции; и социализма, или утопии.

Что же это такое, в более внятных выражениях, политическая экономия? Что такое социализм?

Политическая экономия — это сборник наблюдений, совершаемых до сего дня, о явлениях производства и распределения богатств, то есть о наиболее общих, наиболее спонтанных, следовательно, наиболее достоверных формах труда и обмена.

Экономисты классифицировали, насколько возможно, эти наблюдения; они описывали явления, констатировали их сложности и отношения; они отмечали в ряде случаев необходимость, заставлявшую называть их *законами*, и этот набор знаний, изъятых из самых, так сказать, наивных проявлений общества, составляет политическую экономия.

Таким образом, политическая экономия — это естественная история наиболее очевидных и общепризнанных обычаев, традиций, практики и процедур человечества в отношении производства и распределения богатства. В этом качестве политическая экономия считает себя законной по сути и праву: по сути, поскольку изучаемые ею явления постоянны, спонтанны и универсальны; по праву, поскольку эти явления располагают авторитетом человеческого рода, который является наибольшим авторитетом из всех возможных. Политэкономия называет себя также наукой, то есть разумным и систематическим знанием регулярных и необходимых фактов.

Социализм, который, подобно богу Вишну, всегда умирающему и всегда воскресающему, за двадцать лет совершил свое десяти тысячное воплощение в лице пяти или шести своих представителей; социализм говорит об аномалии текущего обще-

ственного устройства, и следовательно, также всех предшествующих установлений. Он утверждает и доказывает, что этот порядок легкомыслен, противоречив, неэффективен; он порождает угнетение, нищету и преступление: он обвиняет (если не сказать клеветает) все прошлое общественной жизни и всеми силами подталкивает к переделу нравов и институтов.

Социализм оканчивает (делать выводы), провозглашая политическую экономию ложной гипотезой, софистикой, придуманной в оправдание эксплуатации большинства меньшинством; и, применяя афоризм *fructibus cognoscetis* (плоды вы узнаете), завершает демонстрацию бессилия и небытия политической экономии таблицей человеческих выдумок, за которые он возлагает ответственность на нее.

Но если политэкономия ошибочна, то юриспруденция, которая в каждой стране является наукой права и обычая, следовательно, еще более ошибочна, поскольку, будучи основанной на отличии твоего и моего, предполагает законность фактов, описанных и классифицированных политэкономией. Теории общественного и международного права, со всеми разновидностями представительного руководства, еще более ошибочны, поскольку основаны на принципе частной собственности и абсолютного суверенитета желаний.

Социализм соглашается со всеми этими последствиями. Для него политическая экономия, рассматриваемая многими как физиология богатства, есть лишь организованная практика воровства и нищеты; как и юриспруденция, оформленная законниками в письменном виде, в его глазах — лишь компиляция разделов узаконенного и официального разбоя, одним словом, собственности. Рассматриваемые в их отношениях эти две так называемые науки, политическая экономия и право, образуют, с точки зрения социализма, законченную теорию беззакония и раздора. Переходя от отрицания к утверждению, социализм противопоставляет принципу собственности принцип обобществления и делает все возможное, чтобы воссоздать социальную экономику, то есть сформировать новое право, новую политику, институты и обычаи, диаметрально противоположные старым формам.

Таким образом, демаркационная линия между социализмом и политической экономией проведена, и враждебность обозначена.

Политическая экономия склоняется к закреплению эгоизма; социализм склоняется к возвышению общины.

Экономисты, за исключением некоторых нарушений их принципов, в которых, по их мнению, следует обвинять правительства, оптимистично относятся к свершившимся фактам; социалисты — к предстоящим фактам.

Первые утверждают, что то, что должно быть, *есть*; вторые — что того, что должно быть, *нет*. — В то время как первые выступают в качестве защитников религии, власти и других современных и старых принципов собственности: хотя их критика,

подчиненная лишь разуму, часто ущемляет их предрассудки: — вторые отвергают власть и веру и призывают исключительно к науке; хотя некоторая вполне нелиберальная религиозность и весьма малонаучное пренебрежение фактами всегда носят характер, наиболее схожий с их доктринами.

К тому же и те, и другие не перестают обвинять друг друга в бесплодии и стерильности.

Социалисты указывают своим оппонентам на неравенство условий, на эту коммерческую распущенность, называемую монополией и конкуренцией, на чудовищные корпорации, порождающие и роскошь, и нищету; они упрекают экономические теории, всегда отлитые из прошлого, в том, что они оставляют будущее без надежды; короче говоря, они сообщают о режиме собственности как об ужасной галлюцинации, против которой человечество протестует и с которой оно борется в течение четырех тысяч лет.

Экономисты, со своей стороны, обвиняют социалистов в создании системы, в которой можно было бы обойтись без собственности, конкуренции и полиции; они доказывают, с деньгами в руках, что все проекты реформ всегда были не чем иным, как рапсодиями фрагментов, заимствованных из того же режима, который социализм очерняет, плагиатом, одним словом, политической экономии, вне которой социализм не в состоянии разработать и сформулировать идею.

С каждым днем все больше и больше накапливались детали этого серьезного процесса, и запутывалось дело.

Пока общество ходит и спотыкается, страдает и обогащается, следуя экономической рутине, социалисты, начиная с Пифагора, Орфея и непроницаемого Гермеса, трудятся над установлением своей догмы, противоречащей политической экономии. Были предприняты также некоторые объединения того и этого, согласно их точке зрения; но до сих пор эти редкие попытки, затерянные в океане собственности, оставались безрезультатными; и как будто судьба решила исчерпать экономическую гипотезу — прежде чем атаковать социалистическую утопию, реформаторство сводится к тому, чтобы истреблять сарказм противника в ожидании своей очереди.

Вот в чем причина этого: социализм неустанно осуждает вред цивилизации, день за днем констатирует беспомощность политической экономии в удовлетворении гармонических интересов человека и представляет запрос за запросом: политическая экономия наполняет свое досье социалистических систем, которые все, одна за другой, проходят и умирают, пренебрегая здравым смыслом. Настойчивость зла питает ропот одних, одновременно с тем, как постоянство реформистских неудач обеспечивает иронию других. Когда состоится арбитраж? Трибунал пуст; однако политическая экономия использует свои преимущества, и, без предоставления каких-либо гаран-

тий, продолжает править миром: *possideo quia possideo* (получаю то, что получаю).

Политическая экономия наполняет свое досье социалистических систем, которые все, одна за другой, проходят и умирают, пренебрегая здравым смыслом. Настойчивость зла питает ропот одних, одновременно с тем, как постоянство реформистских неудач обеспечивает иронию других

Если из сферы идей мы спустимся к реалиям мира, антагонизм покажется нам еще более серьезным и угрожающим.

Когда в последние годы социализм, вызванный долгими потрясениям, устроил свое фантастическое появление среди нас, люди, споры которых до того были апатичными и вялотекущими, кинулись с ужасом в сторону монархических и религиозных идей; демократия, которую обвиняли в том, к чему она привела, проклиняется и подавляется. Эти обвинения демократов со стороны консерваторов были клеветой. Демократия по своей природе настолько же антипатична социалистическому мышлению, насколько она не в состоянии воспринять монархию, бесконечная и безуспешная борьба с которой остается ее судьбой. Что произошло вскоре, и чему мы ежедневно становимся свидетелями, — это, что в ходе выступлений публицистов-демократов против христианской веры и собственности они начали видеть себя покинутыми народом.

С другой стороны, философия не оказывается ни менее чуждой, ни менее враждебной социализму, чем политика и религия.

Так же, как в политическом смысле принцип демократии заключается в преимуществе числа, а монархии — в преимуществе феодала; так же и в вопросах совести религия есть не что иное, как подчинение мистическому существу, называемому Богом, и священнику, представляющему его; точно так же, наконец, как в экономическом смысле собственность, то есть исключительное право личности на средства производства, является отправной точкой теорий: — точно так же философия, взяв за основу доводы разума, неизбежно ведет к тому, чтобы приписывать индивидууму генерацию и владение идеями и отрицать ценность метафизического опыта, то есть к тому, чтобы всюду вместо объективного закона устанавливать произвол, деспотизм.

Так вот, доктрина, которая, возникнув внезапно в самом сердце общества, без предыстории, вытеснила из всех областей сознания и общества арбитражный принцип, чтобы заместить его в качестве истины в последней инстанции соотношением фактов; которая порывала с традицией и не соглашалась пользоваться прошлым как точкой, из которой она устремляется в будущее: такая доктрина не могла не спровоцировать на выступление против себя установленных авторитетов; и сегодня можно увидеть, как, несмотря на внутренние разногласия, эти так называемые авторитеты

только и делают, что договариваются о борьбе с чудовищем, готовым поглотить их.

Рабочим, которые жалуются на недостаточную зарплату и неуверенность в наличии работы, политическая экономия противопоставляет свободу торговли; гражданам, которые ищут условия свободы и порядка, идеологи отвечают представительными системами; нежным душам, которые, будучи отрешенными от античной веры, требуют понимания смысла и цели своего существования, религия предлагает непостижимые тайны Провидения, а философия всегда сохраняет уловки! Сплошные идеи, где сердце и ум отдыхают! Социализм кричит о необходимости взять курс на твердую землю и войти в гавань; но антиобщественные элементы говорят, что гавань отсутствует; человечество охраняет идею Бога под предводительством священников, философов, ораторов и экономистов, и такое наше кругосветное плавание продолжается бесконечно.

Таким образом, общество с самого начала делится на две большие части: одну, традиционную, по существу иерархическую, которая, в зависимости от рассматриваемого ей объекта, по очереди называется монархией или демократией, философией или религией, одним словом, собственностью; — другую, которая, воскрешаясь в ходе каждого кризиса цивилизации, провозглашает себя прежде всего анархической и атеистической, то есть не воспринимающей ни божественной, ни человеческой власти, и это социализм.

Однако современная критика доказала, что в таком конфликте истина заключается не в исключении одной из противоположностей, но именно и только в примирении обеих; это, говорю я, обращаясь к науке, что всякий антагонизм, как в природе, так и в идеях, разрешается в один общий факт или в сложную формулу, которая приводит к согласию противников, поглощая их, так сказать, обоих. Не могли бы мы, люди здравомыслящие, в ожидании решения, которое без сомнения будет реализовано в будущем, подготовить себя к этому великому переходу путем анализа борющихся сил, а также их положительных и отрицательных качеств? Подобная работа, проделанная точно и сознательно, если даже она и не приведет нас с самого начала к решению, была бы по крайней мере полезной в выявлении условий проблемы и тем самым — в предостережении от всякой утопии.

Так что же необходимо и верно в политической экономии? куда она идет? что она может? что она хочет от нас? Вот что я предлагаю определить в этой книге. — Чего стоит социализм? То же исследование ответит нам.

Ибо, поскольку в конечном счете цель, которую преследуют социализм и политическая экономия, одна и та же — свобода, порядок и благосостояние, то очевидно, что условия достижения, иными словами, трудности, которые необходимо преодолеть для достижения этой цели, также — одни и те же для обеих сторон, и остается только изучить средства как с одной, так и с другой стороны. Но так как до сих пор только политэкономии было дано воплотить свои идеи в жизнь, в то время как социализм был занят непреходящей сатирой, то не менее ясно, что, оценивая по заслугам эконо-

мические работы, мы тем самым сведем социалистические декламации к минимуму, так что наша рецензия, особенная по определению, сможет сделать абсолютные и окончательные выводы.

Но прежде чем углубиться в изучение политической экономики, необходимо лучше понять некоторые примеры.

§ II. Недостатки теорий и критики

Для начала отметим важное наблюдение: соперники соглашаются ссылаться на общий авторитет, который каждый рассчитывает использовать для себя, — науку.

Платон, утопист, организовывал свою идеальную республику именем науки, которую из скромности и эвфемизма он называл философией. Аристотель, практик, опроверг платоническую утопию именем той же философии. Таким образом, социальная война продолжается со времен Платона и Аристотеля. Современные социалисты требуют всего от единой и неделимой науки, но не в состоянии достичь согласия ни по содержанию, ни в том, что касается границ, ни с методом этой науки: экономисты, со своей стороны, утверждают, что общественная наука есть не что иное, как политическая экономия.

Поэтому речь идет прежде всего о признании того, что может быть наукой об обществе.

Наука, в общем, есть разумное и систематическое знание того, что ЕСТЬ.

Применяя это фундаментальное понятие к обществу, мы скажем: общественная наука — это разумное и систематическое знание не о том, каким *было* общество, и не того, каким оно будет, а о том, какое оно ЕСТЬ в течение всей его жизни, то есть в комплексе всех его последовательных проявлений: ибо это единственное, где может находиться разум и система. Общественная наука должна охватывать человеческий порядок не только в том или ином периоде, не только в некоторых его проявлениях; но во всех его принципах и во всей полноте его существования: как если бы общественная эволюция, разбросанная во времени и пространстве, вдруг оказалась бы собранной и зафиксированной на панели, которая, демонстрируя череду веков и последовательность явлений, обнаруживает ее последовательность и единство. Такова должна быть наука о любой живой и прогрессивной реальности; такова, бесспорно, общественная наука.

Таким образом, политическая экономия, несмотря на свою индивидуалистическую тенденцию и исключительные утверждения, могла бы быть составной частью общественной науки, в которой описываемые ею явления были бы важнейшими верхами широкой триангуляции и элементами органического и сложного целого. С этой точки зрения прогресс человечества, от простого к сложному, был бы полностью созвучен с ходом науки, а противоречивые и столь часто разрушительные факты, которые сегодня составляют почву и объект политической экономии, должны

рассматриваться нами как отдельные гипотезы, последовательно реализуемые человечеством в целях высшей гипотезы, реализация которой разрешила бы все трудности и, не отменяя политической экономии, удовлетворяла бы социализму.— Потому что, как я уже говорил в предисловии, в любом случае мы не можем допустить, что человечество, как бы оно ни выражалось, ошибается.

Давайте теперь проясним это с помощью фактов.

Сегодня наиболее спорный вопрос — это, безусловно, *организация труда*.

Как проповедовал святой Иоанн Креститель в пустыне: *Покайтесь*, социалисты будут повсюду возглашать эту старую, как мир, новость: *Организируйте работу*; не имея возможности сказать, какой должна быть, по их словам, эта организация. Во всяком случае, экономисты видели в этом социалистическом шуме надругательство над их теориями: это было, действительно, так, как будто их упрекали в том, что они игнорировали первое, что им нужно было знать, — труд. Таким образом, они ответили на провокацию своих оппонентов, утверждая, во-первых, что труд организован и что нет другой организации труда, кроме свободы производить и торговать самостоятельно, либо в сообществе с другими, в каковом случае дальнейший путь будет предусмотрен гражданским и торговым кодексами. Затем, поскольку эта аргументация служила лишь поводом для насмешек противников, они перешли в наступление, и, обнаружив, что социалисты сами ничего не слышали об этой организации (труда), которой они размахивали как пугалом, они в конце концов заявили, что это не что иное, как новая химера социализма, бессмыслица, вздор. Самые последние труды экономистов полны таких безжалостных суждений.

Однако несомненно, что слова *организация труда* имеют такой же ясный и рациональный смысл, как и этот: организация цеха, организация армии, организация полиции, организация благотворительности, организация войны. В связи с этим полемика экономистов превратилась в бессмыслицу. — Не менее несомненно, что организация труда не может быть утопией и химерой; ибо поскольку труд, высшее условие цивилизации, существует, то из этого следует, что он уже подчинен такой организации, которую экономисты считают удовлетворительной, а социалисты — отвратительной.

Таким образом, по отношению к предложению об организации труда, сформулированному социализмом, остается то неприемлемое, что труд уже организован. Однако это совершенно неразумно, поскольку общеизвестно, что в труде, предложении, спросе, разделении, количестве, пропорциях, цене и залоге ничто, абсолютно ничто не регулируется; все, напротив, предается прихотям свободной воли, то есть случайности.

Что же касается нас, ведомых идеей, происходящей из общественной науки, мы будем утверждать — против социалистов и против экономистов — не то, что *надо организовывать* труд, и не то, что он *уже организован*, а что он *самоорганизуется*.

Труд, говорим мы, самоорганизуется: то есть он занят самоорганизацией от начала мира и будет этим занят до его конца. Политическая экономия учит нас первым зачаткам этой организации; но социализм прав, утверждая, что в ее нынешнем виде эта организация неудовлетворительна и находится в переходном состоянии; и вся миссия науки состоит в том, чтобы беспрестанно, с учетом достигаемых результатов и возникаемых явлений, искать то, что нового можно использовать (в области организации труда).

Социализм и политическая экономия, в ходе этой пародийной войны, в глубине души преследуют одну и ту же идею — организацию труда.

Но они оба виновны в неверности науке и взаимной клевете, поскольку, с одной стороны, политическая экономия, принимая за науку свои лоскуты теории, отказывается от дальнейшего прогресса; и поскольку социализм, отрекаясь от традиции, стремится воссоздать общество на неосуществимой базе.

Таким образом, социализм — ничто без глубокой критики и непрерывного развития политической экономии; и чтобы использовать здесь знаменитый афоризм школьных времен, *Nihil est in intellectu, quod prius non fuerit in sensu* (нет ничего в сознании, чего бы не было раньше в ощущении), нет ничего такого в социалистических гипотезах, что не встречается в экономической практике. С другой стороны, политическая экономия — это не более чем неуместная рапсодия, поскольку она утверждает в качестве действительных факты, собранные Адамом Смитом и Ж.-Б. Сэем.

Другой вопрос, не менее спорный, чем предыдущий, — это вопрос о *ростовщичестве*, или ссуде под проценты.

Ростовщичество, или, как сказали бы, цена использования, — это вознаграждение, каким бы оно ни было, которое владелец получает от своего дела. *Quidquid sorti accrescit usura est* (независимо от использования) — говорят богословы. Ростовщичество, основа кредита, занимает первое место среди средств, которые общественная стихийность ставит на карту в своей организационной работе, и анализ которых выявляет глубинные законы цивилизации. Древние философы и отцы Церкви, которых здесь следует рассматривать как представителей социализма первых веков христианской эры, — из-за несообразности, происшедшей от бедности экономических понятий тех времен, допускали аренду и осуждали денежный интерес, потому что деньги, по их мнению, были непродуктивным элементом. Они отличали заем вещей, которые потребляются путем непосредственного использования, в которые они вкладывали деньги, от займа вещей, которые, не будучи потребленными, приносят пользу своим продуктом.

Экономисты не удосужились показать, обобщая понятие ренты, что в экономике общества действие капитала или его производительность одинаковы, либо он расходуется на заработную плату, либо сохраняет роль инструмента; что в результате

следует или запретить аренду земли, или признать денежный интерес, поскольку и то, и другое в равной степени является вознаграждением за залог, компенсацией кредита. Потребовалось более пятнадцати веков, чтобы допустить эту идею и нивелировать беспокойство от анафем католицизма против ростовщичества. Но наконец очевидность и всеобщая благосклонность оказались на стороне ростовщиков; они выиграли битву против социализма, и огромные, неоспоримые выгоды для общества этого инструмента начали служить основой легитимации ростовщичества. При этом социализм, пытавшийся обобщить закон, который Моисей вывел только для одних израильтян, *Non fœneraberis proximo tuo, sed alieno*, был побежден принятой им идеей об экономической обыденности, а именно об аренде, поднятой до теории производительности капитала.

Но экономисты, в свою очередь, оказались менее довольными, когда позднее их попросили обосновать аренду саму по себе и установить теорию доходности капиталов. Можно сказать, что с этой точки зрения они утратили все то преимущество, которым они изначально располагали в отношении социализма.

Без сомнения, и я первый признаю это, оплата аренды земли, так же, как деньги и любые движимые и недвижимые ценности, — это факт окончательный, самопроизвольный, источник которого находится в глубинах нашей природы, и который становится вскоре, благодаря своему естественному развитию, одной из наших самых мощных организационных пружин. Я даже докажу, что интерес капитала — это всего лишь материализация афоризма, *Любой труд должен оставить излишек*. Но перед этой теорией, или, лучше сказать, домыслом о производительности капитала, возвышается другой, не менее определенный тезис, который в последнее время поразил самых искусных экономистов: это то, что любая стоимость рождается из труда и состоит в основном из заработной платы; иными словами, что ни одно богатство изначально не вытекает из привилегий, обретает ценность только путем обработки, и поэтому только труд в отношениях людей является источником дохода. Как, таким образом, примирить теорию аренды или производительности капитала, теорию, подтвержденную разносторонней практикой, с тем, что политическая экономия в своей обыденности вынуждена подвергнуться, но без возможности обоснования, с этой другой теорией, которая демонстрирует нам стоимость, обычно состоящую из заработной платы, и которая фатально приводит, как мы покажем, к равенству в обществе чистого продукта и валового продукта?

Социалисты не виноваты в случившемся. Отталкиваясь от правила, по которому труд является источником всякого дохода, они принялись требовать от держателей капитала отчета по доходам и бонусам от аренды; и поскольку экономисты одержали первую победу, обобщив в едином порыве аренду и ростовщичество, социалисты взяли реванш, уничтожив, в еще более общем правиле труда, господствующее положение капитала. Собственность была разрушена снизу доверху; экономистам оставалось только молчать; но в бессилии остановиться на этом новом склоне, социализм скатился до края коммунистической утопии, и из-за отсутствия практического решения общество оказалось приведено к невозможности ни обосновать свою

традицию, ни подвергнуться испытаниям, малейшая ошибка которых спровоцирует его деградацию в течение нескольких тысяч лет.

Что предписывает наука в подобной ситуации?

Разумеется, не задерживаться в необоснованной, неуловимой, неразрешимой среде; но обобщить и открыть третье правило, факт, или высший закон, который объясняет фикцию капитала и миф о собственности и примиряет его с теорией, приписывающей труду происхождение всякого богатства. — Вот что должен был бы предпринять социализм, если бы он хотел действовать логически. Действительно, теория реальной производительности труда и такой же фиктивной производительности капитала являются, и та, и другая, по существу экономическими; социализму стоило только указать на противоречие, не отвергая ничего из своего опыта или диалектики; ибо он, кажется, так же беспомощен в этом, как и тот, другой. Однако в ходе надлежащего судопроизводства сторона, признающая право собственности за одной из сторон, должна признавать его за всеми; не допускается разделение частей и свидетельских показаний. Имел ли право социализм понижать авторитет политической экономии относительно ростовщичества, когда он опирался на этот же авторитет, относительно расчленения стоимости? Нет, конечно. Все, чего социализм мог требовать в таких случаях, это или чтобы политическая экономия была вынуждена согласиться с его теориями, или чтобы он сам озаботился этой щекотливой миссией.

Чем больше мы углубляемся в эти торжественные прения, тем больше кажется, что весь процесс исходит от того, что одна из сторон — слепая, другая — хромая.

Принцип нашего публичного права заключается в том, что никто не может быть лишен своей собственности, кроме как по соображениям общественной пользы и за справедливую и предварительную компенсацию.

Это принцип в высшей степени экономический, поскольку, с одной стороны, он предполагает исключительное достояние гражданина, которое он экспроприирует, и присоединение которого, согласно демократическому духу общественного договора, предрешено. С другой стороны, компенсация, или цена экспроприированной недвижимости, регулируется не внутренней стоимостью объекта, а общим законом торговли, который является спросом и предложением, одним словом, мнением. Экспроприация, совершенная от имени общества, может быть приравнена к приемлемой сделке, заключенной каждым по отношению ко всем, в ходе которой не только цена вещи должна быть оплачена, но и приемлемость (самой сделки); и именно так, по сути, оценивается компенсация. Если бы римские правоведы ухватились за эту аналогию, они, вероятно, меньше сомневались бы в экспроприации по соображениям общественной пользы.

Такова, следовательно, мера взыскания общественного права экспроприировать, —

компенсация.

Однако на практике принцип компенсации применяется не во всех случаях, когда он должен быть применен; это даже и невозможно. Закон, создавший железные дороги, предусматривал компенсацию за землю, по которой прокладывали рельсы; но он ничего не предусматривал для множества отраслей, которые ранее питали гужевой транспорт, и потери которых намного превышают стоимость земли, возвращенной ее владельцам. Точно так же, когда речь шла о компенсации производителям свекольного сахара, никому не приходило в голову, что государство должно было бы компенсировать потери еще и тому множеству рабочих и служащих, которые обеспечивают работу свекольной промышленности и которые, возможно, окажутся обездоленными. В то же время, согласно концепции капитала и теории производства, как землевладелец, у которого железная дорога отнимает его средство производства, имеет право на компенсацию, так и промышленник, капитал которого та же железная дорога делает бесплодным, также имеет право на компенсацию. Почему же мы не применяем компенсацию в этом случае? Увы! Потому что это невозможно. При такой системе правосудия и беспристрастности общество чаще всего оказывалось бы в бездействии и возвращалось бы к неподвижности римского права. Должны быть жертвы... Принцип компенсации, следовательно, утрачивается; происходит неизбежное банкротство государства по отношению к одному или нескольким классам граждан.

По этому поводу выступают социалисты; они упрекают политическую экономию в том, что она только и умеет, что жертвовать интересами масс и создавать привилегии; — затем, указывая в законе об экспроприации на рудимент аграрного закона, они делают вывод — внезапно о всеобщей экспроприации, то есть о совместном производстве и потреблении.

Но тут социализм сползает от критики в утопию, и его бессилие снова вспыхивает в его противопоставлениях. Если принцип экспроприации по соображениям общественной пользы, выработанный во всех его последствиях, ведет к полной реорганизации общества, то прежде чем приступить к работе, необходимо определить эту новую организацию; однако социализм, повторяю, как наука располагает лишь обрывками физиологии и политической экономии. — Тогда надо, в соответствии с принципом компенсации, в случае невозмещения по крайней мере гарантировать гражданам стоимость произведенного ими; надо, одним словом, застраховать их от перемен. Так вот, помимо общественного блага, которому требуется управление, откуда социализм собирается получить обеспечение этого самого блага?

Невозможно, по здоровой и искренней логике, вырваться из этого замкнутого круга. Поэтому коммунисты, более откровенные в своих оборотах, нежели некоторые другие приверженцы волнительных и миролюбивых идей, решают проблему и обещают, как только они возьмут власть, экспроприировать всех и никому ничего не компенсировать и не гарантировать. По сути это не было бы ни несправедливым, ни нечестным; к несчастью, горение не является ответом, как говорил Робеспьеру

ироничный Демулен; и мы всегда отталкиваемся в подобных спорах от огня и гильотины. Здесь, как и везде, существуют два одинаково священных права, право гражданина и право государства; достаточно сказать, что существует формула примирения, превосходящая социалистические утопии и усеченные теории политической экономии, и что ее предстоит открыть. Что делают в этом случае выступающие стороны? Ничего. Скорее похоже, что они задают вопросы только для того, чтобы иметь повод для оскорблений. О чем я говорю? Вопросы не только не понятны им; и пока общественность обсуждает возвышенные проблемы общества и человеческой судьбы, антрепренеры общественной науки, ортодоксы и раскольники, не соглашаются в принципах. Вопрос, который спровоцировал эти изыскания и который его авторы, конечно, слышат не больше, чем его недоброжелатели, — это *соотношение прибыли и заработной платы*.

Что?! экономисты, Академия выставила на обсуждение вопрос, в терминах которого она сама не разбирается! Тогда как могла прийти ей в голову такая мысль?...

Ну, хорошо! да, то, что я продвигаюсь вперед, — невероятно, феноменально; но это так. Как богословы, которые отвечают на вопросы метафизики лишь мифами и аллегориями, которые лишь всегда воспроизводят вопросы, но никогда не решают их; экономисты отвечают на вопросы, которые они задают, только рассказывая, как именно они были поставлены: если бы они думали, что можно пойти дальше, они перестали бы быть экономистами.

Что такое, к примеру, прибыль? это то, что остается предпринимателю после того, как он оплатит все свои расходы. Однако расходы состоят из рабочих дней и потребляемых ценностей или, в конечном счете, заработной платы. Так какова же зарплата рабочего? Минимальная из всех, которые ему можно дать, то есть не известно, какова. Какой должна быть цена товара, выставяемого на рынок предпринимателем? Самой большой из всех, какую он может установить, то есть не известно, какой. В политической экономии также высказывается мнение о том, что товар и рабочий день могут облагаться *налогом*, поскольку они могут быть *оценены*; и это объясняется тем, что, по мнению экономистов, оценка является по существу произвольной операцией, которая никогда не может прийти к определенному и точному заключению. Как же тогда найти соотношение двух неизвестных, которые, согласно политической экономии, никак нельзя вычислить? Таким образом, политическая экономия порождает неразрешимые проблемы; и тем не менее мы скоро увидим, что она неизбежно ставит их, а наш век их решает. Вот почему я сказал, что Академия гуманитарных наук, выставя на обсуждение соотношение прибыли и заработной платы, делала это бессознательно, пророчески.

Но, скажут, не правда ли, что если труд будет сильно востребован, а рабочих будет не хватать, то зарплата сможет подняться, в то время как прибыль, с другой стороны, упадет? если, что подтверждает плотность конкуренции, наступит перепроизводство, возникнет беспорядок и убыточная торговля и, следовательно, отсутствие прибыли для предпринимателя и угроза безработицы? что тогда рабочий

предложит свой труд со скидкой? что если машина изобретена, то сначала она погасит пожары своих соперников; а потом, когда будет установлена монополия, а рабочий будет поставлен в зависимость от предпринимателя, прибыль и зарплата будут формироваться (происходить) одно из другого? Неужели все эти и другие причины не могут быть изучены, оценены, сопоставлены и т.д.

О! монографии, рассказы: мы пресыщены ими, начиная с Ад. Смита и Ж.-Б. Сея; и нет большой разницы между вариациями их текстов. Но это не то же самое, что вопрос, который должен быть услышан, к тому же Академия не придавала ему другого значения. *Соотношение прибыли и заработной платы* должно восприниматься в абсолютном смысле, а не с точки зрения неубедительных происшествий в торговле и разделения интересов — двух вещей, которые впоследствии должны получить свое толкование. Я объяснюсь.

Рассматривая производителя и потребителя как одно лицо, вознаграждение которого, естественно, равно его продукту; затем, выделяя в этом продукте две доли, одна из которых возмещает производителю его вложения, а другая формирует его прибыль, исходя из аксиомы, что любая работа должна оставлять излишек: мы должны определить отношение одной из этих двух долей к другой. После этого будет легко вывести соотношение благосостояния двух классов, предпринимателей и работников, так же, как и произвести учет коммерческих колебаний. Это будет серия следствий, прилагаемых к доказательствам.

Однако для того, чтобы такое соотношение существовало и стало ощутимым, необходимо, чтобы какой-либо закон, внутренний или внешний, руководил формированием заработной платы и цены продаж; и поскольку в текущем положении вещей заработная плата и цена постоянно варьируются и колеблются, спрашивается, какие общие факты, причины, которые приводят к *изменению и колебанию* стоимости, и в каких пределах происходит это колебание.

Но сам этот вопрос противоречит принципам: ибо, кто говорит о *колебании*, тот непременно предполагает среднее направление, к которому центр тяжести стоимости постоянно возвращает его; и когда Академия требует, чтобы *определялись колебания прибыли и заработной платы*, она тем самым требует, чтобы *определялась стоимость*. Так вот, именно это и отбрасывают господа из Академии: они не хотят слышать, что если стоимость изменчива, она тем самым определяема; что изменчивость — это показатель и условие определенности. Они утверждают, что стоимость, можно смеяться, никогда не может быть определена. Это как если бы утверждалось, что с учетом количества колебаний в секунду маятника, амплитуды колебаний, широты и высоты места проведения эксперимента, габариты маятника не могут быть определены, поскольку он находится в движении. Таков первый символ веры политической экономии.

Что же касается социализма, то он, похоже, не испытывает ни стремления понять этот вопрос и не заботится о нем. Среди множества его элементов одни просто

исключают проблему, подменяя распределение нормированием, то есть изгоняя из общественного организма число и меру; другие попадают в неловкое положение, применяя к заработной плате всеобщее избирательное право. Само собой разумеется, что эти бедняги находят обманутыми тысячи и сотни тысяч.

Приговор политической экономии был сформулирован Мальтусом¹ в этом знаменитом отрывке:

«Человек, который рождается в уже занятом мире, если его семья не может прокормить его, или если общество не нуждается в его работе, этот человек, говорю я, не имеет ни малейшего права требовать какую-либо порцию пищи; он действительно лишний на земле. На великом пиру природы нет места, сервированного для него. Природа велит ему уйти, и не медлит сама привести этот приказ в исполнение».

Итак, вот каков необходимый, роковой вывод политической экономии, вывод, который я продемонстрирую с невиданной до сих пор в этом порядке исследований очевидностью: смерть тому, у кого ничего нет.

Чтобы лучше понять мысль Мальтуса, давайте переведем ее в философские выражения, лишив ее ораторского блеска:

«Индивидуальная свобода и выражаемая ею собственность даны в политической экономии; равенство и солидарность в ней не даны. При таком режиме каждый у себя, каждый за себя: труд, как и любой товар, подвержен росту и падению: отсюда риски пролетариата. Тот, кто не имеет ни дохода, ни жалованья, не имеет права ничего требовать от других: его несчастье ложится на него одного; в игре фортуны удача повернулась против него».

С точки зрения политической экономии эти предложения неопровержимы; и Мальтус, сформулировавший их с такой тревожной точностью, застрахован от упреков. С точки зрения условий общественной науки эти же предложения радикально ошибочны и даже противоречивы.

Ошибка Мальтуса, или, лучше сказать, политической экономии, заключается не в том, что человек, которому нечего есть, должен погибнуть, и не в том, что в условиях индивидуального присвоения тому, у кого нет ни работы, ни дохода, не остается ничего иного, как уйти из жизни путем самоубийства, если он не предпочитает, чтобы его преследовал голод: таков, с одной стороны, закон нашего существования; таково, с другой стороны, следствие собственности; и М. Росси приложил слишком много усилий, чтобы оправдать здравый смысл Мальтуса в этом вопросе. Я подозреваю, правда, М. Росси, столь пространно и с такой любовью

¹ Мальтус Томас Роберт (1766—1834 гг.), британский священник, демограф, экономист, считается основателем классической макроэкономики. — А.А. А-О.

защищающего Мальтуса, в стремлении рекомендовать политическую экономию так же, как его соотечественник Макиавелли рекомендовал в своей книге «Государь» ко всеобщему изумлению деспотизм. Рассматривая нищету как неперемное условие промышленного и коммерческого произвола, М. Росси, кажется, кричит нам: вот ваше право, ваша справедливость, ваша политическая экономия; вот собственность.

Но галльская наивность ничего не слышит в этих тонкостях; и лучше было бы сказать Франции на ее безупречном языке: ошибка Мальтуса, вице-радикала политической экономии, заключается в целом в том, чтобы утвердить в качестве окончательного состояния переходное состояние, то есть разделение общества на патрициат и пролетариат; — в частности то, что в организованном и, следовательно, солидарном обществе возможно, что одни владеют, работают и потребляют, в то время как у других нет ни собственности, ни работы, ни хлеба. Наконец, Мальтус, или политическая экономия, заблуждается в своих выводах, когда видит, что способность к безграничному воспроизводству, которой пользуется человеческий вид, ни больше, ни меньше, чем все виды животных и растений, представляет собой постоянную угрозу наступления голода; в то время, как из этого следовало лишь вывести необходимость и, следовательно, существование закона равновесия между населением и производством.

В двух словах теория Мальтуса, и в этом большая заслуга этого писателя, заслуга, которую никто из его коллег не учитывал, заключается в сведении к абсурду всей политической экономии.

Что же касается социализма, то Платон и Томас Мор² уже давно охарактеризовали его одним словом: УТОПИЯ, то есть *отсутствие*, химера.

Однако надо это сказать, отдавая дань уважения человеческому разуму и ради справедливости: ни экономическая наука, ни правоведение не могли быть в своих началах иными, нежели мы их наблюдали; ни общество не может остановиться на этой первой позиции.

Всякая наука должна прежде всего ограничивать свою область, производить и собирать свои материалы: факты перед системой; век учености перед веком искусства. Подчиняясь, как и любая другая, закону времени и условиям эксперимента, экономическая наука, прежде чем искать, *как все должно происходить* в обществе, должна была рассказать нам, как это *происходит*; и все эти обыденности, которые авторы так помпезно именуют в своих книгах *законами, принципами и теориями*, несмотря на их бессвязность и противоречивость, должны были быть собраны со скрупулезным усердием и описаны с суровой беспристрастностью. Для выполнения этой задачи требовалось больше гения, а главное, больше самоотверженности, чем

² Томас Мор (1478—1535 гг.), британский юрист, философ, писатель, государственный деятель; лорд-канцлер Англии (1525—1532 гг.). — А.А. А-О.

потребуется дальнейший прогресс науки.

Таким образом, если общественная экономика по-прежнему является скорее устремлением в будущее, чем осознанием реальности, то следует также признать, что все элементы этого исследования находятся в политической экономии; и я думаю, что выражаю общее мнение, говоря, что это мнение стало мнением подавляющего большинства умов. У настоящего защитников мало, это правда; но отвращение к утопии не менее универсально: и все понимают, что истина находится в формуле, которая сочетала бы два этих термина: СОХРАНЕНИЕ и ДВИЖЕНИЕ.

Так, благодаря А. Смиту, Ж.-Б. Сью, Рикардо и Мальтусу, а также их отчаянным противникам, тайны удачи, *atria Ditis*, раскрыты; преобладание капитала, угнетение рабочего, махинации монополии, освещенные во всех отношениях, отступают перед взглядами общественного мнения. По фактам, наблюдаемым и описываемым экономистами, можно рассуждать и предполагать: необоснованные права, несправедливые обычаи, соблюдаемые так долго, как долго длилась тьма, заставлявшая их жить, которые оканчиваются при дневном свете, под всеобщим осуждением; есть подозрение, что управление обществом должно быть изучено не в накопленной идеологии, методом *Общественного договора*, а, как заметил Монтескье, в *соотношении вещей*; и уже левые с высокими устремлениями общества, сформированного из хвастунов, чиновников, адвокатов, профессоров, даже капиталистов и руководителей промышленности, всех наших представителей и защитников привилегий и миллионов последователей, встают в стране выше и вне парламентских взглядов и стремятся, по ходу анализа экономических фактов, удивить секретами жизни общества.

Давайте представим себе политэкономия как огромную равнину, заваленную материалами, подготовленными для строительства. Рабочие ждут сигнала, полные пыла и стора от желания приступить к работе: но архитектор исчез, не оставив плана. Экономисты сохранили память о множестве вещей: к сожалению, у них нет и тени сметы. Им известны происхождение и историческая справка каждой детали; сколько стоила ее обработка; из какого дерева лучше делать балки, а из какой глины — лучшие кирпичи; сколько было потрачено на инструменты и перевозку; сколько зарабатывали плотники, и сколько каменщики: они ничего не знают о конечном направлении. Экономисты не могут скрыть, что у них перед глазами находятся брошенные кое-как фрагменты шедевра, *disjecti membra poetæ*; но восстановить общий рисунок им пока не удавалось, и всякий раз, когда они пробовали приблизиться к цели, они встречали лишь несоответствия. Отчаявшись, наконец, после безрезультатных усилий, они окончили возведением в догму архитектурного несоответствия науки, или, как они говорят, *несоответствий* ее

принципов; одним словом, они решили отрицать науку³.

Таким образом, разделение труда, без которого производство было бы почти нулевым, подвержено тысяче недостатков, худшим из которых является деморализация рабочего; машины производят, наряду с дешевизной, переполнение и безработицу; конкуренция приводит к угнетению; налог, материальное звено общества, — часто такое же страшное бедствие, как пожар и град; кредит ведет к банкротству; собственность — это муравейник злоупотреблений; торговля вырождается в азартную игру, где даже подчас допустимо обманывать: короче говоря, беспорядок, находящийся повсюду в равной пропорции с порядком, без того, чтобы кто-то знал, как одно может исключить другое, *taxis ataxian diōkein*, экономисты пришли к выводу, что все к лучшему, и смотрят на любое предложение о поправках как на угрозу политической экономии.

Поэтому общественное здание было заброшено; толпа ворвалась на стройку: колонны, капители и цоколи, дерево, камень и металл были распределены по партиям и по жребью, и из всех этих материалов, собранных для великолепного храма, собственность, невежественная и варварская, построила хижины. Таким образом, речь идет не только о том, чтобы восстановить план постройки, но и о том, чтобы вытеснить оккупантов, которые утверждают, что их город превосходит, и при одном слове о реставрации, выстраиваются в готовности к бою у своих дверей. Такой путаницы не бывало в прошлые времена в Вавилоне: к счастью, мы говорим по-французски, и мы более отважны, чем соратники Немрода.

Оставим аллегорию: метод исторический и описательный метод, успешно применявшийся до тех пор, пока приходилось оперировать только опознаниями, теперь бесполезен: после тысяч монографий и таблиц мы продвинулись не далее, чем до времен Ксенофона и Гесиода. Финикийцы, греки, итальянцы когда-то работали так же, как и мы сегодня: они вкладывали свои деньги, платили своим рабочим, расширяли свои поместья, совершали отгрузки и сборы, вели свои (бухгалтерские) книги, спекулировали, агитировали, разорялись, в соответствии со всеми правилами экономического искусства, соглашаясь, как мы, с присвоением монополий и вымогательством потребителя и рабочего. От всего этого возникал переизбыток отношений; и когда мы постоянно пересчитывали свою статистику и цифры, мы не получали ничего, кроме хаоса, у нас всегда был бы перед глазами только хаос, хаос неподвижный и однородный.

Считается, правда, что начиная с мифологических времен до настоящего 57-го года нашей великой революции¹ общее благоденствие возросло: христианство

³ «Принцип, определяющий жизнь наций, — это не чистая наука: это совокупность данных, которые возникают из состояний общественных элит, потребностей и интересов». Так выразил себя в декабре 1844 года один из самых ясных умов во Франции, г-н Леон Фоше. Объясните, если возможно, каким образом человек такого уровня смог, используя свои экономические убеждения, показать, что совокупность данных общества противоречат чистой науке.

давно было принято в качестве главной причины этого улучшения, присвоить лавры за которое, однако, экономисты требуют своим принципам. Ибо ведь, говорят они, каково было влияние христианства на общество? Глубоко утопичное с самого рождения, оно могло поддерживаться и расширяться не иначе, как постепенно адаптируя все экономические категории, труд, капитал, аренду, ростовщичество, доставку, собственность, — освятив, одним словом, римское право, высшее выражение политической экономии.

Христианство, чуждое по своей богословской части теориям производства и потребления, было для европейской цивилизации тем, чем прежде были для странствующих рабочих товарищеские общества и франк-масонство, своего рода договором страхования и взаимной помощи; в этом отношении оно ничем не обязано политической экономии, и то добро, которое оно сделало, не может быть использовано ею в качестве свидетельства своей достоверности. Благотворительность и самоотверженность находятся за рамками экономики, которая должна обеспечивать благополучие обществ посредством организации труда и правосудия. Кроме того, я готов признать положительные эффекты механизма собственности; но я замечаю, что эти эффекты полностью компенсируются теми несчастьями, которые порождает этот механизм: как ранее признавался в английском парламенте один известный министр, и, как мы вскоре продемонстрируем, в современном обществе прогресс нищеты параллелен и адекватен прогрессу богатства, что полностью сводит на нет достоинства политической экономии.

Таким образом, политическая экономия не оправдывает себя ни своими максимумами, ни своими трудами; а что касается социализма, то вся его ценность сводится к тому, что он констатировал. Поэтому мы должны вернуться к рассмотрению политической экономии, поскольку она единственная содержит, по крайней мере частично, материалы общественной науки; и проверить, не скрывают ли ее теории какую-либо ошибку, исправление которой сбалансирует факт и право, откроет органический закон человечества и даст позитивную концепцию порядка.

Глава II.О СТОИМОСТИ

§ I. Противостояние полезной стоимости и стоимости обмена

СТОИМОСТЬ — краеугольный камень экономической постройки.

Божественный создатель, который ввел нас в продолжение своего труда, ни с кем не объяснился: но по некоторым признакам можно делать предположения. На самом деле стоимость имеет две стороны: одну, которую экономисты называют *потребительской* стоимостью, или стоимостью самой по себе; другую, стоимостью *обмена*, или стоимостью мнения. Эффекты, производимые стоимостью в этом двойном аспекте, очень расплывчаты, поскольку у нее нет точки опоры, или, выражаясь более философски, поскольку стоимость не установлена официально, они полностью изменяемы таким положением.

Теперь, в чем состоит соотношение полезной стоимости со стоимостью обменной; что понимается под установленной стоимостью, и какой перипетией управляется это установление: это объект и цель политической экономии. Я прошу читателя сосредоточиться на следующем: эта глава является единственной в этой книге, которая требует от него немного доброй воли. Со своей стороны, я постараюсь быть все более простым и понятным.

Все, что может быть полезным для меня, имеет для меня стоимость, и я тем более богаче, чем больше пользы в потребляемой вещи: в этом сложность. Молоко и мясо, фрукты и семена, шерсть, сахар, хлопок, вино, металлы, мрамор, земля, наконец, вода, воздух, огонь и солнце, обладают в отношении меня стоимостью использования, стоимостью по природе и предназначению. Если бы все вещи, которые служат моему существованию, были настолько же щедрыми, как некоторые из них, как, например, свет; другими словами, если бы количество каждого вида стоимостей было неисчерпаемым, мое благополучие было бы гарантировано навсегда: мне бы не пришлось работать, я бы даже не думал об этом. В этом состоянии вещи всегда будут содержать *пользу*, но было бы неверно говорить, что они *стоят*; поскольку стоимость, как мы это вскоре увидим, означает отношение по существу социальное (общественное); и только благодаря обмену, возвращению общества к природе мы обрели понятие пользы. Все развитие цивилизации происходит, следовательно, из-за того, что человеческий вид постоянно провоцирует создание новых стоимостей, так же как первопричина общественного зла состоит в вечной борьбе, которую мы ведем против нашего собственного бездействия (инерции). Лишите человека этой потребности, которая требует от него мыслить и подталкивает его к созерцательной жизни, и мастер творения превратится лишь в первого из

четвероногих.

Но как полезная стоимость становится стоимостью обмена? Потому что следует отметить, что эти два вида стоимостей, хотя и являются актуальными в теории (поскольку первая не осознается без второй), тем не менее поддерживают отношения преемственности: обменная стоимость является своего рода отражением полезной стоимости, поскольку богословы учат, что в троице отец, созерцая себя в вечности, порождает сына. Эта генерация идеи стоимости не была изучена экономистами с достаточным тщанием: поэтому нам важно на этом остановиться.

К тому же поскольку среди предметов, которые мне необходимы, очень большое количество встречается в природе только в ограниченном количестве, или даже вообще не встречается, я вынужден способствовать производству того, чего мне не хватает; и так как я не могу достать так много вещей, я предлагаю другим, моим коллегам в различных функциях, выделить часть их продуктов в обмен на мои. Поэтому я получу от своего конкретного продукта всегда больше, чем потребляю; так же, как равные мне будут получать от своих продуктов больше, чем используют. Это молчаливое соглашение достигается посредством *торговли*. В этом случае мы увидим, что логическая последовательность двух видов стоимости в истории выглядит намного лучше, чем в теории, и люди провели тысячи лет в оспаривании природных богатств (в том, что называется примитивным сообществом), прежде чем их промышленность привела к обмену.

Далее, способность, которой обладают все продукты природного или промышленного происхождения, используемые для обеспечения жизнедеятельности человека, называется полезной стоимостью; способность, которую они в состоянии передать от одного другому, — стоимостью обмена. По сути, это одно и то же, поскольку второй случай только добавляет к первому идею замещения, и все это может показаться бесполезным: на практике последствия оказываются неожиданными и поочередно успешными или губительными.

Таким образом, отличие, установленное в стоимости, подтверждается фактами и не является произвольным: это человек, подчиняясь этому закону, должен заставить его повернуться к выгоде своего благополучия и своей свободы. Труд, согласно красивому выражению одного автора, М. Вальраса, — это война, объявленная скупости природы; благодаря труду создаются одновременно богатство и общество. Не только труд производит несравненно больше благ (товаров), чем дает нам природа; — исходя из этого мы заметили, что одни только сапожники во Франции произвели в десять раз больше, чем объединенные шахты Перу, Бразилии и Мексики; — но работа, благодаря преобразованиям, которые она заставляет претерпевать природные ценности, расширяя и бесконечно приумножая свои права, мало-помалу случается так, что все богатство, проходя через промышленную матрицу, полностью возвращается к тому, кто его создает, и для владельца сырья ничего или почти

ничего не остается.

Таков, следовательно, ход экономического развития: вначале присвоение земли и природных ценностей: затем объединение и распределение посредством работы до полного равенства. Разорения посеяны на нашем пути, меч нависает над нашими головами; но у нас есть возможность отвести все опасности; и эта возможность — всемогущество¹.

Из соотношения полезной стоимости к обменной стоимости следует, что, если случайно или по злему умыслу обмен был запрещен одному из производителей, или если полезность его продукции внезапно прекратилась, то даже при заполненных складах он ничего не обретет. Чем больше жертв он принес и доблести проявил, тем глубже будет его нищета. — Если бы полезность продукции, вместо того, чтобы вообще исчезнуть, была только уменьшена, это то, что может произойти сотнями способов: работник вместо того, чтобы быть пораженным упадком и разоренным внезапной катастрофой, был бы только обеднен; будучи вынужденным поставить большое количество своих ценностей за небольшое количество иностранных ценностей, его прожиточный минимум будет сокращен в пропорции, равной дефициту его продаж, что приведет его к переходу от достатка к обеднению. Если, наконец, полезность продукта вырастет или производство станет менее дорогостоящим, торговый баланс обернется к выгоде производителя, чье благосостояние, таким образом, может возрасти от трудоемкой ограниченности до праздного изобилия. Это явление обесценивания и обогащения проявляется в тысяче форм и в тысяче комбинаций: именно в этом состоит страстная и интригующая игра торговли и промышленности; это та полная подвохов лотерея, которая, по мнению экономистов, должна длиться вечно, и отмены которой, не осознавая этого, требует Академия гуманитарных и политических наук, поскольку под именами прибыли и заработной платы она требует соединения полезной стоимости и обменной стоимости взамен, то есть чтобы был найден способ сделать все потребительские стоимости равными обменным стоимостями, *vice versa* (наоборот), все обменные стоимости полезные равными потребительским.

Экономисты очень хорошо выделили двойной характер стоимости: но то, что им не удалось выделить так же четко, — ее противоречивую природу. Здесь начинается наша критика.

Польза — необходимое условие обмена; но отнимите обмен, и польза станет нулевой: эти два термина неразрывно связаны между собой. Где же тогда возникает противоречие?

Так как все, пока мы есть мы, существует только через труд и обмен, и мы тем более богаты, чем более мы производим и торгуем, то для каждого следует необходимость

¹ Прудон использует именно так переводимое слово *toute-puissance*. — А.А. А-О.

производить как можно больше потребительской ценности, чтобы еще больше увеличить свой обмен, и, следовательно, свое потребление. Ну а первый эффект, неизбежный эффект умножения стоимостей — их Понижение: чем больше товара, тем больше он теряет на бирже и обесценивается коммерчески. Не правда ли, существует противоречие между необходимостью труда и его результатами?

Я заклинаю читателя, прежде чем бежать впереди объяснения, остановить его внимание на факте.

Крестьянин, собравший двадцать мешков пшеницы, которую он намеревается съесть вместе со своей семьей, считает себя вдвое богаче, чем если бы он собрал только десять (мешков); — точно так же домохозяйка, которая наткала пятьдесят ярдов холста, считает себя в два раза богаче, чем если бы она наткала только двадцать пять. Относительно домашнего хозяйства они оба правы; но с точки зрения своих внешних сношений они могут ошибаться во всем. Если урожай пшеницы будет удвоен по всей стране, то двадцать мешков можно будет продать с меньшей стоимостью, чем десять, если урожай будет в половину меньше; как и в подобном случае пятьдесят ярдов холста будут стоить меньше, чем двадцать пять. Так что стоимость уменьшается по мере увеличения производства, а производитель может прийти к бедности, постоянно обогащаясь. И кажется, что это не излечимо, так как единственным средством спасения стало бы положение, при котором промышленных товаров было бы столько же, сколько воздуха и света, — бесконечное количество, что абсурдно. Бог мой! — сказал бы Жан-Жак: это не экономисты неразумны; это сама политическая экономия неверна своим определениям: *Mentita est iniquitass ibi* (контрафакт — это грех). В приведенных выше примерах полезная стоимость превышает стоимость обмена: в других случаях она меньше. То же самое происходит, но в обратном смысле: остаток выгоднее для производителя, а потребитель теряет. Это происходит, в частности, в случае неурожая, где рост потребления всегда будет фиктивным. Есть также профессии, все искусство которых состоит в том, чтобы придавать пользе посредственность, и в отношении которых действует преувеличенное мнение: таковы, как правило, предметы роскоши. Человек, по своей эстетической страсти, бессмысленно жаден, обладание этими предметами удовлетворяет его тщеславию, врожденному вкусу к роскоши и более благородной и уважаемой любви к прекрасному: именно на это и рассчитывают поставщики таких предметов. Навязывание прихотей и нарядностей не менее отвратительно и не менее абсурдно, чем введение пошлин на движение: но этот налог взимают некоторые популярные предприниматели, которых защищает общее увлечение, и чья заслуга часто состоит в искажении вкуса и порождении непостоянства. Никто не жалуется; и все проклятия общественного мнения сохраняются для монополистов, которые силой гения умудряются поднять на несколько копеек цену холста и хлеба...

Недостаточно просто отметить этот удивительный контраст между полезной стоимостью и стоимостью обмена, в котором экономисты не привыкли видеть ничего, кроме самого простого: надо показать, что эта так называемая простота

скрывает глубокую тайну, проникнуть в которую — наш долг.

Поэтому я призываю любого серьезного экономиста объяснить мне, иначе, нежели повторяя и переводя вопрос, по какой причине стоимость уменьшается с ростом производства; и взаимнообразно, что заставляет ту же самую стоимость расти одновременно с уменьшением производства. С технической точки зрения, полезная стоимость и обменная стоимость, необходимые друг другу, обратно пропорциональны друг другу: поэтому я спрашиваю, почему дефицит, а не польза, является синонимом дороговизны. Ибо, отметим как следует, взлет и падение стоимостей товаров не зависят от количества труда, затраченного на их производство; и большим или меньшим объемом издержек, которые были потрачены на их производство, невозможно объяснить изменения продаж. Стоимость капризна, как свобода: она не учитывает ни полезности, ни труда (вложенного); отнюдь не похоже, что при обычном ходе вещей, кроме определенных исключительных пертурбаций, наиболее полезными объектами всегда являются те, которые должны быть поставлены по более низкой цене; другими словами, те, кто работают с наибольшим удовольствием, получают лучшее вознаграждение, а те, кто в ходе работы проливают кровь и воду, — худшее. Так же, следуя этому правилу до получения окончательных результатов, мы пришли бы к тому самому логичному выводу в мире, что вещи, использование которых необходимо, и количество которых безгранично, бессмысленны; а те, польза которых равна нулю, и количество чрезвычайно ограничено, бесценны. Но, что еще хуже, практика не допускает таких крайностей: с одной стороны, ни один продукт, произведенный человеком, не может достичь бесконечной величины; с другой стороны, самые редкие вещи должны быть в некоторой степени полезны, иначе они не будут иметь никакой стоимости. Таким образом, полезная стоимость и обменная стоимость неизбежно остаются связанными друг с другом, хотя по своей природе они стремятся постоянно исключать друг друга.

Я не буду утомлять читателя словопрениями, которые можно использовать для прояснения этого вопроса: не существует, что касается противоречия, присущего понятию стоимости, ни причины, ни возможного объяснения. Факт, о котором я говорю, является одним из тех, которые мы называем примитивными, то есть теми, которые могут служить для объяснения других фактов, но которые сами по себе, как тела, называемые простыми, неразрешимы. Таков дуализм разума и материи. Разум и материя — это два термина, каждый из которых по отдельности указывает на особый взгляд разума, но не реагирует на какую-либо реальность. Точно так же, учитывая потребность человека в разнообразных продуктах с обязательством производить их своим трудом, неизбежно возникает противопоставление полезной стоимости обменной стоимости; и из этой оппозиции — противоречие на пороге той же политической экономии. Никакой разум, никакая божественная и человеческая воля не могут этому помешать.

Таким образом, вместо того, чтобы искать химерическое объяснение, давайте

сочтем за благо констатировать необходимость противоречия.

Независимо от обилия созданных стоимостей и пропорций, в которых они обмениваются, для того, чтобы мы обменивались нашими продуктами, необходимо, если вы *заказчик*, чтобы мой продукт вам подходил, а если вы представляете *предложение*, я одобряю ваш продукт. Потому что никто не имеет права навязывать свои товары другим: единственным судьей полезности или, что то же самое, необходимости, является покупатель. Итак, в первом случае вы являетесь арбитром соответствия; во втором — я. Уберите взаимную свободу, и обмен перестанет служить проявлением промышленной солидарности: это будет грабежом. Коммунизм, кстати, никогда не преодолет эту трудность.

Но при условии свободы производство обязательно остается неопределенным — что в количественном, что в качественном отношении; как и то, что с точки зрения экономического прогресса, а также соответствия ожиданиям потребителей, оценка всегда остается произвольной, и цена товара всегда будет плавающей. Предположим на мгновение, что все производители торгуют по фиксированной цене: найдутся те, кто, производя дешевле или производя лучше, много выиграет, а остальные ничего не получат. В любом случае баланс нарушен. — Хотим ли мы, — чтобы противостоять стагнации торговли, — ограничить производство? Это насилие над свободой: потому что, лишив меня права выбора, вы заставляете меня платить максимум; вы уничтожаете конкуренцию, единственную гарантию дешевизны и провоцируете контрабанду. Таким образом, чтобы предотвратить коммерческий произвол, вы попадете в административный произвол; чтобы создать равенство, вы уничтожите свободу: это отрицание самого равенства. — Соберете ли вы производителей в одном цеху, — полагаю, вам известен этот секрет? — этого еще недостаточно: вам также придется собрать потребителей в общем домохозяйстве: но тогда вы оставите вопрос. Речь идет не об отмене идеи стоимости, что столь же невозможно, как отмена работы, но о ее определении; речь идет не об уничтожении индивидуальной свободы, но о ее социализации. Теперь доказано, что именно свободная воля человека порождает противостояние между полезной стоимостью и обменной стоимостью: как устранить это противостояние, пока остается свободная воля? И как пожертвовать этим, не жертвуя человеком?...

Таким образом, только благодаря этому, будучи свободным покупателем, я оцениваю свою потребность, сужу о пригодности объекта, сужу о цене, которую я хочу заплатить; и, с другой стороны, благодаря этому вы, будучи свободным производителем, владеете средствами производства, и, следовательно, у вас есть возможность сокращать свои расходы, стоимость становится произвольной и колеблется между полезностью и мнением.

Но это колебание, прекрасно обозначаемое экономистами, является не чем иным, как следствием противоречия, которое, будучи выраженным в широком масштабе, порождает самые неожиданные явления. Три года плодородия в некоторых губерниях России являются общественным бедствием; так же, как на наших

виноградниках три года изобилия являются бедствием для винодела. Я хорошо знаю, что экономисты связывают это с отсутствием точек продаж; но это еще большой вопрос — в точках ли продаж проблема. К сожалению, то же самое относится и к теории точек продаж, и к теории эмиграции, которые противопоставлялись Мальтусу; это объявление принципа. Страны с лучшим обеспечением точками продаж подвержены перепроизводству так же, как и страны с худшим обеспечением, более изолированные страны: где падение и рост известны более, чем на биржах Парижа и Лондона?

Из колебания стоимости и вызванных ею нерегулярных последствий социалисты и экономисты, каждая со своей стороны, пришли к противоположным, но в равной степени ошибочным результатам: первые предприняли попытку оклеветать политическую экономию и исключить ее из общественных наук; другие — чтобы отвергнуть любую возможность примирения между терминами и утвердить в качестве абсолютного закона торговли несоизмеримость стоимостей, приносящую неравенство состояний.

Я говорю, что обе стороны одинаково ошибаются.

1.

Идея противоречия стоимости, столь хорошо подчеркнутая неизбежным различием потребительской стоимости и обменной стоимости, происходит не из ложного восприятия ума, не из порочности терминологии, не из каких-либо отклонений от практики: она тесно связана с природой вещей и основана как категория на разуме как главной форме мышления. Теперь, из того, что понятие стоимости является отправной точкой политической экономики, следует, что все элементы науки, — я использую слово «наука» опережающим образом, — противоречивы сами по себе и противоположны друг другу, так что по каждому вопросу экономист оказывается между одинаково неопровержимыми утверждением и отрицанием. В конце концов, АНТИНОМИЯ, если использовать это в рамках современной философии, является фундаментальным символом политической экономики, то есть одновременно и смертным приговором, и оправданием.

Антиномия, буквально анти-закон, означает оппозицию в принципе или антагонизм в учете, как противоречие или нелогичность указывают на оппозицию или противоречие дискурса. Антиномия, прошу прощения за углубление в детали схоластики, хотя и все еще не известные большинству экономистов, антиномия — это концепция двустороннего закона, одна из сторон которого положительная, другая — отрицательная: таков, например, закон, называемый *притяжением*, который заставляет планеты вращаться вокруг Солнца и который геометры разложили на центростремительную силу и центробежную силу. Такова же проблема делимости

материи на бесконечности, которая, как показал Кант², может быть отвергнута и подтверждена поочередно одинаково правдоподобными и неопровержимыми аргументами.

Антиномия лишь отражает факт и настоятельно навязывает разуму: собственное противоречие — абсурд. Это различие между антиномией (*contra-lex*) и противоречием (*contra-dictio*) показывает, в каком смысле можно сказать, что в определенном порядке идей и фактов аргумент противоречия имеет лишь математическое значение.

В математике существует правило, согласно которому если утверждение оказывается ложным, то противоположное утверждение истинно, и наоборот. Это великий прием математической демонстрации. В социальной экономике это правило не работает: так, мы увидим, например, что существование собственности отрицает общественное владение, и, следовательно, общность, в обратном порядке, теряет истинность, но она отрицаема в то же время и в том же качестве, что и собственность. Следует ли из этого, как было заявлено с нелепым пафосом, что вся истина, вся идея проистекают из противоречия, то есть из чего-то, что утверждает себя и отрицает себя одновременно и с одной и той же точки зрения, и что следует забросить как можно дальше старую логику, которая делает противоречие признаком ошибки? Эта болтовня достойна софистов, которые без веры и совести пытаются увековечить скептицизм, чтобы сохранить свою нахальную бесполезность. Как антиномия, при том, что ее неправильно поняли, безошибочно приводит к противоречию, мы принимаем их друг за друга, особенно на французском языке, на котором принято судить обо всем по последствиям. Но ни противоречие, ни антиномия, которую анализ обнаруживает в основе любой простой идеи, не являются принципом истины. Противоречие всегда является синонимом ничтожности (отсутствия); что касается антиномии, которую иногда называют тем же именем, то она на самом деле является предвестником истины, которую она наполняет, образно говоря, материей; но она не является истиной, и, рассматриваемая сама в себе, она является действенной причиной беспорядка, в чистом виде ложью и вредом.

Антиномия состоит из двух терминов, необходимых друг другу, но всегда противоположных и стремящихся уничтожить друг друга. Я едва осмелюсь добавить, но мы должны сделать этот шаг, чтобы первый из этих терминов получил название *тезис*, позиция, а второй — *анти-тезис*, контр-позиция. Этот механизм сейчас настолько известен, что он скоро, надеюсь, появится в учебной программе начальных школ. Позже мы увидим, как из комбинации этих двух нулей возникает единство или идея, которая заставляет антиномию исчезнуть.

Таким образом, в стоимости нет ничего полезного, что нельзя обменять, ничто нельзя обменять, если оно бесполезно: полезная стоимость и обменная стоимость

² Иммануил Кант (1724—1804 гг.), родоначальник классической немецкой философии. — А.А. А-О.

неразделимы. Но в то время, как в результате развития промышленности спрос меняется и бесконечно увеличивается; производство, следовательно, стремится увеличивать естественную полезность вещей и, в конечном счете, превращать любую полезную стоимость в меновую стоимость; — с другой стороны, производство, непрерывно увеличивающее мощь своих средств и снижающее свои затраты, стремится уменьшать продаваемость вещей: так же, как находятся в постоянной борьбе полезная стоимость и меновая стоимость.

Эффекты этой борьбы известны: торговые и сбытовые войны, перепроизводства, стагнации, запреты, зверства конкуренции, монополия, снижение заработной платы, законы максимумов, подавляющее неравенство состояний, нищета проистекают из антиномии стоимости. Да освободят меня от демонстрации всего этого здесь, поскольку она появится, естественно, в следующих главах.

Социалисты, справедливо требуя положить конец этому антагонизму, ошибались, игнорируя источник и видя в нем только неправильное понимание здравого смысла, которое можно исправить указом государственной власти. Отсюда этот взрыв грустного идиотизма, который сделал социализм настолько неспособным для позитивного восприятия и который, распространяя самые абсурдные иллюзии, до сих пор постоянно производит так много одуроченных. В чем я обвиняю социализм, появившийся небеспричинно; так это в том, что он остается так долго и так упрямо глупым.

2.

Но экономисты не менее серьезно заблуждались, когда заведомо отклоняли, именно в силу противоречивых данных, или, точнее сказать, противоречия стоимости, любую идею и любую надежду на реформу, даже не желая понять, что как раз при достижении обществом периода наивысшего антагонизма неизбежным становится наступление примирения и гармонии. Все-таки тщательное изучение политической экономии повлияло бы на его последователей, если бы они больше учитывали вопросы современной метафизики. Всем тем, что человеческому разуму известно наиболее позитивного, было продемонстрировано, что там, где проявляется антиномия, появляется обещание разрешения условий и, следовательно, объявление трансформации. Иными словами, понятие стоимости, как оно было раскрыто, в частности, г-ном Ж.-Б. Сзем, относится именно к этому случаю. Но экономисты, отсталые по большей части и, по непостижимой фатальности чуждые философскому движению, не осмеливались предполагать, что противоречивый характер или, как они говорили, вариативность стоимости, в то же время являются подлинным признаком ее конституционности, я имею в виду ее чрезвычайно гармоничную и определяемую природу. К позору различных экономических школ несомненно, что их оппозиция социализму исходит исключительно из этой ложной концепции их собственных принципов; достаточно одного доказательства из тысячи.

Академия наук, превысив однажды свои полномочия, устроила чтение записок, в которых было предложено рассчитать таблицы стоимостей для всех товаров, приходящихся в среднем на одного человека в течение одного рабочего дня по каждой отрасли промышленности. «Экономический журнал» (август 1845 г.) немедленно взял текст этого сообщения, противный его взору, чтобы протестовать против предложенного тарифа, который был предметом записок, и восстановить то, что он назвал истинными принципами.

«Не существует, — сообщал он в своих заключениях, — единицы измерения стоимости, стандарта стоимости; это экономическая наука говорит — так же, как математическая наука говорит нам, что не существует вечного двигателя и квадратуры круга, и что эта квадратура и этот двигатель никогда не обнаружатся. Поэтому, если не существует стандарта стоимости, если единица измерения стоимости не более, чем метафизическая иллюзия, каково в конечном итоге правило, регулирующее обмена?. Это, как уже было сказано, *предложение и спрос*, — вот последнее слово науки».

Но как «Экономический журнал» доказал, что нет единицы измерения стоимости? Я воспользуюсь этим употребляемым термином: я покажу в свое время, что это выражение, *единица измерения стоимости*, подозрительно и не передает в точности то, что мы хотим и что мы должны сказать.

Этот журнал повторял, сопровождая примерами, утверждение об изменчивости стоимости, которое мы привели выше, но не делая вывода, как мы, о существовании противоречия. Теперь, если бы уважаемый редактор, один из самых выдающихся экономистов школы Сэя, располагал бы более серьезными диалектическими привычками; если бы он долго тренировался не только в наблюдении за фактами, но и в поисках их объяснения в идеях, которые их порождают, я не сомневаюсь, что он выражался бы более сдержанно, и что вместо того, чтобы видеть в изменчивости стоимости *последнее слово науки*, он увидел бы в нем первое слово. В размышлениях о том, что изменчивость стоимости происходит не от вещей, а от ума, он сказал бы себе, что, поскольку свобода человека имеет свой закон, стоимость также должна иметь свой собственный; следовательно, нет ничего иррационального в гипотезе единицы измерения стоимости, поскольку, наоборот, отрицание этой единицы нелогично, безосновательно.

В самом деле, почему идея измерить и, следовательно, зафиксировать стоимость претит науке? Все верят в эту фиксацию; все хотят ее, ищут ее, предполагают: каждое предложение о продаже или покупке — это, в конечном счете, не что иное, как сравнение двух стоимостей, то есть более или менее справедливое, если хотите, но эффективное ее определение. Мнение человечества о разнице, существующей между реальной стоимостью и стоимостью в продаже, можно сказать, единодушно. Это то, что заставляет продавать так много товаров по фиксированной цене; есть даже такие товары, стоимость которых, даже во всех вариациях, всегда фиксированная: таков хлеб. Никто не отрицает, что, если два производителя могут взаимнообразно

отгрузить по установленной цене соответствующие количества их продуктов, то десять, сто, тысяча производителей не смогут сделать то же самое. Однако именно это решило бы проблему измерения стоимости. Я согласен, что стоимость всего обсуждаема, потому что обсуждение все еще является для нас единственным способом установить стоимость; но, в конце концов, поскольку весь мир исходит от потрясения, обсуждение, хотя и является доказательством неопределенности, нацелено, более или менее добросовестно, на обнаружение взаимосвязи стоимостей, то есть их измерение, их закон.

Рикардо³ в своей теории ренты дал великолепный пример соизмеримости стоимостей. Он показал, что стоимости пахотных земель относятся друг к другу так же, как стоимости урожаев с этих земель; и универсальная практика в этом согласуется с теорией. Тогда кто скажет нам, что этот положительный и верный способ оценки земли и вообще всего задействованного капитала не может распространяться так же на продукты?...

Говорят: политическая экономия не регулируется предположениями; она высказывается только о свершившихся фактах. Значит, это факты, это опыт, который учит нас тому, что не существует и не может существовать измерение стоимости, и который доказывает, что если такая идея возникла естественным путем, ее реализация — полная химера. Предложение и спрос — единственное правило торговли.

Я не буду повторять, что опыт доказывает ровно обратное; что все в экономическом движении общества указывает на тенденцию к формированию и закреплению стоимости; что это является кульминацией политической экономии, которая в соответствии с этим формированием трансформируется и является высшим признаком порядка в обществе: это общее суждение, повторенное без доказательств, будет скучным. На данный момент я ограничиваюсь условиями обсуждения и говорю, что *предложение* и *спрос*, которые, как утверждается, — единственное, что регулирует стоимость, являются не чем иным, как двумя церемониальными формами, служащими для того, чтобы установить существование полезной стоимости и стоимости обмена, и добиться их примирения. Это два электрических полюса, соединение которых должно вызывать феномен экономической близости, называемый ОБМЕНОМ. Подобно полюсам стека (прута), предложение и спрос диаметрально противоположны и постоянно стремятся уничтожить друг друга; именно благодаря их антагонизму цена вещей либо возрастает, либо уменьшается: поэтому мы хотим знать, нет ли возможности в любом случае уравновесить или заставить потесниться эти две силы таким образом, чтобы цена вещей всегда являлась выражением истинной стоимости, выражением справедливости. Сказать после этого, что предложение и спрос являются правилом обменов, значит сказать, что предложение и спрос являются правилом предложения и спроса; это не

³ Давид Рикардо (1772—1823 гг.), британский экономист, классик политической экономии. — А.А.А-О.

объяснение практики, это объявление ее абсурдной, и я отрицаю, что практика абсурдна.

Ранее я ссылался на Рикардо, который предоставил, для частного случая, положительное правило сравнения стоимостей: экономисты поступают еще лучше; каждый год они составляют статистические таблицы, средние значения всей торговли. В чем смысл средних значений? Все понимают, что в конкретной операции, взятой случайным образом из миллиона, ничто не может указать — предложение ли, полезная стоимость соответствуют ему (этому среднему значению), или обменная стоимость, то есть спрос. Но поскольку любое увеличение цены товара рано или поздно сопровождается пропорциональным падением; поскольку, иными словами, в обществе доходы от ажио⁴ равны затратам, поэтому можно правильно оценить средние цены за полный период в качестве указания на реальную и справедливую стоимость продуктов. Это среднее значение, правда, появляется слишком поздно: но кто знает, можем ли мы заранее обнаружить его? Существует ли экономист, который осмелится сказать «нет»?

Нравится нам это или нет, мы должны искать меру стоимости: логика этого требует, и ее выводы одинаково годятся и против экономистов, и против социалистов. Мнение, которое отрицает существование этой меры (стоимости), является иррациональным, необоснованным. Скажите, если хотите, с одной стороны, что политическая экономия — это наука о фактах, а факты противоречат гипотезе определения стоимости; — с другой стороны, что этот щепетильный вопрос больше не имеет места в универсальном объединении, которое поглотило бы весь антагонизм: я всегда отвечу, правым и левым:

1) Как нет факта, не имеющего своей причины, так же нет и факта, не имеющего своего закона; и что если не найден закон обмена, то ошибка кроется не в фактах, а в ученых;

2) До тех пор, пока человек будет работать, чтобы существовать, и будет работать свободно, справедливость будет условием братства и основой объединения: следовательно, без определения стоимости справедливость невозможна.

⁴ Ажио (превышение — лат.) — финансовый термин, означающий прибавочную стоимость, которую оплачивают в некоторых случаях при покупке денежных знаков или государственных ценных бумаг сверх их номинальной цены.

§ II. Формирование стоимости: определение богатства

Нам известна стоимость в двух ее противоположных аспектах: она не известна нам В ЦЕЛОМ. Если бы мы могли принять эту новую идею, мы имели бы абсолютную стоимость; и тарификация стоимостей, как об этом говорилось в докладе, прочитанном в Академии наук, стала бы возможной.

Представим себе богатство как массу, удерживаемую химической силой в постоянном состоянии, в которую постоянно поступают новые элементы, объединяющиеся в разных пропорциях, но согласно определенному закону: стоимость является пропорциональным соотношением (мерой), в соответствии с которым каждый из этих элементов является частью целого.

Из этого следуют две вещи: — первая, что экономисты совершенно ошибались, поскольку искали общую меру стоимости в пшенице, деньгах, ренте и т. д.; так же, как когда увидели, что этот стандарт измерения не был ни здесь, ни там, они пришли к выводу, что не было ни причины, ни меры стоимости; — вторая, что соотношение стоимостей может изменяться непрерывно, без остановки на подчинение закону, определение которого является искомым решением.

Эта концепция стоимости удовлетворяет, как это будет видно далее, всем условиям: поскольку она включает в себя одновременно и полезную стоимость, — в том, что в ней является положительным и фиксированным, и стоимость обмена, — в том, что в ней вариативно; во-вторых, она прекращает противостояние, которое казалось непреодолимым препятствием для любого определения; более того, мы покажем, что стоимость, понимаемая таким образом, полностью отличается от того, каким будет простое сопоставление двух идей полезной стоимости и обменной стоимости, и что она наделена новыми свойствами.

Пропорциональность изделий — не откровение, которым мы собирались поразить мир: не новшество, которое мы привносили в науку, так же, как разделение труда перестало быть неслыханной вещью с тех пор, как Адам Смит разъяснил эти «чудеса». Пропорциональность изделий — это, как нам было бы легко доказать бесчисленными цитатами, вульгарная идея, которая повсюду тянется в трудах политической экономии, но которую никто до сих пор не осмеливался восстановить в свойственном для нее ранге: и это то, что мы сегодня предпримем. Кроме того, мы хотели сделать это заявление, чтобы заверить читателя в наших претензиях на оригинальность и примирить суждения, которые их вызванная стеснением

ограниченность делает менее предпочтительными для новых идей.

Похоже, экономисты никогда не слышали, в отношении меры стоимости, что стандарт, своего рода первичная единица, существующая сама по себе, будет применяться ко всем товарам так же, как измерительный прибор применяется ко всем размерам. Поэтому многим казалось, что эту роль (меры стоимости) исполняли деньги. Но теория валют доказала, что деньги не просто далеки от того, чтобы служить мерой стоимостей, деньги — это просто арифметика, арифметика условности. Деньги для стоимости — то же самое, что термометр для жары: термометр с произвольно градуированной шкалой четко показывает, когда происходит потеря или накопление тепла: но каковы законы равновесия теплоты, какова пропорция в различных телах, какое количество необходимо для подъема на 10, 15 или 20 градусов в термометре, — это то, что термометр не сообщает; нет даже уверенности в том, что степени шкалы, равные между собой, соответствуют такому же росту тепла.

Следовательно, идея, которую мы до сих пор имели в виду в качестве меры стоимости, неверна; то, что мы ищем, не является стандартом стоимости, как было сказано много раз, и не имеет смысла; но следующий закон, согласно которому изделия пропорциональны общественному богатству; поскольку от понимания этого закона зависит то, что является нормальным и законным, взлет и падение стоимостей товаров. Одним словом, как под измерением небесных тел подразумевают отношение, возникающее в результате сравнения этих тел между собой, точно так же, путем измерения стоимостей, необходимо подразумевать соотношение, которое получается в результате их сравнения; отсюда я говорю, что у этого соотношения есть свой закон, а у этого сравнения — свой принцип.

Поэтому я предполагаю силу, которая объединяет в определенных пропорциях элементы богатства и которая делает его однородным целым: если составляющие элементы не находятся в желаемой пропорции, комбинация будет нерабочей; но вместо того, чтобы впитывать всю материю, она отвергнет ее часть как бесполезную. Внутреннее движение, посредством которого происходит комбинация и которое определяет конечную природу различных субстанций, это движение в обществе есть обмен, не только обмен, рассматриваемый в своей элементарной форме как обмен человека с человеком, но и обмен как слияние всех стоимостей, производимых частными отраслями, в одно и то же общественное богатство. Наконец, пропорция, в соответствии с которой каждый элемент входит в состав, эта пропорция — то, что мы называем стоимостью; превышение, которое остается после комбинации, является *не-стоимостью*, поскольку при присоединении определенного количества других элементов оно не комбинируется и не обменивается.

Ниже мы объясним роль денег.

Из всего вышесказанного можно предположить, что в данный момент соотношение стоимостей, составляющих богатство страны, может быть определено статистически

или кадастрово, или, по крайней мере, приближенно эмпирически, примерно так же, как химики открыли опытным путем и с помощью анализа соотношение водорода и кислорода, необходимое для образования воды. Этот метод, применяемый для определения стоимостей, не имеет противоречий; в конце концов, это просто вопрос учета. Но такая работа, какой бы интересной она ни была, нас мало чему научит. С одной стороны, мы знаем, на самом деле, что пропорция постоянно меняется; с другой стороны, ясно, что из перечня общественного дохода, предоставляющего пропорцию стоимостей только для того места и времени, когда будет составлена таблица, мы не смогли бы вывести закон пропорциональности богатства. Это не единственная работа такого рода, которая потребовалась бы для этого; это будет, если признать, что процесс заслуживает доверия, тысячей и миллионом подобных работ.

Так вот, экономическая наука — нечто иное, нежели наука химия. Химики, которым опыт открыл такие замечательные пропорции, ничего не знают ни о том, как или почему возникли эти пропорции, ни о силе, которая их определяет. Напротив, общественная экономика, в которой никакие исследования *à posteriori* (на основании опыта) не могли напрямую раскрыть закон пропорциональности стоимостей, может охватить его в той самой силе, которая его производит, и которую пора сделать известной.

Эта сила, которую А. Смит восхвалял так красноречиво и которую его преемники игнорировали, оставив ему эту привилегию, эта сила — ТРУД. Труд отличается от производителя к производителю по количеству и качеству; это то же самое в этом отношении, что и все великие правила и общие законы природы, простые в их действии и формуле, но измененные до бесконечности множеством конкретных причин и проявляющиеся в неисчислимом разнообразии форм. Это труд, только труд, который производит все элементы богатства и который объединяет их до последних молекул в соответствии с законом переменной, но определенной пропорциональности. Наконец, это труд, который, как основной жизненный принцип, беспокоит, *mens agitat* (планирует мысли), материю, *molem* (основную массу) богатства и обеспечивает его.

Общество, или коллективный человек, производит бесконечность объектов, пользование которыми составляет его *благосостояние*. Это благосостояние происходит не только из *количества* продуктов, но также из их *разнообразия* (качества) и *пропорции* (доли). Из этого основополагающего факта следует, что общество должно всегда, в каждый момент своего существования искать в своих изделиях такую пропорцию, которая обеспечивала бы самую высокую сумму благосостояния с учетом потенциала и средств производства. Изобилие, разнообразие и пропорция в продуктах — вот три термина, которые составляют БОГАТСТВО: богатство, объект социальной экономики, подчиняется тем же условиям существования, что и красота, объект искусства; добродетель, объект морали; истина, объект метафизики.

Но как устанавливается эта изумительная и настолько необходимая пропорция,

что без нее часть человеческого труда оказывается утерянной, то есть бесполезной, негармоничной, неистинной, следовательно, синонимичной бедности, отсутствию?

Прометей, согласно мифу, является символом человеческой деятельности. Прометей крадет огонь с неба и изобретает первые искусства; Прометей предвидит будущее и хочет сравняться с Юпитером; Прометей это Бог. Назовем, следовательно, общество Прометеем.

Прометей выделяет на работу, в среднем, десять часов в день, семь на сон, столько же на удовольствия. Чтобы получить самые полезные плоды от своих упражнений, Прометей принимает к сведению тяжесть и время, которые каждый из предметов его потребления стоит ему. Ничто, кроме опыта, не может научить этому, и этот опыт будет длиться всю жизнь. Работая и производя, Прометей испытывает бесконечное множество разочарований. Но, в конечном итоге, чем больше он работает, тем больше его благосостояние становится изысканным и его роскошь идеализируется; чем больше он распространяет свои завоевания над природой, тем больше он укрепляет в себе принцип жизни и умственные способности, реализация которых сама по себе делает его счастливым. Дело в том, что первое понятие Рабочего, которое он однажды получил, и порядок, установленный в его профессиях, это то, что работа для него больше не огорчение, но это жизнь, это потребление. Но притяжение труда не отменяет правила, поскольку, наоборот, правило является плодом труда; и те, кто под предлогом того, что работа должна быть привлекательной, приходят к отрицанию справедливости и общества, напоминают детей, которые, собрав цветы в саду, укладывают цветник на лестнице.

Следовательно, справедливость в обществе есть не что иное, как пропорциональность стоимостей; в качестве ее гарантии и наказания выступает ответственность производителя.

Прометей знает, что один продукт стоит час работы, другой — день, неделю, год; в то же время он знает, что все эти изделия по мере роста расходов обеспечивают прогресс его богатства. Поэтому он начнет с обеспечения своего существования, снабжая себя наименее дорогостоящими вещами и, следовательно, наиболее необходимыми; тогда, по мере принятия мер безопасности, он обратится к предметам роскоши, всегда действуя, если он мудр, согласно естественному увеличению цены, которую каждая вещь ему стоит. Несколько раз Прометей ошибется в своих расчетах, или, уносимый страстью, он пожертвует немедленным благом ради безвременной радости; и после пролития крови и пота умрет с голоду. Таким образом, закон несет в самом себе свое наказание: его нельзя нарушить без того, чтобы преступник не понес вскоре же наказания.

Поэтому Сэй правильно сказал: «Благополучие этого класса (потребителей), состоящее из всех прочих, формирует общее благосостояние, состояние процветания страны». Только он должен был добавить, что благополучие класса производителей, которое также состоит из всех прочих, также формирует общее благосостояние,

состояние процветания страны. — Аналогично, когда он говорит: «Состояние каждого потребителя постоянно соперничает со всем тем, что он покупает», он должен был бы добавить:

«Состояние каждого производителя постоянно подвергается нападкам со стороны всего, что он продает». Без этой взаимности большинство экономических явлений становятся невразумительными; и я покажу в свою очередь, как из-за этого серьезного упущения большинство экономистов, создающих целые книги, безразлично относятся к торговому балансу.

Ранее я говорил, что общество сначала производит *наименее дорогостоящие вещи и, следовательно, самые необходимые...* Так вот, верно ли, что в продукте необходимость имеет в качестве соотношения дешевизну и *vice versa* (наоборот); так что эти два слова, *необходимость* и *дешевизна*, как и два следующих, *дорогое* и *лишнее*, являются синонимами?

Если бы каждый продукт труда, взятый в отдельности, мог бы быть достаточным для существования человека, рассматриваемая синонимия не была бы сомнительной; из всех продуктов, имеющих одинаковые свойства, они были бы наиболее выгодными в производстве, и, следовательно, самыми необходимыми и стоили бы меньше всего. Но не с этой теоретической точностью формулируется параллель между потреблением и ценой продуктов: либо исходя из природы, либо по любой другой причине баланс между потребностью и производственными возможностями — это более, чем теория, это факт, от которого отталкивается повседневная практика, а также прогресс общества.

Давайте перенесемся на следующий день после рождения человека, ко дню начала движения цивилизации: не правда ли, что отрасли, наиболее простые в основе, те, которые требовали наименьшей подготовки и затрат, были следующие: *собираательство, скотоводство, охота и рыбалка*, вслед за которыми и много позднее появилось земледелие? С тех пор эти четыре первичные отрасли были усовершенствованы и более развиты: двойное обстоятельство, которое не меняет сути фактов, но, напротив, предоставляет больше содействия. Действительно, собственность всегда сопровождается предпочтительностью к объектам потребления, обладающим самой непосредственной пользой, к уже *полученным стоимостям*, если можно так сказать; настолько, насколько возможно маркировать шкалу стоимостей прогрессом присвоения. В своей работе о «Свободе труда», г-н Дюнойе положительно присоединился к этому принципу, выделив четыре основные промышленные категории, которые он ранжирует в соответствии с порядком их развития, то есть с наименьшими трудозатратами. К ним относятся: *добывающая промышленность*, включая все полуварварские функции, упомянутые выше; — *торговля, обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство*. У ученого автора была серьезная причина расположить сельское хозяйство на последнем месте. Потому что, несмотря на свою древность, известно, что эта отрасль развивалась не так, как другие; так что последовательность вещей в человечестве должна определяться не происхождением,

а всем своим развитием. Возможно, сельскохозяйственная отрасль и зародилась раньше других, или что все они современны друг другу; но именно та будет оценена последней, которая усовершенствуется позже всех.

Таким образом, сама природа вещей, а также собственные потребности указывали работнику на порядок, в котором он должен был штурмовать производство стоимостей, формирующих его благосостояние: следовательно, наш закон пропорциональности является как физическим, так и логическим, объективным и субъективным; он обладает высшей степенью уверенности. Проследим за его осуществлением.

Из всех продуктов труда, пожалуй, ни один не стоил таких длительных усилий и терпения, как календарь. Однако нет ничего, чем можно пользоваться по более низкой цене, и, следовательно, согласно нашим собственным определениям, нет ничего более необходимого. Как мы объясним это изменение? Как календарь, столь мало полезный для первых полчищ, которым нужно было только чередование ночи и дня, как зимы и лета, в конечном итоге стал настолько важным, таким недорогим, таким превосходным; поскольку, по изумительному соглашению, в социальной экономике все эти эпитеты переводятся? Как, одним словом, объяснить изменчивость стоимости календаря согласно нашему закону пропорций?

Чтобы работа, необходимая для создания календаря, была выполнена и была возможной, человек должен был найти способ сэкономить время на своих первых занятиях и на тех, которые были непосредственно необходимыми. Другими словами, эти отрасли должны были стать более производительными или менее дорогими, чем они были в начале: это означает, что проблема производства календаря должна была быть решена в первую очередь, перед добывающими отраслями.

Поэтому я полагаю, что внезапно, благодаря счастливому сочетанию усилий, разделению труда, использованию какой-то машины, лучшему пониманию направления действия природных агентов, одним словом, силой промышленности Прометей находит способ производства в течение одного дня определенного объекта столько, сколько он когда-то произвел за десять дней: что будет дальше? изделие изменит положение в таблице элементов богатства; сила его родства с другими изделиями, если можно так сказать, увеличится, его относительная стоимость будет уменьшена на ту же величину, и вместо того, чтобы быть оцененным как 100, оно будет оценено только как 10. Но эта стоимость не будет меньше и не будет всегда строго определена; и только труд сформирует цифру собственной значимости. Таким образом, стоимость меняется, а закон стоимостей остается неизменным: к тому же, если стоимость подвержена изменению, это потому, что она подчиняется закону, принцип которого по существу подвижен — с учетом труда, измеряемого временем. Те же рассуждения применимы к производству календаря, как и для прочих возможных ценностей. Мне не нужно добавлять, каким образом цивилизация, то есть социальный факт увеличения богатств, умножая наши свершения, делает наши мгновения все более и более ценными, заставляя нас вести самый постоянный

и детализированный реестр за всю жизнь, сделала календарь одной из самых необходимых вещей для всех. Мы знаем к тому же, что это замечательное открытие сформировало в качестве своего естественного дополнения одну из наших самых важных отраслей — производство часов.

Здесь, естественно, возникает возражение, единственное, которое может быть выдвинуто против теории пропорциональности стоимостей.

Сэй и экономисты, которые следовали за ним, заметили, что труд сам по себе подлежит оценке, что это товар, как и любой другой товар, и, наконец, (заметили) замкнутый круг как принцип и действительную причину образования стоимости. Следовательно, делается вывод, нужно ссылаться на исключительность и мнение. Экономисты, позвольте заметить, проявили поразительное невнимание к этому. Говорят, что работа стоит не так, как стоит сам товар, а как те ценности, которые в нем содержатся. Стоимость труда — это образное выражение, превосходство причины над следствием. Это выдумка, точно так же, как производительность капитала. Труд производит, капитал стоит: и когда с помощью своего рода эллипса мы говорим о стоимости труда, получается совпадение, которое не противоречит правилам языка, но теоретики должны воздерживаться от того, чтобы принимать его за реальность. Труд, как свобода, любовь, амбиции, гений, является неуловимой и неопределенной вещью по своей природе, но такой, которая определяется качественно ее объектом, то есть становится реальностью благодаря своему продукту. Поэтому, следовательно, когда мы говорим: работа этого человека стоит пять франков в день, это как если бы мы говорили: продукт ежедневной работы этого человека стоит пять франков.

Согласно этому анализу, стоимость, рассматриваемая в обществе, естественно сформированном путем разделения труда и обмена между производителями, представляет собой *соотношение пропорциональности продуктов, составляющих богатство*; и то, что специально называется стоимостью продукта, представляет собой формулу, которая в денежном выражении указывает на долю этого продукта в общем богатстве. — Полезность является основой стоимости; труд формирует отчет; цена — это выражение, которое, помимо aberrаций (искажений), которые нам придется изучить, переводит этот отчет.

Таков центр, вокруг которого колеблются полезная стоимость и обменная стоимость, точка, в которой они разрушаются и исчезают; таков абсолютный, неизменный закон, который доминирует над экономическими потрясениями, капризами промышленности и торговли и который управляет прогрессом. Все усилия мыслящего и трудящегося человечества, все индивидуальные и общественные операции подчиняются, как неотъемлемая часть коллективного богатства, этому закону. Судьба политической экономии состояла в том, чтобы, последовательно сопоставив все ее противоречивые термины, признать его; объект социальной экономики, которую я прошу на мгновение разрешить отличать от политической экономии, к тому же в основе они не должны отличаться друг от друга, будет состоять в том,

чтобы пропагандировать его и воплощать повсеместно.

Теория измерения или пропорциональности стоимостей, да будет известно, — это сама теория равенства. Аналогично, фактически, в обществе, где мы видели, что тождество между производителем и потребителем является полным, доход, выплачиваемый бездельнику, подобен ценности, брошенной в огонь Этны; так же рабочий, которому назначается чрезмерная заработная плата, подобен жнецу, которому дают целую буханку за один колос: и все, что экономисты назвали *непроизводительным потреблением*, не что иное, как в основе своей нарушение закона пропорциональности.

Позже мы увидим, как из этих простых фактов общественный гений постепенно выводит все еще неясную систему организации труда, возмещения (формирования) заработной платы, ценообразования на товары и всеобщей солидарности. Потому что порядок в обществе основан на расчетах неумолимой справедливости, но никак не на райских чувствах братства, преданности и любви, которые столь многие уважаемые социалисты стремятся возбудить в народе. Это напрасно, что, следуя примеру Иисуса Христа, они проповедуют необходимость и дают пример жертвы; эгоизм сильнее, и закон суровости, экономической фатальности — единственное, что способно преодолеть его. Человеческий энтузиазм может вызвать толчки, благоприятствующие прогрессу цивилизации; но эти вспышки настроений, подобно колебаниям стоимостей, никогда не приведут к иному результату, кроме как к установлению с большей силой, с большим абсолютизмом справедливости. Природа, или Божественность, не доверяла нашим сердцам; она не верила в любовь человека к своему ближнему; и все, что наука открывает нам из представлений Провидения о прогрессе общества, — я говорю это к позору человеческой совести, но нужно, что было известно о нашей лицемерии, — свидетельствует о глубоком человеконенавистничестве со стороны Бога. Бог помогает нам не по доброте, а потому, что порядок — это его сущность; Бог обеспечивает благо мира не потому, что считает его достойным, а потому, что религия его высочайшего разума обязывает его делать это; и хотя простонародье наделяет его нежным именем отца, для историка, философ-экономиста невозможно поверить, что он любит или ценит нас.

Давайте подражать этому возвышенному безразличию, этой стоической безмятежности Бога; и поскольку заповедь милосердия всегда терпела неудачу в производстве общественных благ, давайте будем с чистым разумом искать условия гармонии и добродетели.

Стоимость, понимаемая как пропорциональность продуктов, другими словами, ОБРАЗОВАННАЯ СТОИМОСТЬ, обязательно и в равной степени предполагает *полезность* и *продаваемость*, неразрывно и гармонично объединенные. Она предполагает полезность, поскольку без этого условия продукт был бы лишен того свойства, которое делает его способным к обмену и, следовательно, делает его элементом богатства; — она предполагает продаваемость, поскольку если бы товар не был в любое время и по определенной цене приемлем для обмена, он был бы

просто бесполезным, он был бы ничем.

Но в образованной стоимости все эти свойства приобретают более широкое, более упорядоченное и правильное значение, чем раньше. Таким образом, полезность уже не обладает той способностью, так сказать, инертной, которой обладают вещи, предназначенные для обслуживания наших удовольствий и наших исследований; продаваемость не является преувеличением или слепой прихотью; наконец, изменчивость перестала превращаться в полный неудач спор между предложением и спросом: все это исчезло, чтобы освободить место для позитивной, нормальной и, при всех возможных модификациях, определяемой идеи. Образованием стоимостей каждый продукт, если позволено провести такую аналогию, подобен пище, которая, будучи найденной с помощью инстинкта питания, затем переработанная пищеварительным органом, попадает в общий круговорот, где она превращается, в определенных пропорциях, в плоть, кости, жидкости и т. д., и дает жизнь, силу и красоту телу.

Теперь что происходит в идее стоимости, поскольку от антагонистических понятий полезной стоимости и стоимости в обмене мы поднимаемся до понятия образованной стоимости или абсолютной стоимости? Существует, если осмелиться так сказать, взаимное проникновение, в котором два элементарных понятия цепляются друг к другу, как сцепленные атомы Эпикура, поглощают друг друга и исчезают, оставляя на своем месте соединение, наделенное, но в большей степени всеми их положительными свойствами и избавленное от их отрицательных свойств. Стоимость на самом деле такую, как деньги, ценные бумаги первого класса, государственные ценные бумаги, акции надежного предприятия, невозможно ни преувеличить без причины, ни потерять в обмене: она отныне подчиняется только естественному закону увеличения промышленных специализаций и росту производства. Более того, такая стоимость не является результатом перевода, то есть эклектики, золотой середины или смеси: это продукт полного слияния, продукт совершенно новый и отличающийся от своих компонентов: как вода, продукт сочетания водорода и кислорода, это отдельное тело, совершенно отличное от его элементов.

Разрешение двух противоположных идей в третий высший порядок — это то, что называется синтезом. Оно одно дает позитивную и окончательную идею, которая, как мы видели, получается последовательным утверждением или отрицанием, потому что это возвращает к двум диаметрально противоположным концепциям. Из чего мы выводим эту неизбежную значимость капитала как в применении, так и в теории: во всех случаях, когда — будь то сфера морали, история или политическая экономия, анализ обнаруживал антиномию идеи, можно утверждать *à priori*, что эта антиномия скрывает высшую идею, которая рано или поздно появится.

Я сожалею, что так долго настаивал на представлениях, знакомых всем молодым людям уровня бакалавриата; но я обязан этими деталями некоторым экономистам, которые в связи с моей критикой собственности громоздили дилеммы над дилеммами, чтобы доказать мне, что, если я не являюсь собственником, я обязательно

являюсь коммунистом; все из-за незнания того, что такое тезис, антитеза и синтез.

Синтетическая идея стоимости, как основного условия порядка и прогресса для общества, была смутно воспринята Ад. Смитом, когда, используя выражения г-на Бланки, «он показал в работе универсальную и неизменную меру стоимостей и позволил увидеть, что всякая вещь имеет свою естественную цену, к которой она постоянно стремится в разгар колебаний текущей цены, вызванных *случайными обстоятельствами*, чуждыми рыночной стоимости вещи».

Но эта идея стоимости была полностью интуитивной у А. Смита: иначе говоря, общество не меняет свои привычки на основе интуиции; оно принимает решения только на основании фактов. Нужно, чтобы антиномия воспринималась более осмысленно и более целостно: ее основным интерпретатором был Ж.-Б. Сэй¹. Но, несмотря на воображение и пугающую изощренность этого экономиста, определение Смита доминирует над ним и прорывается повсюду в его рассуждениях.

«Оценить вещь, — говорит Сэй, — значит *заявить*, что она должна быть *рассчитана* так же, как и другая, которую мы обозначаем. Стоимость каждой вещи неопределенна и произвольна *до* тех пор, пока она НЕ ПРИЗНАНА». Поэтому существует способ признать стоимость вещей, то есть зафиксировать ее; и так как это признание или фиксация осуществляется путем сравнения вещей между собой, следовательно, существует также общий характер, принцип, посредством которого *заявляют*, что одна вещь стоит больше, меньше или столько же, сколько другая.

Сначала Сэй сказал: «Мера стоимости — это стоимость другого продукта». Позже, поняв, что это предложение оказалось лишь тавтологией, он изменил его следующим образом: «Мера стоимости — это *количество* другого продукта», что столь же невразумительно. В других местах этот писатель, обычно такой ясный и твердый, смущает сам себя напрасными разграничениями: «Можно определить стоимость вещей; ее нельзя измерить, то есть сравнить ее с чем-то неизменным и известным, потому что его нет. Все, что можно сделать, сводится к оценке вещей путем их сравнения». В других случаях он проводит различие между реальными и относительными стоимостями: «К первым относятся те, в которых стоимость вещей меняется вместе с затратами на производство; вторые — это те, в которых стоимость вещей изменяется по отношению к стоимости других товаров».

Особая забота гениального человека, который больше не умеет ничего, кроме как *сравнивать, подсчитывать, оценивать* — ИЗМЕРЯТЬ; что любое измерение является не чем иным, как сравнением, дающим правдивый результат, если сравнение сделано правильно; следовательно, реальная стоимость или мера и относительная стоимость или мера — вещи совершенно идентичные; и что трудность уменьшается не потому, что найден стандарт измерения, поскольку все величины могут существовать взаимно, а потому, что определена точка сравнения. В геометрии точкой сравнения является площадь, а единицей измерения является иногда деление круга на 360 частей, иногда окружность земного шара, иногда средний размер руки, кисти,

большого пальца или стопы человека. В экономике, мы говорили об этом после А. Смита, точка зрения, с которой сравниваются все стоимости, — это труд; что касается единицы измерения, то во Франции это ФРАНК. Невероятно, что так много разумных людей в течение сорока лет боролись против такой простой идеи. Но нет: сравнение стоимостей проводится без какой-либо точки сравнения между ними и без единицы измерения; — что нужно было бы, вместо того, чтобы принимать революционную теорию равенства, которую экономисты девятнадцатого века решили поддержать против здравого смысла. Что скажут потомки?

Сейчас я покажу на ярких примерах, что идея измерения или пропорции стоимостей, необходимая в теории, была реализована и реализуется каждый день на практике.

§ III. Применение закона пропорциональности стоимостей

Любой продукт является репрезентативным признаком труда. Любой товар можно, следовательно, обменять на другой, и повсеместная практика это доказывает. Но исключите труд: у вас останутся только более или менее крупные утилиты, которые, не будучи носителями ни какого-либо экономического характера, ни какого-либо человеческого признака, несоизмеримы друг с другом, то есть, логически, не способны к обмену.

Деньги, как и любой другой товар, являются репрезентативным признаком труда: на этом основании они могли выступать в качестве общего оценщика и посредника в сделках. Но особая функция, которую использование отводит драгоценным металлам в качестве торгового агента, является чисто условной, и любой другой товар мог бы, возможно, менее удобно, но столь же достоверным образом выполнить эту роль: экономистам это известно, и тому есть более, чем один пример. В чем причина такого предпочтения, которое обычно отдается металлам, чтобы служить в качестве денег, и как объясняется эта особенность функции денег, не имеющая аналогов в политической экономии? Потому что все уникальное и непревзойденное в своем роде по этой самой причине более сложно для понимания, часто даже не складывается вообще. Теперь, возможно ли восстановить цепочку, из которой, кажется, деньги были отделены, и, следовательно, вернуть их к первооснове?

По этому вопросу экономисты, по своей привычке, вышли из сферы своей науки: они занялись физикой, механикой, историей и т. д.; они говорили обо всем и не отвечали. Драгоценные металлы, говорили они, своей редкостью, плотностью, нетленностью, представляли в качестве монет удобства, которые невозможно было встретить в таком же объеме в других товарах. Короче говоря, экономисты вместо того, чтобы отвечать на поставленный перед ними экономический вопрос, принялись рассматривать вопросы искусства. Они очень хорошо оценивали механическую способность золота и серебра служить в качестве денег; но что никто из них не видел и не понимал, — это экономическую причину, которая определила привилегию, используемую драгоценными металлами.

Теперь, то, что никто не заметил, что из всех товаров именно золото и серебро являются первыми, чья стоимость появилась одновременно с ее определением (с тем, как появилась сама стоимость). В патриархальный период золото и серебро все еще торгуются и обмениваются в слитках, но уже с видимой тенденцией к

доминированию и с явным предпочтением. Мало-помалу феодалы присваивают металл и прикрепляют к нему свою печать: и из этого суверенного посвящения рождаются деньги, то есть товар, превосходящий то, что, несмотря на все потрясения торговли, сохраняет определенную пропорциональную стоимость и принимается при любом платеже.

На самом деле деньги отличают не твердость (золота и серебра), она меньше стали; ни его полезность, она гораздо ниже, чем у пшеницы, железа, угля и множества других веществ, ценность которых, как считается, меньше золота; — это не дефицит и не плотность: и то, и другое можно дополнить либо работой, выполняемой для других материалов, либо, как сегодня, банковской бумагой, представляющей огромные груды железа или меди. Отличительная черта золота и серебра, повторяю, заключается в их металлических свойствах, в трудностях их производства и, прежде всего, благодаря вмешательству государственной власти, у них появился шанс на превосходство в качестве товаров, на постоянство и аутентичность.

Поэтому я говорю, что стоимость золота и серебра, в частности той части, которая идет на изготовление монет, хотя, возможно, эта стоимость еще не рассчитана строгим образом, больше не имеет ничего произвольного; я добавляю, что она больше не подвержена амортизации, как другие стоимости, хотя, однако, может постоянно меняться. Все затраты на рассуждение и изучение, которые мы сделали, чтобы доказать на примере денег, что стоимость является чем-то принципиально неопределимым, — все это паралогизмы, проистекающие из ложного представления о проблеме, *ab ignorantia elenchi* (из игнорирования аргумента).

Филипп I, король Франции, смешивает, согласно турнирным книгам Карла Великого, треть сплава, представляя, что только он, обладающий монополией на изготовление монет, может делать то, что и любой трейдер, имеющий монополию на ту или иную продукцию. В самом деле, что же такое изменение валют, столь раскритикованное Филиппом и его преемниками? рассуждение, которое является очень правильным с точки зрения коммерческой рутины, но очень ложным в экономической науке, а именно, что с помощью предложения и спроса, являющихся источником формирования стоимостей, можно, либо создавая искусственный дефицит, либо монополизировав производство, заставить повышаться цены и, следовательно, менять стоимости вещей, и что это так же верно для золота и серебра, как и для пшеницы, вина, масла, табака. Однако о мошенничестве Филиппа заподозрили не ранее, чем цена его валюты оказалась сниженной до ее реальной стоимости, и чем он сам потерял все, что, как он думал, он получил в результате своих операций. То же самое происходит после всех аналогичных попыток. Откуда взялся этот просчет?

По словам экономистов, благодаря подделке количество золота и серебра на самом деле не уменьшилось и не увеличилось, соотношение этих металлов с другими товарами не изменилось, и, следовательно, не во власти монарха было заставить в государстве стоить 4 единицы то, что до того стоило 2. Можно даже предположить, что, если бы вместо изменения валют король мог удвоить их массу,

обменная стоимость золота и серебра немедленно снизилась бы вполовину — по причине соразмерности и баланса. Таким образом, изменение валюты было, со стороны короля, принудительным займом, или, скажем лучше, банкротством, мошенничеством.

Замечательно: экономисты очень хорошо объясняют, когда хотят, теорию измерения стоимостей; для этого достаточно склонить их к обсуждению денег. Как же тогда они не видят, что деньги — это писанный закон торговли, тип обмена, первое звено в этой длинной цепочке творений, которые все под названием товаров должны получить общественное разрешение и стать если не по факту, то хотя бы по праву принятыми как валюта на любом рынке?

«Валюта, — очень хорошо сказал г-н Огье, — может служить шкалой наблюдения за состоявшейся торговлей или хорошим инструментом обмена только в случае, если ее стоимость постоянно стремится к идеалу; потому что она всегда меняет и покупает только по той стоимости, которой она сама обладает» (История государственного кредита).

Давайте сведем это чрезвычайно разумное наблюдение в общую формулу.

Труд становится гарантией благополучия и равенства тогда, когда продукт каждого человека пропорционален массе: потому что он никогда не меняет и не покупает, кроме как по стоимости, равной той, которая заключена в нем самом.

Не странно ли, что мы решительно защищаем ажиотажника и фальсификатора, и в то же время указываем на попытку монарха-фальшивомонетчика, который, в конце концов, только присвоил деньгам фундаментальный принцип политической экономии, состоящий в произвольной нестабильности стоимостей? Что когда управляющие советуют отдавать 750 граммов табака по цене килограмма, экономисты кричат о воровстве; — но если тот же управляющий, пользуясь своей привилегией, увеличит цену за килограмм на 2 франка, они обнаружат, что это дорого, но не увидят ничего, что противоречит принципам. Какая путаная эта политическая экономия!

Есть, следовательно, в монетизации золота и серебра нечто большее, чем сообщают экономисты: есть освящение закона пропорциональности, первого акта определения стоимостей. Человечество оперирует во всем бесконечными градациями: усвоив, что все продукты труда должны подчиняться определенной пропорции, которая делает их одинаково взаимозаменяемыми, оно начинает с присвоения этого характера абсолютной взаимозаменяемости особому продукту, который станет для него типом и шефом для всех остальных (продуктов). Таким образом, чтобы поднять членов общества к свободе и равенству, оно начинает с создания королей. Люди испытывают смущение от этого провиденциального процесса, поскольку в своих мечтах о счастливой судьбе и в своих легендах они всегда говорят о золоте и королевской власти; и философы лишь воздают должное универсальному разуму,

поскольку в своих так называемых духовных проповедях и социальных утопиях они выступают с равным шумом против золота и тирании. *Auri sacra fames!* (Священная жажда золота!) Чертово золото! — забавно кричит коммунист. С таким же успехом можно сказать: чертова пшеница, чертовы лозы, чертовы овцы; поскольку, как золото и серебро, вся коммерческая стоимость должна прийти к точному и строгому определению. Дело идет с давних пор: сегодня оно заметно прогрессирует.

Перейдем к следующим соображениям.

Аксиома, общепринятая экономистами, заключается в том, что всякая работа должна оставлять излишек.

Это утверждение является для меня универсальной и абсолютной истиной: это следствие закона пропорциональности, который мы можем рассматривать как краткое изложение всей экономической науки. Но, прошу прощения у экономистов, принцип, что *всякая работа должна оставлять излишек*, не имеет смысла в их теории и не поддается никакой демонстрации. Как, если предложение и спрос являются единственным правилом формирования стоимостей, мы можем распознать, что *излишне*, а чего *достаточно*? Ни себестоимость, ни цена продажи, ни заработная плата не могут быть определены математически, как же тогда можно спрогнозировать излишки, прибыль? Коммерческая рутина дала нам и термин, и идею прибыли: и поскольку мы политически равны, мы заключаем, что каждый гражданин имеет равное право на получение прибыли в своей личной сфере деятельности. Но торговые операции по своему существу беспорядочны, и было доказано безапелляционно, что коммерческие прибыли являются лишь произвольным и вынужденным сбором производителя с потребителя, смещением одним словом, чтобы не сказать хуже. Это то, что мы вскоре увидели бы, если бы можно было сравнить общие цифры ежегодного дефицита с ростом прибылей. В смысле политической экономии принцип, согласно которому *всякая работа должна оставлять излишек*, есть не что иное, как освящение конституционного права, которое мы все получили в результате революции, на кражу будущего.

Только закон пропорциональности стоимостей может объяснить причину этой проблемы. Я поставлю вопрос немного выше: она достаточно серьезна, чтобы я отнесся к ней с серьезностью, которой она заслуживает.

Большинство философов, как и филологов, видят в обществе лишь существо разума, или, лучше сказать, абстрактное имя, используемое для обозначения собрания людей. Это предрассудок, который мы все получили с детства на наших первых уроках грамматики, что собирательные названия, названия рода и вида не обозначают реальности. По поводу этой главы можно было бы твердо заметить: я погружаюсь в свой предмет. Для истинного экономиста общество — это живое существо, наделенное собственными разумом и деятельностью, управляемое особыми законами, которые можно обнаружить наблюдением и существование которых проявляется не в физической форме, но через соглашение и близкую

солидарность всех его участников. Итак, когда раньше под эгидой легендарного бога мы создавали аллгорию общества, наш язык был в основном не метафорическим: это было социальное существо, единство органическое и синтетическое, которому мы только что дали название. В глазах любого, кто размышлял о законах работы и обмена (я оставляю в стороне все другие соображения), реальность, я почти сказал — личность человека коллективного так же определена, как реальность личности отдельного человека. Разница лишь в том, что один чувствуется как организм, части которого находятся в материальной согласованности, — обстоятельство, которого нет в обществе. Но разум, спонтанность, развитие, жизнь, все, что составляет в высшей степени реальность бытия, столь же важно для общества, как и для человека: и откуда получается, что управление обществами является *наукой*, то есть изучением естественных отношений; а не искусством, то есть не прекрасной и произвольной забавой. Отсюда, наконец, следует, что любое общество деградирует, как только попадает в руки идеологов. Принцип, согласно которому *всякая работа должна оставлять излишек*, недоказуемый для политической экономии, то есть для рутины собственности, является одним из тех, которые больше всего свидетельствуют в пользу реальности коллективного человека: поскольку, как мы увидим далее, этот принцип справедлив для индивидуумов, потому что он исходит от общества, что, таким образом, предоставляет им выгоду от его собственных законов. Перейдем к фактам. Было отмечено, что железнодорожные компании являются гораздо меньшим источником богатства для предпринимателей, чем для государства. Наблюдение правильное; и следовало добавить, что это относится не только к железным дорогам, но и к любой отрасли. Но это явление, которое по существу вытекает из закона пропорциональности стоимостей и абсолютной идентичности производства и потребления, не объяснимо обычным представлением о полезной стоимости и обменной стоимости. Средняя цена за перевозку товаров по земле составляет 18 сантимов за одну тонну-километр, от двери до двери. Подсчитано, что по этой цене обычное железнодорожное предприятие получит не более 10%¹ чистой прибыли, результат, примерно равный таковому в перевозках по земле.

Но допустим, что оперативность перевозки по железной дороге соотносится к оперативности перевозки по земле, всё включено, так же, как 4 относится к 1: поскольку в обществе время — это деньги, при равной цене железная дорога будет превосходить перевозки по земле на 400%. Однако это огромное преимущество, весьма реальное для общества, далеко от реализации в такой же пропорции для управляющего железной дорогой, поскольку он, заставляя общество пользоваться

¹ У Прудона проценты от какого-либо числа обозначаются как «25 р. 100», где буква «р.» — первая часть слова «pourcent» — «pour» («пур», по-русски, в переводе с французского — «для»), а числительное «100» («cent» — «сан», по-русски) — вторая часть этого слова. Произнесение вслух (как и про себя, при чтении) сочетания «р. 100» производит слово «pourcent» («пурсан», по-русски), то есть, в переводе с французского, «процент». В переводе это сознательно заменяется на знак процента, для облегчения восприятия современного читателя. — А.А. А-О.

преимуществом в 400%, сам получает 10%². Предположим, на самом деле, чтобы сделать вопрос более осмысленным, что железная дорога удерживает свой тариф на уровне 25 сантимов, в то время перевозки по земле останутся на уровне 18; он (управляющий) мгновенно потеряет все свои сбережения. Отправители, получатели, все потеряют³, если хотите. Локомотив опустеет; социальный эффект в 500% будет принесен в жертву частным потерям в объеме 35%.

Причину этого легко уловить: преимущество, которое вытекает из скорости железной дороги, является полностью социальным, и каждый участвует в нем лишь в минимальной пропорции (давайте не будем забывать, что речь идет в настоящий момент только о перевозке товаров), при этом потери наносят непосредственный и личный ущерб потребителю. Социальный эффект, равный 400%, представляет для человека, если общество состоит только из миллиона человек, четыре десятитысячных; в то время как потеря 33% для потребителя предполагает социальный дефицит в размере тридцати трех миллионов. Частный интерес и коллективный интерес, которые на первый взгляд так отличаются, совершенно идентичны и адекватны: и этот пример уже можно использовать для объяснения того, как в экономической науке все интересы согласованы.

Таким образом, для того, чтобы компания получила прибыль, указанную выше, абсолютно необходимо, чтобы железнодорожный тариф не превышал или очень мало превышал цену перевозок по земле.

Но для того, чтобы это условие было выполнено, иными словами, чтобы железная дорога была коммерчески выгодной, нужно, чтобы транспортируемых товаров было в изобилии, чтобы по крайней мере покрывать проценты используемого капитала и затраты на техническое обслуживание. Таким образом, первое условие существования железной дороги — это объемное обращение, которое предполагает еще более объемное производство, большую массу обменов.

Но производство, обращение, обмены — это не вещи, которыми можно импровизировать; кроме того, различные формы труда развиваются не изолированно и независимо друг от друга: их развитие обязательно связано, сплочено, пропорционально. Антагонизм может существовать между промышленниками: социальное действие, невзирая на это, — объединенное, конвергентное, гармоничное, одним словом, индивидуальное. Итак, наконец, наступил день создания великих рабочих инструментов; тот самый, где общее потребление может поддержать занятость, поскольку все его предложения переводятся, тот, в который обозримая работа может

² Прудон здесь прямо отождествляет скорость перевозок с денежными доходами, что, на наш взгляд, не слишком правильно. — А.А.А-О.

³ «Tout le monde reviendra à la malbrouk, à la patache» — такое выражение на самом деле использует Прудон из бытовавших в то время поговорок и идиом. Оно означает, предположительно, возврат к древним средствам передвижения. — А.А.А-О.

загрузить новые машины. Предвидеть час, отмеченный прогрессом в работе, это значит подражать тому безумцу, который, спускаясь из Лиона в Марсель, заставил отплыть пароход для него одного.

Эти пункты продемонстрировали, что нет ничего проще, чем объяснить, как работа должна оставлять для каждого производителя излишек.

И, во-первых, что касается общества: Прометей⁴, выходящий из лоно природы, пробуждается к жизни в инерции, полной очарования, но которая вскоре станет страданием и пыткой, если он не поспешит выйти из этого посредством работы. В этой изначальной праздности продукт Прометея равен нулю, а его благополучие идентично благополучию животного и может быть представлено как нуль.

Прометей приступает к делу: и с его первого дня, первого дня второго творения, продукт Прометея, то есть его богатство, его благополучие, равно 10.

На второй день Прометей делит свою работу, и его продукт становится равным 100.

На третий день и каждый последующий день Прометей изобретает машины, обнаруживает новые возможности в телах, новые силы в природе; сфера его существования простирается от области чувственного до сферы морали и разума, и с каждым шагом, который делает его промышленность, цифры производства возрастают и позволяют ему поздравлять себя (с этим ростом). И поскольку, наконец, для него потреблять — значит производить, ясно, что каждый день потребления, переваривающий лишь продукт предыдущего дня, оставляет избыток продукта на следующий день.

Но давайте также отметим, давайте отметим, прежде всего, главное, заключающееся в том, что благосостояние человека является прямым следствием интенсивности труда и разнообразия отраслей промышленности, так что рост богатства и прирост рабочей силы носят относительный и параллельный характер.

Говорить сейчас, что каждый участвует в этих общих условиях коллективного развития, значит утверждать истину, которая в силу доказательств может показаться глупой. Давайте, скорее, укажем на две основные формы потребления в обществе.

У общества, как и у индивида, есть свои объекты персонального потребления, объекты, в которых со временем мало-помалу оно начинает чувствовать необходимость и которые его таинственные инстинкты заставляют создавать. Таким образом, в средние века для большого числа городов наступил решающий момент, когда строительство ратуш и соборов стало насильственной страстью, которую нужно было удовлетворить любой ценой; существование общества зависело от этого.

⁴ Образу Прометея, напомним, Прудон уподобил человеческое общество. — А.А.А-О.

Безопасность и сила, общественный порядок, централизация, национальность, родина, независимость — вот что составляет жизнь общества, всех его умственных способностей; это чувства, которые должны были найти свое выражение и отличие. Таково было предназначение Иерусалимского храма, истинной драгоценности еврейского народа; таким был храм Юпитера — Капитолий в Риме. Позднее, за городским дворцом и храмом, органами, так сказать, централизации и развития, появились другие общественно полезные объекты — мосты, театры, больницы, дороги и т.д.

Памятники общественной пользы, являющиеся по существу общедоступными и, следовательно, бесплатными, общество заведомо наделяет политическими и моральными преимуществами, которые вытекают из этих выдающихся произведений и которые, предоставляя гарантии для безопасности и идеалы для ума, запечатлевают новый расцвет в промышленности и искусстве.

Но все иначе с объектами внутреннего потребления, которые единственно попадают в категорию обмена: они могут быть произведены только на условиях взаимности, которые допускают их потребление, то есть немедленное возмещение, с прибылью для производителей. Эти условия мы раскрыли в достаточной степени в теории пропорциональности стоимостей, которую в равной степени можно также назвать теорией постепенного сокращения себестоимости.

Я показал теорией и фактом, что *всякая работа должна оставлять излишек*; но этот принцип, столь же бесспорный как арифметическая формула, все еще далек от повсеместной реализации. В то время, как благодаря прогрессу коллективного производства каждый день персональной работы добывается все более объемного выпуска, и, в качестве необходимого следствия, в то время, как работник с той же зарплатой должен становиться богаче с каждым днем, в обществе есть состояния, которые *увеличиваются*, и другие, которые *уменьшаются*; работники с двойной, тройной и стократной зарплатой и другие с дефицитом; наконец, повсюду есть те, которые наслаждаются, и другие, которые страдают, и, благодаря чудовищному разделению промышленных прав, люди, которые потребляют, но не производят. Распределение благосостояния следует за всеми изменениями стоимости и воспроизводит их в нищете и роскоши в пугающих размерах и с пугающей энергией. Но везде также рост богатства, то есть пропорциональность стоимостей, является доминирующим законом; и когда экономисты противопоставляют сетованиям социальной партии постепенное увеличение общественного благосостояния и смягчение состояния наиболее неимущих классов, они провозглашают, не подозревая об этом, истину, которая является осуждением их теорий.

Поскольку я призываю экономистов на минуту задуматься в тишине сердец, вдали от предрассудков, которые их беспокоят, и независимо от того, какой работой они заняты или ожидают, интересов, которые они обслуживают, голосований, на которые они рассчитывают, различий, от которых сотрясается их тщеславие: пусть они скажут, признавали ли они, вплоть до сегодняшнего дня, принцип, что всякая

работа должна оставлять излишек, со всей цепочкой предварительных условий и последствий, о которых мы сообщили; и не подразумевали ли они под этими словами права жонглировать стоимостями, манипулируя спросом и предложением? не правда ли, что они подтверждают одновременно, с одной стороны, рост богатства и благосостояния и, следовательно, возможность измерения стоимостей; с другой стороны, произвол коммерческих сделок и неизмеримость стоимостей, то есть все самое противоречивое? Разве не благодаря этому противоречию мы постоянно слышим на лекциях и читаем в работах по политической экономии эту абсурдную гипотезу: *если цена ВСЕХ вещей была удвоена...* Как будто цена всех вещей не была пропорциональной этим вещам, и как будто можно удвоить пропорцию, соотношение, закон! Разве, наконец, не в силу собственнической несправедливой рутины, защищаемой политической экономией, каждый участвующий в торговле, промышленности, искусстве и госслужбе, под предлогом услуг, оказываемых обществу, постоянно стремится преувеличивать свою значимость, домогается вознаграждений, субвенций, больших пенсий, высоких гонораров: как если бы вознаграждение за любую услугу не фиксировалось бы необходимым образом суммой расходов на нее? Почему экономисты не распространяют изо всех сил эту простую и яркую истину: Труд каждого человека может обрести только ту стоимость, которую он содержит (в себе), и эта стоимость пропорциональна услугам всех других работников; если, как им кажется, работа каждого должна оставить излишек?...

Но вот последнее соображение, которое я изложу в нескольких словах.

Ж.-Б. Сэй — единственный из всех экономистов, кто больше всего настаивал на абсолютной неопределимости стоимости, — также и тот, кто приложил максимум усилий, чтобы опровергнуть это предположение. Именно он, если я не ошибаюсь, является автором формулы: *Любой товар заслуживает того, что он стоит*, или, что то же самое, *товары покупаются вместе с товарами*. Этот афоризм, полный эгалитарных последствий, с тех пор оспаривался другими экономистами; мы по очереди рассмотрим то, что его подтверждает, и то, что его отрицает.

Когда я говорю: каждый продукт стоит того, что стоит, это означает, что каждый продукт представляет собой коллективную единицу, которая в новой форме группирует определенное количество других продуктов, потребляемых в различных количествах. Отсюда следует, что продукты человеческой промышленности по отношению друг к другу являются *родами и видами*, и что они образуют ряд от простого к сложному, в соответствии с количеством и соотношением элементов, эквивалентных между собой, которые составляют каждый продукт. На данный момент не имеет значения, что этот ряд, равно как и эквивалентность его элементов, на практике более или менее точно выражен балансом заработной платы и благосостояния: речь идет прежде всего об отношениях внутри вещей, относящихся к экономическому закону. Ибо здесь, как всегда, идея сначала самопроизвольно порождает факт, который затем распознается мыслью, которая его породила, постепенно исправляется и определяется в соответствии с ее принципом. Торговля, свободная и конкурентоспособная, является лишь длительной восстановительной

операцией, цель которой состоит в том, чтобы выявить пропорциональность стоимостей, в ожидании, пока гражданское право ее примет и сделает правилом состояния людей. Поэтому я говорю, что принцип Сэя — *Каждый продукт стоит того, что он стоит* указывает на ряд того, что произведено человеком, аналогично рядам животных и растений, в котором элементарные единицы (рабочие дни) считаются равными друг другу. Таким образом, политическая экономия утверждает с самого начала, через противоречие, то, что ни Платон, ни Руссо, ни какой-либо другой древний или современный публицист не считали возможным, — равенство условий и состояний.

Прометей становится по очереди пахарем, виноделом, пекарем, ткачом. Какой бы профессией он ни занимался, поскольку он работает только на себя, он покупает то, что он потребляет (свои продукты), за одну и ту же валюту (свои продукты), чья единица измерения необходимо — его рабочий день. Это правда, что сам труд подвержен изменениям: Прометей не всегда одинаково расположен, и от момента к другому его пыл, его плодотворность то растет, то падает. Но, как и все, что подвержено изменениям, труд имеет свою середину (среднее значение), и это позволяет нам сказать, что в сумме день работы оплачивает день работы, ни больше, ни меньше. Совершенно верно, если сравнивать продукты определенного периода общественной жизни с продуктами другого периода, что стомиллионный день человеческого вида даст несравненно больший результат, чем первый; но также можно сказать, что жизнь коллективного существа может быть дифференцирована не больше, чем жизнь индивидуума; что если дни не одинаковы, они неразрывно связаны, и что во всем существовании боль и удовольствие являются общими для них. Поэтому, если портной, чтобы представить стоимость дня, использует десять раз день ткача, это похоже на то, как если бы ткач отдал десять дней своей жизни за день жизни портного. Именно это и происходит, когда крестьянин платит 12 франков нотариусу за письмо, чье изготовление стоит час; и эта неодинаковость, это неравенство в обменах является самой мощной причиной нищеты, которую разоблачили социалисты и которую экономисты признают очень тихо, ожидая знака от хозяина, который позволил бы им признать ее более громко.

Любая ошибка в коммутативном правосудии — это жертвоприношение работника, переливание крови человека в тело другого человека... Пусть не будет страха: я не собираюсь распространять раздражающую филиппику собственности; я тем менее думаю об этом, что, следуя моим принципам, человечество никогда не ошибается; что, располагаясь прежде всего над правом собственности, оно определило лишь один принцип своей будущей организации; и что преобладание собственности, однажды разрушенное, — то, что предстоит сделать, чтобы вернуть к единству эту знаменитую антитезу. Все, что можно было возразить мне в пользу собственности, я знаю, равно как и то, что никто из моих цензоров, которых я прошу со всем уважением сердечно признать, что диалектика привела их к ошибке. Как могут быть *приемлемыми* богатства, для которых вложенный труд не является показателем? И если труд создает богатство и узаконивает собственность, как объяснить потребление богатого бездельника? Как может быть справедливой

система распределения, при которой продукт стоит, по мнению отдельных людей, иногда больше, иногда меньше, чем стоит на самом деле?

Идеи Сэя вели к появлению аграрного закона; поэтому консервативная партия поспешила протестовать против них. «Основной источник богатства, — сказал г-н Росси, — это труд. Провозглашая этот великий принцип, промышленная школа выдвинула на первый план не только экономический принцип, но и тот социальный факт, который в руках опытного историка становится самым надежным руководством для исследования человеческого вида в его движении и его установлениях на земном шаре».

Почему, зафиксировав эти глубокие слова в своем курсе, г-н Росси решил, что он должен отозвать их позже в обзоре и бессмысленно поставить под угрозу свое достоинство как философа и экономиста?

«Скажите, что богатство — это только результат труда; провозгласите, что во всех случаях труд является мерой стоимости, регулятором цен; и чтобы каким-то образом избежать возражений, вызываемых со всех сторон этими доктринами, некоторые из которых являются неполными, а другие абсолютными, вы будете невольно обобщать понятие труда и заменять анализ совершенно ошибочным синтезом».

Я сожалею, что такой человек, как Росси, высказывает мне такую печальную мысль; но, читая отрывок, который я только что привел, я не мог не сказать: наука и истина более не существуют; то, что мы любим сейчас, — это лавочка (магазин), а после лавочки — отчаянный конституционализм, который ее представляет. К кому обращается г-н Росси? Он жаждет труда или чего-то еще? анализа или синтеза? Жаждет ли он всех этих вещей одновременно? Пусть он выбирает, потому что его собственное заключение действует против него.

Если труд является источником всего богатства, если он является самым надежным руководством для изучения истории человеческих установлений на земном шаре, почему равенство распределения, равенство в зависимости от меры труда не становится законом?

Если, наоборот, есть богатства, которые происходят не от труда, откуда берется привилегия владения этими богатствами? Какова законность монополии? Поэтому давайте однажды разоблачим эту теорию непродуктивного права потребления, эту юриспруденцию наслаждения, эту религию праздности, священную прерогативу касты избранных!

Что означает этот призыв к анализу ошибочных суждений о синтезе? эти метафизические термины хороши только для внушения простакам, которые не подозревают, что одно и то же суждение можно сделать равнодушным и произвольным, аналитическим или синтетическим. — *Труд — это принцип стоимости и источник*

богатства: аналитическое суждение, как того хочет г-н Росси, так как это суждение представляет собой краткое изложение анализа, в котором мы демонстрируем, что существует идентичность между примитивным понятием труда и последующими понятиями продукта, стоимости, капитала, богатства и т. д. Однако мы видим, что г-н Росси отвергает доктрину, вытекающую из этого анализа. — *Труд, капитал и земля являются источниками богатства*. Синтетическое суждение, такое, какого не желает г-н Росси; на самом деле, богатство здесь рассматривается как общее понятие, которое встречается в трех различных, но не идентичных видах. И все же доктрина, сформулированная таким образом, является такой, какую предпочитает г-н Росси. Понравится ли теперь г-ну Росси, что мы возвращаем его теорию аналитической монополии и нашу теорию синтетического труда? Я могу предоставить ему это удовлетворение... Но я бы покраснел, если бы продолжил подшучивать над таким серьезным человеком. Г-н Росси лучше всех знает, что анализ и синтез сами по себе абсолютно ничего не доказывают, и что, как сказал Бэкон, важно проводить точные сравнения и полные подсчеты.

Поскольку г-н Росси находился под воздействием абстракций, то что только он не наговорил этой фаланге экономистов, которые с таким уважением собирают малейшие слова, выпадающие из его уст:

«Капитал — это *материя* богатства, как деньги — материя валюты, как пшеница — материал хлеба», и, продолжая серию до конца, как земля, вода, огонь, атмосфера — материал всех наших изделий. Но это труд, только труд, — то, что последовательно создает каждое полезное качество, данное этим *материям*, и, следовательно, превращает их в капиталы и богатства. Капитал — это труд, то есть реализованные разум и жизнь: как животные и растения являются реализациями вселенской души; как шедевры Гомера, Рафаэля и Россини являются выражениями их идей и чувств. Стоимость — это пропорция, в соответствии с которой все реализации человеческой души должны колебаться, чтобы создать гармоничное целое, которое, будучи богатством, порождает благосостояние для нас или, скорее, является знаком, а не объектом нашей благодати.

Утверждение, что *меры стоимости не существует*, является нелогичным и противоречивым; это вытекает из самых мотивов, исходя из которых была предпринята попытка это утверждение установить.

Утверждение, что труд — *это принцип пропорциональности стоимостей*, не только верно, потому что оно является результатом неопровержимого анализа, но и является целью прогресса, условием и формой общественного благополучия, началом и концом политической экономии. Из этого утверждения и его следствий, заключающихся в том, что *каждый продукт равен тому, что он стоит*, а *продукты покупаются продуктами*, происходит доктрина равных условий.

Идея социально значимой стоимости, или пропорциональности продуктов, служит

для объяснения следующего:

- а) как механическое изобретение, несмотря на временно создаваемую привилегию и вызываемые ею пертурбации, всегда приводит к общему усовершенствованию;
- б) почему открытие экономического процесса никогда не сможет принести его автору прибыли, равной той, которую он предоставляет обществу;
- с) как, посредством ряда колебаний между спросом и предложением, стоимость каждого продукта постоянно стремится соответствовать уровню себестоимости и запросам потребления, и, следовательно, зафиксироваться позитивно;
- д) как при коллективном производстве, непрерывно увеличивающем массу потребляемых вещей, и, следовательно, рабочий день, все лучше и лучше оплачиваемый, труд должен оставлять каждому производителю излишек;
- е) как тяжелый труд, далекий от того, чтобы его уменьшал промышленный прогресс, постоянно увеличивается в количестве и качестве, то есть в интенсивности и сложности для всех отраслей;
- ф) как социальная стоимость непрерывно уничтожает фиктивные стоимости, другими словами, как промышленность управляет обобществлением капитала и собственности;
- г) наконец, как распределение продуктов, постепенно упорядочивая взаимную гарантию, производимую структурой стоимостей, подталкивает общество к равенству условий и состояний.

Наконец, теория последовательного структурирования всех коммерческих стоимостей, подразумевающих бесконечный прогресс в работе, богатстве и благосостоянии, социальной судьбе, с экономической точки зрения, открывается нам: *Непрерывно производить с наименьшими трудовыми затратами, максимально возможным количеством и наибольшим разнообразием стоимостей*, чтобы обеспечить достижение для каждого наибольшей суммы физического, духовного и интеллектуального благополучия, а для всего человеческого вида — высочайшего совершенства и бесконечного величия.

Теперь, когда мы не без труда определили смысл вопроса, предложенного Академией гуманитарных наук, относительно колебаний прибыли и заработной платы, настало время заняться основной частью нашей задачи. Повсюду, где труд не был обобществлен, то есть там, где стоимость не была определена синтетически, в торговле происходят сбои и несостыковки, войны уловок и засад, препятствия к производству, обращению и потреблению, непроизводительный труд, отсутствие гарантий, ограбления, мошенничество, бедность и роскошество, но одновременно — усилия общественного гения, направленные на достижение справедливости и постоянная тенденция к объединению и порядку. Политическая экономия — не что иное, как история этой великой борьбы. С одной стороны, на самом деле политическая экономия, поскольку она стремится и претендует на то, чтобы увековечить аномалии стоимости и привилегии эгоизма, действительно является теорией несчастья и организации нищеты; но поскольку она представляет средства, изобретенные цивилизацией для преодоления пауперизма, хотя эти средства постоянно превращались в исключительное преимущество монополии, политическая

экономия является преамбулой для организации богатства.

Поэтому важно возобновить изучение экономических фактов и процедур, прояснить их дух и сформировать философию. Без этого не получить никакой информации о прогрессе общества, не предпринять реформы. Ошибка социализма до сих пор заключалась в том, чтобы увековечивать религиозные мечтания, отправляясь в фантастическое будущее, вместо того, чтобы постигать реальность, которая его сокрушает; так же, как вина экономистов состоит в том, что в каждом свершившемся факте они видят запрет на любую гипотезу изменений.

Для меня это не то, как я представляю себе экономическую науку, настоящую социальную науку. Вместо того, чтобы заведомо отвечать на серьезные проблемы организации труда и распределения богатств, я поставлю под сомнение политическую экономию как хранилище тайных мыслей человечества, я заставлю факты говорить согласно порядку их поступления, и представлю их свидетельства, не противопоставляя им свои. Это будет одновременно и триумфальная, и печальная история, героями которой станут идеи, эпизоды теорий и даты решений.

Глава III. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭВОЛЮЦИИ. ЭПОХА ПЕРВАЯ. РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА

Фундаментальная идея, доминантная категория политической экономики — это **СТОИМОСТЬ**.

Стоимость приходит к своему положительному определению через серию колебаний между *спросом* и *предложением*.

В итоге стоимость возникает последовательно по трем аспектам: полезная стоимость, обменная стоимость и синтетическая стоимость или социальная стоимость, которая является истинной стоимостью. Первое слагаемое противоречиво порождает второе; и оба вместе, поглощая друг друга взаимопроникновением, порождают третье: так что противоречие или антагонизм идей выступают в качестве отправной точки всей экономической науки, и что можно сказать о ней, пародируя слово Тертуллиана¹ о Евангелии, *credo quia absurdum* (верую, поскольку абсурдно): В экономике обществ существует скрытая истина, как только появляется явное противоречие, *credo quia contrarium* (потому что считаю наоборот).

С точки зрения политической экономики прогресс общества заключается в постоянном решении проблемы построения стоимостей, или пропорциональности и взаимосвязи продуктов.

Но, хотя в природе синтез противоположностей существует одновременно с их оппозицией, в обществе противоположные элементы, кажется, возникают через большие промежутки времени и разрешаются только после долгого и бурного перемешивания. Таким образом, у нас нет примера, у нас даже не возникает идеи существования долины без холма, лева без права, северного полюса без южного полюса, палки, которая имела бы только один конец, или двух концов без середины и т. д. Человеческое тело с его совершенно противоположной дихотомией сформировано как единое целое с самого момента зачатия; ему претит то, что оно составлено и упорядочено по частям, как платье, которое позже покрывает его,

¹ Квинт Септимий Флоренс Тертуллиан (ок. 160—220 гг. н. э.), раннехристианский писатель, противник философии, один из авторов концепции Троицы. — А.А. А-О.

подражая ему².

В обществе, напротив, так же, как и в разуме, далеко от того, чтобы идея внезапно достигала своей полноты, и своего рода пропасть разделяет, так сказать, две противоречивые позиции, и что, даже будучи в конце концов признанными, еще не очевидно, что (из них) возникнет синтез. Нужно, чтобы примитивные понятия были, так сказать, оплодотворены шумными спорами и страстной борьбой; кровопролитные сражения станут предварительным условием мира. Сегодня Европа, уставшая от войн и полемики, ждет примирительного подхода; и именно смутное ощущение этой ситуации заставляет задуматься Академию гуманитарных и политических наук о том, *каковы общие факты, которые регулируют отношения прибыли с заработной платой и которые определяют их колебания*, иными словами, каковы наиболее заметные эпизоды и наиболее заметные этапы войны труда и капитала.

Поэтому, если я продемонстрирую, что политическая экономия со всеми ее противоречивыми гипотезами и двусмысленными выводами является не чем иным, как организацией привилегий и нищеты, я тем самым докажу, что она косвенно содержит обещание организации труда и равенства, поскольку, как мы уже говорили, любое систематическое противоречие — это объявление будущей композиции; более того, я буду закладывать основы этой композиции. Итак, наконец, разоблачить систему экономических противоречий — значит заложить основы всеобщего объединения; сказать, как продукты коллективного труда появились из общества — значит объяснить, как их можно будет вернуть туда; показать происхождение проблем производства и распределения — значит подготовить решение. Все эти предложения идентичны и одинаково очевидны.

² Тонкий филолог г-н Поль Аккерманн показал на примере французского языка, что каждое слово в языке имеет свою противоположность или, как говорит автор, является антонимом, весь словарь может быть организован в парах и формировать огромную двойную систему. (См. Словарь антонимов, Поль Аккерманн. Париж, Брокгауз и Авенариус, 1842).

§ I. Антагонистические эффекты принципа разделения

Все люди равны в первобытном сообществе, равны в своей наготе и невежестве, равны в неограниченной силе своих способностей. Экономисты обычно рассматривают только первый из этих аспектов: они пренебрегают или полностью игнорируют второй. Однако, по мнению глубочайших философов современности, Ла Рошфуко, Гельвеция, Канта, Фихте, Гегеля, Жакота, интеллект определяется в индивидуумах только *качественным* анализом, который представляет собой специализацию или способность каждого; в то время как в том, что существенно, а именно в суждении, он для всех равен *количественно*. Отсюда следует, что рано или поздно, в соответствии с обстоятельствами, которые были благоприятными, общий прогресс должен привести всех людей от первоначального и отрицательного равенства к положительной эквивалентности талантов и знаний.

Я настаиваю на этом исключительном факте психологии, необходимым следствием которого является то, что *иерархия способностей* отныне не может быть принята как принцип и закон организации: только равенство является нашим правилом, так же как и нашим идеалом. Так же, как мы это доказали теорией стоимости, как равенство нищеты должно постепенно превращаться в равенство благосостояния; аналогично равенство душ, отрицательное с самого начала, поскольку оно представляло собой лишь пустоту, должно возродиться положительно на последнем этапе образования человечества. Интеллектуальное движение осуществляется параллельно с экономическим: они являются выражением, переводом друг друга; психология и социальная экономика согласны, или, лучше сказать, они лишь развивают каждая с различных точек зрения одну и ту же историю. Это то, что проявляется в особенности в великом законе Смита, в *разделении труда*.

Рассматриваемое по своей сути разделение труда — это способ, с помощью которого реализуется равенство условий и интеллектов. Именно оно, благодаря разнообразию функций, предоставляет место для пропорциональности продуктов и баланса обменов, следовательно, оно открывает путь к богатству; кроме того, обнаруживая бесконечность повсюду в искусстве и природе, это оно ведет нас к идеализации всех наших действий и воссоздает творческий дух, то есть ту же божественность, *mentem diviniorem*, имманентную и чувствительную ко всем трудящимся.

Таким образом, разделение труда является первой фазой экономического развития так же, как интеллектуального прогресса: наша отправная точка верна и со стороны

человека, и со стороны вещей; и ход нашей демонстрации не имеет ничего произвольного.

Но в этот торжественный час разделения труда штормовой ветер начинает дуть над человечеством. Прогресс не достигается для всех одинаково и равномерно, хотя в конце он должен достичь и преобразовать всех разумных и трудолюбивых существ. Он начинает с захвата небольшого числа привилегированных, которые, таким образом, составляют элиту наций, в то время как масса сохраняется или даже погружается в варварство. Именно это разделение людей со стороны прогресса заставило так долго верить в естественное и предопределенное неравенство условий, породившее касты, и иерархически составляло все общества. Мы не понимали, что любое неравенство всегда было не чем иным, как отрицанием, несущим в себе признак нелегитимности и предвестие его утраты: тем еще менее можно представить себе, что это самое неравенство возникло случайно по причине, чей последующий эффект должен был заставить его полностью исчезнуть.

Так же антиномия стоимости, воспроизводясь в законе разделения, обнаружила, что первый и самый мощный инструмент знания и богатства, который Провидение вложило нам в руки, это инструмент нищеты и слабоумия. Вот формула этого нового закона антагонизма, которому мы обязаны двумя древнейшими недугами цивилизации — аристократией и пролетариатом: *Труд подразделяется в соответствии с законом, который ему присущ и который является первым условием его плодотворности, ведет к отрицанию его целей и разрушает себя; иными словами, Разделение, за пределами которого точка прогресса, точка богатства, точка равенства подчиняет работника, делает разум бесполезным, богатство тлетворным и равенство невозможным.*

Все экономисты, начиная с А. Смита, указывали на *достоинства и недостатки* закона разделения, но настаивая более на первых, нежели на вторых, потому что это лучше служило их оптимизму, и без того, чтобы ни один из них не никогда не задумывался о том, какие могут быть *недостатки закона*. Вот как подытожил вопрос Ж.-Б. Сэй:

«Человек, который выполняет только одну операцию на протяжении всей своей жизни, безусловно, преуспевает в том, чтобы выполнять ее лучше и быстрее, чем другой человек, но в то же время он становится менее способным к любой другой деятельности, физической или духовной, другие его способности приглушены, что приводит к персональной деградации человека. Это печальное свидетельство того, что будет, если не делать ничего, кроме одной восемнадцатой части булавки: никто не представляет себе, что только рабочий, который всю свою жизнь двигает одним напильником или молотком, деградирует, который, таким образом, вырождается из достоинства своей натуры, это все еще тот человек, который в силу своего состояния использует самые несвязанные способности своего разума... В результате мы можем сказать, что разделение работ — это умелое использование человеческих сил; что это значительно увеличивает продукцию общества; но что это отнимает что-то от

способностей каждого отдельного человека» (Договор полит. экон.).

Так что же, после самого труда, является основной причиной умножения богатства и квалификации работников? разделение. Какова основная причина упадка духа и, как мы будем постоянно доказывать, цивилизованной нищеты? Разделение.

Как тот же принцип, строго соблюдаемый по своим последствиям, приводит к диаметрально противоположным эффектам? ни один экономист, ни до, ни после А. Смита не осознавал, что есть проблема, которую нужно прояснить. Сэй доходит до признания, что при разделении труда та же самая причина, которая порождает добро, порождает и зло; затем, после нескольких слов соболезнования жертвам разделения отраслей, довольный, что сделал беспристрастный и верный доклад, он оставляет нас. «Вы узнаете, — как бы хочет сказать он, — что чем больше мы делим рабочую силу, тем больше мы увеличиваем производительную мощность труда; но в то же время, чем больше работа постепенно сводится к механизму, тем более затуманивает интеллект».

Напрасно кто-то возмущается теорией, которая, будучи созданная трудом через аристократию способностей, неизбежно ведет к политическому неравенству; напрасно возражает именем демократии и прогресса против того, что в будущем больше не будет ни дворянства, ни буржуазии, ни париев. Экономист отвечает с судьбоносной бесстрастностью: вы обречены на то, чтобы производить много и производить дешево; в противном случае ваше производство всегда будет жалким, ваша торговля — нулевой, и вы будете плестись в хвосте цивилизации, вместо того, чтобы идти во главе. — Что! среди нас, людей бескорыстных, предопределены глупости, и чем больше наше производство совершенствуется, тем больше становится число наших проклятых братьев!... — Увы! Это последнее слово экономиста.

Нельзя игнорировать при разделении труда как общий факт, так и причины (возникновения) всех характеристик закона; но поскольку этот закон регулирует два вида радикально противоположных и взаимно разрушительных явлений, следует также признать, что этот закон относится к виду, неизвестному в точных науках; что это, как ни странно, противоречивый закон, *противозаконность*, антиномия. Добавим в качестве предубеждения, что это, по-видимому, является характерной чертой всей экономики обществ, начиная с философии.

Однако если не произойдет ПЕРЕУСТРОЙСТВО труда, которое стирает недостатки разделения, сохраняя при этом его полезные последствия, противоречие, присущее принципу, остается без своего разрешения. Нужно, по слову иудейских священников, готовящих смерть Христа, чтобы бедняк погиб во имя сохранения состояния богатого, *expedit unum hominem pro populo mori*¹. Я продемонстрирую необходимость этого решения; после чего, если у рабочего на участке останется проблеск интеллекта,

¹ Лучше умереть одному во имя сохранения многих (лат.). — А.А.А-О.

он утешит себя мыслью, что он умрет в соответствии с правилами политической экономии.

Труд, который должен был породить рост сознания и сделать его все более и более заслуживающим счастья, принося частичным разделением ослабление духа, отделяет человека от самой благородной части его самого, *minorat capitis*², и отбрасывает его к животному состоянию. С этого момента опустившийся человек работает грубо, поэтому с ним нужно обращаться грубо. Общество исполнит это решение природы и необходимости.

Первым эффектом разделения труда после разложения души является продление сеансов (труда), которые растут обратно пропорционально количеству потраченного интеллекта. Поскольку продукт оценивается одновременно с точки зрения количества и качества, то если в результате какого-либо промышленного развития работа ослабевает в одном направлении, следует ожидать компенсации в другом. Но поскольку продолжительность сеансов не может превышать шестнадцать-восемнадцать часов в сутки, с момента, когда компенсация не может быть произведена в течение определенного времени, она будет получена с цены, и зарплата уменьшится. И это снижение будет происходить не так смехотворно, как это можно себе представить, потому что стоимость по сути произвольна, а потому что она по сути определима. Не важно, что борьба между спросом и предложением заканчивается, иногда в пользу хозяина, иногда в пользу работника; такие же колебания могут колебать амплитуду в соответствии с общеизвестными дополнительными обстоятельствами, которые были оценены тысячу раз. Что несомненно, и что нам следует отметить, — это то, что универсальное сознание оценивает неодинаково работу бригадира и выходку грубияна. Следовательно, возникает необходимость снизить плату за рабочий день: чтобы работник, будучи душевно пораженным своей унижительной функцией, не мог не быть поражен и телесно скромностью вознаграждения. Это буквальное применение слова Евангелия: *У того, кто владеет малым, я заберу и то малое.*

В экономических происшествиях есть неумолимая причина, которая насмехается над религией и справедливостью как над политическими афоризмами и которая делает человека счастливым или несчастным, в зависимости от того, подчиняется он или уклоняется от предписаний судьбы. По общему признанию, мы далеки от этой христианской добродетели, которой вдохновляются многие уважаемые писатели, и которая стремится, проникая в сердце буржуазии, благодаря множеству институтов, умерить строгости закона. Политической экономии известна только справедливость, справедливость негибкая и крепкая, как кошелек скупого; и только потому, что политическая экономия является следствием социальной спонтанности и выражением божественной воли, я смог сказать, что Бог оппонирует человеку, а Провидение избирательно. Бог заставляет нас оплачивать силой крови и мерой

² Буквально — уменьшает голову (лат.). — А.А.А-О.

наших слез каждый наш урок; и, что еще хуже, в наших отношениях с другими людьми мы поступаем так же. Где эта любовь небесного отца к его созданиям? где человеческое братство?

Может ли быть иначе? спрашивают теисты. Человек опускается, животное остается: как Творец узнает в нем свой образ? И что может быть проще, чем обращаться с ним как с диким существом? Но испытание не всегда будет длиться, и рано или поздно труд, после того, как конкретизируется, станет синтезированным. Это обычный аргумент всех тех, которые ищут оправданий для Провидения и которым чаще всего удастся только готовить для атеизма новое оружие. Это все равно, что сказать, что Бог в течение шести тысяч лет завидовал идее, — которая могла бы спасти миллионы жертв, — распределения одновременно как специального, так и синтезированного труда! С другой стороны, он подарил нам через своих пророков Моисея, Будду, Зороастра, Мухаммеда и т. д. эти безвкусные ритуалы, угнетающие наш разум и заставившие погубить больше людей, чем они содержат букв! Более того, если верить первобытному откровению, социальная экономика была бы этой проклятой наукой, этим плодом дерева, сохраняемым для Бога, к которому человеку было запрещено прикасаться! Для чего это религиозное порицание труда, если оно истинно, поскольку экономическая наука уже обнаруживает его, что труд является отцом любви и органом счастья? для чего эта ревность нашего продвижения? Но если, как кажется сейчас достаточно, наш прогресс зависит только от нас самих, какая польза от поклонения этому призраку божественности, и чего он все еще хочет от нас с этой толпой вдохновенных, которые преследуют нас своими проповедями? Все вы, христиане, протестанты и православные, неосвященные, шарлатаны и обманщики, слушайте первый стих гуманитарного гимна о милосердии Бога: «Поскольку принцип разделения труда получает полное применение, рабочий становится более слабым, более ограниченным и более зависимым! Искусство прогрессирует, ремесло регрессирует!» (Токвиль, О демократии в Америке).

Поэтому давайте будем осторожны в том, чтобы предвидеть наши выводы и предрешать последнее откровение опыта. Бог, что касается текущего момента, кажется нам менее предпочтительным, чем его противоположность: ограничимся констатацией факта.

Подобно тому, как политическая экономия в своей отправной точке заставила нас услышать это таинственное и мрачное слово:

С ростом производства полезности уменьшается продаваемость ; точно так же, по прибытии на свою первую остановку она предупреждает нас страшным голосом: Когда искусство прогрессирует, ремесло регрессирует.

Чтобы лучше обозначить идеи, приведем несколько примеров. Кто в металлургической промышленности наименее трудолюбивые работники? те, которых точно называют механиками. С момента, как инструменты стали настолько превосходно усовершенствованными, механик — лишь человек, который знает, как нанести

мазок известью или предложить деталь для рубанка: что касается механики, то это дело инженеров и бригадиров. Управляющий компании иногда объединяет, по необходимости, различные таланты — слесаря, портного, оружейника, механика, рулевого, ветеринара: в приличном обществе будут удивлены наукой, происходящей из-под молотка этого человека, которому люди, насмехаясь, дают прозвище *железной горелки*. Рабочий из Крезо, который в течение десяти лет наблюдал все, что его профессия может предложить наиболее грандиозного и завершенного из своего цеха,— не более, чем существо, не способное оказывать какие-либо услуги и зарабатывать на жизнь. Непригодность этого субъекта является прямым результатом совершенствования искусства (производства); и это верно для всех производств, подобных металлургии.

Зарплата механиков до сих пор поддерживалась на высоком уровне: неизбежно, что она однажды упадет, потому что низкое качество работы не в состоянии ее поддерживать.

Я только что привел пример из металлургии, давайте посмотрим на легкую промышленность.

Могли ли себе представить Гуттенберг³ и его трудолюбивые спутники Фёрст и Шеффер, что благодаря разделению труда их возвышенное изобретение попадет в область невежества, я почти сказал идиотизма? Мало кто обладает таким слабым интеллектом, столь мало *начитаны*, как масса рабочих, прикрепленных к различным направлениям полиграфической промышленности, — наборщики, печатники, плавильщики, переплетчики и бумажники. Типограф, которого еще можно было встретить во времена Этьенна, стал почти абстракцией. Использование женщин в наборном цехе поразило эту благородную индустрию в самое сердце и унизило ее. Я видел *наборщицу*, и это была одна из лучших, которая не умела читать, а буквы знала только по номерам. Все искусство воплотилось в специальностях корректоров, скромных ученых, которых до сих пор унижает грубость авторов и их покровителей, и некоторых рабочих, настоящих художников. Одним словом, пресса, попавшая в механизм, уже не находится, в отношении персонала этого механизма, на цивилизованном уровне: вскоре она останется лишь памятником.

Я слышал, что работники типографий в Париже объединились в ассоциации, чтобы уберечься от лишений: пусть их усилия не будут исчерпаны тщетным эмпиризмом или утеряны в бесплодных утопиях!

После примеров из частного предпринимательства посмотрим на административ-

³ Прудон имеет в виду изобретателя печатного станка, фамилия которого на русском обычно пишется как «Гуттенберг». — А.А.А-О.

ный слой.

В государственных службах эффект разделенного труда не менее пугающий, не менее интенсивный: везде, в сфере управления, по мере развития дела основная масса работников видит, что их зарплата снижается. — Почтальон получает от 400 до 600 франков годового оклада, из которого администрация удерживает около десятой доли на пенсию. После тридцати лет работы пенсия, а точнее реституция, составляет 300 франков в год, которые, будучи переданными хоспису их владельцем, дают ему право на постель, суп и стирку. Мое сердце истекает кровью от того, что я скажу, но я нахожу, что государственная администрация еще щедра: каким вы хотите, чтобы было вознаграждение человека, вся функция которого состоит в ходьбе? Легенда сообщает о пяти су для странствующего еврея; почтальоны получают двадцать или тридцать; это правда, что большинство из них имеют семьи. Часть службы, для которой требуется использование интеллекта, предназначена для директоров и коммивояжеров: им лучше платят, они выполняют человеческую работу.

Таким образом, повсеместно в сфере общественных услуг, как и в легкой промышленности, все устроено так, что девять десятых работников служат бременем для одной десятой: это неизбежный эффект промышленного прогресса и необходимое условие всего богатства. Важно знать об этой элементарной истине, прежде чем говорить людям о равенстве, свободе, демократических институтах и других утопиях, реализация которых предполагает полную революцию в отношениях работников.

Самый примечательный эффект разделения труда — вырождение литературы.

В средние века и в древности просвещенный человек, своего рода энциклопедист, преемник трубадура и поэта, знал все, мог все. Литература с высоко поднятой рукой правила обществом; короли искали благосклонности писателей или мстили за их презрение, сжигая их самих и их книги. Это был еще один способ признания литературного суверенитета.

Сегодня мы промышленники, юристы, врачи, банкиры, торговцы, преподаватели, инженеры, библиотекари и т. д.; мы больше не просвещенные люди. Точнее, тот, кто достиг чего-то примечательного в своей профессии, тем самым будет единственным, кто необходимо грамотен: чтение литературы, как и степень бакалавра, стала элементарной частью любой профессии. Литератор в чистом виде является *публичным писателем*, своего рода коммивояжером писательства по всеобщему ручательству, чья самая распространенная вариация — журналист.

Четыре года назад в палатах (парламента) родилась странная идея — создать закон о литературной собственности! как будто значение идеи не стремилось стать всем, а стиль — ничем. Слава Богу, это делается с помощью парламентского красноречия, как эпическая поэзия и мифология; театр лишь изредка привлекает деловых людей и ученых; и в то время как ценители удивляются упадку искусства,

философ-наблюдатель видит в нем только прогресс в духе мужественного разума, более раздраженный, чем восхищенный этими сложными безделушками. Интерес к роману поддерживается лишь настолько, насколько он приближается к реальности; история сводится к антропологическому толкованию; наконец, повсюду искусство говорить хорошо становится второстепенной вспомогательной идеи, факта. Культ слова, слишком кустистого и слишком медлительного для нетерпеливых умов, игнорируется, и его ухищрения теряют привлекательность день ото дня. Язык девятнадцатого века состоит из фактов и цифр, и это наиболее примечательно для нас, которые, используя наименьшее количество слов, могут выразить большинство вещей. Тот, кто не знает, как говорить на этом языке, немилосердно низведен к риторам; о нем говорят, что у него нет идей.

В зарождающемся обществе прогресс языка обязательно предшествует философскому и индустриальному прогрессу и долгое время служит обоим. Но наступает день, когда мысль выходит за рамки языка, или, как следствие, превосходство, сохраняемое в литературе, становится для общества явным признаком упадка. Язык, на самом деле, является для каждого народа собранием его родных идей, энциклопедией, которую ему впервые открывает Провидение; это поле, которое его разум должен вспахивать, прежде чем атаковать природу непосредственно наблюдением и опытом.

Теперь, как только нация, исчерпав науку, содержащуюся в ее словаре, вместо того, чтобы продолжать свое образование с высшей философией, заворачивается в свой поэтический покров и начинает играть своими периодами и полустилищами, можно смело заявить, что такое общество потеряно. Все в нем станет мелким, жалким и ложным; у него даже не будет преимуществ сохранения в его великолепии этого языка, который оно безумно любило; вместо того, чтобы идти по пути гениев перехода, Тацита, Фукидида, Макиавелли и Монтескье, мы увидим его падшим в неодолимой стремнине, от величия Цицерона до тонкостей Сенеки, к антитезам святого Августина и каламбурам святого Бернара.

Пусть не возникает иллюзий: с того момента, когда ум, сначала будучи полностью внутри речи, переходит в опыт и труд, собственно литератор — не что иное, как ничтожная персонификация наименьшей из наших способностей; а литература, будучи отходом интеллектуальной деятельности, находит отдачу только среди бездельников, которых она развлекает, и пролетариев, которых она очаровывает, жонглеров, которые осаждают власть, и шарлатанов, которые защищаются с ее помощью, иерофантов (жрецов) божественного закона, которые истолковывают голос Синая, и фанатиков суверенитета народа, — которые, будучи его слабыми представителями, стремятся лишь к тому, чтобы испытать свои ораторские способности с высоты трибун на гробницах и заставить его плакать, — способных лишь изобразить пародии на Гракха и Демосфена.

Поэтому общество во всех своих полномочиях соглашается на неопределенное время ухудшать положение работника отдельного участка; и опыт, повсеместно

подтверждающий теорию, доказывает, что этот работник обречен на несчастье еще со времени нахождения в чреве своей матери, и что в отсутствие какой-либо политической реформы, какого-либо объединения интересов ни общественная благотворительность, ни образование не помогут ему. Различные особенности, представленные в последнее время, далеко не в состоянии излечить эту рану, и скорее углубят ее, раздражая ее; и все, что было написано на сей счет, лишь выдвинуло на первый план порочный круг политической экономии.

Это то, что мы продемонстрируем в нескольких словах.

§ II. Бессилие полумер. - Г-да Бланки, Шевалье, Дюнойе, Росси и Пасси

Все средства защиты, предлагаемые против фатальных последствий разделения труда, сводятся к двум, второе стоит первого, первое — обратное второму: поднять дух работника за счет повышения его благосостояния и чувства собственного достоинства; — или же готовить его эмансипацию и счастье издавна посредством образования.

Мы будем последовательно изучать эти две системы, одну из которых представляет г-н Бланки, а другую — г-н Шевалье.

Господин Бланки — человек объединения и прогресса, писатель с демократическими тенденциями, профессор, приветствуемый симпатиями пролетариата. В своей вступительной речи за 1845-й год г-н Бланки объявил в качестве средства спасения объединение труда и капитала, участие рабочего в прибыли, то есть начало промышленной солидарности. «Наш век, — воскликнул он, — должен увидеть рождение коллективного производителя». — Г-н Бланки забывает, что коллективный производитель родился давно, так же как и коллективный потребитель, и что это вопрос уже не генетический, а медицинский. Речь идет о том, чтобы кровь, поступающая от коллективного пищеварения, вместо того, чтобы нести себя в голову, живот и грудь, опускается также в ноги и руки. Более того, я не знаю, какие средства предлагает использовать г-н Бланки для реализации своей отважной мысли; будь то создание национальных мастерских, или государственное спонсорство, или экспроприация предпринимателей и их замена компаниями рабочих, или, наконец, если он просто порекомендует работникам сберегательную кассу, и в этом случае участие может быть отложено до греческих календ¹.

Как бы то ни было, идея г-на Бланки решается путем увеличения оклада, получаемого из звания соучастника или, по крайней мере, со-интересанта, которое он присуждает работникам. Как тогда будет выглядеть участие этого работника в прибыли?

Вращение 15 000 шпинделей, на котором занято 300 рабочих, в текущем году принесет 20 000 фр. прибыли. Я допускаю, что ткацкие фабрики промышленника

¹ «Отложить до греческих календ» — античная поговорка (Ad Calendas Graecas, лат.), означающая, что обсуждаемое событие произойдет неизвестно когда или вообще никогда. — А.А. А-О.

Мюльхауза в Эльзасе производят по стоимости, как правило, ниже номинальной, и что эта отрасль — уже не способ зарабатывать деньги *трудом*, но *превышением* (стоимости). ПРОДАВАТЬ, продавать в нужное время, продавать по высокой цене — в этом весь смысл; производство является лишь средством подготовки продажи. Поэтому, когда я предполагаю, в среднем, прибыль 20 000 фр. на цех из 300 человек, в соответствии с моим общим аргументом, то я и считаю справедливой сумму в 20 000 фр. В любом случае давайте примем эту цифру. Разделив 20 000 фр., прибыль фабрики, на 300 человек и 300 рабочих дней, я нахожу для каждого дополнительный остаток в 22 и 2 тысячных сантима, или для ежедневных расходов — дополнительные 18 с., ровно кусок хлеба. Стоит ли экспроприировать предпринимателей и играть общественным достоянием, чтобы воздвигать конструкции тем более хрупкие, что собственность окажется раздробленной на бесконечно малые акции и не будет более поддерживаться прибылью, у компаний кончится балласт, и они больше не будут застрахованы от бурь? И если не идет речь об экспроприации, какая плохая перспектива — ничего лучше не найти, чтобы представить рабочему классу, как увеличение на 18 сантимов в качестве результата нескольких столетий сбережений; поскольку ему потребуется не меньше, чем столько времени, чтобы сколотить свой капитал — с учетом, что периодическая безработица не заставляет его периодически съедать свои сбережения!

Факт, о котором я только что сообщил, был подтвержден несколькими способами. Г-н Пасси² лично подсчитал в реестрах прядильной фабрики в Нормандии, где рабочие были ассоциированы с предпринимателем, заработную плату нескольких семей за десять лет; и он нашел среднее вознаграждение в пределах от 12³ до 1 400 фр. в год. Затем он захотел сравнить ситуацию с работниками прядильного производства, чей труд оплачивается, исходя из их положения как участников предприятия, с вознаграждением работников, которые находятся просто на зарплате, и он нашел, что различия практически не заметны. Этот результат было легко предсказать. Экономические явления подчиняются абстрактным и бесстрастным законам, подобным числам: только привилегии, мошенничество и произвол нарушают бессмертную гармонию.

Кажется, раскаявшийся г-н Бланки, сделавший этот первый шаг к социалистическим идеям, поспешил отказаться от своих слов. На том же заседании, где г-н Пасси продемонстрировал несовершенство акционерного общества, он воскликнул: «Разве не кажется, что работа является чем-то восприимчивым к организации, и что от государства зависит регулирование счастьем человечества, подобно командованию военным парадом, со всей математической точностью? Это плохая тенденция, иллюзия, что Академия не может бороться слишком много, потому что это не только химера, но и опасный софизм. Давайте уважать добрые и верные намерения; но давайте не будем бояться сказать, что издать книгу *об организации труда* — это в

² На заседании Академии гуманитарных и политических наук, сентябрь 1845.

³ Так у Прудона. — А.А. А-О.

пятидесятый раз повторить трактат о возведении в квадрат круга или философский камень».

Затем, увлеченный своим рвением, г-н Бланки заканчивает рушить теорию участия, которую г-н Пасси уже так сильно поколебал, на следующем примере: «Г-н Дейли, один из самых просвещенных фермеров, создал учетную запись за каждый участок земли и счет за каждый товар; и он обнаруживает, что в течение тридцати лет один и тот же человек никогда не получал одинаковые урожаи на одном и том же пространстве земли. Продукты (их продажи) варьировались от 26 000 фр. до 9 000 или 7 000 фр., иногда они даже снижались до 300 фр. Есть даже определенные продукты, например картофель, (цена продаж) которых может упасть раз в девять. Как тогда, при таких различиях, с такими неопределенными доходами, установить регулярные распределения и равномерную заработную плату для рабочих?...⁴

Можно было бы ответить, что вариации (стоимостей) продукта на каждом участке земли просто указывают на то, что необходимо связать владельцев между собой, после того, как рабочие были связаны с владельцами, что установило бы более глубокую общность интересов: но это было бы предрешением того, что является точно под вопросом, и что г-н Бланки, по размышлению, находит определенно невозможным, — организация труда. Более того, очевидно, что солидарность интереса не внесет свою лепту в общее богатство — с учетом, что она даже не затрагивает проблему разделения.

В общем, столь завидная и зачастую весьма проблематичная прибыль хозяев далека от покрытия разницы между фактической и требуемой заработной платой; и старый проект г-на Бланки, ничтожный по своим по своим результатам и отвергнутый его автором, стал бы бедствием для обрабатывающей промышленности. Теперь, когда разделение труда отныне устанавливается повсеместно, рассуждения обобщаются, и мы приходим к выводу, что *нищета является следствием труда*, как в той же степени и безделья.

Говорят, что и этот аргумент пользуется огромной популярностью у людей: удорожать услуги, удваивать, утраивать зарплату. Я признаю, что если бы это увеличение было возможно, это было бы полным успехом, независимо от того, что сказал г-н Шевалье, обращаясь к которому я должен внести небольшие коррективы по этому вопросу.

По словам г-на Шевалье, если бы цена какого-либо товара была увеличена, цены на другие товары увеличились бы в той же пропорции, и никто бы не получил никакой

⁴ Кавычки в оригинале отсутствуют, но, по всей видимости, здесь оканчивается цитата Бланки — А.А. А-О.

выгоды.

Эти рассуждения, которые экономисты используют уже более столетия, столь же ложны, сколь и стары, и г-ну Шевалье, как инженеру, принадлежит честь выравнивания экономической традиции. Жалованье шефа бюро (офис-менеджера) составляет 10 франков в день, а зарплата работника — 4: если доход каждого увеличить на 5 франков, то соотношение состояний, которое в первом случае будет как 100 к 40, во втором — не больше 100 к 60. Следовательно, повышение заработной платы, происходящее необходимо от простого дополнения (увеличения), а не от коэффициента, было бы отличным средством выравнивания; и экономисты заслуживают того, чтобы социалисты их упрекали в невежестве, которым они одарены вдоль и поперек.

Но я говорю, что такой рост невозможен, и что это предположение абсурдно: поскольку, как очень ясно заметил г-н Шевалье, цифра, указывающая цену рабочего дня, является всего лишь алгебраическим показателем, не имеющим отношения к реальности; и что прежде всего следует знать при попытке исправления неравенства распределения, — это не денежное выражение, а количество продуктов. До того любое повышение заработной платы не может иметь никакого другого эффекта, кроме подорожания пшеницы, вина, мяса, сахара, мыла, угля и т. д. — под влиянием их недостатка. Потому как — что такое зарплата? Это себестоимость пшеницы, вина, мяса, угля; это интегрирующая цена всех вещей. Давайте пойдем еще дальше: заработная плата — это пропорциональность элементов, которые составляют богатство и которые ежедневно репродуктивно потребляются массой рабочих. То есть удвоение зарплаты в том смысле, в котором ее понимают люди, — это приписывание каждому производителю большей доли, чем он произвел, что противоречиво; и если увеличение касается только небольшого числа отраслей, это должно вызвать общее нарушение в торговле, одним словом, нехватку. Боже, упаси меня от предсказаний! но, несмотря на все мое сочувствие к улучшению положения рабочего класса, это невозможно, я заявляю, чтобы забастовки, сопровождаемые ростом заработной платы, не приводили бы к общему росту цен: это точно, как дважды два — четыре. Не с помощью таких рецептов рабочие придут к богатству и, что в тысячу раз дороже, чем богатство, — к свободе. Рабочие, поддерживаемые благосклонностью безрассудной прессы, требуя повышения заработной платы, служили монополии гораздо больше, чем своим реальным интересам: смогут ли они признать, когда трудности станут для них еще более мучительными, горький плод своей неопытности!

Будучи убежденным в бесполезности или, точнее, в пагубных последствиях повышения заработной платы, и понимая, что вопрос является полностью органическим и ни в коем случае не коммерческим, г-н Шевалье принимает проблему задом наперед, он просит для рабочего класса, прежде всего, просвещение, и он предлагает широкие реформы в этом смысле.

Просвещение! это также слово г-на Араго, обращенное к рабочим, это принцип

всего прогресса. Просвещение!... Мы должны усвоить это раз и навсегда про все, что мы можем услышать о решении рассматриваемой проблемы; нужно усвоить, говорю я, не потому, что желательно, чтобы все это получали, в чем нет сомнений, но если это возможно.

Чтобы полностью понять весь смысл взглядов г-на Шевалье, важно знать его тактику.

Г-н Шевалье, долгое время формировавшийся в дисциплине, сначала благодаря своим политехническим занятиям, затем благодаря своим сен-симонским отношениям⁵, и, наконец, благодаря своему университетскому положению, похоже, не признает, что у студента может быть другая воля, нежели установленная правилами, сектант с другой мыслью, чем у своего вождя, государственный чиновник с другим мнением, чем у власти. Этот способ восприятия порядка может быть столь же респектабельным, как и любой другой, и я не намерен высказывать одобрение или порицание по этому вопросу. Должен ли г-н Шевалье выносить личное суждение? В силу принципа, что все, что не защищено законом, разрешено, он спешит взять на себя инициативу и высказать свое мнение, оставив возможность, если необходимо, присоединиться затем к мнению власти. Вот как г-н Шевалье, прежде чем осесть в конституционном кругу, отдал себя г-ну Энфантину; именно так он объяснялся по разным темам, о железных дорогах, финансах, собственности задолго до того, как министерство (правительство) приняло какую-либо систему строительства железных дорог, пересчета арендной платы, патентов на изобретения, литературную собственность и т. д.

Поэтому г-н Шевалье далеко не слепой поклонник университетского образования; и до дальнейшего уведомления он без колебаний говорит, что думает. Его мнения самые радикальные.

В своем отчете г-н Вильмен сказал: «Цель среднего образования состоит в том, чтобы заранее подготовить выбор мужчин на все должности, которые они будут занимать, и где они будут служить, в администрации, магистратуре, адвокатской конторе и в различных свободных профессиях, в том числе на старших званиях и научных специальностях военно-морского флота и армии».

«Среднее образование, — замечает далее г-н Шевалье⁶, — также призвано готовить людей, одни из которых будут фермерами, другие производителями, эти — торговцами, те — свободными инженерами. Однако в программе все эти люди забыты. Упущение чрезмерное; потому что, в конце концов, промышленный труд в его различных формах, сельское хозяйство, торговля, это для государства — не аксессуар,

⁵ Очевидно, Прудон имеет в виду, что Шевалье обращался в кругу сторонников основателя теории утопического социализма Сен-Симона.

⁶ Журнал экономистов, апрель 1843.

не случайность: это принцип... Если Университет хочет оправдать свое название, он должен принять сторону в этом смысле, иначе он увидит себя стоящим лицом к лицу с *промышленным университетом*... Это будет алтарь против алтаря и т. д.».

И как характеристика сверкающей идеи и прояснения всех вопросов, связанных с ней, профессиональное образование дает г-ну Шевалье очень быстрое средство для разрешения ссоры между духовенством и Университетом со свободным образованием.

«Надо признать, что духовенство заслуживает уважения, позволяя латинице служить основой для обучения. Духовенство знает латынь так же хорошо, как и Университет; это его собственный язык. Более того, его образование стоит недорого; поэтому невозможно, чтобы он не привлекал к себе большую часть молодежи в свои небольшие семинарии и в своих полноценные образовательные учреждения...».

Вывод только один: измените предмет обучения, и вы декатолизуете королевство; а поскольку духовенство знает только латынь и Библию, и в его лоне нет ни мастеров искусств, ни фермеров, ни бухгалтеров; среди его сорока тысяч священников, возможно, нет двадцати, способных составить план или выковать гвоздь, мы скоро увидим, кому отцы семейств будут отдавать предпочтение — промышленности или молитвеннику, если они не считают, что труд — лучший язык для молитвы Богу.

Так окончилось это нелепое противопоставление религиозного образования и светской науки, духовного и мирского, разума и веры, алтаря и престола, старых заголовков, лишенных смысла, но которыми развлекают публику до тех пор, пока она не разозлится.

Более того, г-н Шевалье не настаивает на этом решении: он знает, что религия и монархия являются двумя партнерами, которые, хотя и всегда противоречат друг другу, не могут существовать друг без друга; и, чтобы не вызывать подозрений, он бросается через другую революционную идею — равенство.

«Франция может предоставить политехнической школе в двадцать раз больше студентов, чем сегодня (в среднем 176— 3520). Университет только мечтает об этом... Если бы мое мнение чего-то стоило, я бы сказал, что математические способности *гораздо менее особенные*, чем принято считать. Я вспоминаю тот успех, с которым дети, взятые, так сказать, наугад на тротуаре Парижа, следуют учению Мартинера по методу капитана Табаре».

Если бы в среднем образовании, реформированном в соответствии с мнением г-на Шевалье, приняли участие все молодые французы, с учетом, что обычное число мест составляет всего 90 000 человек, не было бы преувеличения в том, чтобы поднять число математических специальностей от 3 520 до 10 000; но по той же причине у нас будет 10 000 художников, филологов и философов; 10 000 врачей, физиков, химиков и натуралистов; — 10 000 экономистов, юристов, администраторов; — 20

000 промышленников, мастеров, торговцев и бухгалтеров; — 40 000 фермеров, виноградарей, шахтеров и т. д.; всего 100 000 производственных специальностей в год или около трети молодежи. Остальные, вместо специальных навыков, получают только смешанные навыки, повсеместно оцениваемые с равнодушием.

Уверен, что столь мощный рост интеллекта ускорит движение к равенству, и я не сомневаюсь, что таково и есть тайное желание г-на Шевалье. Но вот что меня беспокоит: недостатка в специальностях не бывает, не больше, чем у населения, и вопрос в том, чтобы найти работу для одного и хлеб для другого. Напрасно г-н Шевалье говорит нам: «Среднее образование дало бы меньше возможностей для жалобы о том, что оно вызывает в обществе поток амбициозных людей, лишенных всех средств удовлетворения своих желаний и заинтересованных в потрясении государства; людей, для которых нет применения, но верящих в свою пригодность ко всему, особенно к управлению общественными делами. Научные занятия менее возбуждают разум. Они просвещают и регулируют его одновременно; они готовят человека к практической жизни ...». — Этот язык, я отвечу ему, хорош для патриархов: профессор политической экономии должен больше уважать свою кафедру и свою аудиторию. У правительства есть не более ста двадцати мест, доступных ежегодно для ста семидесяти шести политехников, допущенных в школу: каким, следовательно, будет препятствие, если число поступлений будет десять тысяч, или только, если принять цифру г-на Шевалье, три тысячи пятьсот? И обобщите: общее количество гражданских должностей составляет шестьдесят тысяч или три тысячи ежегодных вакансий; какой ужас для власти, если, внезапно приняв реформистские идеи г-на Шевалье, она окажется в осаде пятидесяти тысяч просителей! Следующее возражение часто выдвигалось республиканцам без ответа с их стороны: когда у каждого будет удостоверение избирателя, станут ли депутаты лучше, а пролетариат — более продвинутым? Я обращаюсь к г-ну Шевалье с тем же вопросом: когда каждый учебный год принесет вам сто тысяч специалистов, что вы будете делать? Чтобы устроить эту интересную молодежь, вы опуститесь до последней ступени иерархии. Вы заставите молодого человека, после пятнадцати лет возвышенного обучения, дебютировать не так, как сегодня, со звания начинающего инженера, суб-лейтенанта артиллерии, прапорщика, заместителя, контролера, охранника и т. д.; но с неблагоприятной работы начинающего поездного кочегара, тральщика, юнги, вязальщика хвороста и погребной крысы. Там ему придется ждать смерти, освобождая ряды, пока его не пнут каблуком. Поэтому может случиться так, что человек, окончивший политехническую школу и способный стать Вобаном⁷, умирает дорожником второго класса или капралом в полку. О! какое благоразумие демонстрировал католицизм, и как он превзошел всех вас, сен-симонийцев, республиканцев, ученых, экономистов, в познании человека и общества! Священник знает, что наша жизнь — лишь путешествие, и что совершенство не может быть реализовано здесь, внизу; и он довольствуется набросками образования на земле,

⁷ Себастьян Ле Претр, маркиз де Вобан, выдающийся военный инженер, маршал Франции, писатель. — А.А. А-О.

которое найдет свое завершение на небе. Человек, которого сформировала религия, довольный возможностью знать, делать и получать то, что будет достаточным для реализации его земной судьбы, никогда не станет проблемой для правительства: он скорее станет мучеником. О, любимая религия! должна ли буржуазия, которая так нуждается в тебе, игнорировать тебя!... В какие ужасные битвы гордости и нищеты бросает нас эта мания всеобщего образования! Какая польза от профессионального образования, что хорошего в сельскохозяйственных школах и школах коммерции, если у ваших учащихся нет ни распределения, ни капитала? И какая необходимость в том, чтобы набивать себя до двадцатилетнего возраста всевозможными науками, чтобы после того пойти прикреплять нити к мул-дженни⁸ или долбить уголь на дне шахты? Что! по вашему признанию, вы ежегодно можете предложить только 3 000 рабочих мест в год на 50 000 вероятных специальностей, и вы все еще говорите о создании школ! Оставайтесь лучше в своей системе исключений и привилегий, системе старой, как мир, поддержки династий и патрициев, настоящей машине для выхолащивания людей, чтобы обеспечить удовольствия касты султанов. Заставьте платить дорого за ваши уроки, умножьте препятствия, заставьте ждать на время экзаменов сына пролетария, которому не позволяет ждать голод, и защитите что есть силы церковные школы, где учатся работать для другой жизни — смиряться, поститься, уважать великих, любить царя и молиться Богу. Потому что любая бесполезная учеба рано или поздно превращается в прекращенную учебу: наука — яд для рабов.

Конечно, г-н Шевалье слишком прозорлив, чтобы не понять последствий своей идеи. Но он сказал себе от всего сердца, и можно только приветствовать его доброе намерение: прежде всего, люди должны быть людьми: потом поживем — увидим.

Таким образом, мы движемся к приключению, ведомые Провидением, которое никогда не предупреждает нас, кроме как внезапно поражая: это начало и конец политической экономии.

В отличие от г-на Шевалье, профессора политической экономии в Коллеж де Франс, г-н Дюнойе, экономист Института, не желает организации обучения. Организация обучения — это разновидность организации труда: следовательно, не нужна организация. Обучение, отмечает г-н Дюнойе, — это профессия, а не магистратура: как и все профессии, она должна быть и оставаться бесплатной. Это сообщество, это социализм, это революционная тенденция, главными агентами которой были Робеспьер, Наполеон, Людовик XVIII и г-н Гизо⁹, которые вбросили среди нас

⁸ По-видимому, Прудон имеет в виду «прялку Дженни» — ткацкий станок, с которого принято вести начало промышленного переворота в Великобритании и странах Запада: работу изобретенного в 1765 г. Джеймсом Харгривсом станка обеспечивал один рабочий, но его производство в шесть раз превышало производство обычного станка. — А.А. А-О.

⁹ Франсуа Пьер Гийом Гизо — современник Прудона, французский историк и критик, видный политический и государственный деятель, занимавший в разное время посты министра просвещения, иностранных дел, премьер-министра Франции. — А.А.А-О.

эти роковые идеи централизации и поглощения любой активности государством. Пресса совершенно свободна, а перо журналистов — товар; религия также очень свободна, и любой носитель рясы, короткой или длинной, который знает, как вызвать общественное любопытство, может собрать вокруг себя аудиторию. У г-на Лакордара есть свои последователи, у г-на Леру — его апостолы, у г-на Бучеза — его монастырь. Почему же тогда образование не может быть бесплатным? Если право учащегося, который по сути является вариацией покупателя, несомненно; право преподавателя, который является всего лишь разновидностью продавца, является относительным: невозможно прикоснуться к свободе образования, не применяя насилие к самой драгоценной из свобод, а именно к совести. И затем, добавляет г-н Дюнойе, если государство обязано всем дать образование, то вскоре появится претензия на то, что оно должно дать работу, потом жилье, потом еду... К чему это приведет?

Аргументация г-на Дюнойе неопровержима: организация (бесплатного) образования означает предоставление каждому гражданину либерального обещания занятости и комфортной зарплаты; эти два термина так же тесно связаны, как артериальное и венозное кровообращение. Но теория г-на Дюнойе также подразумевает, что прогресс справедлив только для определенной элиты человечества и что для девяти десятых человечества пребывание в варварском состоянии является постоянным условием. Это то, что составляет, по словам г-на Дюнойе, сущность обществ, которая проявляется в трех этапах: религия, иерархия и попрошайничество. Так что в этой системе, которая является системой Дестюта де Трейси, Монтескье и Платона, антимонополия разделения, как и стоимости, неразрешима.

Признаюсь, мне невыразимо приятно видеть г-на Шевалье, сторонника централизации образования, побежденным г-ном Дюнойе, сторонником свободы; г-н Дюнойе, в свою очередь, находится в оппозиции к г-ну Гизо; г-н Гизо, представитель централизаторов, находится в противоречии с соглашением, которое в принципе представляет свободу; соглашение растоптано учеными, которые претендуют на привилегию обучения, несмотря на формальный порядок, описанный в Евангелии, в котором сказано священникам: *идите и учите*; и прежде всего это столкновение экономистов, законодателей, министров, академиков, профессоров и священников, экономическое провидение опровергает Евангелие, восклицая: что вы хотите, педагоги, чтобы я сделало для вашего образования?

Кто избавит нас от этой тревоги? Г-н Росси склоняется к эклектизму: будучи слишком мало разделенным, по его словам, труд остается непродуктивным; слишком разделенным он изматывает человека. Мудрость находится между этими крайностями: *in medio virtus* (в середине силы). — К сожалению, эта разделенная мудрость — лишь обыденность нищеты, добавленная к обыденности богатства, так что это условие ничего не меняет в мире. Соотношение добра и зла, вместо того, чтобы быть равным 100 на 100, составляет только 50 на 50: это может однажды установить меру эклектики для всех. Более того, золотая середина г-на Росси находится в прямой оппозиции великому экономическому закону: Производить при минимально

возможных затратах максимальное возможное количество ценностей... Тогда как труд может выполнить свое предназначение, без категорического разделения? Давайте посмотрим дальше, пожалуйста.

«Все системы, — говорит Росси, — все экономические гипотезы принадлежат экономисту; но человеку разумному, свободному, ответственному, находящемуся под властью морального закона... Политическая экономия — лишь наука, которая исследует отношения вещей и делает выводы. Она изучает результаты труда: вы должны использовать труд в соответствии с важностью цели. Когда использование труда, наоборот, имеет более высокую цель, нежели производство богатства, он не должен использоваться... Предположим, в качестве средства пополнения национального благосостояния, использование детского труда по пятнадцать часов в день: мораль сказала бы, что это недопустимо. Это доказывает, что политическая экономия является ложной? Нет: это доказывает, что вы нашли то, что должно быть разделено».

Если бы у г-на Росси было немного больше этой галльской наивности, столь трудно доступной для иностранцев, он просто *выбросил бы свой язык собакам*, как говорит мадам де Севинье. Но необходимо, чтобы профессор говорил, говорил, говорил, не для того, чтобы сказать что-то, но чтобы не молчать. Господин Росси крутится вокруг вопроса по три раза, потом успокаивается: некоторым этого достаточно, чтобы поверить, что он ответил.

Следует признать, что это уже печальный симптом для науки, поскольку, развиваясь в соответствии со своими собственными принципами, она приходит как раз вовремя, чтобы противоречить другой; как, например, когда постулаты политической экономии противоречат постулатам морали, я полагаю, что мораль, как и политическая экономия, является наукой. Что такое человеческое знание, если все его утверждения разрушают друг друга, и чему мы должны доверять? Разделенный труд — это рабское занятие, но это единственное действительно плодотворное занятие; неразделенный труд принадлежит только свободному человеку; но это не окупается. С одной стороны, политическая экономия говорит нам — будьте богатыми; с другой стороны, мораль — будьте свободными; и г-н Росси, выступая от имени обеих, одновременно предупреждает нас о том, что мы не можем быть ни свободными, ни богатыми, поскольку существовать только наполовину — значит не существовать вовсе. *Доктрина* г-на Росси, далекая от того, чтобы удовлетворять этому двойному устремлению человечества, имеет, следовательно, недостаток, а не исключительность, в том, чтобы отнимать у нас все: в другой форме это история представительной системы.

Но антагонизм гораздо глубже, чем увидел г-н Росси. Поскольку, в соответствии с общепринятым опытом достижения согласия по этому вопросу с теорией, заработная плата уменьшается из-за разделения труда, ясно, что, подчиняясь частичному рабству, мы не получим богатства; мы лишь превратили людей в машины: взгляните на работающее население двух миров. А поскольку, с другой стороны, за пределами

разделения труда общество возвращается к варварству, все еще очевидно, что, пожертвовав богатством, нельзя достичь свободы: посмотрите на кочевые племена в Азии и Африке. Следовательно, существует необходимость, абсолютное повеление со стороны экономики и со стороны морали, — разрешить проблему разделения: и где сейчас экономисты?

Уже более тридцати лет назад, как Лемонти, развивая наблюдение Смита, выявил деморализующее и убийственное влияние разделения труда: кто ему ответил? какое исследование было сделано? какие комбинации предложены? вопрос был только понят?

Каждый год экономисты с точностью отчитываются, — что я бы приветствовал, если бы не видел бесплодность этого, — о коммерческом движении государств Европы. Они знают, сколько метров ткани, кусочков шелка, килограммов железа было произведено; каково было потребление на душу населения пшеницы, вина, сахара, мяса: говорят, что для них *nec plus ultra* (предел) науки состоит в публикации инвентарных перечней, и конечная цель их объединения в том, чтобы стать всеобщими контролерами наций. Никогда ранее так много собранных материалов не предоставляло такой перспективы для исследований: что было обнаружено? какой новый принцип возник из этой массы? к какому решению стольких старых проблем привело? какое новое направление для изучения (возникло)?

Один из вопросов, похоже, был подготовлен для окончательного решения: это пауперизм. На сегодняшний день из всех несчастий цивилизованного мира пауперизм наименее изучен: мы примерно знаем, откуда он, когда и как он наступает, и чего стоит: мы рассчитали, в какой пропорции он находится к различным показателям цивилизации, и в то же время было достигнуто убеждение, что все возможности, с помощью которых его пытались победить, оказались бессильны. Пауперизм был разделен на роды, виды и вариации: это полная естественная история, одна из важнейших отраслей антропологии. Ну и! что неопровержимо вытекает из всех собранных фактов, но то, что мы не увидели, чего мы не хотим видеть, что экономисты настойчиво скрывают своим молчанием, так это то, что пауперизм является узаконенным и хроническим в обществах, пока сохраняется антагонизм труда и капитала, и что этот антагонизм может закончиться только абсолютным отрицанием политической экономии. Какой выход из этого лабиринта обнаружили экономисты?

Этот последний момент заслуживает того, чтобы остановиться на нем на мгновение.

В примитивном сообществе, как я указывал в предыдущем параграфе, нищета

является универсальным условием.

Труд — это война, объявленная этой нищете.

Труд организован, сначала разделением, затем внедрением машин, затем конкуренцией и т. д., и т. д.

Теперь вопрос состоит в том, чтобы знать, не является ли это сущностью этой организации, такой, какой она дана нам в политической экономии — одновременно с тем, как она прекращает нищету одних, она усугубляет ее для других роковым и неодолимым образом. Вот в каких выражениях должен быть задан вопрос о пауперизме, и именно так мы решили найти на него ответ.

Что означают эти вечные сплетни экономистов о нечестности рабочих, их лени, недостатке достоинства, невежестве, разврате, преждевременных браках и т. п.? Все эти пороки, вся эта подлость — всего лишь покрывало пауперизма; но причина, основная причина, которая роковым образом удерживает четыре пятых человеческой расы в унижении, где она? Разве природа не сделала всех людей одинаково грубыми, сопротивляющимися работе, распутными и дикими? разве патриций и пролетарий не вышли из одного ила? Почему же тогда, после стольких веков и несмотря на столько чудес промышленности, науки и искусства, благосостояние и вежливость не могли стать достоянием всех? Как случилось, что в Париже и Лондоне, в центрах общественного благосостояния, нищета столь же отвратительна, как во времена Цезаря и Агриколы? Как случилось, что кроме этой утонченной аристократии, основная масса осталась такой невоспитанной? Указывают на пороки народа: но пороки высших классов не кажутся меньшими, возможно даже они большие. Первоначальная задача для всех одинакова: почему еще раз, крещение цивилизации не дало одинакового эффекта для всех? Разве это не означает, что сам прогресс является привилегией, и что человеку, у которого нет ни колесницы, ни коня, предназначено вечно блуждать в грязи? Что я говорю? для полностью обездоленного человека желание спастись не реализуемо: он упал настолько низко, что даже амбиции погасли в его сердце.

«Из всех личных добродетелей, — как разумно замечает г-н Дюнойе, — самая необходимая — та, которая последовательно предоставляет для нас и все остальное, — это страсть к благополучию, это неистовое желание избавиться от страданий и унижений, именно это соперничество и это достоинство, одновременно, не позволяют ему быть удовлетворенным этой худшей ситуацией...

...Но это чувство, которое кажется таким естественным, к сожалению, гораздо менее распространено, чем можно подумать. Есть некоторые упреки — в том, что очень большая общность людей заслуживает меньшего, чем имеют, — которые им адресуют аскетически настроенные моралисты за то, что они слишком легко относятся к своему достатку: их будут упрекать в обратном... Есть даже в природе людей очень примечательная характеристика — что чем меньше у них знаний и средств, тем

меньше они испытывают желание их приобрести. Самыми презренными и наименее просвещенными дикарями являются именно те, кому труднее всего удовлетворять потребности, те, кому с трудом внушают желание выйти из их состояния; так что необходимо, чтобы человек уже приобрел на работе определенное благополучие, прежде чем он почувствует с некоторой живостью эту потребность улучшить свое состояние, которое я называю жаждой благосостояния» (*О свободе труда*, том II, стр. 80).

Таким образом, нищета рабочих классов происходит в основном из-за их нехватки сердечности и духовности, или, как где-то сказал г-н Пасси, из-за слабости, инерции их духовных и интеллектуальных способностей. Эта инерция объясняется тем, что так называемые рабочие классы, все еще частично дикие, не чувствуют с достаточной живостью желания улучшить свое положение: на это указывает г-н Дюнойе. Но поскольку это отсутствие желания само по себе является результатом нищеты, из этого следует, что нищета и апатия являются другим следствием и причиной, и что пролетариат находится в замкнутом кругу.

Чтобы выбраться из этой пропасти, вам нужно либо благосостояние, то есть прогрессивное увеличение заработной платы; либо интеллект и смелость, то есть прогрессивное развитие способностей: две вещи, диаметрально противоположные деградации души и тела, что является естественным эффектом разделения труда. Таким образом, несчастье пролетариата является провиденциальным, и попытка его погасить с точки зрения политической экономии означала бы спровоцировать революционный смерч.

Потому что не без глубокой причины, основанной на высших моральных соображениях, универсальная совесть, выражаемая в свою очередь эгоизмом богатых и апатией пролетариата, отвергает вознаграждение человека, который исполняет обязанности лишь рычага и пружины. Если бы, предположим, материальное благополучие внезапно могло достаться рабочему на участке, мы увидели бы нечто чудовищное: рабочие, занятые отвратительной работой, стали бы такими же, как те римляне, наделенные богатствами мира, чей огрубленный разум был неспособен изобрести даже удовольствия. Благосостояние без образования огрубляет людей и делает их заносчивыми: это наблюдение было сделано с древних времен. *Incrassatus est, et recalcitravit*, говорит Второзаконие. Кроме того, рабочий на участке судит сам себя: он счастлив, когда есть хлеб, сон на убогом ложе и пьянство по выходным. Любое другое условие может ему повредить и поставить под угрозу общественный порядок.

В Лионе есть класс людей, которые благодаря монополии, которой пользуется муниципалитет, получают зарплату выше, чем у профессоров факультетов и руководителей офисов министерств: это портовые грузчики. Цены на погрузку и выгрузку на определенных причалах Лиона, согласно ставкам компании «Риге» или других погрузочных компаний, составляют 30 сантимов за 100 кг. При таких показателях человек нередко зарабатывает 12, 15 и до 20 франков в день: речь идет

только о том, чтобы перенести сорок или пятьдесят сумок с судна в магазин. Это вопрос нескольких часов. Какое благоприятное условие для развития интеллекта, как для детей, так и для отцов, если оно самим собой и досугом, который оно предоставляет, делает богатство морализирующим стимулом! Но это не так: грузчики Лиона сегодня такие же, какими они были всегда: пьяницы, злодеи, жестокие, заносчивые, эгоистичные и вероломные. Говорить об этом больно, но я считаю эту декларацию обязанностью, потому что в ней содержится правда: одной из первых реформ, которая будет действовать среди рабочих классов, будет сокращение заработной платы одних одновременно с повышением у других. Чтобы распоряжаться низшими классами людей, монополия не подходит, особенно когда она служит только для поддержания грубейшего индивидуализма. Бунт рабочих на производстве шелка не обнаружил у грузчиков и у других рабочих, занятых на реке¹⁰, какой-либо симпатии (к этому бунту), но, наоборот, был встречен враждебно. Ничто из того, что происходит за пределами портов, не может их взволновать. Животные, сформированные под условия деспотизма, никогда не вмешиваются в политику — при условии, что их привилегии сохраняются. Однако я должен сказать в их защиту, что в течение некоторого времени потребности конкуренции, нарушившие тарифы, стали провоцировать появление более общительных чувств в их тяжелых сущностях: еще несколько сокращений (зарплата), которые вызовут обнищание, и лионские Риги¹¹ сформируют элитный корпус, когда придет время для штурма бастилий.

В итоге это невозможно, противоречиво, что в нынешней системе обществ пролетариат достигнет благосостояния через образование, а образования — через благосостояние. Ибо, не считая того, что пролетариат, человек-машина, не способен поддерживать достаток так же, как образование, было показано, с одной стороны, что его заработная плата всегда стремится к уменьшению больше, чем к повышению; с другой стороны, что культура его интеллекта, даже когда он мог ее получить, будет для него бесполезной: поскольку для него существует постоянное принуждение к варварству и нищете. Все, что в последние годы было предпринято во Франции и Англии с целью улучшения положения бедных классов, детского и женского труда и начального образования, если только это не было плодом скрытого радикализма, было сделано против экономических данных и в ущерб установленному порядку. Прогресс для массы рабочих — это всегда книга за семью печатями; и не методом искажения законодательства эта беспощадная загадка будет разрешена.

Кроме того, даже если экономисты, повторяя свои старые практики, в конечном итоге потеряли понимание оборота вещей в обществе, нельзя сказать, что социалисты лучше разрешили антиномию, которую вызывает разделение труда. Напротив, они остановились на отрицании; поскольку не правда ли, что лучше всегда все отрицать, чем оппонировать, например, единообразию разделенного труда — так

¹⁰ Французский Лион расположен у слияния двух рек, Роны и Соны. — А.А. А-О.

¹¹ Rigues lyonnaises, фр.: исходя из контекста, производное от названия компании «Риге». — А.А. А-О.

называемой разновидности, в которой каждый может изменить свое занятие по десять, пятнадцать, двадцать раз в день, по желанию? Как будто меняя десять, пятнадцать, двадцать раз в день объект упражнения, можно сделать труд составным; как если бы, следовательно, двадцать долей маневров могли бы дать эквивалент целого дня для артиста. Если предположить, что этот промышленный пилотаж будет практически осуществимым, и можно будет заранее утверждать, что он исчезнет в связи с необходимостью возвращения ответственности и, следовательно, персональных функций работникам, это ничего не изменит с точки зрения физического, морального и интеллектуального состояния рабочего; в лучшем случае он мог бы путем распыления еще более обезопасить свою неспособность и, следовательно, свою зависимость. Это то, что признают организаторы, коммунисты и другие. У них так мало претензий на разрешение антиномии разделения, что они все признают в качестве существенного условия организации иерархию труда, то есть классификацию работников по участкам, по общим и составным, и что во всех утопиях различие способностей, основание или вечный предлог для имущественного неравенства принимаются за стержень. Реформаторы, чьи планы могли быть продиктованы только логикой и которые, заявив о своем несогласии с *упрощенчеством*, однообразием, единообразием и расчленением труда, затем стали предлагать *множественность* в качестве СИНТЕЗА; таких изобретателей нужно судить и отправить обратно в школу.

Но вы, критик, — без сомнения спросит читатель, — каково ваше решение? Покажите нам этот синтез, который, сохраняя ответственность, личность, одним словом специализацию работника, должен объединить наивысшее разделение и наибольшее разнообразие в сложное и гармоничное целое.

Мой ответ готов: давайте изучим факты, давайте посоветуемся с человечеством; мы не можем получить лучшего проводника. После колебаний стоимости разделение труда является экономическим фактом, который наиболее существенно влияет на прибыль и заработную плату. Это первая веха, установленная Провидением на почве промышленности, отправная точка этой огромной триангуляции, которая должна в конце концов определить для каждого и для всех права и обязанности. Итак, давайте следовать нашим подсказкам, без которых мы могли только заблудиться и потеряться:

Tu longè sequere, et vestigia semper adora (Приблизительный перевод с латыни: Следи за приметам в течение долгого пути. — А.А. А-О.)

Глава IV. ЭПОХА ВТОРАЯ. МАШИНЫ

«Я с глубоким сожалением увидела ПРОДОЛЖЕНИЕ НУЖДЫ в промышленных районах страны».

Слова королевы Виктории в открытии (заседания) нового парламента.

Если есть что-то, чего достаточно, чтобы заставить задуматься монархов, так это то, что, будучи более или менее бесстрастными наблюдателями человеческих бедствий, они в силу самой конституции общества и природы своей власти абсолютно не способны излечить страдания народов: им даже запрещено этим заниматься. Любой вопрос о работе и заработной плате, заявляют по общему согласию теоретики-экономисты и практики, должен оставаться за пределами полномочий власти. С вершины сферы славы, откуда размещены там религия, престолы, владения, княжества, державы и все небесное ополчение наблюдают, оставаясь недостижимыми для потрясений, муки обществ; но их власть не распространяется на ветры и волны. Короли ничего не могут сделать для спасения смертных. И, по правде говоря, эти теоретики правы: князь создан для поддержания, а не для революции; защищать реальность, а не продвигать утопию. Он представляет собой один из антагонистических принципов: если, создавая гармонию, он устранял бы себя, это с его стороны было бы в высшей степени противоречивым и абсурдным.

Но, несмотря на теории, прогресс идей непрерывно меняет внешнюю форму институтов, чтобы постоянно делать то, что законодатель не хотел и не планировал; чтобы, например, налоговые вопросы становились вопросами распределения; вопросы общественной пользы, национальные вопросы труда и организации производства; также финансовые вопросы, кредитных операций; вопросы международного права, вопросы таможи и сбыта: остается показать, что князь, который теоретически никогда не должен вмешиваться в дела, которые, однако, находясь за рамками теории, становятся ежедневным и непреходящим объектом деятельности правительства, не является и не может являться не чем иным, как и Божество, от которого он произошел, как гипотезой, фикцией.

И поскольку, наконец, невозможно, чтобы князь и интересы, отстаиваемые его миссией, допускали сокращение и аннигиляцию себя до появления новых принципов и появления новых прав, из этого следует, что прогресс, после того, как он завершился в душах бесчувственного движения, реализуется в обществе рывками, и что сила, несмотря на клевету, объектом которой она является, является непременным условием — *sine quâ non* (Дословно с латыни: «без чего невозможно». — А.А. А-О.)

— реформ. Любое общество, в котором сжата сила мятежа, является обществом, мёртвым для прогресса: у истории нет истины, доказанной лучше.

И то, что я говорю о конституционных монархиях, справедливо и для представительных демократий: везде, где общественный договор связывал власть и околдовывал жизнь, законодатель не мог видеть, что он работает против своей собственной цели, и не действовать иначе.

Печальные актеры парламентских комедий, монархи и представители (депутаты), вот, наконец, то, что вы есть: талисманы против будущего! Каждый год приносит вам обиды людей; и когда вас просят о лекарстве, ваша мудрость покрывает ваше лицо! Должны ли мы поддерживать привилегии, то есть это освящение прав сильнейших, которое создало вас и которое меняется каждый день? Тотчас, по малейшему кивку головы, взволнованы, бегут к оружию и готовят к бою многочисленную милицию. И когда люди жалуются, что, несмотря на их труд, и именно из-за их труда нищета пожирает их; когда общество умоляет вас о жизни, вы читаете акты милосердия! Вся ваша энергия уходит в неподвижность, вся ваша добродетель исчезает в устремлениях! Как фарисей, вместо того, чтобы накормить своего отца, вы молитесь за него! А! Я говорю вам, у нас есть секрет вашей миссии: вы существуете только для того, чтобы мешать нам жить. *Nolite ergo imperare* (не задерживайтесь), уходите!...

Для нас, которые видят миссию власти с совершенно другой точки зрения; для нас, которые хотят, чтобы особая работа правительства состояла именно в том, чтобы исследовать будущее, стремиться к прогрессу, в обеспечении для всех свободы, равенства, здоровья и благосостояния, давайте смело продолжим нашу критическую работу, и, конечно, когда мы раскроем причину общественного зла, принцип его лихорадок, мотив его волнений, пусть у нас не будет недостатка в силе, чтобы применить лекарство.

§ I. О роли машин в их отношениях со свободой

Внедрение машин в промышленность осуществляется в противовес закону о разделении и как бы для восстановления глубокого равновесия, нарушенного этим законом. Чтобы полностью оценить масштабы этого движения и понять его дух, необходимы некоторые общие соображения.

Современные философы, собрав и классифицировав свои летописи, по характеру своей работы пришли к тому, чтобы заняться также историей: и тогда они не без удивления обнаружили, что *история философии* оказалась в основном тем же самым, что и *философия истории*; более того, что эти две ветви спекуляции, кажущиеся столь разнообразными, история философии и философия истории, были не более, чем мизансценой концепций метафизики, которая сама является целой философией.

Тогда, если разделить вопрос универсальной истории на определенное количество структур, таких, как математика, естествознание, социальная экономика и т. д., обнаружится, что каждый из этих разделов также содержит метафизику. И так будет до последнего подразделения всей истории: так что вся философия лежит в основе всех природных или промышленных проявлений; что она не соглашается с размером или качеством; что для достижения своих самых возвышенных концепций все парадигмы могут быть использованы одинаково хорошо; наконец, что все постулаты разума, встречающиеся в самой скромной промышленности так же, как в наиболее общих науках, чтобы сделать из каждого ремесленника философа, то есть сделать его дух обобщающим и весьма синтетическим, было бы достаточно научить его чему? его профессии.

До сих пор, правда, философия, как и богатство, сохранялась для определенных каст: у нас есть философия истории, философия права, а также несколько других философий; это своего рода присвоение, которое, как и многое другое такого же благородного происхождения, должно исчезнуть. Но чтобы поглотить это огромное уравнение, мы должны начать с философии труда, после чего каждый работник сможет, в свою очередь, воспринять философию своего состояния.

Итак, любой продукт искусства и промышленности, любой политический и религиозный институт, а также любое организованное или неорганизованное создание, являются лишь реализацией, естественным или практическим приложением философии, идентичностью законов природы и разума, бытия и идеи; и когда

мы, со своей стороны, устанавливаем постоянное соответствие экономических явлений чистым законам мышления, эквивалентность реального и идеального в человеческих фактах, мы только повторяем в каждом конкретном случае эту вечную демонстрацию.

О чем мы говорим на самом деле?

Чтобы определить стоимость, другими словами, организовать само по себе производство и распределение богатства, общество действует точно так же, как и разум при создании концепций. Во-первых, оно устанавливает первый факт, выдвигает первую гипотезу, разделение труда, настоящую антиномию, антагонистические результаты которой разворачиваются в социальной экономике, так же, как последствия могли бы быть выведены в уме: так же, как промышленное движение, следуя во всем умозаключениям идей, разделяется на двойное течение, одно из полезных эффектов, другое из разрушительных результатов, будучи все равно необходимыми и законными продуктами того же самого закона. Чтобы гармонично создать этот двусторонний принцип и разрешить эту антиномию, общество заставляет появиться следующую (антиномию), за которой вскоре последует третья; и таков будет марш социального гения, я полагаю, до тех пор, пока не будут исчерпаны все его противоречия, но не доказано, что противоречие в человечестве имеет конец, — оно возвращается внезапно на всех свои предыдущие позиции и в одной формуле решает все проблемы.

Следуя в нашем изложении этому методу параллельного развития реальности и идеи, мы находим двойное преимущество: во-первых, в том, чтобы избежать упрека материализма, так часто адресуемого экономистам, для которых факты являются правдой только потому, что они являются фактами и материальными фактами. Для нас, наоборот, факты не имеют значения, потому что мы не знаем, что означает это слово, но знаем о видимых проявлениях невидимых идей. На этом основании факты доказывают только то, что согласуется с идеей, которую они представляют; и именно поэтому мы отвергли как не законные и не окончательные полезную стоимость и стоимость обмена, а позже и само разделение труда, хотя для экономистов все они были абсолютным авторитетом.

С другой стороны, нас нельзя больше обвинять в спиритуализме, идеализме или мистицизме: ибо, принимая в качестве отправной точки только внешнее проявление идеи, идеи, которую мы игнорируем, которая не существует, пока не проявляется, как свет, который был бы ничем, если бы солнце существовало в бесконечной пустоте в одиночестве; отбрасывая всё *à priori* теогоническое и космогоническое, все изыскания на веществе, причине, «я» и «не-я», мы ограничиваемся на поиске законов бытия и следовании системе его явлений так далеко, как может достичь разум.

Без сомнения, в основном всё знание останавливается перед тайной: таковы, например, материя и дух, которые мы признаем в качестве двух неизвестных

сущностей, опоры всех явлений. Но это не значит, что по этой причине тайна является отправной точкой знания, а мистицизм — необходимым условием логики: напротив, спонтанность нашего разума постоянно стремится к подавлению мистики; она *à priori* протестует против всякой тайны, потому что тайна полезна только для того, чтобы отрицать ее, и что отрицание мистики — единственное, для чего разуму не нужен опыт.

Короче говоря, человеческие факты являются воплощением человеческих идей: поэтому изучать законы общественной экономики — значит составлять теорию законов разума и создавать философию. Теперь мы можем следить за ходом нашего исследования.

В конце предыдущей главы мы оставили рабочего, борющегося с законом разделения: как этот неутомимый Эдип подойдет к решению этой загадки?

В обществе непрерывное появление машин является противоположностью, обратной формулой разделения труда; это протест промышленного гения против разделенной и убийственной работы. Что такое на самом деле машина? способ объединения различных частей труда, которые были сепарированы разделением. Любая машина может стать сочетанием ряда операций, упрощением усилий, квинтэссенцией труда, сокращением затрат. Во всех этих отношениях машина — противоположность разделения (труда). Таким образом, с помощью машины произойдет восстановление работника (использовавшегося на участке), уменьшение тягот рабочего, себестоимости продукта, движение в отношении стоимостей, прогресс в направлении новых открытий, повышение общего благосостояния. Как открытие формулы предоставляет новую возможность геометру, так же изобретение машины — это сокращение ручного труда, которое умножает силу производителя; и можно полагать, что антиномия разделения труда если и не будет полностью преодолена, то будет сбалансирована и нейтрализована. В курсе г-на Шевалье ему следует прочесть о неисчислимых преимуществах, которые дает обществу вмешательство машин: это поразительная картина, к которой я хотел бы привлечь внимание читателя.

Машины, представленные в политической экономии в качестве противоречия разделения труда, представляют собой синтез, противопоставляемый в человеческом разуме анализу; и, как мы вскоре это увидим, вся политическая экономия уже дана в разделении труда и в машинах, так же, как с анализом и синтезом у нас есть вся логика, у нас есть философия. Человек, который трудится, необходимо и шаг за шагом прибегает к разделению (труда) и к помощи инструментов; точно так же тот, кто рассуждает, необходимо и шаг за шагом — к синтезу и анализу, ничего, абсолютно ничего больше. И труд, и разум никогда не выходят за эти пределы: Прометей, как Нептун, достигает края света за три шага.

Из этих принципов, таких простых, ярких, как аксиомы, вытекают громадные

последствия.

Поскольку в ходе мыслительного процесса анализ и синтез, по сути, неразделимы, и из того, что, с другой стороны, теория становится правомерной только при условии следования шаг за шагом опыту, следует, что труд, объединяя анализ и синтез, теорию и опыт в непрерывном действии, труд, внешняя форма логики, стало быть, суммируя реальность и идею, вновь выступает в качестве универсального способа обучения. *Fit fabricando faber* (Производство создает производителя (лат.). — А.А. А-О.): из всех систем образования наиболее абсурдной является та, что отделяет разум от деятельности и делит человека на две невозможные сущности: абстрактного и автоматного. Вот почему мы приветствуем справедливые жалобы г-на Шевалье, г-на Дюнойе и всех тех, кто требует реформы университетского образования; это также дает основу для надежды на результаты, которые мы обещали себе от такой реформы. Если бы образование было прежде всего экспериментальным и практическим, оставляя дискурс только для объяснения, обобщения и координации работы; если бы мы позволили воспринимать глазами и руками тем, кто не может учиться воображением и памятью: скоро мы увидели бы, в формах труда, увеличение возможностей; каждый, зная теорию чего-либо, тем самым знал бы философский язык; иногда можно было бы, пусть только раз в жизни, создавать, модифицировать, совершенствовать, демонстрировать ум и понимание, создавать свой шедевр, короче, показать себя человеком. Неравенство приобретений памяти ничего не изменит в эквивалентности способностей, и гениальность покажется нам не более, чем то, чем на самом деле является здоровье ума.

Прекрасные умы восемнадцатого века долго спорили о том, что представляет собой *гений*, чем он отличается от *таланта*, что нужно понимать под духом и т. д. Они перенесли в интеллектуальную сферу те же различия, которые в обществе разделяют людей. Для них были короли и господствующие гении, князья-гении, министерские гении; потом еще дух джентльменства и буржуазные умы, городские таланты и деревенские таланты. В самом низу лестницы лежала грубая толпа работников, слабых душ, лишенных славы избранных. Вся риторика все еще полна непристойности, которую монархический интерес, размытость слов и социалистическое лицемерие стремятся распространить для вечного рабства наций и поддержки порядка вещей.

Но если показано, что все операции разума сводятся к двум — анализу и синтезу, которые необходимо неразделимы, хотя и различны; если, по вынужденному следствию, несмотря на бесконечное разнообразие работ и исследований, разум всегда повторяет одну и ту же картину, гениальный человек — не что иное, как человек прекрасного строения, который много работал, много размышлял, много анализировал, сравнивал, классифицировал, обобщал и делал выводы; в то время как ограниченное существо, которое томится в хронической рутине, вместо того, чтобы развивать свои способности, убило свой разум инерцией и автоматизмом. Абсурдно различать как отличающееся по существу то, что в действительности отличается только по возрасту, затем превращать в привилегии и исключать различные степени развития или шансы на спонтанность, которые посредством

работы и образования должны истираться день за днем.

Риторы-психологи, которые классифицировали человеческие души на династии, благородные расы, буржуазные семьи и пролетариат, тем не менее отметили, что гений не универсален и что у него есть своя специализация; следовательно Гомер, Платон, Фидий, Архимед, Цезарь и т. д., которые все казались им первыми каждый в своем жанре, были ими объявлены равными и суверенными из отдельных королевств. Какое несоответствие! Как будто специализация гения не предаёт сам закон равенства интеллекта! как если бы, с другой стороны, постоянство успеха в произведении гения не было доказательством того, что он действует в соответствии с принципами, чуждыми ему и являющимися залогом совершенства его работ, если он следует за ними с верностью и уверенностью! Этот апофеоз гения, о котором с открытыми глазами мечтали люди, чьи лепеты всегда оставались бесплодными, заставил бы поверить во врожденную глупость большинства смертных, если бы он не был блестящим доказательством их совершенства.

Таким образом, труд, разграничив возможности и подготовив их равновесие посредством разделения отраслей, завершает, если позволено так сказать, вооружение интеллекта машинами. Согласно историческим свидетельствам, как и в соответствии с анализом, и несмотря на аномалии, вызванные антагонизмом экономических принципов, интеллект у людей различается не силой, резкостью или шириной: но в первую очередь специализацией, или, как говорят в школе, определением по качеству; во вторую очередь — упражнением и образованием. Следовательно, у индивидуума, как и у коллективного человека, интеллект — это гораздо более, чем способность, которая появляется, формируется и развивается, *quæ fit*, (Которая становится (лат.). — А.А. А-О) как сущность или энтелехия¹, которая существует полностью сформированной независимо от обучения. Разум, или какое бы имя мы ему не дали, гений, талант, промышленность, является в начале пути обнаженной и инертной виртуальностью, которая постепенно растет, становится сильнее, окрашивается, определяется и обретает бесконечные нюансы. По важности своих владений, одним словом, по своему капиталу, интеллект отличается и всегда будет отличаться от одного человека к другому; но как сила, равная для всех по происхождению, социальный прогресс должен, непрерывно совершенствуя свои средства, вновь сделать его равным. Без этого труд останется привилегией для некоторых, а для других — наказанием.

Но баланс возможностей, из которых мы видели прелюдию в разделении труда, не полностью соответствует назначению машин, и взгляды на Провидение простираются далеко за пределы этого. С введением машин в экономику развитие предоставлено СВОБОДЕ.

Машина является символом человеческой свободы, символом нашего господства

¹ Внутренняя сила, в философии Аристотеля. — А.А. А-О.

над природой, атрибутом нашей власти, выражением наших прав, символом нашей личности. Свобода, разум — вот и весь человек: поскольку, если мы отвергнем как мистическое и неразборчивое предположение о сущности человека, рассматриваемой с точки зрения вещества (духа или материи), нам останется только две категории проявления, включая, во-первых, все, что называется ощущениями, волями, страстями, влечениями, инстинктами, чувствами; во-вторых, все явления, классифицируемые под именами внимания, восприятия, памяти, воображения, сравнения, суждения, рассуждения и т.д. Что касается органического устройства, с учетом, что оно далеко не является принципом или основой этих двух категорий способностей, его следует рассматривать как синтетическую и позитивную реализацию, живое и гармоничное выражение. Поскольку то, что человечество сделает из своих противоположностей, должно однажды породить общественную организацию, тот же человек должен быть задуман как результат двух серий виртуальностей.

Таким образом, после позиционирования себя в качестве логики социальная экономика, продолжая свое дело, позиционируется уже как психология. Воспитание интеллекта и свободы, одним словом, благосостояния человека, всех абсолютно синонимичных форм самовыражения, — вот общая цель политической экономии и философии. Определение законов производства и распределения богатства продемонстрирует посредством объективного и конкретного воздействия законы разума и свободы; это будет *à posteriori* творение философии и права: куда ни повернись, мы находимся в центре метафизики.

Попробуем теперь, используя данные, полученные из психологии политической экономии, определить свободу.

Если допустимо воспринимать человеческий разум, в его происхождении, как ясный и осмысленный атом, способный в один прекрасный день представлять вселенную, но в первый момент лишенный любого изображения, можно также рассматривать свободу, в начале сознания, как живую точку, *punctum saliens* (Точка прыжков (лат.). — А.А. А-О.), смутную, слепую или, скорее, безразличную спонтанность, способную получать все возможные впечатления, диспозиции и влечения. Свобода — это способность действовать и не действовать, которая по своему выбору или определению (я использую здесь слово определение одновременно в пассивном и активном смысле), ввиду своего нейтралитета проявляется как *воля*.

Я хочу сказать, что свобода, как и разум, по своей природе является способностью неопределенной, бесформенной, которая ожидает оценки своей стоимости и характера своего выражения извне; способности, стало быть, вначале отрицательной, но которая понемногу определяется и обретает форму посредством опыта, я имею в виду образования.

Этимология, насколько я ее понимаю, слова свободы, поможет лучше меня понять. Радикальное выражение — это *lib-et*, если угодно (ср. нем. *lieben*, любить); откуда появилось *lib-eri*, дети, те, кто нам дороги, имя, зарезервированное для детей отцом

семейства; *lib-ertas*, состояние, характер или склонность детей благородной расы; *lib-ido*, страсть раба, который не признает ни Бога, ни закона, ни страны, синоним *licentia*, плохого поведения. В зависимости от того, полезна ли спонтанность, великодушна или добра, она называется *libertas*; в противоположность этому то, что определяется как вредное, порочное и вероломное, как зло, называют *libido*.

Ученый-экономист г-н Дюнойе дал определение свободы, которое в сравнении с нашим определением в конечном итоге продемонстрирует его точность.

«Я называю свободой ту власть, которую человек обретает, чтобы смелее использовать свою силу, *поскольку он преодолевает препятствия*, которые изначально препятствовали ей. Я говорю, что он тем более *свободен*, чем более *избавлен* от причин, которые мешали ему использовать свободу; чем больше удален от этих причин; чем больше он расширил и очистил сферу своего действия... Таким образом, сказано, что человек обладает свободным духом, что он наслаждается большой свободой духа не только тогда, когда его разум не подвержен какому-либо внешнему воздействию, но также и когда он не омрачен пьянством, не изменен болезнью, не сдерживаем беспомощностью из-за того, что его не используют».

Г-н Дюнойе видел свободу только с ее отрицательной стороны, то есть как будто она была лишь синонимом *освобождения от препятствий*. В этом смысле свобода не будет способностью человека, она ничем не будет. Но вскоре г-н Дюнойе, настаивая на своем неполном определении, уловил существо дела: именно тогда он сказал, что человек, изобретая машину, служит своей свободе, но не так, как мы это воспринимаем, потому что он сам дал определение, но, в духе г-на Дюнойе, поскольку это позволяет ему преодолеть трудность. «Таким образом, артикулированный язык — лучший инструмент, чем язык жестов; поэтому легче выражать свои мысли и отпечатывать их в сознании других с помощью речи, а не жестами. Письменная речь является более мощным инструментом, чем артикулированная; поэтому легче воздействовать на разум себе подобных, когда мы умеем выражать мысли глазами, чем только артикулировать ее. Пресса является инструментом, в две-три сотни раз более мощным, чем перо: поэтому нам в две-три сотни раз легче вступать в отношения с другими людьми, когда мы можем распространять свои идеи с помощью печати, нежели чем опубликовать их только с помощью письма».

Я не буду указывать на все, что этот способ представления свободы содержит неточного и нелогичного. Начиная с Десту де Трейси, последнего представителя философии Кондийяка, философский дух был омрачен в среде экономистов французской школы; боязнь идеологии извратила их язык, и в процессе их прочтения человек осознает, что поклонение факту заставило их упасть вплоть до ощущения теории. Я предпочитаю отметить, что г-н Дюнойе и политическая экономия вместе с ним не ошиблись в отношении сущности свободы, силы, энергии или спонтанности, безразличной к какому-либо действию и, следовательно, также восприимчивой к любым хорошим или плохим, полезным или вредным определениям. У г-на Дюнойе было такое ощущение правоты, что он сам написал: «Вместо того, чтобы

рассматривать свободу как догму, я представлю ее как *результат*; вместо того, чтобы сделать ее атрибутом человека, я сделаю ее *атрибутом цивилизации*; вместо того, чтобы придумывать формы правительства, чтобы установить его, я объясню, как могу, как она *происходит из всего нашего прогресса*».

Затем он добавляет, не без оснований:

«Мы заметим, как этот метод отличается от метода этих догматических философов, которые говорят только о правах и обязанностях; о том, что правительства обязаны делать, и что нации имеют право требовать и т. д. Я не говорю наставительно: люди имеют право быть свободными; Я ограничиваюсь вопросом: как это получается?».

Из этой презентации мы можем суммировать в четырех строках ту работу, которую хотел произвести г-н Дюнойе: ОБЗОР препятствий, которые *мешают* свободе, и средств (инструментов, методов, идей, обычаев, религий, правительств и т.д.), которые ей *способствуют*. Без упущений работа господина Дюнойе стала бы философией самой политической экономии.

Подняв проблему свободы, политическая экономия, таким образом, дает нам определение, которое во всех отношениях соответствует определению, данному психологией, и которое предполагает аналогия языка: и вот как мало помалу изучение человека оказывается перенесенным от созерцания его «я» к наблюдению за реальностями.

Теперь, так же, как определения разума в человеке получили название *идей* (обобщенные идеи, предполагаемые *à priori*, или принципы, концепции, категории; вторичные идеи или специально приобретенные и эмпирические); — аналогичным образом определения свободы получили название *волеизъявлений*, чувств, привычек, манер. Затем язык, образный по своей природе, продолжающий производить элементы начальной психологии, начали присваивать идеям, как месту или способности, *интеллекту*; и волеизъявлениям, чувствам и т. д., *сознанию*. Все эти абстракции долгое время воспринимались как реальности философами, из которых никто не понимал, что любое распространение способностей души — продукт фантазии, и что их психология была лишь миражом.

В любом случае, если мы теперь понимаем эти два порядка определений, разума и свободы, как объединенные и основанные организацией в живой, разумной и свободной *личности*, мы сразу поймем, что они должны взаимно влиять и помогать друг другу. Если по ошибке или непреднамеренности разума свобода, слепая по своей природе, приобретает ложную и роковую привычку, разум не опоздает с тем, чтобы это воспринять; вместо истинных идей, в соответствии с естественными отношениями вещей, он сохранит только предрассудки, тем труднее извлекаемые из разума, чем с возрастом они станут дороже сознанию. В этом состоянии разум и свобода уменьшаются; у первого нарушается его развитие, вторая стеснена в своем

расцвете, и человек введен в заблуждение, одновременно злой и несчастный.

Таким образом, когда из-за противоречивого восприятия и неполного опыта устами экономистов было объявлено, что не существует правила стоимости и что законом торговли был спрос и предложение, свобода перешла в пыл амбиций, эгоизма и игры; торговля была не более чем азартной игрой, подчиняющейся определенным полицейским правилам; из источников богатства возникла нищета, социализм, сам по себе раб рутины, знал только, как протестовать против последствий, вместо того, чтобы восстать против причин; и разум, под воздействием зрелища стольких зол, должен был признать, что все пошло не так.

Человек сможет достичь благополучия не только тогда, когда его разум и его свобода действуют в согласии, но и при условии, если они не останавливаются в своем развитии. Тогда, когда прогресс свободы, как и развитие разума, не определены, и с учетом, что эти две силы тесно связаны и объединены, необходимо сделать вывод, что свобода тем более совершенна, чем она больше соотносится с законами разума, которые являются законами вещей; и что если бы это условие действовало бесконечно, сама свобода стала бы бесконечной. Иными словами, полнота свободы заключается в полноте разума: *summa lex, summa libertas* (Дословно с лат.: общее право, полная свобода. — А.А. А-О.).

Эти предварительные данные были необходимы для полной оценки роли машин и для освещения цепочки экономического развития. В связи с этим я хотел бы напомнить читателю, что мы создаем историю не в соответствии с порядком времени, а в соответствии с последовательностью идей. Экономические фазы или категории в своем проявлении иногда современны — настолько сильно бывают перевернуты; и отсюда возникает крайняя трудность, с которой экономисты всегда сталкивались при систематизации своих идей; отсюда и хаос их произведений, даже самых рекомендуемых во всех других отношениях, таких, как Ад. Смит, Рикардо и Ж.-Б. Сэй. Но экономические теории, тем не менее, имеют свою логическую последовательность и место в мышлении: мы способствовали открытию именно этого порядка, который делает эту конструкцию одновременно и философией, и историей.

§ II. Противоречие машин. Происхождение капитала и наемного труда

Тем самым, что машины уменьшают тяготы рабочего, они сокращают и уменьшают труд, предложение которого, таким образом, день ото дня увеличивается, а спрос уменьшается. Мало помалу, это правда, понижение цен приводит к увеличению потребления, пропорции восстанавливаются и напоминают о труде: но из того, что промышленные усовершенствования следуют друг за другом без передышки и постоянно стремятся заменить механическую операцию в человеческом труде, следует, что существует постоянная тенденция отсекасть часть услуг, тем самым исключая работников из производства. С экономическим порядком происходит то же самое, что и с духовным: вне церкви нет спасения, вне работы нет средств к существованию. Общество и природа, столь же безжалостные, соглашаются выполнить этот новый приговор.

«Когда новая машина или вообще какой-то ускоренный процесс, — говорит Ж.-Б. Сэй, — заменяет уже занятого работой человека, часть рабочих рук, чья служба успешно заменяется, остается без работы. Новая машина, следовательно, заменяет труд части рабочих, но не уменьшает количества производимого продукта; потому что иначе мы воздержимся от того, чтобы принять это; она *вытесняет доход*. Но последующий эффект заключается в преимуществах машин: потому что, если обилие продукта и низкая себестоимость заставляют снижаться рыночную стоимость, потребитель, то есть каждый, выиграет».

В оптимизме Сэя заключена неверность логике и фактам. Здесь речь идет не только о небольшом числе происшествий, случившихся в течение круга из тридцати веков в результате внедрения одной, двух или трех машин; речь идет о регулярном, постоянном и общем явлении. После того, как доход¹ был *вытеснен*, как говорит Сэй, одной машиной, приходит время другой, потом следующей, и всегда следующей, до тех пор, пока существует работа, которую нужно сделать, и обмен, который нужно осуществить. Вот как явление должно быть представлено и рассмотрено: но тогда согласимся, что оно своеобразно меняет свой облик. Вытеснение дохода, упразднение работы и зарплаты — хроническое, постоянное, неизгладимое бедствие,

¹ Ж.-Б. Сэй, исходя из контекста, имеет в виду вытеснение дохода рабочих, которых с внедрением машин увольняет хозяин производства. — А.А. А-О.

своего рода холера, которая то появляется под видом Гутенберга, то облачается в фигуру Аркрайта; здесь его называют Жаккардом, далее Джеймсом Уоттом или маркизом Жоффруа. Орудия более или менее долго в одной форме, чудовище принимает другую; и экономисты, считающие, что оно исчезло, восклицают: Ничего не было! Спокойные и довольные, при условии, что они всей тяжестью своей диалектики поддерживают положительную сторону вопроса, они закрывают глаза на подрывную сторону, за исключением, однако, случаев, когда им говорят о нищете, они возобновляют свои проповеди о неуправляемости и пьянстве рабочих.

«В 1750 году, — это наблюдение г-на Дюнойе; оно предоставляет средство для всех размышлений подобного рода: — в 1750 году население герцогства Ланкастерского составляло 300,000 душ. В 1801 году, благодаря развитию прядильных машин, это население составляло 672,000 душ. В 1831 году оно достигло 1,336,000. Вместо 40,000 рабочих, которые ранее были заняты в хлопчатобумажной промышленности, теперь в ней заняты, с момента изобретения машин, 1,500,000».

Г-н Дюнойе добавляет, что в то время, когда число рабочих, занятых на этой работе, приобрело такое уникальное расширение, цена труда стала в полтора раза выше. Так что прирост населения, лишь следовавшего за движением промышленности, был нормальным и безукоризненным фактом; что я говорю? счастливый факт, поскольку его цитируют во славу механического развития. Но вдруг г-н Дюнойе резко переменяется: когда количество рабочих мест сократилось из-за этого множества прядильных приспособлений, зарплата неминуемо должна была упасть; население, которое было призвано машинами, оказалось брошенным этими машинами, и г-н Дюнойе заявил: причиной нищеты является злоупотребление браком. Английская торговля, существующая на требования ее огромной клиентуры, призывает со всех сторон рабочих и провоцирует их на брак; пока занятость изобилует, брак — вещь превосходная, чью пользу для машин любят приводить в пример; но, поскольку клиент «плавающий», то как только перестает хватать работы и зарплаты, кричат о злоупотреблении браком, обвиняют рабочих в непредсказуемости. Политическая экономия, то есть собственнический деспотизм, не может ошибаться никогда: это должен быть пролетариат.

Типографию приводили в пример неоднократно, всегда с оптимистической точки зрения. Число людей, которые живут сегодня книгоизданием, может быть в тысячу раз больше, чем было число переписчиков и иллюстраторов до Гуттенберга; так что, заключают с довольным видом, типография никого не обидела. Подобные факты можно было бы приводить до бесконечности, не требуя ни одного опровержения, но и не продвигаясь в решении этого вопроса. Опять же, никто не отрицает, что машины способствуют общему благополучию: но я утверждаю в свете этого неопровержимого факта, что экономисты противоречат истине, когда решительно заявляют, что *упрощение процессов не привело к сокращению числа рук, используемых в какой-либо отрасли*. То, что должны говорить экономисты, так это то, что машины, равно как и разделение труда, являются в нынешней системе социальной экономики

и источником богатства, и постоянной и роковой причиной нищеты.

«В 1836 году в мастерской в Манчестере работали девять станков, каждый по триста двадцать четыре веретена, которыми управляли четыре прядильщика. В дальнейшем конвейер удвоили, и в каждый станок ввели шестьсот восемьдесят веретен, и двух человек хватало, чтобы управлять ими».

Таков грубый факт ликвидации рабочего машиной. Простой комбинацией трое из четырех рабочих вытеснены; какое значение имеет то, что через пятьдесят лет, когда население земного шара удвоится, клиентура Англии увеличится в четыре раза, будут построены новые машины, английские фабриканты заберут назад своих рабочих? Намерены ли экономисты ссылаться, в пользу машин, на рост населения? Пусть тогда они откажутся от теории Мальтуса и перестанут выступать против чрезмерной плодовитости браков.

«На этом не остановились: вскоре новое механическое усовершенствование позволило одному рабочему делать работу, которая когда-то занимала четверых» — Новое сокращение рабочей силы на три четверти: в целом сокращение человеческого труда на пятнадцать шестнадцатых.

«Один фабрикант из Болтона пишет: удлинение тележек наших станков позволяет нам использовать только двадцать шесть прядильщиков там, где мы использовали тридцать пять в 1837 году» — Другая децимация рабочих: одна жертва из четырех.

Эти факты взяты из *Экономического журнала* 1842; и нет никого, кто не смог бы указать на их аналогии. Я был свидетелем введения печатной механики, и могу сказать, что своими глазами видел, как сильно пострадали печатники. За пятнадцать-двадцать лет, что утвердилось механическое производство, часть рабочих потеряли работу, другие покинули свою страну, некоторые умерли от нищеты: так происходит перестройка рабочих в результате промышленных инноваций. — Двадцать лет назад восемьдесят конных экипажей выполняли навигационную службу от Бокера до Лиона; все они исчезли с появлением двадцати пароходов. Конечно, торговля на этом выиграла; но что стало с этим морским населением? переправилось ли оно с лодок на пароходы? Нет: оно пошла туда, куда уходят все деклассированные отрасли, оно исчезло.

В остальном следующие документы, которые я извлекаю из того же источника, дадут более позитивное представление о влиянии промышленных усовершенствований на судьбу рабочих.

«Средняя заработная плата в неделю в Манчестере составляет 12 фр. 50 сант. (10 шиллингов). Из 450 рабочих нет сорока, которые зарабатывают 25 фр.» — Автор статьи осторожно заметил, что англичанин потребляет в пять раз больше, чем

француз: так что рабочий во Франции должен жить с 2 фр. 50 сант. в неделю.

«Эдинбургское обозрение», 1835 год: «Появлению коалиции рабочих (которые протестовали против урезания зарплат) мы обязаны именно устройству (в ткацком производстве. — А.А. А-О.) Шарпа и Роберта из Манчестера; и это изобретение жестоко наказывало опрометчивых соучастников». — *Наказанный* заслуживает наказания. Изобретению Шарпа и Роберта из Манчестера необходимо было выйти из положения; отказ рабочих согласиться на сокращение зарплат был лишь определяющей возможностью. Не кажется ли вам, что мстительность, которую отмечает «Эдинбургское обозрение», указывает на то, что внедрение машин имеет обратный эффект?

Английский фабрикант: «Неподчинение наших рабочих заставило нас задуматься о том, чтобы *обойтись без них*. Мы предприняли все мыслимые усилия, чтобы заменить работу людей более послушными орудиями, и достигли цели. Механика избавила капитал от гнета труда. Везде, где мы все еще используем человека, это только временно, в ожидании, что будет изобретено средство, чтобы исполнять его работу без него».

Что за система, которая заставляет торговца с восторгом думать о том, что общество скоро сможет обойтись без людей! *Механика избавила капитал от гнета труда!* Это как то, если бы министерство старалось избавить бюджет от гнета налогоплательщиков. Безумство! если вы платите рабочим, они становятся вашими покупателями: что вы будете делать со своими произведенными продуктами, когда уволенные вами, они больше не будут их потреблять? Кроме того, противодействие машин, задавив рабочих, не замедлит ударить по хозяевам; ибо если производство исключает потребление, то вскоре само по себе вынуждено остановиться.

«В четвертом квартале 1841 года в результате четырех крупных банкротств в одном городе Англии на улицу отправились 1,720 человек» — Эти банкротства были причиной перепроизводства, а значит, недостатка возможностей, или бедственного положения народа. Как жаль, что механика не может также избавить капитал от потребительского гнета! Какое несчастье, что машины не покупают ткани, которые они производят! Это было бы идеальное общество, если бы торговля, сельское хозяйство и промышленность могли существовать без человека на земле!

В одном приходе Йоркшира рабочие в течение девяти месяцев работали только два дня в неделю». — Машины!

«В Гестоне две фабрики, стоившие 60,000 фнт. ст., продаются за 26,000» — Они производили больше, чем могли продать». — Машины!

«В 1841 году на мануфактурах уменьшается число детей *младше* тринадцати лет, потому что их место занимают дети *старше* тринадцати лет» — Машины. Взрослый

рабочий снова становится подмастерьем, ребенком: этот результат ожидался уже на этапе разделения труда, во время которого мы видели, как качество рабочего падало по мере совершенствования промышленности.

В заключение журналист производит следующее размышление: «С 1836 хлопковая промышленность регрессирует;» — то есть она больше не связана с другими отраслями: еще один результат, предусмотренный теорией пропорциональности стоимостей.

Сегодня коалиции и забастовки рабочих, похоже, прекратились по всей Англии, и экономисты с полным основанием радуются этому возвращению к порядку, скажем даже к здравому смыслу. Но поскольку рабочих мест не прибавляется, я задаюсь вопросом, с учетом нищеты добровольных безработных и нищеты, создаваемой машинами, изменится ли ситуация? И если ситуация не изменится, не будет ли будущее печальной копией прошлого?

Экономисты любят полагаться разумом на картины общественного блаженства: именно по этому признаку их прежде всего узнают, по нему же они ценят друг друга в своем кругу. Однако они не испытывают и недостатка в скорбных и болезненных представлениях, будучи всегда готовыми противопоставить рассказам о растущем процветании доказательства упорной нищеты.

Г-н Теодор Фикс так резюмировал общее положение, декабрь 1844:

«Источники продовольственного снабжения народов больше не подвержены этим ужасным потрясениям, вызванным неурожаем и голодом, столь частыми вплоть до начала девятнадцатого века. Разнообразие сельскохозяйственных культур и совершенствование сельского хозяйства почти абсолютным образом предотвратили это двойное бедствие. В 1791 г. общее производство пшеницы во Франции оценивалось примерно в 47 миллионов гектолитров, что давало за вычетом семян на каждого жителя один гектолитр и 65 сантолитров. В 1840 г. то же производство оценивается в 70 миллионов гектолитров, а на человека — в один гектолитр 82 сантолитра, причем возделываемые площади остались примерно такими, какими они были до революции... Производство промышленной продукции увеличилось в пропорциях, не менее высоких, чем сельскохозяйственная продукция; и можно сказать, что за последние пятьдесят лет масса текстиля более чем удвоилась, а может быть, и утроилась. Совершенствование технических процессов привело к этому результату... / С начала века человеческая жизнь увеличилась в среднем на два-три года; неопровержимый указатель на большую легкость, или, если угодно, на смягчение нищеты. / За двадцать лет показатель косвенного дохода, без каких-либо дорогостоящих изменений в законодательстве, поднялся с 540 миллионов до 720: признак экономического прогресса гораздо больше, чем налогового прогресса. / По состоянию на 1 января 1844 г. касса вкладов и консигнаций задолжала сберегательным кассам 351 с половиной миллиона, и Париж фигурировал в этой сумме со 105 миллионами. Однако этот институт развивался практически лишь последние

двенадцать лет; и следует заметить, что 351 с половиной миллиона, которые в настоящее время причитаются сберегательным кассам, не составляют всей массы сэкономленных средств, поскольку в данный момент накопленный капитал получает другое назначение... В 1843 г. из 320,000 рабочих и 80,000 домохозяев, проживавших в столице, 90,000 рабочих депонировали в сберегательную кассу 2,547,000 фр., а 34,000 домохозяев — 1,268,000 фр.».

Все эти факты верны, и следствие, которое из них извлекают в пользу машин, уже не может быть более точным: ведь они отпечатали на общем благополучии мощный импульс. Но факты,

которые мы приведем, не менее достоверны, и следствие, которое выйдет из них против машин, будет не менее справедливым, зная, что они являются непрекращающейся причиной обнищания. Я обращаюсь к цифрам самого господина Фикса.

Из 320,000 рабочих и 80,000 домохозяев, проживающих в Париже, есть 230,000 первых и 46,000 вторых, всего 276,000, которые не вкладывают в сберегательные кассы. Никто не осмелился бы утверждать, что это 276,000 расточителей и бездельников, которые добровольно подвергают себя нищете. Так как среди тех, кто экономит, есть бедные и слабые субъекты, для которых сберегательная касса является лишь передышкой между распушенностью и нищетой, давайте заключим, что из всех людей, живущих от своего труда, почти три четверти или являются недальновидными, ленивыми и распушенными, поскольку они не вкладывают деньги в сберегательную кассу, или что они слишком бедны, чтобы экономить. Другой альтернативы нет. Но в отсутствие благотворительности здравый смысл не позволяет массово обвинять рабочий класс: таким образом, мы должны возложить вину на наш экономический режим. Как же г-н Фикс не заметил, что его цифры обвиняют сами себя?

Есть надежда, что со временем все, или почти все рабочие отдадут на сохранение средства в сберегательные кассы. Не дожидаясь свидетельства будущего, мы можем проверить в полевых условиях, обоснована ли эта надежда.

По свидетельству г-на Ве, мэра 5-го округа Парижа, «число неимущих домохозяйств, зарегистрированных контролерами благотворительных бюро, составляет 30,000, что дает 65,000 человек». Перепись, сделанная в начале 1846 г., дала 88,474. — А неимущих, но не зарегистрированных домохозяев сколько? Много. Допустим, 180,000 несомненно бедных, хотя и неофициально. И все, кто живут в стесненных условиях, вместе с теми, кто за границами достатка, сколько еще? Дважды столько же: всего 360,000 человек в Париже находятся в бедственном положении.

«Говорят о пшенице, — восклицает другой экономист, г-н Луи Леклерк, — но разве не обходится без хлеба огромная часть населения? В пределах нашей родины разве нет

людей, которые живут исключительно кукурузой, гречкой, каштанами?...»

Г-н Леклерк осуждает факт: давайте истолкуем его. Если, в чем нет сомнений, прирост населения ощущается главным образом в крупных городах, то есть там, где потребляют больше всего пшеницы, очевидно, что средний показатель на душу населения мог увеличиться без улучшения общего состояния. Ничто так не обманчиво, как среднее.

«Говорят, — продолжает он же, — об увеличении косвенного потребления. Напрасно пытались оправдать парижскую фальсификацию: она существует; у нее есть свои хозяева, свои хитрецы, своя литература, свои дидактические и классические трактаты... Франция владела изысканными винами, что с ними стало? что стало с этим блестящим богатством? Где сокровища, созданные со времен Пробуса национальным гением? И тем не менее, в то время, как мы наблюдаем излишества, к которым употребление вина приводит везде, где оно дорого, везде, где оно не входит в обычную диету; то в Париже, столице королевства хороших вин, мы видим, что люди глотают что-то фальсифицированное, поддельное, тошнотворное, иногда отвратительное, а зажиточные люди пьют у себя дома или принимают без звука, черпаками в известных ресторанах вина, называемые таковыми, безвкусные, которые заставят содрогнуться беднейшего крестьянина из Бургундии или Турени, можно ли добросовестно сомневаться в том, что алкогольные жидкости — одна из самых насущных потребностей нашей природы!...»

Я привожу этот отрывок целиком, потому что он обобщает по конкретному поводу все, что можно было бы сказать о недостатках машин. Это, по отношению к народу, вино, как и ткани, и вообще все продукты и товары, созданные для потребления бедными классами. Это всегда одно и то же решение: любым способом уменьшить производственные затраты, чтобы: 1) с выгодой поддерживать конкуренцию с более удачливыми или более состоятельными коллегами; 2) обслуживать эту бесчисленную клиентулу грабителей, которые не в состоянии установить цену на что бы то ни было хорошего качества. Вино, производимое обычным способом, слишком дорого обходится массе потребителей; оно рискует остаться в подвалах производителей. Фабрикант преодолевает трудность: не будучи в состоянии механизировать культуру, он находит способ, с помощью нескольких коллег, выставить драгоценную жидкость по цене, доступной для всех. Некоторые дикари в период неурожая едят землю; труженик цивилизации пьет воду. Мальтус был великим гением.

Что касается увеличения среднего возраста жизни, я признаю истинность факта; но в то же время объявляю наблюдение ошибочным. Объясним это. Представим себе население в десять миллионов душ: если бы по той причине, как хотелось бы, средняя продолжительность жизни одного миллиона человек увеличилась на пять лет, а смертность осталась бы такой же, как была, для остальных девяти миллионов, то, распределив этот прирост на всех, можно было бы обнаружить, что средняя продолжительность жизни увеличилась для каждого на шесть месяцев. Речь идет о средней жизни, так называемом индексе среднего благосостояния, как и о

средней образованности: уровень знаний неуклонно растет, что не мешает тому, что сегодня во Франции столько же варваров, сколько их было во времена Франциска I. Шарлатаны, которые предлагали эксплуатировать железные дороги, громко шумели о важности локомотива для циркуляции идей; и экономисты, всегда находившиеся в поиске цивилизованных глупостей, не преминули повторить эту нелепость. — Как будто идеям, чтобы распространяться, нужны паровозы! Но кто же тогда мешает идеям течь из Института на окраины Сент-Антуана и Сен-Марсо, по узким и убогим улочкам Сите и Марэ, повсюду, наконец, где обитает это множество, еще более лишенное идей, чем хлеба? Откуда взялось убеждение, что между парижанином и парижанином, невзирая на омнибусы и местную почту, расстояние сегодня втрое больше, чем в четырнадцатом веке?

Подрывное влияние машин на социальную экономику и положение трудящихся осуществляется тысячами способов, которые все взаимосвязаны и одинаково называются: увольнения, сокращение зарплат, перепроизводство, затоваривание, порча продукции, банкротства, выдавливание рабочих из их класса, вырождение вида и, наконец, болезни и смерть.

Г-н Теодор Фикс сам заметил, что за последние пятьдесят лет средний рост мужчины во Франции уменьшился на несколько миллиметров. Это наблюдение стоит того, что происходит сейчас: откуда происходит это снижение?

В докладе, прочитанном в Академии гуманитарных наук о результатах закона от 22 марта 1841 г., г-н Леон Фоше выражался так: «Молодые рабочие бледны, слабы, невысокого роста и медлительны как в мыслях, так и в движениях. В четырнадцать-пятнадцать лет они выглядят не более развитыми, чем дети от девяти до десяти лет в нормальном состоянии. Что же касается их интеллектуального и нравственного развития, то видно, что в возрасте тринадцати лет они не имеют понятия о Боге, никогда не слышали о своих обязанностях, и для них первая школа морали была тюрьмой».

Вот что увидел г-н Леон Фоше, к великому неудовольствию г-на Шарля Дюпена, и к тому, что он заявляет, что закон от 22 марта невозможно исправить. И не будем гневаться на это бессилие законодателя: зло исходит от причины, столь необходимой для нас, как солнце; и в той мере, в которую мы ввязались, весь гнев, как и все полумеры, только ухудшили бы наше положение. Да, пока наука и промышленность добиваются столь замечательного прогресса, необходимо, с учетом, что центр тяжести цивилизации не меняется вдруг, что умственные способности и комфорт пролетариата слабеют; пока жизнь удлиняется и улучшается для богатых классов, для неимущих она ухудшается и сокращается. Это следует из наиболее обдуманых, я имею в виду наиболее оптимистичных сочинений.

По свидетельству г-на Де Морога, 7,500,000 человек во Франции могут потратить не более 91 фр. в год, 25 с. в день. *Пять су! пять су!* Есть что-то пророческое в этом

отвратительном припеве.

В Англии (исключая Шотландию и Ирландию) налог с бедных составлял:

1801 — 4,078,891 ф. ст. для населения 8,872,980

1818 — 7,870,801 — — 11,978,875

1833 — 8,000,000 — — 14,000,000

Таким образом, нищета прогрессировала быстрее, чем рост населения; что же стало с учетом этого факта с гипотезами Мальтуса? — И вместе с тем несомненно, что в то же время повысился средний уровень благосостояния: что же тогда означает статистика?

Коэффициент смертности в первом округе Парижа составляет один из пятидесяти двух жителей, а для двенадцатого — один из двадцати шести. Так вот, в этом последнем (двенадцатом округе) на семь жителей приходится один неимущий, а в первом один — на двадцать восемь. Это не мешает тому, что средний уровень жизни, даже в Париже, только возрос, как это очень хорошо заметил г-н Фикс.

В Мюлузе средняя продолжительность жизни составляет двадцать девять лет для детей состоятельного класса и ДВА ГОДА для рабочих; — в 1812 г. средняя продолжительность жизни в том же населенном пункте составляла двадцать пять лет девять месяцев двенадцать дней; тогда как в 1827 г. она составляла всего двадцать один год девять месяцев. И тем не менее для всей Франции средняя продолжительность жизни растет. Что это означает?

Г-н Бланки, не в состоянии объяснить себе одновременно такое процветание и такую нищету, восклицает: «Увеличение производства — это не увеличение богатства... Нищета, напротив, все больше распространяется по мере сосредоточения промышленности. Необходимо, чтобы в системе, не гарантирующей безопасности ни капитала, ни труда, был какой-то радикальный порок, который, по-видимому, умножает трудности производителей, одновременно заставляя их умножать свою продукцию».

Здесь нет радикального порока. Что удивляет г-на Бланки, — так это просто то, что требовала определения Академия, частью которой он является, — это колебания экономического маятника СТОИМОСТИ, поочередно и равномерно поражающего добро и зло, пока не пробил час всеобщего уравнивания. Если мне позволено еще одно сравнение, человечество в своем развитии подобно колонне солдат, которые, уходя одним и тем же шагом и в одно и то же мгновение под размеренные удары барабана, постепенно теряют свои интервалы. Все движется вперед; но расстояние от головы до хвоста безостановочно удлиняется; и это обязательный эффект движения —

чтобы были отставшие и заблудшие.

Но надо еще глубже проникнуть в антиномию. Машины обещали нам прибавку богатства; они сдержали слово, но тем самым наделили нас еще большей нищетой. — Они обещали нам свободу; я докажу, что они принесли нам рабство.

Я сказал, что определение стоимости, а вместе с ней и злоключений общества, начинается с разделения отраслей, без которого не может существовать ни обмен, ни богатство, ни прогресс. Период, который мы сейчас проходим, период машин — отличается особым характером; это НАЕМНЫЙ ТРУД.

Наемный труд возник напрямую от использования машин, чтобы придать моей мысли всю требуемую ею общность выражения, в отличие от экономической фантастики, посредством которой капитал становится производственным агентом. Наемный труд, наконец, после разделения труда и обмена является обязательным коррелятом теории сокращения расходов, каким бы образом это сокращение ни получалось. Эта генеалогия слишком интересна, чтобы мы не сказали о ней несколько слов.

Первая, самая простая, самая мощная из машин — цех.

Разделение лишь сепарирует различные части труда, позволяя каждому заниматься специальностью, которая его больше всего привлекает: цех группирует рабочих по соотношению каждой части к целому. Это, в своей самой основной форме, взвешивание стоимостей, неуловимое, однако, по мнению экономистов. Однако с помощью цеха будет расти производство, а заодно и дефицит.

Один человек заметил, что, разделив производство и его различные части и заставив каждую из них работать отдельно, он получит умножение силы, производство продукта которой будет намного больше суммы труда, которую даст такое же число рабочих в условиях неразделенного труда.

Ухватившись за нить этой идеи, он говорит себе, что, сформировав постоянную группу рабочих, подходящих для специального объекта, который он предлагает, он получит более устойчивое, более обильное производство с меньшими затратами. Между прочим, не обязательно, чтобы рабочие собирались в одном помещении: существование цеха по существу не связано с этим контактом. Он вытекает из соотношения и пропорции различных работ, и из общей мысли, руководящей ими. Одним словом, нахождение в одном месте может обеспечить свои преимущества, которыми не следует пренебрегать: но это не то, из чего состоит цех.

Итак, вот предложение, которое делает спекулянт тем, кого он хочет заставить сотрудничать с ним: Я гарантирую вам пожизненное размещение вашей продукции, если вы хотите принять меня как покупателя или посредника. Рынок настолько явно выгоден, что предложение не может не быть одобрено. Рабочий находит

непрерывность работы, фиксированную цену и безопасность; со своей стороны предпринимателю будет легче продавать, так как, производя с меньшей себестоимостью, он может руководить ценой; наконец, его прибыль будет более значительной из-за массы вложений. Не будет никого от граждан до должностных лиц, кто не похвалит предпринимателя за то, что он своими комбинациями увеличил общественное богатство, и кто не проголосует за его поощрение.

Но, во-первых, кто говорит о снижении расходов, тот говорит и о сокращении требующихся услуг — правда, не в новом цехе, а для рабочих той же профессии, оставшихся в стороне, как и для многих других, чьи услуги в будущем будут менее востребованы. Итак, всякое цеховое образование соответствует вытеснению рабочих: это утверждение, каким бы противоречивым оно ни казалось, так же верно — для цеха, как и для машины.

Экономисты соглашаются с этим: но здесь они повторяют свое вечное высказывание о том, что по прошествии некоторого времени спрос на продукт возрастает из-за снижения цены, труд, в свою очередь, станет более востребованным, чем раньше. Без сомнения, СО ВРЕМЕНЕМ равновесие восстановится; но еще раз равновесие не восстановится в том же месте, поскольку оно будет разрушено в другом, ибо дух изобретения, равно как и труд, никогда не останавливается. Так какая теория сможет оправдать эти вечные гекатомбы? «Когда мы, — писал Сисмонди, — уменьшим число работающих до четверти или пятой того, что есть сейчас, нам понадобится только четверть или пятая из священников, врачей и т. д. Когда мы их полностью отнимем, мы вполне сможем обойтись без рода человеческого». И это то, что произошло бы на самом деле, если бы для того, чтобы привести работу каждой машины в соответствие с нуждами потребления, то есть для того, чтобы вернуть постоянно разрушаемую пропорцию стоимостей, не нужно было постоянно создавать новые машины, открывать другие рынки сбыта, тем самым умножать услуги и перемещать рабочие руки. Чтобы, с одной стороны, промышленность и богатство, с другой — население и нищета, выстраивались, так сказать, в очередь, и всегда одно тянуло за собой другое.

Я видел, как предприниматель в начале производства имел дело на равных со своими компаньонами, впоследствии ставшими *его рабочими*. Очевидно, на самом деле, что это примитивное равенство должно было быстро исчезнуть, благодаря выгодному положению хозяина и зависимости наемных работников. Напрасно закон гарантирует каждому право предпринимательства, а также возможность работать самостоятельно и напрямую продавать свою продукцию. Согласно предположению, последний ресурс нецелесообразен, поскольку цель создания цеха состояла в том, чтобы уничтожить изолированный труд. А что касается права поднимать плуг, как говорится, и вести хозяйство, то это в промышленности так же, как в сельском хозяйстве: умение работать ничего не означает, надо успеть вовремя; лавка, как и земля, находится на первом месте. Когда у предприятия есть свободное время, чтобы развиваться, расширять свои базы, пополнять капитал, расширять клиентуру, то что сможет против такой превосходящей силы рабочий, у которого есть только его

руки? Таким образом, это не по произволу суверенной монархии и не в результате жестокой и случайной узурпации создавались корпорации и владения: порядок вещей создавал их задолго до того, как их закрепляли королевские эдикты; и не ввиду преобразований 89-го года² мы видим, что они восстанавливаются на наших глазах со стократно более грозной энергией. Откажите труду в его собственных тенденциях, и порабощение трех четвертей рода человеческого обеспечено.

Но это не все. Машина или цех, после того, как заставит деградировать рабочего, давая ему хозяина, завершает унижение, низводя его из ранга ремесленника в ранг винтика.

Когда-то население берегов Сены и Роны состояло в основном из моряков, занятых управлением судами на лошадиной тяге, либо на веслах. Теперь, когда пароходная тяга утвердилась почти повсеместно, моряки, по большей части не находя себе места, или проводят три четверти жизни в безработице, или же становятся водителями (повозок). Вместо нищеты — деградация: таково зло, которое машины наносят рабочему. Ведь машина — как артиллерийское орудие: все, кого оно занимает, за исключением командира, — *слуги*, рабы.

С момента создания крупных мануфактур множество мелких производств исчезло из домашнего очага: считается, что рабочие за 50 и 75 сантимов обладают таким же умом, как и их прародители?

«После сооружения железной дороги из Парижа в Сен-Жермен, — рассказывает г-н Дюнойе, — между Пекком и множеством более или менее соседних населенных пунктов завелось такое количество *омнибусов* и экипажей, что это сооружение, вопреки всякому прогнозу, увеличило занятость лошадей в немалой пропорции».

Вопреки всякому прогнозу! Нужно быть всего лишь экономистом, чтобы не предвидеть подобных вещей. Умножая машины, вы увеличиваете нудный и отвратительный труд: эта апофтегма так же точна, как любая другая из допотопных. Пусть меня обвинят, если угодно, в недоброжелательности по отношению к прекраснейшему изобретению нашего века, ничто не помешает мне сказать, что главным результатом железных дорог, после порабощения мелкой промышленности, будет создание популяции из деградировавших рабочих, дорожников, дворников, грузчиков, грузчиков, дальнбойщиков, сторожей, швейцаров, весовщиков, смазчиков, уборщиков, водителей, пожарных и так далее, и тому подобное. Четыре тысячи километров железных дорог обеспечат Франции прибавление в пятьдесят тысяч крепостных: не для них, без сомнения, г-н Шевалье требует создания профессиональных училищ.

Скажут, может быть, что масса транспортных средств пропорционально возросла

² Прудон, скорее всего, имеет ввиду «преобразования» Великой французской буржуазной (как ее было принято называть в эпоху СССР) революции 1789 г. — А.А. А-О.

гораздо больше, чем число поденных рабочих, разница в пользу железной дороги, и, в общем, есть прогресс. Можно даже обобщить наблюдение и применить одно и то же рассуждение ко всем отраслям.

Но именно эта общность явления выявляет порабощение рабочих. Первая роль в промышленности принадлежит машинам, вторая — человеку: весь гений, проявляющийся в труде, ведет к отупению пролетариата. Насколько славная у нас страна, когда из сорока миллионов ее жителей тридцать пять состоят из писак и лакеев!

Вместе с машиной и цехом божественное право, то есть принцип власти, входит в политическую экономию. Капитал, Владение, Привилегия, Монополия, Кредит, Собственность и т. п. — таковы, на экономическом языке, различные названия того, что я не знаю, но что еще мы называли Властью, Авторитетом, Суверенитетом, Писаным законом, Откровением, Религией, Богом, наконец, причиной и принципом всех наших несчастий и преступлений, и что чем больше мы пытаемся определить его, тем больше оно ускользает от нас.

Неужели невозможно, чтобы в нынешнем состоянии общества цех с его иерархической организацией и машины вместо того, чтобы служить исключительно интересам наименее многочисленного, менее работающего и наиболее богатого класса, служили бы благом для всех?

Это мы и рассмотрим.

§ III. Средства защиты от губительного влияния машин

Сокращение рабочей силы — это синоним снижения цен, следовательно, увеличения торговли; поскольку, если потребитель платит меньше, он будет покупать больше.

Но сокращение рабочей силы также является синонимом ограничения рынка; так как если производитель зарабатывает меньше, он будет покупать меньше. И так действительно все происходит. Концентрация сил в цеху и интервенция капитала в производство под именем машин порождают и перепроизводство, и разорение; и все видели, как эти два бедствия, более страшные, чем пожар и чума, возрастают в наши дни в самых широких масштабах и с всепоглощающей интенсивностью. Однако отступить нельзя: надо производить, производить всегда, производить дешево; без этого существование общества скомпрометировано. Рабочий, чтобы избежать отупения, которым ему грозил принцип разделения, создал так много замечательных машин, оказывается посредством своих собственных произведений или бесправным, или поработанным. Какие средства предлагаются против такой альтернативы?

Г-н де Сисмонди, как и все носители патриархальных идей, хотел бы, чтобы разделение труда вместе с машинами и фабриками было прекращено, и чтобы каждая семья вернулась к системе первобытного обобществления, то есть *каждый у себя, каждый для себя*, в самом буквальном смысле этого слова. — Это регресс, это невозможно.

Г-н Бланки возвращается, с напряжением, со своим планом участия рабочего и использования командитных товариществ к пользе коллективного работника, всех отраслей промышленности. — Я показал, что этот проект скомпрометировал общественное благосостояние, без значительного улучшения судьбы рабочих; и сам г-н Бланки, по-видимому, присоединился к этому настроению. Как примирить, в самом деле, это участие рабочего в прибыли с правами изобретателей, предпринимателей и капиталистов, в котором одни отягощены авансированием, а также долгими и терпеливыми усилиями; другие постоянно лишь оперируют нажитым состоянием и рискуют предприятиями; а третьи не могли бы вынести снижения процентной ставки, не потеряв при этом своих сбережений? Как можно, одним словом, добиться того равенства, которое хотелось бы установить между рабочими и хозяевами, с той предубежденностью, которую нельзя отнять у глав предприятий, заказчиков и изобретателей и которая так явно подразумевает для них исключительное присвоение прибыли? Постановить законом допуск всех рабочих к распределению

прибыли означало бы анонсировать роспуск общества: все экономисты так хорошо это почувствовали, что в конце концов окончили нравоучением для хозяев, которое изначально было для них проектом. Так вот, до тех пор, пока работник не будет получать прибыль, которую для него соизволит выделять предприниматель, он сможет рассчитывать только на вечную нужду: это не во власти собственников, как бы то ни было.

В остальном идея, притом весьма похвальная, ассоциирования рабочих с предпринимателями стремится к этому коммунистическому выводу, явно ошибочному в своих предпосылках: последнее слово машин — сделать человека богатым и счастливым без необходимости работать. Тогда как природные средства должны все делать для нас, машины должны принадлежать государству, а целью прогресса должно быть сообщество.

Изучим, в свою очередь, коммунистическую теорию.

Но я считаю своим долгом прямо сейчас предупредить сторонников этой утопии, что надежда, которую они возлагают на машины, — всего лишь иллюзия экономистов, что-то вроде вечного двигателя, который мы всегда ищем и не находим, потому что требуем его от того, кто не может его дать. Машины не работают сами по себе: чтобы поддерживать их работу, нужно организовать их огромное обслуживание; настолько, что в конце концов человек создает для себя еще одно дело, поскольку он окружает себя большим количеством инструментов, а большое дело вокруг машин обеспечивает куда меньшую возможность разделить их продукцию, чем необходимость обеспечивать их работу, то есть безостановочно поддерживать двигатель. Но этот двигатель — не воздух, вода, пар, электричество; это работа, то есть механизм рынка сбыта.

Железная дорога подавляет по всей линии, по которой она проходит, шорников, сельчан, возчиков, трактирщиков: я улавливаю факт в момент сооружения дороги. Предположим, что государство в качестве меры сохранения или принципа компенсации делает производителей, деклассированных железной дорогой, владельцами или эксплуататорами пути: цена перевозки, как я предполагаю, будет снижена на 25 процентов (без этого к чему железная дорога?); доходы всех этих производителей, вместе взятых, окажутся уменьшенными на равную сумму, что заставляет сказать, что четверть людей, живших до этого от перевозок, окажутся, несмотря на государственное обеспечение, буквально без источников существования. Для преодоления дефицита у них остается только надежда: на то, что объем перевозок на линии увеличится на 25 процентов, или на то, что они найдут работу в других промышленных категориях; что прежде всего кажется невозможным, поскольку как предположительно, так и фактически рабочие места заполнены повсюду, что везде сохраняется пропорция, и что предложение удовлетворяет спрос.

Все-таки, если желать увеличения объема перевозок, необходим всплеск роста в других отраслях. Однако, если допустить, что деклассированные рабочие нанимаются

на работу по этому перепроизводству, что их распределение по различным категориям труда столь же легко выполнять, как это предписывает теория, то и этого будет недостаточно. Потому что, поскольку персонал пути в производстве в количестве 100 равен 1,000, то, чтобы получить, со стоимостью перевозки на четверть дешевле, иными словами, на четверть мощнее тот же доход, что и раньше, нужно будет и производство увеличить на четверть, то есть добавить к сельскохозяйственному и промышленному «ополчению» не 25 — цифру, указывающую на пропорциональность отрасли перевозок, а 250. Но чтобы прийти к такому результату, нужно будет создавать машины, создавать, что еще хуже, людей: что бесконечно возвращает вопрос к одной и той же точке. Таким образом, противоречие на противоречии: это уже не просто работа, которая с использованием машины создает проблему человеку; это еще и человек, который своей количественной и потребительской недостаточностью создает проблему машинам: так что, пока не установится равновесие, существует одновременно и недостаток работы, и недостаток рабочих рук, и недостаток продуктов, и недостаток сбыта. И то, что мы говорим о железной дороге, верно для всех отраслей: всегда человек и машина следуют друг за другом, не давая ни первому прийти к покою, ни второму удовлетвориться.

Каким бы ни был прогресс механики, тогда, когда мы изобретаем машины в сто раз более изумительные, чем мул-дженни, ткацкий станок, пресс цилиндра; когда мы обнаруживаем силы в сто раз более мощные, чем пар: далеко от освобождения человечества, создания досуга и производства всего безвозмездного, мы только умножаем труд, провоцируем рост населения, увеличиваем рабство, делаем жизнь все дороже и выкапываем пропасть, которая отделяет класс, который командует и наслаждается, от класса, который подчиняется и страдает.

Давайте теперь предположим, что все эти трудности преодолены; давайте предположим, что рабочих, потерявших работу с появлением железной дороги, будет достаточно для исполнения услуг, которые требуются для поддержания мощности локомотива, компенсация осуществляется без разрывов, никто не пострадает; напротив, благосостояние каждого увеличится на долю прибыли, получаемой от железнодорожных перевозок. Кто тогда, спросят меня, препятствует тому, чтобы вещи происходили с такой регулярностью и определенностью? И что может быть проще для разумного правительства, чем управлять всеми переходными процессами в промышленности таким образом?

Я выдвинул эту гипотезу как можно глубже, чтобы показать, с одной стороны, цель, к которой движется человечество; с другой стороны, трудности, которые оно должно преодолеть, чтобы достичь этого. Конечно, провиденциальный порядок состоит в том, что прогресс, насколько это касается машин, достигается так, как я только что сказал: но то, что связывает прогресс общества и заставляет его переходить от Харибды к Сцилле, заключается именно в том, что оно не организовано. Мы достигли только второй фазы его эволюции и уже встретили на своем пути две пропасти, которые кажутся непреодолимыми, — разделение труда и машины. Как сделать так, чтобы рабочий в условиях разделенного труда, если он разумный чело-

век, не оглуплялся; а если он уже поглупел, возвратился бы к разумной жизни? Как, во-вторых, сформировать среди рабочих эту солидарность интересов, без которой промышленный прогресс измеряет свои шаги катастрофами, в то время как эти самые рабочие глубоко разделены трудом, заработной платой, разумом и свободой, то есть эгоизмом? Как, наконец, можно примирить то, что достигнутый прогресс сделал непримиримым? Обращение к сообществу и братству означало бы предвосхищать периоды: нет ничего общего, не может быть никакого братства между существами, такими, какими их сделало разделение труда и обслуживание машин. По крайней мере, на этой стороне мы не должны искать решения.

Ну ладно! — будет сказано, — так как зло заключается больше в разумах, чем в системе, давайте вернемся к обучению, давайте работать для просвещения людей.

Для того чтобы обучение принесло пользу, а также чтобы его можно было получить, прежде всего необходимо, чтобы учащийся был свободен — так же, как перед тем, как засеять землю, плуг избавляют от шипов и пырьев. Кроме того, лучшей системой образования, в том числе с точки зрения философии и морали, была бы система профессионального образования: иначе как возможно совместить образование с разделением труда и обслуживанием машин? Как человек, ставший в результате своего труда рабом, то есть предметом мебели, вещью, сможет возвратиться с помощью такого же труда, продолжением того же упражнения, личностью? Как можно не замечать, что эти идеи противоречивы, и что если пролетариат сможет достичь определенной степени развития, он сначала использует его, чтобы революционизировать общество и изменить все гражданские и промышленные отношения? И то, что я говорю, не является пустым преувеличением. Рабочий класс в Париже и в больших городах наполнен этими идеями уже лет двадцать пять; тогда скажите мне, что этот класс не является решительно, энергически революционным! И он будет становиться таким все более и более по мере того, как он обретает идеи справедливости и порядка, особенно когда он осознает механизм собственности.

Язык, — прошу разрешения вернуться еще раз к этимологии, — мне кажется, что язык ясно выразил моральное состояние рабочего после того, как он был, если позволено так сказать, обезличен промышленностью. На латыни идея рабства подразумевает идею подчинения человека вещам; и когда позже феодальный закон объявил крепостного *прикрепленным к земле*, он только перефразировал буквальное значение слова *servus*¹. Поэтому самопроизвольный разум, оракул неизбежности, приговорил

¹ Несмотря на самые рекомендуемые авторитеты, я не могу привыкнуть к мысли, что *serf*, на латинском языке *servus*, происходит от *servare*, сохранять, потому что раб был военнопленным, которого сохраняли для работы. Рабство, или, по крайней мере, прислуживание, безусловно, предшествовало войне, хотя и получило заметное увеличение. Кроме того, почему, если источником общей идеи было понятие вещи, вместо *serv-us* не сказать, в соответствии с грамматическим выводом, *serv-at-us*? Для меня истинная этимология обнаруживается в противостоянии *serv-are* и *serv-ire*, чья примитивная тема — *ser-o*, *in-ser-o*, приобщать, запирать, откуда *ser-ies*, присоединение, непрерывность; *ser-a*, фр. замок; *ser-tir*, закреплять и т. д. Все эти слова подразумевают представление о главном, которое состоит в присвоении аксессуара как объекта особой полезности. От *serv-ire*, бытия полезной вещью, вторичной по отношению к другому; *serv-are*, как мы говорим, сжимать, откладывать, назначать вещи ее полез-

подчиненного работника до того, как наука установила свою непригодность. Что могут после этого благотворительные усилия для существ, которых Провидение отвергло?

Труд — это воспитание нашей свободы. У древних было глубокое чувство этой истины, когда они отличали рабское искусство от свободного. Потому что какая профессия — такие идеи; какие идеи — такие манеры. Все в рабстве приобретает характер унижения — привычки, вкусы, склонности, чувства, удовольствия: в нем есть всеобщее ниспровержение. Позаботьтесь об образовании бедных классов! Но это означает создать в этих вырожденных душах самый отвратительный антагонизм; это означает вдохновить их идеями, которые сделают рабочих несовместимыми с грубостью их состояния, с удовольствиями, которые притупляют их чувства. Если бы такой проект мог быть успешным, то вместо того, чтобы сделать рабочего человеком, можно сделать его демоном. Пусть изучат эти физиономии, которые наполняют тюрьмы и каторги, и скажут мне, если большинство из них не принадлежат к тем субъектам, которые демонстрируют красоту, элегантность, богатство, благополучие, честь и науку, и все, что создает человеческое достоинство, что это слишком слабо в них, деморализовано, убито.

«По крайней мере, мы должны установить зарплаты, скажем, менее смелые, записать во всех отраслях тарифы, принятые хозяевами и рабочими».

Именно господин Фикс выдвигает эту гипотезу спасения. И он победоносно отвечает:

«Эти тарифы были сделаны в Англии и в других местах; мы знаем, чего они стоят: всюду их нарушали, как только принимали, и хозяева, и рабочие».

Причины нарушения тарифов легко понять: это машины, процессы и непрерывные комбинации промышленности. Тариф согласовывается в определенный момент времени: но внезапно появляется новое изобретение, которое дает его автору возможность снизить цену товара. Что будут делать другие предприниматели? они либо прекратят производство и уволят своих работников, либо предложат им сокращение. Это единственное, что они могут предпринять в ожидании, когда они, в свою очередь, обнаружат процесс, с помощью которого, не снижая ставки заработной платы, они смогут производить дешевле, чем их конкуренты, что будет

ность; *serv-us*, человек в руке, утилита, предмет мебели, наконец, служащий. Противоположностью *servus* является *dominus* (*dom-us*, *dom-anium*, и *dom-are*), то есть глава семьи, хозяин дома, тот, кто использует людей для своей пользы, *servat*, животные, *domat* и прочее, *possidet*. Независимо от того, были ли впоследствии военнопленные сохранены для рабства, *servati ad servitium* или, вернее, *serti ad glebam*, это вполне возможно: их примерное предназначение известно.

эквивалентно подавлению рабочих.

Г-н Леон Фоше, похоже, склонен к системе компенсации. Он говорит:

«Мы понимаем, что в любом интересе государство, представляющее общее желание, заставляет промышленность принести жертву». — Государство всегда должно ею руководить, пока оно предоставляет каждому свободу производить, а также сохраняет и защищает эту свободу от любых посягательств. — «Но это крайняя мера, опыт, который всегда опасен, и который должен сопровождаться всеми возможными заботами о людях. Государство не имеет права отнимать у класса граждан работу, от которой они живут, до того, как иным образом обеспечит их существование, или до того, как будет уверено, что они найдут в новой отрасли использование их интеллекта и рук. В цивилизованных странах действует принцип, согласно которому правительство не может завладеть, даже в интересах общества, конкретной собственностью, если только владелец не был заинтересован в справедливой и предварительной компенсации. И работа кажется нам собственностью столь же законной, такой же священной, как поле или дом, и мы не принимаем того, что она может быть экспроприрована без какой-либо компенсации...».

«Насколько мы считаем химерическими доктрины, которые представляют правительство как универсального поставщика работы в обществе, настолько же нам кажется справедливым и необходимым, чтобы любое перемещение рабочей силы, производимое во имя общественной пользы, осуществлялось бы только посредством компенсации или перехода, и что ни отдельные лица, ни классы не приносятся в жертву государства. У власти в хорошо организованных странах всегда есть время и деньги для смягчения таких ограниченных бедствий. И именно потому, что развитие промышленности исходит не от власти, потому что она рождается и развивается от свободного и индивидуального побуждения граждан, потому что правительство обязано, когда оно нарушает свой курс, предложить им вид возмещения или компенсации».

Вот золотые слова: г-н Леон Фоше требует, что бы он ни говорил, организации труда. Сделать так, чтобы *любое перемещение рабочей силы происходило только посредством компенсации или перехода, и чтобы людей и классы никогда не приносили в жертву интересам государства*, то есть прогрессу промышленности и свободе предприятий, высшему закону государства, — это, без сомнений, установить, что будущее воплотится в *поставщика работы в обществе* и хранителя заработной платы. И, как мы уже неоднократно говорили, промышленный прогресс и, следовательно, работа по деклассификации и реклассификации в обществе являются непрерывными, это не особый переход, который следует найти в случае внедрения какой-либо инновации, но на самом деле общий принцип, органический закон перехода, применимый ко всем возможным случаям и производящий эффект сам по себе. Способен ли г-н Леон Фоше сформулировать этот закон и примирить различные антагонизмы, которые мы описали? Нет, так как он предпочитает останавливаться на идее компенсации. *У власти*, говорит он, *в хорошо организованных странах всегда*

есть время и деньги, чтобы смягчить такие ограниченные бедствия. Прошу прощения у щедрых намерений г-на Фоше, но они кажутся мне совершенно неосуществимыми.

У власти есть время и деньги только на то, что она изымает у налогоплательщиков. Компенсация пониженным налогом деклассированных промышленников означала бы ostracism новых изобретений и внедрение коммунизма с помощью штыков, а не решение проблемы. Нет больше смысла обсуждать государственную компенсацию. Компенсация, применяемая в соответствии с мнением г-на Фоше, либо приведет к промышленному деспотизму, к чему-то вроде правительства Мехмета-Али, либо выльется в налог на бедных, то есть в бесполезную пародию. Во благо человечества лучше не компенсировать, а позволить труду самому искать себе организацию.

Есть те, кто говорит: пусть правительство занимается перемещением деклассированных (уволненных) работников до тех пор, пока не будет создано частное производство и отдельные компании не смогут решить это (принять их на работу). У нас есть горы (работы) по восстановлению леса, пять или шесть миллионов гектаров земли для расчистки, каналы, которые нужно выкопать, тысяча вещей, которые, в конечном итоге, пригодятся для немедленного и общего использования.

«Мы просим у читателей прощения, — отвечает г-н Фикс, — но здесь мы обязаны привлечь капитал. Эти районы, за исключением некоторых общих земель, являются необитаемыми, поскольку не эксплуатируются, они не будут производить никакого чистого продукта и, скорее всего, не смогут дать урожай культур. Эти земли принадлежат владельцам, у которых есть или у которых нет капитала для их эксплуатации. В первом случае владелец был бы весьма вероятно доволен, если бы он эксплуатировал эти земли с минимальной прибылью, и он, возможно, отказался бы от того, что называется арендной платой за землю: но он обнаруживает, что если предпримет посев этих культур, то потеряет свой основной капитал, и другие его расчеты показывают ему, что продажа продуктов не покроет затраты на выращивание культуры. Учитывая все обстоятельства, эта земля, следовательно, останется под паром (неиспользуемой), потому что вложенный в нее капитал не принесет никакой прибыли и будет потерян. Если бы это было иначе, все эти земли были бы немедленно обработаны; сбережения, которые сейчас вкладывают в другом направлении, обязательно пойдут в определенной степени на эксплуатацию территорий; потому что у капиталов нет привязанностей, у них есть интересы, и они всегда ищут самое безопасное и прибыльное применение».

Это вполне обоснованное рассуждение означает, что для Франции еще не настало время эксплуатировать ее пустыри, так же как для кафров и для готтентотов не наступило время железных дорог. Потому что, как было сказано в главе II, общество начинается с самых простых, безопасных, самых необходимых и наименее дорогостоящих операций: только постепенно оно подходит к цели — использовать вещи, которые являются относительно менее продуктивными. Поскольку человеческая раса мучается на своем земном шаре, у нее нет другого дела; она всегда

возвращается к одной и той же заботе: обеспечить свое пропитание в походе к открытию. Таким образом, чтобы расчистка территории, о которой говорят, не стала губительной спекуляцией, причиной нищеты, другими словами, чтобы это было возможно, нужно еще больше увеличить наш капитал и наши машины, открыть новые процессы, лучше разделить труд. Однако просить правительство предпринять такую инициативу — все равно, что поступать как крестьяне, которые, увидев приближающуюся бурю, начинают молиться Богу и призывать своего святого. Правительства, будет не лишним повторить, являются представителями Божества, я почти сказал, исполнителями небесной мести: они ничего не могут сделать для нас. Может ли, например, английское правительство, дать работу несчастным, которые укрываются в рабочих домах? А когда оно узнает о них, осмелится ли? *Помоги себе сам, и небеса помогут тебе!* этот акт народного недоверия к Богу также говорит нам, чего нам следует ожидать от власти... ничего.

Придя ко второму пункту нашего испытания, вместо того, чтобы предаться бесплодному созерцанию, давайте будем все более и более внимательными к учениям о судьбе. Залог нашей свободы находится в процессе нашей пытки.

Глава V. ЭПОХА ТРЕТЬЯ. КОНКУРЕНЦИЯ

Что будет с человечеством, находящимся между гидрой с сотней головок разделения труда и необузданным драконом машин? Пророк сказал это более двух тысяч лет назад: Сатана смотрит на свою жертву, и война вспыхивает, *Aspexit gentes, et dissolvit*. Чтобы защитить нас от двух бедствий, голода и чумы, Провидение посылает нам раздор.

Конкуренция представляет собой эту эпоху философии, где полуразум антиномий породил искусство софизма, признаки ложного и истинного сливаются, и где больше нет ничего, вместо доктрин, кроме безуспешного соревнования духа. Таким образом, промышленное движение точно воспроизводит метафизическое движение; история общественной экономики — полностью в трудах философов. Изучим этот интересный этап, чей наиболее ошеломляющий признак состоит в том, чтобы снять обвинение как с тех, кто верит, так и с тех, кто протестует.

§ I. Необходимость конкуренции

Г-н Луи Рейбо, романист по профессии, экономист по случаю, запатентованный Академией гуманитарных и политических наук для ее антиреформистских карикатур, со временем стал одним из писателей, наиболее антипатичных социальным идеям; тем не менее, г-н Луи Рейбо, что бы он ни делал, глубоко пронизан теми же самыми идеями: противостояние, которое он заставляет взрываться, находится ни в его сердце, ни в его разуме; оно существует на самом деле.

В первом издании своих *«Исследований современных реформаторов»* г-н Рейбо, взволнованный зрелищем общественных страданий, как и смелостью основателей этой школы, которые в сопровождении вспышки сентиментальности поверили в то, что они могут реформировать мир, формально выразил мнение, что то, что всплывало из всех их систем, было АССОЦИАЦИЕЙ. Г-н Дюнойе, один из знатоков г-на Рейбо, опроверг это утверждение, тем более лестным для г-на Рейбо образом, что форма (опровержения) была слегка ироничной:

«Г-н Рейбо, который изложил с такой тщательностью и талантом в книге, которой удостоилась Французская академия, пороки трех основных реформистских систем, поддерживает принцип, общий для них и служащий их основой, — принцип ассоциации. — Ассоциация в его глазах, заявляет он, *самая большая проблема современности*. Он говорит, что она призвана разрешить вопрос о распределении плодов труда. Если для решения этой проблемы власть ничего не может сделать, ассоциация *может все*. Г-н Рейбо говорит здесь как писатель-фаланстер...»

Г-н Рейбо немного продвинулся, как мы видим. Наделенный слишком большим здравым смыслом и доброй волей, чтобы не видеть пропасть, вскоре он почувствовал, что сбился с пути, и начал отступать. Я не ставлю ему в вину этот разворот: г-н Рейбо — один из тех, кто не несет несправедливой ответственности за свои метафоры. Он сказал, прежде чем подумать, он отказался: что может быть более естественным! Если социалисты и возьмутся за кого-то, это будет г-н Дюнойе, который спровоцировал отречение г-на Рейбо этим единственным комплиментом.

Г-н Дюнойе не преминул заметить, что его слова попали не в закрытые уши. Он говорит нам, во славу добрых принципов, что «во втором издании “Исследований современных реформаторов” сам г-н Рейбо смягчил то, что в его выражениях могло звучать как абсолютное. Он сказал, вместо “может все”, “может многое”».

Это было важное изменение, как на это указал г-н Дюнойе, но которое все же

позволяло г-ну Рейбо одновременно написать: «Эти симптомы серьезны; мы можем рассматривать их как прогнозы неясной организации, в которой работа будет стремиться к равновесию и регулярности, которых ей не хватает... В основе всех этих усилий скрывается принцип, ассоциация, которую было бы неправильно осуждать за неравномерные проявления».

Наконец, г-н Рейбо объявил себя решительным сторонником конкуренции, а это значит, что он решительно отказался от принципа ассоциации. Ибо если под ассоциацией мы должны понимать только те формы общества, которые определяются кодексом правил торговли, и из которых г-да Троплон и Делангл сформировали для нас краткую философию, то больше не стоит отличать социалистов от экономистов, — партию, которая ищет ассоциацию, и партию, которая утверждает, что ассоциация существует.

Не стоит представлять себе, — потому что г-ну Рейбо пришло в голову опрометчиво сказать «да» и «нет» по вопросу, о котором он, кажется, еще не имел ясного представления, — что я причисляю его к этим спекулянтам социализма, которые, запустив в мир мистификацию, начинают тотчас отступать под предлогом того, что поскольку идея находится в общественном достоянии, они могут только позволить ей следовать по ее пути. Г-н Рейбо, на мой взгляд, относится скорее к категории простофиль, которая насчитывает в своем составе много порядочных и разумных людей. Поэтому в моих глазах г-н Рейбо останется «*vir probus dicendi peritus*» — добросовестным и толковым писателем, который вполне может удивляться, но никогда не выражает ничего, кроме того, что он видит и что испытывает. Кроме того, г-н Рейбо, однажды обосновавшись на почве экономических идей, тем не менее мог согласиться с самим собой, поскольку у него было больше ясности в уме и правильности в рассуждениях. Я проведу этот любопытный опыт на глазах у читателя.

Если бы я мог быть услышанным г-м Рейбо, я бы сказал ему: встав на сторону конкуренции, вы ошибетесь; встав на сторону тех, кто против конкуренции, вы тем более ошибетесь: это значит, что вы всегда правы. После этого, если, убедившись в том, что вы не просчитались ни в первом издании своей книги, ни в четвертом, и вам удастся сформулировать свои чувства в понятной форме, я буду считать вас экономистом, таким же гениальным, как Тюрго и А. Смит; но я предупреждаю вас, что тогда вы будете походить на второго из них, которого вы знаете, без сомнения, мало, и вы будете эгалитаристом! Принимаете пари?

Чтобы лучше подготовить г-на Рейбо к такому примирению с самим собой, давайте сначала покажем ему, что эта шаткость суждения, которой любой другой на моем месте упрекал бы его с оскорбительной колкостью, является предательством, исходящим не от самого писателя, но от фактов, которые он взялся интерпретировать.

В марте 1844 года г-н Рейбо опубликовал статью о масличных культурах — по теме, которая интересовала город Марсель, его родину, статью, в которой он

решительно высказался за свободную конкуренцию и кунжутное масло¹. Согласно исследованиям, проведенным автором и кажущимися достоверными, кунжут давал от 45 до 46 процентов масла, тогда как другая культура² и рапс дают только от 25 до 30 процентов, а оливковое (масло) только от 20 до 22. По этой причине кунжут вызывал недовольство у производителей Севера, которые послали запрос, но получили запрет. Тем не менее, англичане находятся в готовности захватить эту бесценную отрасль торговли. Пусть запретят семечки, говорит г-н Рейбо, масло вернется к нам в смешанном виде, в мыле или любым другим способом: мы потеряли производственную прибыль. Кроме того, интерес нашего флота требует, чтобы эта торговля была защищена; речь идет минимум о 40,000 тонн семян, что подразумевает объем перевозок из 300 судов и 3000 моряков.

Эти факты убедительны: 45 процентов масла вместо 25; более высокое качество, чем во всей Франции; снижение цены на основной продукт питания; экономия для потребителей, 300 судов, 3000 моряков: вот что нам сулила свобода торговли. Следовательно, да здравствует конкуренция и кунжут!

Затем, чтобы лучше обосновать эти блестящие результаты, г-н Рейбо, руководствуясь своим патриотизмом и следуя прямо за своей идеей, отмечает очень разумно, по нашему мнению, что правительство отныне должно будет воздерживаться от любого договора о взаимности в перевозках: он просит, чтобы французский флот осуществлял как импорт, так и экспорт французской торговли. «То, что мы называем взаимностью, — говорит он, — является чистой фикцией, в которой преимущество остается тем, кому навигация обходится дешевле. Однако поскольку во Франции такие элементы кораблеводства, как покупка судна, заработная плата экипажей, расходы на вооружение и снабжение повышаются до слишком большого размера и превышают таковой в других морских странах, из этого следует, что любой договор о взаимности является для нас договором об отречении, и что вместо того, чтобы соглашаться на акт взаимного соответствия, мы сознательно или невольно смиряемся с жертвой». — Здесь г-н Рейбо подчеркивает катастрофические последствия взаимности: «Франция потребляет 500,000 тюков хлопка, и именно американцы доставляют их к нашим причалам; она использует огромное количество угля, и это англичане доставляют его; шведы и норвежцы доставляют нам свои металлы и лес; голландцы — их сыры; русские — их коноплю и пшеницу; гинуэзцы — их рис; испанцы — их масла; сицилийцы — их серу; греки и армяне — все продовольствие

¹ Прудон, как мы это отмечали в предваряющем эту его работу Комментарии, подчас выстраивает синонимические ряды из несовместимых понятий, то есть, говоря научным языком, осуществляет синтаксическое оформление семантически неоднородных элементов в виде ряда однородных членов предложения, вроде примера, бытовавшего в российских лингвистических вузах в XX—XXI вв., — «шел дождь и два студента»: часто он делает это, не сознавая такой своей ошибки, в иных случаях — намеренно, с сарказмом в отношении к тем или к тому, о ком или о чем он высказывается — А.А. А-О.

² L'œil-lette, фр. — точный перевод не обнаружен. Если дословно, то l'œil — глаз, lette — латышский. Очевидно, это одна из известных, по крайней мере, в прошлом, европейским сельхозпроизводителям культур, возможно гвоздика. — А.А. А-О.

Средиземноморья и Черного моря».

Очевидно, такое положение дел недопустимо, потому что оно делает наш торговый флот бесполезным. Так что давайте поторопимся вернуться в морской цех, в котором низкая цена на зарубежные перевозки стремится нас исключить. Закроем наши порты для иностранных судов или, по крайней мере, ударим по ним высокой ценой. Итак, долой конкуренцию и соперничающие суда!

Начинает ли г-н Рейбо понимать, что его экономико-социалистические колебания гораздо более невинны, чем он мог подумать? Как он должен быть мне благодарен за то, что я успокоил его совесть, вероятно, встревоженную!

Взаимность, на которую так горько жалуется г-н Рейбо, является лишь одной из форм коммерческой свободы. Сделайте свободу транзакций полной и целой, и наш флаг будет изгнан с поверхности морей, как наша нефть — с континента. Таким образом, мы будем платить больше за нашу нефть, если будем настаивать на ее производстве, больше за наше колониальное продовольствие, если хотим производить его с помощью машин. Чтобы добиться лучшей цены, нужно, отказавшись от наших масел, отказаться от нашего флота: тогда стоит сразу же отказаться от нашего сукна, нашего холста, нашего ситца, наших металлов; затем, поскольку изолированная промышленность стоит дороже, следует отказаться от наших вин, нашей пшеницы, наших кормов! Какую бы сторону вы ни выбрали, преимущество или свободу, вы придете к невозможному, к абсурду.

Без сомнения, договорной принцип существует; но если это не самый совершенный деспотизм, этот принцип должен исходить из закона, превосходящего саму свободу: это тот закон, который еще никто не определил и который я требую от экономистов, если они действительно воплощают науку. Ибо я не могу считать ученым того, кто с лучшей верой и со всем разумом мира проповедует по очереди, в пятнадцати направлениях, о свободе и монополии.

Разве не очевидно, с очевидностью непосредственной и интуитивной, что КОНКУРЕНЦИЯ РАЗРУШАЕТ КОНКУРЕНЦИЮ?

Есть ли в геометрии более определенная, более императивная теорема, чем эта? Как же тогда, при каких условиях, в каком смысле принцип, являющийся отрицанием самого себя, может войти в науку? как это может стать органическим законом общества? Если конкуренция необходима, если, как говорит школа, это постулат производства, как он становится таким разрушительным? И если его самый определенный эффект состоит в том, чтобы потерять то, что он приводит в движение, как это может стать полезным? Потому что последующие *издержки*, как и польза, которую он приносит, не являются случайностями, исходящими от действий человека: они логически вытекают, одно за другим, и существуют под

одним названием лицом к лицу...

Для начала, конкуренция так же важна для труда, как и его разделение, поскольку само разделение возвращается в другой форме или, скорее, возводится во вторую степень; разделение, говорю я, уже не такое, как в первую эпоху экономического развития, адекватное коллективной силе, следовательно, поглощающее личность рабочего в цеху, но рождающее свободу, делая каждое подразделение труда суверенитетом, в котором человек проявляет свою силу и независимость. Словом, конкуренция — это свобода в разделении и во всех разделенных частях: начиная с самых всесторонних функций, она имеет тенденцию реализовываться даже при низком уровне фрагментарной работы.

Здесь коммунисты возражают. Нужно, говорят они, всегда отличать употребление от злоупотребления. Есть конкуренция полезная, честная, моральная, конкуренция, которая расширяет сердце и мысль, благородная и бескорыстная конкуренция, это соперничество; и почему же такое соперничество не должно иметь своей целью всеобщее благо?... Есть другая конкуренция, роковая, безнравственная, внеобщественная; конкуренция ревнивая, которая ненавидит и убивает, — это эгоизм.

Так говорит сообщество; так выразилась примерно год назад во исполнение своей функции общественного вероисповедания газета *La Réforme*.

Какое бы отвращение, которое я испытываю, я ни противопоставлял людям, чьи идеи в основном мои, я не могу согласиться с такой диалектикой. *La Réforme*, рассчитывая примирить все с помощью различия, более грамматического, чем реального, достигла, не подозревая об этом, середины, то есть худшего вида дипломатии. Ее аргументация в точности совпадает с аргументацией г-на Росси в отношении разделения труда: она состоит в том, чтобы противопоставить друг другу конкуренцию и мораль, чтобы ограничить одну другой, — так же, как г-н Росси пытался остановить и ограничивать моралью экономические стимулы, вырезая здесь, выкраивая там, в соответствии с потребностями и происшествиями. Я опроверг господина Росси, задав ему простой вопрос: как может быть, чтобы наука не соглашалась сама с собой, наука о богатстве с наукой о долге? Так же я спрашиваю у коммунистов: как может принцип, развитие которого является очевидно полезным, быть одновременно вредным?

Говорят: соревнование — это не конкуренция. Прежде всего я замечая, что это предполагаемое различие относится только к отклонениям того принципа, который привел к убеждению, что существуют два принципа, из которых он состоял. Соревнование — то же самое, что конкуренция; и поскольку мы погружаемся в абстракции, я охотно сделаю это. Нет соревнования без цели, как нет страстного развития без объекта; и так же, как объект любой страсти обязательно аналогичен самой страсти, женщина — любовнику, власть — честолюбивому, золото — скряге, венок — поэту, так объектом промышленного соревнования обязательно является

прибыль.

Нет, продолжает коммунист, объектом соревнования рабочего должна быть общая польза, братство, любовь.

Но само общество, поскольку вместо того, чтобы останавливаться на конкретном человеке, о котором мы сейчас говорим, мы хотим иметь дело только с коллективным человеком, общество, я говорю: работает только ради богатства; благополучие, счастье — его уникальный объект. Как же тогда получается что то, что верно для общества, не верно для индивидуума, поскольку в конце концов общество — есть человек, поскольку все человечество живет в каждом человеке? Как заменить непосредственный объект соревнования, которым в промышленности является личное благосостояние, этот отдаленный и почти метафизический мотив, который называется общим благосостоянием, особенно когда этого не происходит одно без другого, не может быть результатом только одного?

Нет соревнования без цели, как нет страстного развития без объекта; и так же, как объект любой страсти обязательно аналогичен самой страсти, женщина — любовнику, власть — честолюбивому, золото — скряге, венок — поэту, так объектом промышленного соревнования обязательно является прибыль

Коммунисты в целом создают себе странную иллюзию: фанатики власти — это их главная движущая сила, а в данном конкретном случае — коллективное богатство, которое, как они утверждают, порождает в обратном порядке благополучие рабочего, создавшего это богатство: как будто индивидуум существует после общества, а не общество — после него. Кроме того, это не единственный случай, когда мы наблюдаем социалистов, невольно выступающих в традициях режима, против которого они протестуют.

Но на чем настаивать? Как только коммунист меняет названия вещей, *vera rerum vocabula*, он безоговорочно признает свою беспомощность и остается в стороне. Вот почему я скажу в качестве единственного ответа: отрицая конкуренцию, вы отказываетесь от тезиса; теперь вы больше не участвуете в обсуждении. В другой раз мы будем искать, в какой степени человек должен жертвовать собой на благо всех: на данный момент речь идет о решении проблемы конкуренции, то есть о том, чтобы примирить высочайшее удовлетворение эгоизма с общественными потребностями; простите нас за вашу мораль.

Конкуренция необходима для создания стоимости, то есть для самого принципа распределения и, следовательно, для достижения равенства. Пока продукт представлен только одним и уникальным производителем, его реальная стоимость остается тайной, либо сокрытием со стороны производителя, либо небрежностью или неспособностью довести себестоимость до предела. Таким образом, привилегия производства является реальной потерей для общества; а промышленная реклама, как и конкуренция работников — потребностью. Все мыслимые и немыслимые

утопии не могут исключить действия этого закона.

Конечно, я не стараюсь отрицать, что труд и заработная плата не могут и не должны быть гарантированы; у меня даже есть надежда, что эра этой гарантии не далека: но я утверждаю, что гарантия заработной платы невозможна без точного знания стоимости, и что эта стоимость может быть обнаружена только путем конкуренции, а не коммунистическими институтами или народным указом. Потому что здесь есть нечто более могущественное, чем воля законодателя и граждан: это абсолютная невозможность для человека выполнить свой долг, как только он освободится от ответственности перед самим собой: однако ответственность перед самим собой, когда речь идет о работе, обязательно подразумевает конкуренцию в отношении к другим. Прикажите, чтобы с 1 января 1847 года работа и заработная плата были гарантированы всем: немедленно громадная остановка заменит кипучую деятельность промышленности; фактическая стоимость быстро упадет ниже номинальной; металлические деньги, невзирая на их изображение и печать, подвергнут испытаниям ассигнации; продавец запросит большее, чтобы поставить меньшее; и мы окажемся в нижнем кругу нищенского ада, в котором конкуренция находится лишь на третьем месте.

Когда я признаю вместе с некоторыми социалистами, что однажды привлекательность труда может послужить пищей для соревнования без мотивации на прибыль, какая польза может быть от этой утопии в фазе, которую мы изучаем? Мы все еще находимся только в третьей эпохе экономического развития, в третьем возрасте организации труда, то есть в период, когда невозможно, чтобы труд был привлекательным. Потому что привлекательность труда может быть только результатом высокого физического, морального и интеллектуального развития работника. Итак, само это развитие, это воспитание человечества промышленностью, — как раз та цель, которую мы преследуем через противоречия социальной экономики. Как же тогда привлекательность труда может служить нам принципом и рычагом, когда она для нас все еще цель и конец?

Но хотя несомненно, что труд как высшее проявление жизни, разума и свободы несет в себе свою привлекательность, я отрицаю, что эта привлекательность когда-либо может быть полностью отделена от мотивов полезности, начиная с эгоистических; я отрицаю, говорю я, труд во имя труда, так же, как я отрицаю стиль для стиля, любовь для любви, искусство для искусства. Стиль для стиля произвел в наши дни облегченную литературу, импровизацию без идей; любовь для любви ведет к педерастии, онанизму и проституции; искусство для искусства заканчивается китайскими поделками, карикатурой, культом безобразного. Когда человек ищет в труде только удовольствие от упражнений, вскоре он перестает работать, он играет. История полна фактов, которые свидетельствуют об этой деградации. Игры Греции, истмийские³, олимпийские, пифские, немейские, упражнения общества,

³ Название происходит от *L'isthme de Corinthe* (фр.) — Коринфского перешейка. Во время этих игр Фламиний провозгласил независимость Греции в 196 г. до н. э., освобожденной Филиппом V из

которое производило все с помощью рабов; жизнь спартанцев и древних критян; гимназии, палестры, ипподромы и волнения агоры у афинян; занятия, которые Платон назначает воинам в своей республике и которые лишь воплощают вкусы его века; наконец, в нашем феодальном обществе соревнования и турниры: все эти изобретения, а также многие другие, которые я молча пропускаю, — от игры в шахматы, изобретенной, говорят, во время осады Трои Паламедом, до карт, проиллюстрированных для Карла VI Грингоннером, — примеры того, во что превращается труд, как только исключают мотив извлечения пользы. Труд, реальный труд, который производит богатство и дает науку, слишком нуждается в порядке, настойчивости и жертвенности, чтобы долгое время быть товарищем для страсти, дезертиром по своей природе, переменчивым и сбитым с толку; это что-то слишком высокое, слишком идеальное, слишком философское, чтобы стать исключительно удовольствием и наслаждением, то есть мистикой и чувством. Способность работника, которая отличает человека от скота, происходит из глубин разума: как бы это стало в нас простым проявлением жизни, сладострастным актом нашей чувствительности?

Что, если бы сейчас броситься в гипотезу трансформации нашей природы без исторических предшественников, о которой до сегодняшнего дня ничего бы не говорилось: это лишь невразумительная мечта тех, кто ее защищает, — изменение порядка прогресса, опровержение самых определенных законов экономической науки; в любом случае я исключаю ее из обсуждения.

Давайте оставаться в фактах, поскольку лишь факты имеют значение и могут служить нам. Французская революция была совершена как во имя промышленной свободы, так и во имя свободы политической: и то, что Франция в 1789 г. не получила всех последствий принципа, реализации которого она требовала, скажем так, она не обманулась ни в своих желаниях, ни в своих ожиданиях. Любой, кто попытается отрицать это, потеряет в моих глазах право на критику: я никогда не буду оспаривать противника, который в принципе излагал бы спонтанную ошибку двадцати пяти миллионов человек.

В конце восемнадцатого века Франция, уставшая от привилегий, хотела любой ценой стряхнуть оцепенение своих корпораций и поднять достоинство рабочего, дав ему свободу. Повсюду необходимо было эмансипировать труд, стимулировать инженерное дело, возлагать ответственность на промышленность, вызывая тысячу конкурентов и заставляя платить за последствия ее слабости, невежества и недобросовестности. До 1789 г. Франция была готова к переходу; это был Тюрго, который обрел славу управления первым переходом.

Почему тогда, если конкуренция не была принципом социальной экономики,

Македонии. Одна из великих древнегреческих игр, посвященная Посейдону, в состав которой входили Олимпийские игры, Пифийские игры и Немейские игры. — А.А. А-О.

указанием судьбы, необходимостью человеческой души, почему вместо того, чтобы *упразднить* корпорации, владения и юрисдикции, не подумали сначала о том, чтобы все *исправить*? Почему бы вместо революции не довольствоваться реформой? Зачем это отрицание, если модификации может быть достаточно? Тем более что эта партия полностью соответствовала консервативным идеям, разделяемым буржуазией. Пусть коммунизм, как и эта квазисоциалистическая демократия, которые на основе конкуренции представляют, сами того не подозревая, систему среднего уровня, контрреволюционную идею, объяснят мне это единодушные нации, если могут!

Добавьте, что событие подтверждает теорию. Начиная с министерства (кабинета) Тюрго, в нации проявлялся рост активности и благосостояния. Таким образом, испытание оказалось настолько решающим, что получило поддержку всех законодательных органов: свобода промышленности и торговли включена в наши конституции так же, как и политическая свобода. Именно этой свободе в конечном итоге Франция в течение шестидесяти лет обязана росту своего богатства...

Исходя из этого важного факта, который таким победоносным образом устанавливает необходимость конкуренции, я прошу разрешения процитировать трех или четырех других, которые, с гораздо меньшей общностью, лучше выделяют влияние принципа, который я защищаю.

Почему у нас такое отсталое сельское хозяйство? Почему рутина и варварство все еще витают в таком большом количестве районов над этим важным направлением труда нации? Среди многих причин, которые можно отметить, я вижу, в первую очередь, дефект конкуренции. Крестьяне отхватывают куски земли: они конкурируют у нотариуса; в полях — нет. И попробуйте поговорить с ними о соревновании, общественном благе, как вы их поразите! — Пусть король, говорят они, король (для них король — синоним общественного благосостояния), пусть король занимается своими делами, а мы — своими! Вот их философия и их патриотизм. Ах! если бы король мог предоставить для них конкурентов! К сожалению, это невозможно. В то время, как в промышленности конкуренция проистекает из свободы и собственности, в сельском хозяйстве свобода и собственность являются непосредственным препятствием для конкуренции. Крестьянин, которому платят не в соответствии с его трудом и умом, а в зависимости от качества земли и благорасположения Бога, думает, в процессе обработки земли, только о том, как бы платить наименьшую заработную плату и делать насколько можно меньшие вложения. Стремясь всегда найти сбыт своим продуктам, он больше озабочен снижением затрат, чем улучшением почвы и качеством продуктов. Он сеет, а Провидение делает все остальное. Единственный вид конкуренции, который известен сельскохозяйственному классу, — это аренда; и нельзя отрицать, что во Франции и, например, в Босе, это принесло полезные результаты. Но так как принцип этого соревнования, так сказать, только вторичный, так как он не исходит непосредственно от свободы и собственности фермеров, эта конкуренция исчезает с причиной, которая ее производит, настолько, что для того, чтобы определить спад сельского хозяйства во многих районах или, по крайней мере, остановить его развитие, было бы достаточно, вероятно, сделать фермеров

владельцами...

Другая отрасль коллективного труда, которая в последние годы вызвала бурные дискуссии, — это то, что касается общественных сооружений. «Чтобы руководить строительством дороги, — очень верно говорит г-н Дюнойе, — сапер и форейтор вероятно подошли бы лучше, чем инженер, только что вышедший из школы мостов-и-дорог». Ни у кого не было возможности проверить правильность этого замечания.

На одной из наших самых красивых рек, известных важностью своего судоходства, должен был быть построен мост. С самого начала работ окрестные жители реки заметили, что арки будут слишком низкими, чтобы суда могли циркулировать во время наводнения: они сообщили о своем наблюдении инженеру, отвечавшему за работы. *Мосты*, ответил он с высокомерием, *созданы для тех, кто проходит над ними, а не для тех, кто проходит под ними*. Выражение, ставшее поговоркой в стране. Но поскольку невозможно, чтобы глупость продолжалась бесконечно, правительство почувствовало необходимость вернуть к работе своего агента, и к моменту, как я это написал, арки моста были подняты. Считается ли, что если бы торговцы, заинтересованные в водном маршруте, отвечали за предприятие на свой страх и риск, выигрывали бы дважды? Мы собрали бы книгу шедевров того же рода, который производит молодежь, обученная строительству мостов-и-дорог, которая, едва выйдя из школы, становится несменяемой, не стимулируемой конкуренцией.

В качестве доказательства промышленного потенциала государства и, следовательно, возможности повсеместной отмены конкуренции приводят управление производством табака. — Там, говорят, ни сложностей, ни судебных процессов, ни банкротств, ни нищеты. Рабочие, удовлетворительно оплачиваемые, образованные, наставленные, высокоморальные, с гарантированной пенсией, образованной их сбережениями, находятся в несравнимо лучшем состоянии, чем подавляющее большинство работников, занятых в другой промышленности.

Все это может быть правдой: что касается меня, я не знаю. Я ничего не знаю о том, что происходит в управлении табачным производством; я не получал информации ни от директоров, ни от рабочих, и мне она не нужна. Сколько стоит табак, проданный администрацией (табачного производства)? Сколько он стоит? Вы можете ответить на первый из этих вопросов: все, что вам нужно сделать, это пойти в главный офис. Но вы не можете сказать мне ничего о втором, потому что у вас нет условия сравнения, потому что вам запрещены контрольные проверки авансовой себестоимости, и, следовательно, нет возможности их принять. Поэтому табачное предприятие, созданное как монополия, обязательно стоит обществу больше, чем приносит; это отрасль, которая вместо того, чтобы существовать от своего собственного продукта, живет за счет дотаций; которая, следовательно, будучи далекой от того, чтобы служить для нас моделью, является одним из первых

злоупотреблений, которые должны нанести удар по реформе.

И когда я говорю о реформе, которая будет проведена в табачном производстве, я принимаю во внимание не только огромный налог, который в три или четыре раза увеличит стоимость этого продукта; ни иерархическая организация ее работников, которая делает одних за счет их зарплат аристократами — такими же дорогими, как и бесполезными, а других — безнадежными наемниками, навсегда оставленными в подчиненном положении. Я больше не говорю о привилегиях офисных работников и всего этого мира паразитов, который они заставляют жить: я имею в виду прежде всего полезный труд, труд рабочих. Потому что единственное, в чем административный работник вне конкуренции, — это в том, что он не заинтересован ни в прибыли, ни в убытке, что он не свободен, одним словом, его производительность обязательно меньше, его услуги слишком дороги. Пусть скажут после этого, что правительство хорошо обращается со своими работниками, заботится об их благополучии: где это чудо? Как можно не видеть, что именно свобода несет бремя привилегий и что если, в качестве невозможного, обо всех отраслях промышленности будут заботиться так же, как о табачной, источник дотаций истощится, страна больше не сможет балансировать доходы и расходы, а государство обанкротится?

Импортные товары. — Я цитирую свидетельство ученого, чуждого политической экономии, г-н Либиха. «Раньше Франция импортировала из Испании ежегодно соды на сумму от 20 до 30 миллионов франков; потому что сода из Испании была лучшей. На протяжении всей войны с Англией цены на соду и, следовательно, на мыло и стекло безостановочно росли. Поэтому французские производства значительно пострадали от такого положения дел. Именно тогда Леблан открыл способ извлечения соды из поваренной соли. Этот процесс стал для Франции источником богатств: производство соды получило необычайное расширение; но ни Леблан, ни Наполеон не воспользовались преимуществом изобретения. Реставрация, которая извлекла выгоду из гнева населения против автора континентальной блокады, отказалась исполнить долг императора, чьи обещания спровоцировали открытие Леблана...»

«Когда несколько лет назад король Неаполя предпринял преобразование в монополию торговлю серой на Сицилии, Англия, которая потребляет огромное количество этой серы, предупредила о возможности объявления войны королю Неаполя, если монополия будет поддержана. В то время, как два правительства обменивались дипломатическими нотами, в Англии было получено пятнадцать патентов на изобретения по извлечению серной кислоты из гипсов, железных пиритов и других минеральных веществ, которыми изобилует Англия. Но, поскольку дело с королем Неаполя было улажено, внедрение не состоялось: оставалось лишь понимание, что в соответствии с проведенными испытаниями за новыми процессами извлечения серной кислоты последовал бы успех: что, возможно, уничтожило бы торговлю, которую Сицилия сделала с этой серой».

Уберите войну с Англией, уберите фантазию о монополии короля Неаполя, и долгое

время во Франции никто бы не подумал добывать соду из морской соли; в Англии — извлекать серную кислоту из горного гипса и пирита, в которых она содержится. Тем не менее, это именно действие конкуренции в промышленности. Человек выходит из своей лени только тогда, когда нужда заставляет его; и самый верный способ погасить в нем интеллект — избавить его от всяких забот, отобрать у него соблазн прибыли и вытекающую из этого социальную разницу, создав вокруг него *мир во всем мире, мир всегда*, и перенести на плечи государства ответственность за его инертность.

Да, нужно это сказать, несмотря на современный квиетизм (Течение в католицизме. — А.А. А-О.): жизнь человека — это постоянная война, война с потребностями, война с природой, война с себе подобными, следовательно — война с самим собой. Теория мирового равенства, основанная на братстве и самопожертвовании, является лишь подделкой католической доктрины об отказе от благ и удовольствий этого мира, принцип подлога, панегирик нищете. Человек может любить себе подобного до самой смерти; он любит его, пока не нужно работать на этого ближнего.

К теории самопожертвования, которую мы только что опровергли по факту и по закону, противники конкуренции подставляют другую, прямо противоположную первой: поскольку законом разума является его стремление игнорировать истину, которая является точкой его равновесия, он колеблется между двумя противоречиями. Эта новая теория антиконкурентного социализма — теория поощрения.

Что может быть более общественно полезным, более прогрессивным по внешнему виду, чем поощрение труда и промышленности? Нет демократа, который не делает его одним из самых прекрасных атрибутов власти; нет утописта, который не считает его на передовой среди средств организации счастья. Однако правительство по своей природе настолько не способно руководить работой, что любое вознаграждение, которое оно предоставляет, является настоящей мелкой кражей из общей кассы. Г-н Рейбо предоставит нам текст этого обобщения.

«Премии, выделяемые для поощрения экспорта, наблюдает где-то г-н Рейбо, эквивалентны уплате пошлин за импорт сырья; выгода остается абсолютно нулевой и служит лишь стимулом для обширной системы контрабанды».

Этот результат неизбежен. Исключите вступительный налог — национальная промышленность пострадает, как мы видели ранее в случае с кунжутом; поддержите налог, не предоставляя никакой премии для экспорта, — внутренняя торговля будет побеждена на внешних рынках. Чтобы избежать этой неприятности, вы вернетесь к премии? Вы лишь вернете одной рукой то, что отдали другой, и вы спровоцируете мошенничество, последний результат, *caput mortuum* (Дословно переводится как «мертвая голова» (лат.); в данном контексте, скорее, означает «окончательная капитуляция». — А.А. А-О.) всей поддержки отрасли. Из этого следует, что любое поощрение работы, любая компенсация, выделяемая отрасли, кроме естественной цены продукта, является бесплатным подарком, взяткой, отобранной

у потребителя и предложенной от его имени фавориту власти в обмен на ноль, ни за что. Поощрение отрасли, таким образом, является синонимом поощрения лени: это одна из форм мошенничества. В интересах нашего военно-морского флота правительство полагало, что оно должно дать подрядчикам-перевозчикам премию (бонус) за человека, занятого на их судах. Однако я продолжаю цитировать господина Рейбо. «Каждое судно, которое отправляется в Ньюфаундленд, принимает на борт от 60 до 70 человек. Из этого числа 12 матросов: остальные — жители деревни, оторванные от сезонных работ, которые, будучи нанятыми в качестве поденщиков для приготовления рыбы, остаются чужими в управлении, от моряков у них лишь ноги и желудок. Однако эти люди появляются в судовой роли⁴, где узаконивают обман. Когда дело доходит до защиты института премий (бонусов), их выставляют для учета, они увеличивают численность и способствуют успеху».

Это отвратительное жонглирование! воскликнут, несомненно, некоторые наивные реформаторы. Ладно: проанализируем факт и попытаемся извлечь отсюда общую идею, которая здесь находится.

В принципе, единственный стимул для труда, который может принять наука, — это прибыль. Ибо, если труд не может найти в своем собственном продукте свое вознаграждение, то к тому, что он не стимулируется, от него следует отказаться как можно скорее, и если за этим трудом следует чистый продукт, то абсурдно добавлять бесплатный подарок в этот чистый продукт, тем самым переоценивая стоимость услуги. Применяя этот принцип, я говорю: если служба торгового флота требует только 10,000 матросов, то не следует заставлять ее содержать 15,000; самое простое для правительства — отправить на борт 5,000 призывников на государственные корабли и заставить их составить, как принцев, свои караваны. О чем я говорю? Любое поощрение торгового флота — это прямое приглашение к мошенничеству. Предложение зарплаты за невозможную услугу. Учитывают ли управление (судном), дисциплина, все условия морской торговли эти добавления бесполезного персонала? Что может сделать судовладелец перед лицом правительства, которое предлагает ему непредвиденную возможность захватить на борт людей, в которых он не нуждается? Если министр выбрасывает на улицу сокровища, я виноват в том, что забираю их?... Таким образом, кое-что заслуживает внимания, теория поощрения происходит непосредственно из теории жертвы; и чтобы не желать, чтобы человек был ответственным, противники конкуренции из-за фатального противоречия их идей вынуждены делать человека иногда божеством, иногда животным. И тогда они удивляются, что общество не откликается на их призыв! Бедные дети! люди никогда не будут лучше или хуже, чем вы их видите, и какими они будут всегда. Как только их привлекают особые блага, они оставляют беспокойство об общем благе: в этом я нахожу их если не честными, то хотя бы достойными оправдания. Это ваша вина, что иногда вы требуете от них большего, чем они должны вам, а иногда вы возбуждаете

⁴ Судовая роль — морской термин, означающий документ, в котором фиксируется состав команды и пассажиров на судне. — А.А. А-О.

их жадность наградами, которых они не заслуживают. У человека нет ничего более ценного, чем он сам, и поэтому нет другого закона, кроме его ответственности. Теория самопожертвования, как и теория наград, является теорией мошенников, извращающей общество и мораль; и только поэтому вы ожидаете от жертв или привилегий поддержания порядка, вы создаете в обществе новый антагонизм. Вместо того, чтобы создавать гармонию свободной деятельности людей, вы делаете человека и государство чужим друг другу; командуя союзом, вы вызываете раздор.

Таким образом, вне конкуренции остается только эта альтернатива: поощрение, обман; или жертва, лицемерие.

Таким образом, конкуренция, анализируемая в своем принципе, является источником справедливости; и все же мы увидим, что конкуренция в ее результатах несправедлива.

§ II. Подрывные эффекты конкуренции и разрушение с ее помощью свободы

Царствие небесное силою берется, — сказано в Евангелии, — и употребляющие усилие восхищают его (Мф. 11:12,13.). Эти слова являются аллегорией общества. В обществе, где правит труд, достоинство, богатство и слава находятся в состоянии конкуренции; они — награда сильных, и можно определить конкуренцию, режим силы. Экономисты прошлого первыми не увидели этого противоречия: современные люди были вынуждены его признать.

«Чтобы поднять государство от последней степени варварства до высшей степени великолепия, — писал А. Смит, — достаточно трех вещей: мир, умеренные налоги и администрация, приверженная правосудию. Все остальное обусловлено естественным ходом вещей».

По поводу чего последний переводчик Смита, г-н Бланки, бросил этот мрачный отрывок: «Мы видели, как естественный ход вещей приводит к разрушительным последствиям и создает анархию в производстве, войну за рынки сбыта и разбой в конкуренции. Разделение труда и совершенствование машин, которые должны были обеспечить большому семейству рабочих человеческого рода завоевание некоторого досуга в интересах их достоинства, породили в ряде пунктов лишь отупение и нищету... Когда А. Смит писал это, свобода еще не пришла со своими затруднениями и злоупотреблениями, профессор Глэскоу предвидел только легкости... Смит написал бы (так же), как г-н де Сисмонди, если бы он был свидетелем печального состояния Ирландии и производственных районов Англии в то время, когда мы живем...»

Теперь, государственные публицисты, ежедневные публицисты, верующие и полуверующие, все вы, кто присвоили себе миссию поучать людей, вы слышите эти слова, которые, похоже, привнесены из Иеремии? Вы, наконец, скажете нам, куда вы собираетесь вести цивилизацию? Какой совет вы предлагаете обществу, встревоженной родине?

Но с кем я разговариваю? Министры, журналисты, пономари и педанты! разве этот мир обеспокоен проблемами социальной экономики? разве они слышали о конкуренции?

Один лионец, с душой, закаленной в торговой войне, путешествует по Тоскане. Он отмечает, что ежегодно в этой стране производится от пяти до шести сотен

тысяч соломенных шляп стоимостью от 4 до 5 миллионов. Эта отрасль является практически единственным источником существования простых людей. «Почему же, — говорит он себе, — такие легкая культура и производство не были перенесены в Прованс и Лангедок, где климат такой же, как в Тоскане?» — Но, — замечает по этому поводу экономист, — если мы отнимем у крестьян Тосканы их производство, как они будут выживать?

Изготовление черных шелковых простыней стало для Флоренции специальностью, секрет которой она бережно хранила. «Сообразительный производитель из Лиона, изображавший туриста, приехал во Флоренцию и в итоге понял процессы, характерные для ткацкого производства и окраски. Это *открытие*, вероятно, уменьшит флорентийский экспорт». (*Поездка в Италию*, М. Фульчирон).

Некогда разведение шелкопряда оставалось за крестьянами Тосканы, которым это помогало жить. «Настало время сельскохозяйственных компаний; они заявили, что шелкопряд в крестьянской спальне не получает ни достаточной вентиляции, ни достаточно ровной температуры, ни должной заботы, как у рабочих, которые его выращивают, и для которых это — единственная профессия. В итоге богатые, умные, щедрые граждане создали под аплодисменты общественности то, что называется бигаттеры (*de bigatti, ver à soie*¹)» (де Сисмонди).

А теперь спросите себя, потеряют ли свои рабочие места эти заводчики шелкопряда, эти производители черных простыней и шляп? — Именно: им докажут, что это в их интересах, поскольку они смогут покупать одни и те же продукты с меньшими затратами, чем когда они сами их производят. Вот что такое конкуренция.

Конкуренция с ее убийственным инстинктом отбирает хлеб у целого класса работников и видит в этом только улучшение, экономику: — она подло ворует секрет и аплодирует этому как *открытию*; — она меняет местные зоны производства в ущерб целому народу и заявляет, что ничего не делает, кроме использования преимуществ своего климата. Конкуренция нарушает все представления о справедливости и правосудии; она увеличивает реальные издержки производства за счет ненужного приумножения используемого капитала, провоцирует поочередно повышение и спад цен на продукты, развращает общественное сознание, подменяя своей игрой закон, поддерживает повсюду разбой и недоверие.

Но что! Без этого ужасного характера конкуренция потеряла бы свои самые лучшие результаты; без произвола в обмене и тревог рынка труд не сможет сделать так, чтобы одна фабрика опережала другую, и, если не поддерживать напряжения, производство не совершит ни одного из своих чудес. После того, как зло возникло из полезности ее принципа, конкуренция может снова извлечь добро из зла;

¹ Де Сисмонди переводит «*de bigatti*» с итальянского на французский как «*ver à soie*», то есть «шелковичный червь» или «шелкопряд». — А.А. А-О.

разрушение порождает пользу, равновесие достигается по ходу движения, и о конкуренции можно сказать то, что Самсон сказал о льве, которого он сразил: *De comedente cibus exiit, et de forti dulcedo*². Есть ли во всех сферах человеческой науки что-нибудь более удивительное, чем политическая экономия?

Давайте же остерегаться того, чтобы поддаться движению иронии, что было с нашей стороны несправедливым проявлением. Это дело экономической науки — находить определенность в противоречиях, и вся вина экономистов заключается в том, что они не смогли это понять. Нет ничего более убогого, чем их критика, ничего более печального, чем беспокойство их мыслей, как только они затрагивают этот вопрос о конкуренции: они выглядят как свидетели, вынужденные под пытками признаться в том, о чем их совесть хотела бы умолчать. Читатель будет благодарен мне за то, что я представил ему аргументы для пропуска, пригласив его, так сказать, на совещание экономистов.

Г-н Дюнойе открывает дискуссию.

Г-н Дюнойе является тем самым из всех экономистов, кто наиболее энергично выбирает позитивную сторону конкуренции, и, как следствие, как можно было ожидать, тем, кто хуже всего осознает ее негативную сторону. Г-н Дюнойе, не поддающийся объяснению того, что он называет принципами, далек от веры в то, что в политической экономии «да» и «нет» может быть правдой как в одно и то же время, так и в одинаковой степени; скажем то же самое к его похвале, такая концепция претит ему тем больше, чем у него больше привилегий и преданности в его доктринах. Что бы я не дал, чтобы проникнуть в эту душу настолько чистую, но настолько упрямую, эту истину, столь же известную для меня, как существование солнца, что все категории политической экономии являются противоречиями! Вместо того, чтобы понапрасну изматывать себя в примирении практики и теории; вместо того, чтобы быть довольным нелепым поражением того, что все здесь имеет свои преимущества и недостатки, г-н Дюнойе будет искать синтетическую идею, в которой разрешаются все антиномии, и из парадоксального консерватора, каким он является сегодня, он станет вместе с нами сегодня непреклонным и последовательным революционером.

«Если конкуренция является ложным принципом, — говорит г-н Дюнойе, — то, значит, в течение двух тысяч лет человечество шло по неверному пути».

Нет, это не так, как вы говорите; а ваше предварительное замечание опровергается теорией самого прогресса. Человечество излагает свои принципы, один за другим, иногда и через большие промежутки времени: оно никогда не цепляется за

² Речь идет о рассказанной в Книге судей израилевых легенде о Самсоне, который убил льва голыми руками, а по возвращении обнаружил в его сгнившем чреве пчелиный улей. Самсон на своей свадьбе с филистимлянкой загадал гостям загадку, которая, в варианте православной Библии, звучит как «из ядущего вышло ядомое, и из сильного вышло сладкое», Суд. 14,14. — А.А. А-О.

содержание, к тому же оно постепенно разрушает их в том, что касается проявления или формулы. Это разрушение называется *отрицанием*; потому что главная причина всегда прогрессирует, постоянно отрицая полноту и достаточность своих предшествующих идей. Таким образом, из-за того, что конкуренция является одной из эпох построения стоимости, одним из элементов общественного синтеза, одновременно будет правдой и утверждение, что она принципиально неразрушима, и что тем не менее в ее нынешнем виде она должна быть упразднена, исключена. И если кто-то здесь находится в конфликте с историей, — это вы.

«У меня есть несколько комментариев по поводу обвинений, которым была подвергнута конкуренция. Во-первых, что этот режим, хороший или плохой, разрушительный или плодотворный, на самом деле еще не существует; что он не установлен нигде, кроме исключений и самым неполным образом».

Это первое наблюдение не имеет смысла. *Конкуренция убивает конкуренцию*, мы говорили в начале; этот афоризм можно принять за определение. Как тогда конкуренция будет полной? — Кроме того, когда признают, что конкуренция еще не существует полностью, это просто доказывает, что конкуренция действует не со всей силой, которая в ней заключена; но это ничего не меняет в ее противоречивой природе. Неужели нам нужно ждать еще тридцать веков, чтобы узнать, что чем больше развивается конкуренция, тем больше она стремится сократить количество конкурентов?

«Во-вторых, картина, которую мы рисуем, неверна; и что недостаточно учитывается расширение, которое обеспечило общее благосостояние, в том числе рабочего класса».

Если некоторые социалисты игнорируют полезную сторону конкуренции, вы не упоминаете о ее пагубных последствиях. Свидетельство ваших противников дополняет ваше свидетельство, конкуренция устанавливается повсеместно, и двойная ложь приводит нас к правде. — Что касается тяжести зла, мы увидим позже, на чем остановиться.

«В-третьих, зло, испытываемое рабочим классом, не связано с его истинными причинами».

Если есть другие причины нищеты, помимо конкуренции, разве это мешает ей самой этому способствовать? Если бы из-за конкуренции каждый год разрушалось только одно производство, если бы было признано, что это разрушение является необходимым следствием принципа, то конкуренция как принцип должна быть отвергнута.

«В-четвертых, главный способ обойти это был бы не более, чем уместен...»

Это возможно: но я заключаю, что недостаточность предлагаемых средств налагает

на вас новое обязательство, которое заключается именно в том, чтобы найти наиболее подходящие средства для предотвращения ущерба, причиняемого конкуренцией.

«В-пятых, наконец, это то, что реальные средства правовой защиты, в случае, если возможно их применить для устранения зла, заключались бы именно в системе, которая обвиняется в производстве этого зла, то есть во все более реальной системе свободы и конкуренции».

Прекрасно! Я хочу этого. По-вашему, средство от конкуренции — сделать конкуренцию универсальной. Но чтобы конкуренция была универсальной, нужно обеспечить для всех возможность конкурировать; необходимо уничтожить или изменить господство капитала над трудом, изменить отношение хозяина к работнику, одним словом, антиномию разделения труда и машин; нужно ОРГАНИЗОВАТЬ ТРУД: вы можете дать это решение?

Затем г-н Дюнойе с мужеством, достойным лучшего применения, развивает свою утопию универсальной конкуренции: это лабиринт, в котором автор спотыкается и противоречит сам себе на каждом шагу.

«Конкуренция, — говорит г-н Дюнойе, — сталкивается с множеством препятствий».

Действительно, он встречает их так много и настолько мощных, что она сама становится невозможной. Поскольку средство преодоления препятствий присуще конституции общества и, следовательно, неотделимо от самой конкуренции?

«Помимо государственных услуг существует определенный ряд профессий, которые, по мнению правительства, должны быть зарезервированы более или менее исключительно для выполнения своих функций; существует большее число профессий, которые в соответствии с законодательством наделены монополией на ограниченное число лиц. Те, кто оставлены для участия в конкуренции, подвержены формальностям и ограничениям, бесчисленным затруднениям, которые запрещают приближаться большому количеству людей, и, как следствие, конкуренция в таком виде далека от того, чтобы быть неограниченной. Наконец, вряд ли найдутся такие, которые не облагаются различными налогами, без сомнения необходимыми...» и т. д.

Что все это значит? Г-н Дюнойе, без сомнения, не понимает, что общество происходит из правительства, администрации, полиции, налогов, университетов, одним словом, из всего, что образует общество. Следовательно, поскольку общество обязательно подразумевает исключения из конкуренции, гипотеза универсальной конкуренции является химерической, и здесь мы снова попадаем в забавные условия; вещь, которую мы уже знали по определению конкуренции. Есть ли

что-нибудь серьезное в аргументации мистера Дюнойе?

Прежде магистры науки начинали с того, что отбрасывали подальше от себя любую предвзятую идею и стремились свести факты, не изменяя и не скрывая их, к общим законам. Исследования А. Смита являются — в отношении времени, когда они появились, — чудом прозорливости и высокого разума. В неразборчивой экономической картине г-на Честнэ с глубоким чувством представлен общий обзор. Введение в большой трактат Ж.-Б. Сэ посвящено исключительно научным характеристикам политической экономии, и в каждой строке мы видим, насколько автор чувствовал потребность в абсолютных понятиях. Экономисты прошлого столетия точно не определяли науку, но они охотно и добросовестно стремились к этому определению.

Как далеки мы от этих благородных мыслей сегодня! Сегодня науку уже не ищут; сегодня защищают интересы династии и касты. Человек погряз в рутине из-за собственной беспомощности; наиболее почитаемым именам позволяют запечатлевать на необычных явлениях характер подлинности, которого у них нет; факты обвинительного характера объявляются ересью; клеветают на тенденции века; и ничто так не раздражает экономиста, как когда притворяются, что рассуждают вместе с ним.

«Что характерно для сегодняшнего дня, — восклицает тоном большого неудовольствия г-н Дюнойе, — это волнение всех классов; это их беспокойство, их бессилие ни на чем не останавливаться и никогда не быть удовлетворенными; это адский труд, выполненный для менее удачливых с тем, чтобы они становились все более и более недовольными, так как общество прилагает больше усилий, чтобы их меньше жалеть в реальности».

Хорошо! поскольку социалисты подстрекают политическую экономию, они являются воплощенными дьяволами? Может ли быть что-то более нечестивое, на самом деле, чем рассказывать пролетарию, что он поражен в своей работе и своей заработной плате, и что в среде, в которой он находится, его нищета неизлечима? Г-н Рейбо повторяет, подкрепляя, сетование своего учителя Дюнойе: похоже на то, как два серафима Исайи поют *Sanctus*³ конкуренции. В июне 1844 г., когда он опубликовал четвертое издание «Современных реформаторов», г-н Рейбо написал со всей горечью своей души: «Мы обязаны социалистам организацией труда, правом на труд; они являются инициаторами надзорного режима... Законодательные палаты с каждой стороны постепенно подвергаются их влиянию... Так утопия набирает силу...» А г-н Рейбо сожалеет о тайном влиянии социализма на лучшие умы; заклеить, обратить внимание на злобу! Незаметная инфекция, которую подхватывают даже те, кто сломал копья в борьбе с социализмом. Затем он объявляет в качестве последнего акта своего правосудия в отношении нечестивцев следующую публикацию под

³ Буквально — «свят» (лат.), христианский литургический гимн. — А.А. А-О.

названием «Законы труда» — произведения, в котором он докажет (поскольку в его идеях нет ничего нового), что законы о труде не имеют ничего общего ни с правом на труд, ни с организацией труда, и что лучшая реформа — это предоставить свободу действий (ничего не делать). «Кроме того, добавляет г-н Рейбо, тенденция политической экономии уже не теория, а практика. Абстрактные части науки теперь кажутся определенными. Работы великих экономистов о стоимости, капитале, спросе и предложении, заработной плате, налогах, оборудовании, земледелии, росте населения, перепроизводстве, сбыте, банках, монополиях и т. д., и т. п., по-видимому, обозначили предел догматических исследований и образуют ряд доктрин, за пределами которых не на что надеяться».

Легкость говорить, бессилие рассуждать — таков был вывод Монтескье об этом странном панегирике основателей социальной экономики. НАУКА СОЗДАНА! Г-н Рейбо клянется в этом; и то, что он авторитетно провозглашает, повторяют в Академии, за кафедрой, в Государственном совете, в палатах; публикуют в газетах; заставляют произносить короля в его новогодних выступлениях и перед судом, и прежние обвинители, следовательно, судимы. НАУКА СОЗДАНА! Каково, однако, наше безумие, социалисты, искать день в полдень⁴ и протестовать с фонарем в руке против яркости этих солнц!

Но, господа, с искренним сожалением и глубоким недоверием к себе я вынужден попросить вас дать несколько разъяснений. Если вы не можете исправить наши пороки, предоставить нам по крайней мере внятные тексты, предоставить нам ясность, подайте в отставку.

«Очевидно, — говорит г-н Дюнойе, — что богатство сегодня распределяется бесконечно лучше, чем когда-либо». — «Баланс радостей и скорбей, — немедленно подхватывает г-н Рейбо, — всегда стремится к установлению».

Что! Что вы говорите? *богатство лучше распределено, баланс восстановлен!* Будете ли вы любезны объяснить это лучшее распределение? Равенство наступает, или неравенство уходит? солидарность усиливается, или конкуренция снижается? Я не оставлю вас, пока вы мне не ответите, *non Missura Cutem...* Потому что, какой бы ни была причина восстановления баланса и лучшего распределения, на которое вы указали, я с энтузиазмом принимаю его и буду следовать за ним до его окончательных результатов. До 1830 года, я выбираю эту дату наугад, богатство было распределено плохо: как это? Сегодня, на ваш взгляд, лучше: почему? Вы видите, к чему я клоню: ни распределение еще не совсем справедливо, ни баланс; я спрашиваю, с одной стороны, что является препятствием, которое нарушает баланс; с другой стороны, по какому принципу человечество постоянно идет от большего к меньшему злу, и от хорошего к лучшему? Потому что в конечном итоге этот секретный принцип улучшения не может происходить ни от конкуренции, ни

⁴ Аналог русского присловья «днем с огнем». — А.А. А-О.

от машин, ни от разделения труда, ни от предложения и спроса: все эти принципы являются лишь рычагами, которые, один за другим, заставляются колебаться стоимостью, как это прекрасно понимают в Академии гуманитарных наук. Каков тогда высочайший закон благосостояния? Что это за правило, эта мера, этот критерий прогресса, нарушение которого является постоянной причиной нищеты? Говорите и не разглагольствуйте больше.

Вы говорите, что богатство распределяется лучше. Давайте посмотрим на ваши доказательства.

Г-н Дюнойе:

«Согласно официальным документам, существует едва ли меньше одиннадцати миллионов земельных участков. Подсчитано, что шесть миллионов землевладельцев получают проценты от владения этими участками; так что при четырех членах семьи будет не менее двадцати четырех миллионов жителей из тридцати четырех, которые принимают участие во владении землей». Следовательно, согласно наиболее предпочтительной цифре, во Франции насчитывается десять миллионов пролетариев, то есть почти треть населения. Эй! Что вы говорите? Добавьте к этим десяти миллионам половину из двадцати четырех других, для которых собственность обременена ипотекой, раздроблена, обеднена, в плохом состоянии, не стоит приложения рук; и это еще не будет точным числом людей, живущих на зыбкой основе.

«Число 24 миллионов домовладельцев имеет тенденцию значительно увеличиваться».

Лично я утверждаю, что оно имеет тенденцию к значительному снижению. Кто, по-вашему, является истинным владельцем номинального держателя, облагаемого налогом, облагаемого налогом, заложенного, находящегося в ипотеке или кредитора, который собирает доход? Еврейские кредиторы и кредиторы Балуга сегодня являются настоящими владельцами Эльзаса; и то, что доказывает превосходный здравый смысл этих кредиторов, — что они не мечтают о приобретении, они предпочитают вкладывать свой капитал.

«К землевладельцам мы должны добавить около 1,500,000 патентованных, то есть четырех человек в семье, — шесть миллионов человек, имеющих отношение к управлению промышленными предприятиями».

Но, для начала, большое количество этих патентованных являются землевладельцами, и вы дублируете занятость. Затем можно утверждать, что из всех запатентованных промышленников и торговцев четверть, по большей части, достигают прибыли, другая четверть поддерживает себя по номиналу, а остальная часть постоянно находится в убытке. Возьмем, следовательно, не более половины из 6 миллионов так называемых глав предприятий, которых мы добавим к весьма

проблематичным 12 миллионам реальных владельцев, и мы получим в общей сложности 15 миллионов французов, способных — по их образованию, их производству, их капиталам, их кредитам, их собственности — к участию в конкуренции. Для излишка нации, то есть 19 миллионов душ, конкуренция — это как курица на блюде Генриха IV — кушанье, которое они готовят для класса, который может заплатить за него, но к которому они сами не прикасаются.

Еще одна сложность. Эти девятнадцать миллионов человек, для которых конкуренция остается недоступной, являются наемниками конкурентов. Как и в прошлом, крепостные сражались за лордов, но так и не могли сами нести знамя или собрать армию. Тогда, если конкуренция сама по себе не может стать общим условием, как могут те, кому она угрожает, требовать гарантий от баронов, которым они служат? А если им нельзя отказать в этих гарантиях, как они могут стать чем-то иным, кроме препятствий для конкуренции, поскольку божественное перемирие, изобретенное епископами, стало препятствием для феодальных войн? Согласно структуре общества, как я уже говорил ранее, конкуренция — это исключительная вещь, привилегия; теперь я спрашиваю, как при равных правах эта привилегия все еще возможна?

И вы думаете, когда я требую для потребителей и наемных работников гарантий от конкуренции, что это мечта социалистов? Послушайте двух своих самых выдающихся коллег, которых вы не обвините в выполнении адской работы.

Г-н Росси, том I, урок 16, признает за государством право постоянно регулировать труд, *поскольку опасность слишком велика, а гарантии недостаточны*. Поэтому законодатель должен обеспечивать общественный порядок по принципам и законам: он не ждет непредвиденных событий, чтобы подавить их произвольно. — В другом месте, т. II, с. 73—77, тот же профессор указывает как на следствия преувеличенной конкуренции на непрекращающееся формирование финансовой и территориальной аристократии, неизбежный разгром мелкой собственности и поднимает тревогу. Со своей стороны, г-н Бланки заявляет, что организация труда стоит в повестке дня экономической науки (с тех пор, как он втянулся в этот вопрос); это провоцирует участие рабочих в прибылях и появлении коллективного рабочего, и постоянно гремит против монополий, запретов и тирании капитала. *Qui habet aures audiendi audiat!* (Имеющий уши да услышит (лат.). — А.А.А-О.) Г-н Росси, как криминалист, выносит постановления против разбойников конкуренции; г-н Бланки, как следственный судья, осуждает виновных: это аналог дуэта, который ранее исполняли г-да Рейбо и Дюнойе. Когда одна выкрикивает *Осанна*, вторые отвечают, как отцы Соборов: *Анафема*.

Но, скажут, г-да Бланки и Росси намерены нанести удар только по злоупотреблениям конкуренции; они не стремятся запрещать *принцип*, и во всем этом они полностью

согласны с г-ми Рейбо и Дюнойе.

Я протестую против этого различия в интересах репутации двух профессоров.

На самом деле злоупотребления заполнили все, и исключение стало правилом. Когда г-н Троплонь, защищая вместе со всеми экономистами свободу торговли, признал, что объединение перевозчиков стало одним из тех фактов, против которых законодатель был абсолютно бессилён, и которые, кажется, противоречат здравому смыслу социальной экономики, он все еще с отрадным видом говорил, что такой факт является весьма исключительным, и что есть основания полагать, что он не будет обобщен. Однако этот факт стал обобщенным: самому обычному правоведа достаточно высунуть голову из окна, чтобы увидеть, что сегодня все абсолютно монополизировано конкуренцией, транспорт (наземный, железнодорожный и водный), пшеница и мука, вина и коньяки, древесина, уголь, масла, металлы, ткани, соль, химикаты и т. д. Печально для юриспруденции, этой сестры-близняшки политической экономии, менее чем в одной вспышке увидеть противоречивость ее серьезных прогнозов: но еще более печально для великой нации быть ведомой такими слабыми гениями и собрать лишь несколько идей, которые поддерживают ее жизнь в зарослях их произведений.

Теоретически мы показали, что конкуренция в своей полезной ипостаси должна быть универсальной и доведенной до максимальной интенсивности; но что в ее отрицательном аспекте она должна быть везде подавлена без остатка. Способны ли экономисты осуществить это подавление? Предвидели ли они последствия, рассчитали ли трудности? Если это так, я бы осмелился предложить следующий случай для их разрешения.

Соглашение о коалиции, или, скорее, об ассоциации, потому что суды затруднились бы в определении одного и другого, только что объединило в одной компании все угольные шахты бассейна Луары. По жалобе муниципалитетов Лиона и Сент-Этьена министр назначил комиссию для изучения характера и тенденций этого страшного сообщества. Хорошо! Я спрашиваю, что сможет вмешательство власти в этом случае, с помощью гражданского права и политической экономии?

Кричат о коалиции. Но можно ли помешать владельцам шахт объединяться, снижать их общие и эксплуатационные расходы и с помощью лучше организованного производства получать большую выгоду от шахт? обяжут ли их снова начать свою старую войну, подвергнуться саморазрушению через увеличение расходов, потерь, перегрузок, беспорядков, снижения цен? Все это абсурдно.

Помешают ли им повышать их цены, чтобы вернуть интерес к капиталу? С учетом, что их самих защищают от требований повышения заработной платы со стороны рабочих; пусть переделывают закон о товариществах с ограниченной ответственностью; запретят торговлю акциями; и когда все эти меры будут приняты, то поскольку капиталисты — владельцы шахт бассейна — не могут несправедливо потерять

капитал, заработанный в условиях другого режима, пусть возместят убытки.

Будет ли им вменен тариф? Это максималистский закон. Государство в этом случае должно будет поставить себя на место хозяев, считать их капитал, проценты, офисные расходы; регулировать заработную плату шахтеров, жалование инженеров и директоров, цены на древесину, используемую для добычи, расходы на оборудование, и, наконец, определять нормальный и законный показатель прибыли. Все это не может быть сделано по министерскому указу: нужен закон. Осмелится ли законодатель специально для одной отрасли изменить общественное право французов и поставить власть на место собственности? Тогда одно из двух: или торговля углем попадет в руки государства; или государство найдет способ примирить свободу и порядок в отрасли, и в этом случае социалисты требуют, чтобы то, что было сделано в одной точке, имитировалось повсюду.

Коалиция шахт Луары поставила социальный вопрос в терминах, которые больше не позволяют его избегать. Или конкуренция, то есть монополия и то, что из этого следует; или эксплуатация государством, то есть высокая стоимость труда и постоянное обнищание; или, наконец, уравнилельное решение, иными словами — организация труда, которая ведет к отрицанию политической экономии и уничтожению собственности.

Но экономисты не придерживаются этой бесцеремонной логики: им нравится торговаться с необходимостью. Г-н Дюпен (заседание Академии гуманитарных и политических наук 10 июня 1843 г.) высказывает мнение, что «если конкуренция может быть полезна внутри, нужно предотвращать ее передачу от народа к народу».

Предотвращение или невмешательство — вечная альтернатива экономистов: их гений не выходит за рамки этого. Напрасно им кричат, что речь не идет ни о том, чтобы что-то предотвращать, ни о том, чтобы все разрешать; то, что от них требуется, что ожидает общество, — примирение: эта двойная идея не умещается в их мозгу.

«Нужно, — отвечает г-ну Дюпену г-н Дюнойе, — отличать теорию от практики».

Бог мой! все знают, что г-н Дюнойе, непреклонный в отношении теоретических принципов в своих трудах, очень любезен в практике в Государственном совете. Но однажды он соизволил задать себе вопрос: Почему меня постоянно заставляют отличать практику от теории? почему они не совпадают?

Г-н Бланки, как человек сговорчивый и миролюбивый, поддерживает ученого г-на Дюнойе, то есть теорию. Однако он соглашается с г-м Дюпенем, то есть с практикой, что конкуренция *не свободна от упреков*. Так сильно г-н Бланки боится оклеветать и разжечь огонь.

Г-н Дюпен настаивает на своем мнении. Он приводит в качестве обвинения

конкуренции мошенничество, продажу фальшивых грузов, эксплуатацию детей. Все это, без сомнения, для того, чтобы доказать, что *внутренняя* конкуренция может быть полезной!

Г-н Пасси со своей обычной логикой замечает, что всегда найдутся нечестные люди, которые и т. д. — Обвиняйте человеческую натуру, восклицает он, но не конкуренцию.

С первого слова логика г-на Пасси отклоняется от вопроса. То, в чем упрекают конкуренцию, — это недостатки, проистекающие из ее характера, а не мошенничество, которое является поводом или предлогом. Производитель находит способ заменить мужчину-работника, который стоит ему 3 франка в день, женщиной, которой он платит не более 1 франка. Эта уловка является единственной для него, чтобы сдержать упадок и заставить работать его заведение. Скоро к рабочим он добавит детей. Затем, спровоцированный условиями войны, он постепенно понизит заработную плату и увеличит рабочее время. Где здесь виновник? Этот аргумент может рассматриваться сотнями способов и применяться ко всем отраслям, без того, чтобы обвинять природу человека.

Сам г-н Пасси вынужден признать это, поскольку добавляет: «Что касается принудительного детского труда, то вина лежит на родителях». — Это верно. А кто виноват в ошибке родителей?

«В Ирландии, — продолжает этот оратор, — нет конкуренции, и тем не менее нищета экстремальна».

В этом отношении обычная логика господина Пасси была нарушена чрезвычайной забывчивостью. В Ирландии существует полная, универсальная монополия на землю и неограниченная, жесткая конкуренция за аренду. Конкуренция-монополия — два ядра, которые волочатся на каждой ноге несчастной Ирландии. Когда экономисты устают обвинять человеческую природу, жадность родителей, волнения радикалов, они утешаются картиной блаженства пролетариата. Но и здесь они не могут договориться ни между собой, ни сами с собой; и ничто не иллюстрирует анархию конкуренции лучше, чем беспорядок их идей.

«Сегодня жена ремесленника отказывается от элегантных платьев, которыми не пренебрегали большие дамы прошлого века (Г-н Шевалье, 4-я лекция). И это тот самый г-н Шевалье, который, согласно его собственным подсчетам, отмечает, что совокупный национальный доход дает 65 сантимов в день на человека. Некоторые экономисты даже снижают этот показатель до 55 сантимов. Но поскольку из этой суммы необходимо оплачивать предметы первой необходимости, можно подсчитать, согласно отчету г-на де Морога, что доход половины французов не превышает 25 сантимов.

«Но, — продолжает господин Шевалье с мистическим восторгом, — разве счастье не

в гармонии желаний и наслаждений, в балансе потребностей и удовлетворений? Разве это не заключено в определенном состоянии души, не имеющем отношения к политической экономии, которая не может стимулировать его рождение? Это дело религии и философии». — Экономист, — сказал бы Гораций господину Шевалье, — если бы он жил в наше время: заботьтесь только о моем доходе и оставьте мне заботу о моей душе: *Det vitam, det opes, æquum mî animum ipse parabo.*

Г-н Дюнойе снова берет слово:

«Можно было бы легко, во многих городах, в праздничные дни смешать рабочий класс с классом буржуазии (почему два класса?), поскольку так много ставок делается на первый. Не меньше прогресса в еде. Питание более насыщенное, более содержательное и разнообразное. Хлеб повсюду улучшился. Мясо, суп, белый хлеб стали во многих фабричных городах гораздо более распространенным, чем раньше. Наконец, средняя продолжительность жизни увеличилась с тридцати пяти до сорока».

Далее г-н Дюнойе приводит таблицу английских состояний по Маршаллу. Из этой таблицы следует, что в Англии два миллиона пятьсот тысяч семей имеют доход только в 1200 франков. 1200 франков дохода в Англии соответствуют 730 франкам у нас, каковая сумма, будучи разделенной на четырех человек, дает каждому 182 франка 50 сантимов⁵, в день 50 сантимов. Это приближается к 65 сантимам, которые г-н Шевалье присуждает каждому французу: разница в пользу этого заключается в том, что во Франции прогресс благосостояния менее развит, бедность также меньше. Во что же следует верить — в пышные описания экономистов или в их расчеты?

«Нужда в Англии увеличилась до такой степени, — признает г-н Бланки, — что английскому правительству пришлось искать убежища в этих отвратительных рабочих домах...» Действительно, эти пресловутые рабочие дома, где труд состоит из нелепых и бесплодных занятий, — это, как уже говорилось, не что иное, как дома пыток. Ибо не должно подвергать пытке разумное существо, подобно тому, как крутить жернова без зерна и муки, с единственной целью — избежать покоя, не избежав тем самым безделья.

«Эта организация (организация конкуренции), — продолжает г-н Бланки, — стремится передавать всю прибыль от труда на сторону капитала... Так в Реймсе, Мюлузе, Сен-Квентине, как в Манчестере, в Лидсе, в Спитафилде существование рабочих является самым нестабильным...» Далее следует ужасная картина нищеты рабочих. Мужчины, женщины, дети, молодые девушки проходят перед вами голодными, иссохшими, покрытыми лохмотьями, бледными и отчаявшимися. Описание заканчивается таким штрихом: «Рабочие механической промышленности больше не могут поставлять солдат для вербовки в армию». Кажется, белый хлеб и суп г-на

⁵ Прудон имеет ввиду сумму годового дохода. — А.А. А-О.

Дюнойе не работают.

Для г-на Виллерме распущенность молодых работниц представляется НЕИЗБЕЖНОЙ. Внебрачное сожителство является их обычным состоянием; они полностью субсидируются работодателями, служащими, студентами. Хотя в целом брак имеет большую привлекательность для народа, чем для буржуазии, многие пролетарии, будучи мальтузианцами, не подозревая об этом, опасаются семьи и следуют за общим потоком. Так же, как рабочие являются пушечным мясом, работницы — плотью проституции: это объясняет элегантный воскресный наряд. В конце концов, почему эти молодые леди вынуждены быть более добродетельными, чем женщины из буржуазии?

Г-н Буре, достойный представитель Академии: «Я утверждаю, что рабочий класс — это душа и тело, заброшенные ради удовольствия промышленности». — Он же говорит в другом месте: «Самые слабые попытки спекуляции могут варьировать цену хлеба на пять центов и более за фунт (0,45 кг. — А.А. А-О.), что составляет 620 миллионов 500 тысяч франков для 34 миллионов человек». Заметьте попутно, что высокочтимый Буре смотрел на существование перекупщиков как на народный предрассудок. Эй! софист: перекупщик или спекулянт, какая разница, если вы узнаете вещь?

Такие цитаты будут заполнять тома. Но цель этого сочинения не в том, чтобы пересказать противоречия экономистов, или в том, чтобы создать войну без результата. Наша цель выше и достойнее: развернуть *Систему экономических противоречий*, а это нечто иное. Так что мы закончим здесь этот печальный обзор; но прежде чем закончим, бросим взгляд на различные средства, предлагаемые для устранения недостатков конкуренции.

§ III. Лекарства от конкуренции

Можно ли отменить конкуренцию в труде?

Также стоит спросить, возможно ли подавить индивидуальность, свободу, персональную ответственность.

Конкуренция, по сути, является выражением коллективной деятельности; точно так же, как заработная плата, рассматриваемая в ее высшем смысле, является выражением заслуг и недостатков, короче говоря, ответственности работника. Напрасно мы рассуждаем и возражаем против этих двух основных форм свободы и дисциплины в труде. Без теории заработной платы нет распределения, нет справедливости; без организации конкуренции нет социальной гарантии и, следовательно, солидарности.

Социалисты перепутали две принципиально разные вещи, противопоставляя союз домашнего очага промышленной конкуренции, они задавались вопросом: нельзя ли создать общество точно так же, как большую семью, в которой все ее члены связаны кровными узами, а не как своего рода коалицию, в которой интересы каждого ограничиваются законом. Семья не является, если можно так сказать, видом, органической молекулой общества. В семье, как очень точно заметил г-н де Бональ, существует лишь моральное существо, один дух, одна душа, и, я бы сказал, согласуясь с Библией, одна плоть. Семья является типом и колыбелью монархии и патрициата: в ней заключается и сохраняется идея власти и суверенитета, которая все больше и больше стирается в государстве. Именно по семейной модели были организованы все древние и феодальные общества: и именно против этого старого патриархального устройства протестует и восстает современная демократия.

Составной единицей общества является цех.

Так вот, цех обязательно подразумевает корпоративный интерес и личные интересы; коллективного человека и отдельных лиц. Отсюда система отношений, неизвестная для семейных отношений, среди которых противостояние коллективной воле, представленное *хозяином*, и индивидуальной воле, представленное *наемными работниками*, фигурирует в первом ряду. Далее следуют отношения между цехом и цехом, капиталом и капиталом, другими словами, конкуренция и ассоциация. Потому что конкуренция и ассоциация поддерживают друг от друга; они не существуют друг без друга; не взаимоисключаются, они даже не отличаются. Кто произносит «конкуренция», уже предполагает общую цель; следовательно, конкуренция — это

не эгоизм, и самая печальная ошибка социализма — расценивать ее как явление, разрушающее общество.

Поэтому здесь не может быть и речи о том, чтобы уничтожить конкуренцию, вещь столь же невозможную, как уничтожение свободы; речь идет о том, чтобы найти баланс, я бы охотно сказал — страховку. Потому что вся сила, вся спонтанность, индивидуальная или коллективная, должны получить свое определение: (определение) именно конкуренции в этом отношении, как (определение) разума и свободы. Как, следовательно, конкуренция будет гармонично определяться в обществе?

Мы слышали ответ г-на Дюнойе, выступающего от имени политической экономии: конкуренция должна определять сама себя. Иными словами, по мнению г-на Дюнойе и всех экономистов, средством устранения недостатков конкуренции является опять же конкуренция; и поскольку политическая экономия является теорией собственности, абсолютного права на использование и злоупотребление, ясно, что политической экономии больше нечего ответить. Это как если бы утверждалось, что развитие свободы осуществляется свободой, воспитание ума — умом, определение стоимости — стоимостью: все суждения с очевидностью тавтологические и абсурдные.

И на самом деле, чтобы войти в сюжет, который мы рассматриваем, перед глазами появляется то, что конкуренция, осуществляемая сама для себя и не имеющая другой цели, кроме сохранения неопределенной и противоречивой независимости, не может привести ни к чему, и что ее колебания вечны. В конкуренции это капитал, машины, процессы, талант и опыт, то есть еще капиталы, которые находятся в борьбе; победа обеспечена самым большим батальоном. Следовательно, если конкуренция осуществляется только в частных интересах, а ее общественные последствия не существовали и не были определены наукой, не защищены государством, то в конкуренции, как в демократии, будет возникать непрерывная тенденция от гражданской войны к олигархии, от олигархии к деспотизму, затем к роспуску и возвращению к гражданской войне, бесконечной и беспокойной. Вот почему конкуренция, оставленная самой себе, никогда не сможет прийти к своему построению: подобно стоимости, ей нужен более высокий принцип, который социализирует и определяет ее. Эти факты в настоящее время достаточно хорошо установлены, чтобы мы могли воспринимать их подготовленными к критике и обходиться без них. Политическая экономия в том, что касается страхования конкуренции, которая не имеет и не может иметь другого средства, кроме самой конкуренции, оказалась бессильной.

Осталось узнать, как понял решение социализм. Один пример покажет меру его средств и позволит нам сделать общие выводы по этому поводу.

Г-н Луи Блан, пожалуй, из всех современных социалистов тот, кто благодаря своему замечательному таланту знал, как лучше всего привлечь внимание общественности к своим произведениям. В своей «Организации труда», сведя проблему ассоциации

к единому пункту конкуренции, он без колебаний высказывается за ее устранение. Исходя из этого, можно судить, насколько этот писатель, обычно такой проницательный, обманулся в отношении стоимости политической экономии и важности социализма. С одной стороны, г-н Блан, получая, не знаю где, свои готовые идеи, отдавая все своему веку и ничего — Истории, абсолютно отвергает, по содержанию и по форме, политическую экономию и лишает сам себя материалов по организации (труда); с другой стороны, он приписывает реанимированным тенденциям всех предыдущих эпох и тому, что он берет в новых (эпохах), реальность, которой у них нет, и игнорирует природу социализма, который должен быть исключительно критическим. Поэтому г-н Блан предоставил нам зрелище живого и проворного воображения, борющегося с невозможностью; он верил в ясновидение гения: но он должен был заметить, что наука не импровизирует, и что называйся Адольфом Бойером, Луи Бланом или Ж.Ж. Руссо, пока нет ничего, что достигнуто опытным путем, нет и понимания.

Г-н Блан начинает с этой декларации: «Мы не сможем понять тех, которые представляли я не знаю какую таинственную связь двух противоположных принципов. Прививать ассоциацию к конкуренции — плохая идея: (это как) заменить евнухов гермафродитами». Эти четыре строки сохранятся к вечной досаде г-на Блана.

Они доказывают, что на момент 4-го издания своей книги он был в том, что касается логики, столь же продвинутым, как и по политической экономии, и что он рассуждал о той и о другой так, как слепой о цветах. Гермафродитизм в политике состоит именно в исключении, потому что исключение возвращает обратно всегда, в любой форме и на любом уровне исключенную идею; и г-н Блан будет чрезвычайно удивлен, если его заставят увидеть через бесконечную смесь наиболее противоречивых принципов, которую он составил в своей книге, — власть и право, собственность и коммунизм, аристократию и равенство, труд и капитал, вознаграждение и самопожертвование, свободу и диктатуру, свободный взгляд и религиозную веру, что настоящий гермафродит, публицист с двойным полом, — это он. Г-н Блан, находящийся на границах демократии и социализма, на один градус ниже Республики, на два градуса ниже г-на Барро, на три градуса ниже г-на Тьера, по тому, что он говорит и что он делает, потомок в четвертом поколении г-на Гизо, доктринера.

«Конечно, — восклицает г-н Блан, — мы не из тех, кто кричит анафему принципу власти. У нас была тысяча возможностей для защиты этого принципа от атак, столь же опасных, сколь и глупых.

Мы знаем, что если в обществе нигде нет организованной силы, то деспотизм — повсюду...»

Таким образом, по словам г-на Блана, лекарство от конкуренции, или, скорее, средство ее отмены, заключается во вмешательстве власти, в замене государством

индивидуальной свободы: это противоположность системы экономистов.

Я сожалею, что г-н Блан, чьи социальные пристрастия известны, обвинил меня в том, что я веду против него непристойную войну, опровергая его. Я отдаю должное отважным намерениям г-на Блана; я люблю и читаю его произведения и особенно благодарю его за оказанную услугу, состоящую в разоблачении в его «Истории десяти лет» неизлечимой несостоятельности его партии. Но никто не может согласиться на то, чтобы оказаться простофилей или дураком: значит, если оставить в стороне все персональные вопросы, что может быть общего между социализмом, этим всеобщим протестом, и смешением старых предрассудков, составляющих республику г-на Блана? Г-н Блан не перестает взывать к власти, а социализм громко заявляет о своей анархичности; г-н Блан ставит власть над обществом, а социализм стремится поместить власть под обществом; г-н Блан заставляет спуститься сверху общественную жизнь, а социализм заставляет ее появляться и расти снизу; г-н Блан бежит за политикой, а социализм ищет науку. Без всякого лицемерия я скажу г-ну Блану: вы не хотите ни католицизма, ни монархии, ни знати; но вам нужен Бог, религия, диктатура, цензура, иерархия, различия и звания. А я отрицаю вашего Бога, ваш авторитет, вашу власть, ваш правовой статус и все ваши представительные мистификации; я не хочу ни кадила Робеспьера, ни указки Марата; и вместо того, чтобы терпеть вашу двуполую демократию, я поддерживаю *statu quo* (Так у Прудона (не status). — А.А. А-О.). В течение шестнадцати лет ваша партия сопротивляется прогрессу и сдерживает продвижение взглядов; в течение шестнадцати лет демонстрирует свое деспотическое происхождение, создавая очередь в конце левого центра: ей пора отречься или преобразиться. Непримиримые теоретики власти, предполагаете ли вы, что правительство, за которое вы ведете войну, не сможет достичь более удобоваримого пути, чем вы?

СИСТЕМА г-на Блана может быть обобщена в трех пунктах:

- 1) Создать из власти большую инициативную силу, то есть, говоря по-французски, сделать произвольное всесильным, чтобы реализовать утопию.
- 2) Создать и спонсировать за государственный счет народные цеха.
- 3) Истребить частную промышленность под давлением конкуренции с национальной (государственной) промышленностью.

И это все.

Решил ли г-н Блан проблему стоимости, которая сама по себе затрагивает все остальные? он просто не подозревает об этом. — Представил ли он теорию распределения? Нет. — Разрешил ли он антиномию разделения труда, вечную причину невежества, безнравственности и нищеты для рабочего? Нет. — Устранил ли он противоречие между машинами и наемными работниками и согласовал ли право на свободу ассоциации с правами на свободу? Наоборот, г-н Блан освящает это противоречие.

Под деспотической защитой государства он в принципе допускает неравенство в званиях и зарплатах, добавляя в качестве компенсации закон о выборах. Разве рабочие, которые голосуют за свои правила и которые назначают своих лидеров, не свободны? Вполне может случиться так, что эти рабочие, участвующие в голосовании, не признают ни начальников, ни разницы в оплате: тогда, поскольку ничего не было предусмотрено для удовлетворения производственных мощностей, при сохранении политического равенства, работники цехов разойдутся, и, если полиция не вмешается, все вернутся к своим делам. Эти опасения не кажутся г-ну Блану серьезными или обоснованными: он спокойно ожидает испытания, будучи уверенным, что общество не потрудится дать ему опровержение.

А такие сложные, такие смешанные с налогами, кредитами, международной торговлей, собственностью, наследственностью вопросы: углубился ли в них г-н Блан? И решил ли он проблему народонаселения? Нет, нет, нет, тысячу раз нет: когда г-н Блан не разрешает трудности, он их устраняет. По поводу народонаселения он говорит: «Поскольку есть только растущая бедность, и поскольку народный цех заставит бедность исчезнуть, нет необходимости ей заниматься».

Напрасно г-н де Сисмонди, опираясь на универсальный опыт, кричит ему: «Мы не доверяем тем, кто осуществляет делегированные полномочия. Мы считаем, что любая корпорация будет вести дела хуже, чем те, которые движимы индивидуальным интересом; что со стороны директоров будет проявляться небрежение, помпезность, разрушение, фаворитизм, опасения скомпрометировать себя, все недостатки, наконец, которые мы замечаем в управлении общественным состоянием в качестве оппозиции состоянию частному. Мы также верим, что на собрании акционеров мы обнаружим только невнимание, прихоти, халатность, и что коммерческое предприятие будет неизменно подвергаться риску и вскоре будет разрушено, если оно будет зависеть от совещательного собрания и торговца». Г-н Блан ничего не слышит; он оглушен звонкостью своих фраз: частный интерес — он заменяет его преданностью общественным делам; конкуренцию он заменяет имитацией и поощрениями. После возведения в принцип промышленной иерархии, необходимого следствия его веры в Бога, авторитета и гениальности, он предался мистическим силам, идолам своего сердца и своего воображения.

Таким образом, г-н Блан начинает с переворота или, скорее, согласно его собственному выражению, с применения *инициативной силы*, которую он присваивает власти; и он вносит выдающийся вклад в дело богатых, чтобы спонсировать пролетариат. Логика г-на Блана очень проста, это логика Республики: власть хочет того, что хочет народ, а то, что хочет народ, и есть правда. Единственный способ реформировать общество — это ужимать его наиболее спонтанные тенденции, отрицать его наиболее подлинные проявления и вместо того, чтобы обобщать благосостояние путем регулярного развития традиций, перемещать труд и доходы! Но, по правде, что хорошего в этих маскировках? почему так много обходных маневров? Не проще ли было сразу принять земельный закон? Может ли правительство в соответствии со своей инициативной силой с самого начала заявить, что все капиталы и инструмен-

ты труда являются государственной собственностью, за исключением компенсации, которая будет предоставлена владельцам в виде перехода? Посредством этой решительной, но лояльной и искренней меры экономическое поле было бы очищено; что не стоило бы утопии дороже, и тог да г-н Блан мог бы без помех с удовольствием перейти к организации общества?

Но что я говорю? организовать! Вся организаторская работа г-на Блана заключается в этом великом акте экспроприации или замены, если хотите: после однажды перемещенной и республиканизированной промышленности, создания большой монополии г-н Блан не сомневается, что производство пойдет так, как хотелось бы; он не понимает, что всё противится тому, что он называет своей *системой*, — единственная трудность. И на самом деле, что возразить против концепции, столь радикально ничтожной, сколь же неуловимой, как у г-на Блана? Самая любопытная часть его книги находится в избранной подборке, которую он создал из возражений, предложенных некоторыми неверующими, и на которые он, мы полагаем, победоносно отвечает. Эти критики не видели, что в процессе обсуждения системы г-на Блана, они спорили о размерах, весе и форме математической точки. Однако случилось так, что полемика, поддерживаемая г-м Бланом, научила его большему, нежели его собственные медитации; и стало понятно, что если бы возражения продолжались, все окончилось бы обнаружением того, что, как он думал, он изобрел, — организацией труда.

Но, наконец, столь ограниченная цель, к которой стремится г-н Блан, а именно устранение конкуренции и гарантия успеха предприятия, руководимого и финансируемого государством, достиг ли он этой цели? — По этому вопросу я процитирую размышления талантливого экономиста г-на Жозефа Гарнье, к словам которого я позволю себе приобщить несколько комментариев.

«Правительство, — по словам г-на Блана, — выберет *моральных* работников и даст им *хорошие* зарплаты». Поэтому г-ну Блану нужны люди, сделанные нарочно: он не льстит себе, что учитывает все виды темпераментов. Что касается зарплат, г-н Блан обещает, что они будут *хорошими*; это проще, чем определить измерение.

«Г-н Блан считает, согласно его гипотезе, что такие цеха дадут чистый продукт, а также создадут такую хорошую конкуренцию с частной промышленностью, что они превратятся в национальные цеха»¹.

Как это может быть, если себестоимость народных цехов выше, чем себестоимость цехов свободных (частных)? В главе I я показал, что 300 рабочих на прядильной фабрике, все вместе, приносят предпринимателю чистый и регулярный доход в размере не более 20,000 франков; и что эти 20,000 франков, распределенных среди

¹ Здесь и далее Прудон цитирует, как и обещал, комментарии Жозефа Гарнье к Луи Блану, перемежая их собственными, без кавычек, комментариями. — А.А. А-О.

300 рабочих, увеличат их доход только на 18 сантимов в день. К тому же это верно для всех отраслей. Как народный цех, который должен *своим работникам хорошие зарплаты*, восполнит этот дефицит? — Соперничеством, — говорит г-н Блан.

Г-н Блан с чрезвычайным самодовольством цитирует дом Леклера, компанию (фирму) художников-строителей, у которой хорошо идут дела и которую он считает живой демонстрацией своей системы. Г-н Блан мог бы добавить к этому примеру множество подобных компаний, которые оказались бы такими же, как дом Леклера, то есть не более. Дом Леклера — это коллективная монополия, поддерживаемая большим обществом, которое его окружает. Значит, вопрос состоит в том, может ли общество в целом стать монополией, в смысле г-на Блана и владельца дома Леклера: что я категорически отрицаю. Но что касается более пристального внимания к вопросу, который нас занимает и на что г-н Блан не обратил внимания, — это то, что вытекает из учетных записей, которые предоставил ему дом Леклер, что, если заработная плата в этом доме намного выше, чем в среднем по стране, первое, что нужно сделать в организации общества, — это вызвать конкуренцию с домом Леклера — среди его работников, или вне его.

«Зарботные платы будут регулироваться правительством. Члены народного цеха будут распоряжаться ими по своему усмотрению, и *неоспоримое превосходство жизни в коммуне не заставит себя долго ждать — из объединения труда в добровольную ассоциацию удовольствий*».

Г-н Блан коммунист, да или нет? Пусть он скажет один раз, вместо того, чтобы широко растекаться; и если коммунизм не сделает его более понятным, по крайней мере мы будем знать, чего он хочет.

«Читая дополнение, в котором г-н Блан счел целесообразным бороться с возражениями, которые были высказаны ему в некоторых газетах, можно лучше увидеть, что является неполным в его концепции, дочери как минимум трех отцов, сен-симонизма, фурьеризма, коммунизма, с помощью политики, и немного, очень немного, — политической экономии».

«Согласно его объяснениям, государство будет лишь регулятором, законодателем, защитником промышленности, а не производителем или универсальным производителем. Но поскольку он защищает исключительно народные цеха — чтобы уничтожить частную промышленность, он неизбежно приходит к монополии и возвращается к сен-симонистской теории, независимо от своего желания, по крайней мере, в отношении производства».

Г-н Блан не может этого отрицать: его *система* направлена против частной промышленности; и с его помощью власть силой своей инициативы стремится погасить все индивидуальные инициативы, запретить свободный труд. Соединение противоположностей противно г-ну Блану: поэтому мы видим, что, пожертвовав конкуренцией ради ассоциации, он еще жертвует и свободой. Я ожидаю, что это

уничтожит семью.

«Тем не менее иерархия вышла бы за рамки выборного принципа, как в фурьеризме, так и в конституционной политике. Но все же эти народные цеха, регулируемые законом, будут ли они чем-то иным, нежели корпорациями? Что определяет положение корпораций? закон. Кто выпускает закон? правительство. Вы уверены, что он будет хорошим? Полноте! опыт показал, что никто никогда не слышал о том, чтобы закон регулировал бесчисленные происшествия в промышленности. Вы говорите нам, что он установит норму прибыли, ставку зарплат; вы надеетесь, что это будет сделано так, чтобы рабочие и капитал сосредоточились в народном цеху. Но вы не говорите нам, как будет установлен баланс между этими цехами, которые будут стремиться жить в коммуне, в фаланстере; вы не говорите нам, как эти цеха смогут избежать внутренней и внешней конкуренции; как они будут решать проблему перенаселения в отношении к капиталу; чем фабричные социальные цеха будут отличаться от тех, что работают на полях, и многое другое. Я знаю, что вы ответите: В силу конкретного закона! Но что если ваше правительство, ваше государство не знают, как это сделать? Разве вы не видите, что вы скатываетесь по откосу, и что вы обязаны придерживаться чего-то, что аналогично действующему закону? Это хорошо видно в процессе чтения вашего труда: вы заняты главным образом тем, чтобы изобрести власть, которая может быть приспособлена к вашей системе; но я заявляю, что, прочитав вас внимательно, я не думаю, что у вас есть четкое и точное представление о том, что вам нужно. Чего вам не хватает, как и всем нам, так это истинного представления о свободе и равенстве, которое вы не хотели бы игнорировать и которым вы обязаны пожертвовать, и некоторых мер предосторожности, которые бы вы приняли».

«Не зная природы и функций власти, вы не осмелились остановиться ни на одном объяснении; вы не дали ни малейшего примера».

«Согласимся, что цеха функционируют для производства, это будут коммерческие цеха, которые также будут заняты передвижением произведенного, будут производить обмены. А кто будет регулировать цену? Опять закон? На самом деле, я вам говорю, вам понадобится новое явление на горе Синай², иначе вы никогда не сможете заполучить ваш государственный совет, вашу палату представителей или ваш ареопаг сенаторов».

Эти размышления непобедимо верны. Г-н Блан, со своей организацией посредством государства, всегда обязан упоминать — с чего бы он хотел начать, и кто избавил бы его от необходимости создавать его книгу *«Изучение экономической науки»*. Как замечает его критик: «Г-н Блан серьезно ошибается, когда выстраивает политическую стратегию с вопросами, которые не подходят для такого использования»; он решил

² Жозеф Гарнье (в изложении Прудона) имеет в виду явление Господа Моисею на горе Синай, в ходе которого Моисей, согласно Ветхому завету, обрел 10 заповедей. — А.А. А-О.

предъявить требование к правительству, но ему удалось только лучше и лучше продемонстрировать несовместимость социализма с торжеством парламентской демократии. Его памфлет, полный красноречивых страниц, делает честь его словесности: что касается философской ценности книги, то она была бы такой же, как если бы автор ограничился написанием крупными буквами на каждой странице этого единственного слова: Я ПРОТЕСТУЮ.

Резюмируем:

Конкуренция как положение или экономическая фаза, рассматриваемая в ее происхождении, является необходимым результатом вмешательства машин, создания цеха и теории сокращения накладных расходов; рассматриваемая в своем собственном значении и в своей тенденции, она является способом проявления и осуществления коллективной деятельности, выражением социальной спонтанности, эмблемой демократии и равенства, наиболее энергичным инструментом создания стоимости, поддержкой ассоциации. — Как развитие индивидуальных сил она является залогом их свободы, первым моментом их гармонии, формой ответственности, которая объединяет их всех и делает солидарными. Но конкуренция, оставленная самой себе и лишенная направления превосходящего и эффективного принципа, является лишь смутным движением, бесцельным колебанием промышленной мощи, вечно брошенным между этими двумя одинаково губительными крайностями, — с одной стороны, корпорациями и патронатом (покровительством), с помощью которых, как мы наблюдали, появились цеха, с другой — монополией, о которой пойдет речь в следующей главе.

Социализм, небезосновательно протестуя против этой анархической конкуренции, еще не предложил ничего удовлетворительного для ее регулирования; и доказательство, что встречается повсеместно в появившихся утопиях, — определение или социализация стоимости, брошенной на произвол, и то, что все реформы ведут иногда к иерархической корпорации, иногда к монополии государства, или деспотизму сообщества.

Глава VI. ЭПОХА ЧЕТВЕРТАЯ. МОНОПОЛИЯ

Монополия, торговля, эксплуатация или исключительное пользование вещью.

Монополия является естественной противоположностью конкуренции. Этого простого наблюдения достаточно, чтобы, как мы заметили, разрушить утопии, чья мысль заключается в отмене конкуренции, как если бы она имела противоположность ассоциации и братства. Конкуренция — это жизненная сила, которая движет коллективным существом: уничтожить ее, если можно было бы такое предположить, означало бы убить общество.

Но в виду того, что конкуренция необходима, она подразумевает идею монополии, поскольку монополия подобна месту каждой конкурентной составляющей. Экономисты также продемонстрировали, и г-н Росси официально признал это, что монополия является формой общественного владения, за границами которой нет труда, нет продукта, нет обмена, нет богатства. Все владение землей является монополией; каждая промышленная утопия стремится к созданию монополии, и то же самое следует сказать о других функциях, не включенных в эти две категории.

Таким образом, монополия сама по себе не подразумевает идею несправедливости; более того, в ней есть нечто, что, будучи как общественным, так и человеческим, узаконивает ее: это положительная сторона принципа, который мы собираемся рассмотреть.

Но монополия, как и конкуренция, становится антиобщественной и катастрофической: как это? — Посредством *злоупотреблений*, отвечают экономисты. И именно для определения и пресечения злоупотреблений монополии применяются магистраты; для того, чтобы осудить это, новая школа экономистов стремится к славе.

Мы покажем, что так называемые злоупотребления монополией являются лишь следствием развития, в отрицательном смысле, легальной монополии; что они не могут быть отделены от своего принципа без разрушения этого принципа; следовательно, они недоступны для закона, и любая репрессия в этом отношении является произвольной и несправедливой. В виду того, что монополия, — основополагающий принцип общества и условие богатства, является в то же время и в той же степени принципом ограбления и пауперизма; что чем больше пользы она производит, тем

больше плохого от нее происходит; что без нее прогресс останавливается, а с ней труд обездвиживается и цивилизация исчезает.

§ I. Необходимость монополии

Таким образом, монополия — это роковой термин конкуренции, порожденный ее непрерывным отрицанием самой себя: эта генерация (возникновение) монополии уже является оправданием. Потому что, поскольку конкуренция присуща обществу так же, как движение живым существам, монополия, которая следует за ней, которая является ее целью и концом, и без которой конкуренция не была бы принята, монополия есть и будет оставаться законной так долго, пока будет существовать конкуренция, так же долго, как механические процессы и промышленные комбинации, так долго, наконец, как долго разделение труда и образование стоимости будут оставаться необходимыми и законными.

Следовательно, одним лишь фактом логической генерации монополия оправдана. Однако это оправдание может показаться незначительным и приведет лишь к более энергичному отказу от конкуренции, если монополия, в свою очередь, не сможет возникнуть сама по себе и в качестве принципа.

В предыдущих главах мы видели, что разделение труда — это спецификация работника, рассматриваемая прежде всего как продукт интеллекта; что создание машин и организация цеха выражают его свободу: и что через конкуренцию человек или разумная свобода вступают в действие. Значит, монополия является выражением победоносной свободы, ценой борьбы, прославлением гения; это самый сильный стимулятор всего прогресса, достигнутого с начала мира, до такой степени, что, как мы говорили ранее, общество, которое не может существовать вместе с ней, не было бы создано без нее.

Откуда же тогда возникает в монополии эта исключительная добродетель, из-за которой этимология слова и вульгарный аспект вещи так далеки от того, чтобы дать нам идею?

Монополия по сути — это самодержавие человека над самим собой: это диктаторское право, предоставленное природой любому производителю, — использовать свои способности по своему усмотрению, способствовать расцвету его мысли в любом направлении, которое он предпочитает, теоретизировать по такой специальности, какая ему нравится, всеми возможными средствами, независимо распоряжаться инструментами, которые он создал, и капиталом, накопленным его сбережениями, для такого предприятия, которое, как он считает, сможет избежать рисков, и при

условии единоличного наслаждения плодами открытий и прибылью предприятия.

Это право настолько сильно выражает сущность свободы, что отрицание этого наносит увечья человеку в его теле, в его душе и в использовании его способностей, и что общество, которое развивается только благодаря свободному развитию индивидуумов, если оно мешает первопроходцам, приходит к остановке на пути своего развития.

Пришло время посредством фактов сформировать тело для всех этих идей.

Я знаю местечко, где с незапамятных времен не было дорог ни для расчистки земель, ни для внешних коммуникаций. В течение трех четвертей года любой импорт или экспорт товаров был невозможен; барьер из грязи и болот защищал как от любого пришествия извне, так и от любой вылазки наружу жителей священной деревни. Шести лошадей в хорошую погоду едва хватало, чтобы исполнять нагрузку одной клячи, идущей шагом по нормальной дороге. Мэр этого места решил, несмотря на совет жителей, проложить путь по его территории. Долгое время над ним издевались, его проклинали, ненавидели. Мы еще должны учесть до окончания его пути: что заставляло его потратить деньги коммуны, время фермеров на благоустройство, перевозки и прочее? Это для удовлетворения своей гордости г-н мэр хотел за счет бедных фермеров открыть такой красивый проспект для друзей местечка, которые приедут в гости!... Несмотря на все, дорога была проложена, и крестьяне аплодировали! Какое отличие! — говорили они: раньше мы брали восемь лошадей, чтобы отвезти тридцать мешков на рынок, и мы оставались на три дня; теперь мы уезжаем утром на двух лошадях, а вечером возвращаемся. — Но во всех этих речах отсутствовало упоминание мэра. Поскольку это событие доказало его правоту, о нем перестали говорить: я даже уверен, что большинство из них были против него.

Этот мэр вел себя, как Аристид¹. Предположим, что, устав от абсурдных выкриков, он должен был бы по принципу, предложенному его гражданами, соорудить дорогу за свой счет при условии, что ему бы потом выплачивали в течение пятидесяти лет дорожную пошлину, причем каждый, как в прошлом, продолжал бы пользоваться правом ездить по полям: в чем бы эта сделка была мошеннической?

Вот история общества и монополистов.

Не каждый может подарить своим согражданам дорогу или машину: как правило, изобретатель, исчерпав свое здоровье и добро, ждет награды. Откажитесь, еще

¹ Аристид (530—467 гг. до н.э.), афинский государственный деятель и полководец, известный тем, что всегда ставил интересы государства выше собственных или групповых. — А.А. А-О.

и высмеивая их, от Аркрайта², Ватта³, Жаккара⁴, от преимуществ их открытий; они закроются для работы и, возможно, унесут свои секреты в могилу. Откажите поселенцам во владении земель, которую они расчищают, и никто не расчистит ее.

Но, говорят, разве это настоящий закон, общественный закон, братский закон? То, что прощается примитивному сообществу, в силу необходимости является лишь временным и должно исчезнуть перед более полным пониманием прав и обязанностей человека и общества.

Я не уклоняюсь от какой-либо гипотезы: посмотрим, углубимся. Это уже большое достижение, что с момента признания противников в первый период цивилизации все не могло происходить иначе. Остается узнать, действительно ли учреждения этого периода, как говорили, являются лишь временными, или же они являются результатом законов, присущих обществу, и вечными. Значит, тезис, который я поддерживаю в данный момент, тем более сложен, что он прямо противоположен общей тенденции, и что сейчас мне придется самому его опровергнуть его же противоречием.

Поэтому я молюсь, чтобы кто-нибудь сказал мне, как можно апеллировать к принципам общительности, братства и солидарности, когда само общество отвергает любые солидарность и братские соглашения? От начала каждой отрасли, на первом проблеске открытия, человек, который изобретает, изолирован; общество отказывается от него и остается позади. Проще говоря, этот человек в отношении к идее, которую он задумал и которую он преследует, становится для нее единственным обществом в целом. У него больше нет партнеров, нет сотрудников, нет поручителей; все спасаются от него: ему одному остается ответственность, ему одному остаются, следовательно, выгоды от теорий.

Настаиваем: это слепота со стороны общества, отказ от его самых священных прав и интересов, благополучия будущих поколений; а спекулянт, лучше информированный или более удачливый, не может без нелояльности воспользоваться монополией, которую предоставляет ему всеобщее невежество.

Я утверждаю, что такое поведение общества на сегодня является актом высокого благоразумия; а что касается будущего, я покажу, что оно не проиграет. Я уже показал, гл. 2, путем решения антиномии ценности, что преимущество любого

² Аркрайт Ричард (1732—1792), британский промышленник и изобретатель, считается зачинателем промышленного производства текстиля. — А.А. А-О.

³ Ватт (Ватт) Джеймс (1736—1819), шотландский изобретатель, ввел первую единицу мощности — лошадиную силу; его именем (Вт — рус., W — межд.) названа международная единица мощности. — А.А. А-О.

⁴ Жаккар (Жаккард) Жозеф Мари (1752—1834), французский изобретатель; изобрел ткацкий станок для производства узоров на ткани. — А.А. А-О.

полезного открытия несравненно меньше для изобретателя, чем бы он ни занимался, чем для общества; я произвел демонстрацию по этому вопросу с математической точностью. Позже я покажу еще, что в дополнение к прибыли, которая гарантируется ему при любом открытии, общество использует, исходя из привилегий, которые оно предоставляет, временно или навсегда, репетиции нескольких видов, которые в значительной степени покрывают избыток определенных частных состояний, чей эффект быстро возвращает баланс. Но не будем предвосхищать.

Итак, я замечаю, что общественная жизнь проявляется двумя способами: *сохранением и развитием*.

Развитие происходит через расцвет индивидуальных энергий; масса по своей природе бесплодна, пассивна и невосприимчива к любой новизне. Это, если я осмелюсь использовать это сравнение, матрица, стерильная сама по себе, но в которой высаживаются ростки, созданные частной деятельностью, которая в гермафродитном обществе на самом деле исполняет функцию мужского органа.

Но общество сохраняется только до тех пор, пока оно ускользает от солидарности конкретных спекуляций, и оставляет абсолютно все инновации на риск и опасность отдельных личностей. Можно на нескольких страницах перечислить полезные изобретения. Количество успешных компаний можно подсчитать: нет цифр, которые выражали бы множество заблуждений и безрассудных опытов, которые постоянно появляются в человеческих головах. Нет изобретателя, нет работника, который бы в здравом уме не породил тысячи химер; нет интеллекта, который бы посредством вспышек разума не выбрасывал вихрей дыма. Если бы было возможно сделать две части из всех продуктов человеческого разума и поставить с одной стороны полезные работы, с другой — все ошибки, на которые были потрачены силы, разум, капитал и время, можно было бы с ужасом увидеть, что вторая часть превышает первую, возможно, на миллиард процентов. Что будет с обществом, если оно должно будет оплатить этот пассив и урегулировать все эти банкротства? Что, в свою очередь, стало бы с ответственностью и достоинством рабочего, если бы он, прикрываясь социальной гарантией, мог без риска для себя предаваться всем прихотям бредового воображения и играть в любой момент существованием человечества?

Исходя из всего этого, я делаю вывод, что то, что практиковалось с самого начала, будет практиковаться до конца, и что в этом вопросе, как и в любом другом, если мы стремимся к примирению, абсурдно думать, что нечто из существующего может быть отменено. Поскольку мир идей бесконечен, как природа, а люди подвержены домыслам, то есть ошибкам, сегодня, как никогда, для индивидуумов существует постоянное устремление спекулировать, а для общества — причина, чтобы остерегаться и быть осторожным, поэтому всегда возникает материя монополии.

Что мы предлагаем, чтобы выйти из этой дилеммы? Выкуп? Во-первых, выкуп невозможен: все ценные бумаги монополизированы, и где общество будет брать то,

что компенсирует монополистов? каким будет его залог? С другой стороны, поглощение было бы совершенно бесполезным: когда все монополии будут выкуплены, останется организовать промышленность; где же тут система? На чем основано мнение? Какие проблемы были решены? Если организация иерархического типа, мы возвращаемся в режим монополии; если демократического типа, мы возвращаемся к исходной точке; выкупленные отрасли промышленности попадут в общественное достояние, то есть в конкуренцию, и постепенно снова станут монополиями; — наконец, если организация коммунистического типа, мы лишь перейдем от одной невозможности к другой; ибо в этом случае, как мы покажем в свое время, сообщество, так же, как конкуренция и монополия, является противоречивым, невозможным.

Чтобы не использовать общественное достояние в условиях неограниченной солидарности, а следовательно, и фатально, будем ли мы вынуждены навязывать правила духу изобретательности и предприимчивости? Создавать цензуру для гениальных людей и сумасшедших? это предполагать, что общество заранее знает, что именно является вопросом открытия. Подчинять проекты предпринимателей предварительной экспертизе — значит *априори* запрещать любое движение. Потому что, опять же, относительно цели, которую он намечает, есть момент, когда каждый промышленник представляет в своем лице само общество, видит лучше и дальше, чем все остальные люди, вместе взятые, и очень часто без возможности объясниться и быть понятым. Когда предшественники Ньютона Коперник, Кеплер и Галилей обратились к христианскому обществу, будучи представленными церковью: Библия была неправа; земля вращается, а солнце неподвижно; они были правы против общества, которое одновременно чувством веры и традиций их отвергало. Могло ли общество согласиться с солидарностью системы Коперника? Оно могло это в такой малой степени, в какой эта система открыто противоречила его вере, и в какой Галилей, один из сознательных изобретателей, ожидая согласия разума и откровения, подвергся пыткам в доказательство новой идеи. Я полагаю, мы более терпимы; но именно эта терпимость доказывает, что, предоставляя больше свободы гению, мы не собираемся быть менее осторожными, чем наши предки. Патенты на изобретения сыплются, но *без государственных гарантий*. Права собственности помещены на попечение граждан; но ни кадастр, ни договор не гарантируют стоимости: стоимость выяснится в ходе работы. А что касается научных и других задач, которые правительство наудачу поручает исследователям без денег, то это грабеж и коррупция.

На самом деле общество не может гарантировать кому-либо капитал, необходимый для экспериментов с идеей; по закону оно не может требовать результата предприятия, на которое оно не подписано: поэтому монополия неразрушима. Кроме того, солидарность была бы бесполезна: поскольку если каждый может требовать всеобщей солидарности в пользу своих фантазий и иметь право на получение незаполненного чека правительства, мы скоро придем к универсальному произволу,

то есть, откровенно и просто говоря, к *статус-кво*.

Некоторые социалисты, воодушевленные, к сожалению, я заявляю об этом со всей ответственностью, евангельскими абстракциями, считали, что преодолевают трудность с помощью этих прекрасных изречений: — Неравенство способностей является доказательством неравенства обязанностей; — Вы получили больше от природы, дайте больше своим братьям, — и другие звонкие и трогательные предложения, которые никогда не упускают своего влияния на пустые умы, но, тем не менее, являются всем, что можно представить самым невинным. Практическая формула, которая выходит из этих замечательных высказываний, состоит в том, что каждый работник должен все свое время обществу, и что общество должно дать ему взамен все, что необходимо для удовлетворения его потребностей, в меру ресурсов, которыми оно располагает.

Пусть мои друзья-коммунисты простят меня! Я был бы менее суров к их идеям, если бы не был непобедимо убежден в своем разуме и в своем сердце, что сообщество, республиканизм и все социальные, политические и религиозные утопии, которые пренебрегают фактами и критикой, являются самым большим препятствием на пути прогресса в настоящее время. Как можно не понимать, что братство может быть установлено только справедливостью; что только справедливость, условие, средство и закон свободы и братства должны быть объектом нашего исследования, и что мы должны неустанно добиваться, вплоть до мельчайших деталей, определения и формулы? Как авторы, знакомые с экономическим языком, забывают, что превосходство талантов является синонимом превосходства потребностей, и что не стоит ожидать от мощных личностей чего-то большего, чем вульгарность, общество должно постоянно следить за тем, чтобы они не получали больше, чем они отдают, когда у масс уже так много проблем с возмещением всего, что они получают? Несмотря на то, что каждый крутится, как хочет, всегда нужно сверяться с кассовой книгой, со счетом доходов и расходов, единственной гарантией как от крупных потребителей, так и от мелких производителей. Рабочий постоянно *опережает* свое производство; он всегда стремится к тому, чтобы брать *кредиты*, сокращать *долги* и терпеть *разорение*; ему постоянно нужно напоминать афоризм Сэя о том, что *продукты можно покупать только вместе с продуктами*.

Предположить, что работник с высокой производительностью может удовлетворяться в пользу малых половиной своей зарплаты, бесплатно предоставлять свои услуги и, как говорят в народе, *работать на короля Пруссии*, то есть для этой абстракции, которая называется обществом, сувереном или моими собратьями: это полагание общества на чувство, я не говорю, что недоступное для человека, но которое, систематически возводимое в принцип, является лишь ложной добродетелью, опасным лицемерием. Благотворительность предписывается нам как возмещение за немощи, которые случайно поражают нас подобных, и я понимаю, что с этой точки зрения благотворительность может быть организована; я понимаю, что, исходя из самой солидарности, она становится справедливостью. Но благотворительность, взятая в качестве инструмента равенства и закона равновесия, была бы распадом

общества. Равенство между людьми достигается строгим и негибким законом труда, пропорциональностью стоимостей, искренностью обменов и эквивалентностью функций; одним словом, математическим решением всех антагонизмов.

Вот почему благотворительность, первая добродетель христианина, законная надежда социалиста, цель всех усилий экономиста, становится социальным пороком, как только она становится принципом организации и закона; вот почему некоторые экономисты могли сказать, что легальная благотворительность причинила больше вреда обществу, чем узурпация собственности. Человек, как и общество, частью которого он является, находится с самим собой в вечном текущем счете; все, что он потребляет, он должен производить. Это общее правило, без которого никто не может обойтись без того, чтобы его, *ipso facto* (в силу факта) не оскорбляли и не подозревали в мошенничестве. Действительно странная идея — устанавливать под предлогом братства относительную неполноценность большинства людей! После этого прекрасного заявления останется только получить последствия; и скоро, благодаря братству, аристократия вернется.

Удвойте нормальную заработную плату рабочего, и вы пригласите его к лени, вы унижите его достоинство и деморализуете его совесть; — отнимите законную цену его усилий, и вы пробудите его гнев или превознесете его гордость. В любом случае вы нарушаете его братские чувства. Напротив, доведите условие труда до удовольствия, единственного способа, который природа обеспечивает для объединения людей, делающий их добрыми и счастливыми; вы вернетесь к закону экономического распределения, гласящему, что *продукты покупаются с продуктами*. Коммунизм, я часто говорил об этом, является самым отрицанием общества в его основе, которое является прогрессивной эквивалентностью верований и способностей. Коммунисты, к которым склоняется весь социализм, не верят в равенство природы и образования; они заменяют это державными указами, но, что бы они ни делали, неосуществимыми. Вместо того, чтобы искать справедливость в соотношении фактов, они берут ее в своей чувственности; называя справедливостью все, что им кажется любовью к ближнему, и постоянно путая разум с чувствами.

Зачем тогда постоянно вмешиваться в вопросы экономики, братства, благотворительности, преданности и Бога? Не будет ли утопистам легче высказываться об этих громких словах, чем всерьез изучать социальные проявления?

Братство! Братья, если хотите, при условии, что я старший брат, а вы — младший; при условии, что общество, наша общая мать, уважает мое первородство и мои услуги, удваивая мою долю. — Вы будете удовлетворять мои потребности, говорите вы, в пределах ваших возможностей. Я ожидаю, напротив, что это будет адекватно моему труду; в противном случае я прекращаю работать.

Благотворительность! Я отрицаю благотворительность, это из области мистицизма. Напрасно вы говорите мне о братстве и любви: я по-прежнему убежден, что вы меня едва ли любите, и я очень хорошо чувствую, что не люблю вас. Ваша дружба — лишь

притворство, и если вы меня любите, то только из интереса. Я требую то, что мне причитается, только то, что причитается: почему вы мне отказываете?

Преданность! Я отрицаю преданность, это из области мистицизма. Поговорите со мной о том, что *должно быть*, и *что есть*, единственной критерии в моих глазах справедливости и несправедливости, добра и зла в обществе. Каждому по делам его, это во-первых: и если при случае меня приучают помогать вам, я буду делать это с добротой; но я не хочу быть принужденным. Принуждать меня к преданности — это убивать меня!

Бог! Я не знаю Бога, это все тоже из области мистицизма. Начните с удаления этого слова из ваших речей, если вы хотите, чтобы я вас слушал: ибо за три тысячи лет опыта я понял, что если кто-то говорит со мной о Боге, то он посягает на мою свободу или мой кошелек. Сколько вы мне должны? сколько я вам должен? вот моя религия и мой Бог.

Монополия существует природой и человеком: ее источник одновременно как в глубине нашего сознания, так и во внешнем факте нашей индивидуализации. Так же, как в нашем теле и нашем разуме, все является специальностью и собственностью; так же наш труд происходит с чистым и специфическим характером, который составляет его качество и стоимость. И поскольку труд не может проявиться без материи или объекта осуществления, человеку обязательно требуется это, монополия устанавливается от субъекта к объекту так же неумолимо, как продолжительность образуется из прошлого в будущее. Пчелы, муравьи и другие общественные животные кажутся индивидуально одаренными только в автоматизме; душа и инстинкт у них почти исключительно коллективные. Вот почему среди этих животных не может быть места для привилегий и монополии; вот почему в своих операциях, даже самых продуманных, они не советуются и не обдумывают. Но если человечество индивидуализировано в своем множестве, человек неизбежно становится монополистом, к тому же, не будучи монополистом, он — ничто; и общественная проблема состоит в том, чтобы знать не как отменить, а как примирить все монополии.

Наиболее значительными и непосредственными последствиями монополии являются:

1) В политическом порядке классификация человечества на семьи, племена, города, нации, государства: это элементарное разделение человечества на группы и подгруппы рабочих, отличающихся своими расами, языками, обычаями и климатом. Именно благодаря монополии человеческий род овладел земным шаром, так же, как благодаря ассоциации он станет полностью независимым.

Политическое и гражданское право, задуманное всеми без исключения законодателями и сформулированное правоведами, порожденное этой патриотической и национальной организацией обществ, образует в ряду социальных противоречий

первое и обширное ответвление, изучение которого само по себе потребовало бы в четыре раза больше времени, чем мы можем выделить на вопрос промышленной экономики, поставленный Академией.

2) В экономическом порядке монополия способствует повышению благосостояния, в первую очередь увеличивая общее благосостояние за счет совершенствования средств; затем КАПИТАЛИЗИРУЯ, что означает консолидацию завоеваний труда, полученных путем разделения, машин и конкуренции. Из этого эффекта монополии возникла экономическая фикция, согласно которой капиталист рассматривается как производитель, а капитал — как агент производства; затем, как следствие этого вымысла, — теория *чистой прибыли* и *валовой прибыли*.

В связи с этим мы должны представить некоторые соображения. Сначала процитируем Ж.-Б. Сэя.

«Произведенная стоимость — это *валовая прибыль*, эта стоимость после вычета издержек производства является *чистой прибылью*.

Если рассматривать нацию в массе, у нее нет чистой прибыли; поскольку продукты располагают только стоимостью производства, то когда вычитают эти затраты, вычитают всю стоимость

Благотворительность, первая добродетель христианина, законная надежда социалиста, цель всех усилий экономиста, становится социальным пороком, как только она становится принципом организации и закона продуктов⁵. Поэтому национальное производство, ежегодное производство всегда следует понимать как валовое производство.

Годовой доход — это валовый доход.

Чистое производство может быть понято тогда, когда речь идет об интересах одного производителя отдельно от интересов других производителей. Предприниматель получает *прибыль* от *произведенной* стоимости за вычетом *потребительской* стоимости. Но то, что для него является потребительской стоимостью, такой, как покупка производственной услуги, для автора услуги является частью дохода» (*Политэкономический договор*, аналитическая таблица).

Эти определения безупречны. К сожалению, Ж.-Б. Сэй не почувствовал всей значимости этого и не мог предвидеть, что однажды его непосредственный преемник в колледже Франции атакует их. Г-н Росси стремился опровергнуть положение Ж.-Б. Сэя о том, что *для нации чистая прибыль — то же самое, что валовая прибыль*, исходя

⁵ Прудон продолжает цитировать Ж.-Б. Сэя, при этом располагая фразы не в подбор, а с абзаца — вероятно, в соответствии с текстом Ж.-Б. Сэя. — А.А. А-О.

из того, что нации, так же, как предприниматели, ничего не производят без авансов (задатков), и что если формула Ж.-Б. Сэя верна, то аксиома *ex nihilo nihil fit* (из ничего ничто не происходит) больше не существует.

Значит, это именно то, что происходит. Человечество, как и Бог, производит все из ничего, *ex nihilo hilum* (из ничего нечто), так же, как оно само является продуктом из ничего, так же, как его мысль исходит из ничего; и г-н Росси не допустил бы такого недоразумения, если бы он не перепутал, вместе с физиократами, продукты индустриального царства с продуктами животного, растительного и минерального царств. Политическая экономия начинается с труда; развивается через труд; и все, что не исходит от работы, попадает в чистую пользу, то есть в категорию вещей, подверженных действию человека, но еще не обретших способности к обмену посредством труда, радикально отчужденных от политической экономии. Сама монополия, несмотря на ее появление под воздействием коллективной воли, ничего не меняет в этих отношениях, поскольку и в соответствии с историей, и в соответствии с письменным законом, и в соответствии с экономической теорией монополия существует или должна существовать только после вложенного труда.

Таким образом, доктрина Сэя недостижима. По отношению к предпринимателю, чья деятельность всегда связана с другими производителями, сотрудничающими с ним, прибыль — это то, что остается от произведенной стоимости после вычета стоимостей потребления, среди которых следует выделять зарплату предпринимателя, другими словами, его жалование. По отношению к обществу, которое содержит все возможные специальности, чистая прибыль идентична валовой прибыли.

Но есть пункт, объяснение которого я тщетно искал у Сэя и других экономистов, а именно — как устанавливается реальность и законность чистой прибыли. Поскольку ощутимо, что для того, чтобы заставить исчезнуть чистую прибыль, было бы достаточно увеличить заработную плату рабочих и уровень стоимостей потребления, оставив прежней цену продаж. Поскольку ничто, кажется, не может отличить чистую прибыль от вычета, произведенного из зарплат, или, что то же самое, от изъятия с потребителя, чистая прибыль выглядит как вымогательство, предпринятое с помощью силы и без малейшего проявления права.

Эта трудность была ранее решена в нашей теории пропорциональности стоимостей.

Согласно этой теории, любой эксплуататор машины, идеи или капитала должен рассматриваться как человек, который при равных затратах увеличивает сумму определенного вида продукции и, следовательно, увеличивает общественное благосостояние за счет экономии времени. Принцип легитимности чистого продукта заключается, таким образом, в способах, которые ранее использовались: если новая комбинация будет успешной, возникнет избыток стоимостей и, следовательно, прибыль, это чистая прибыль; если предприятие будет базироваться на ложной основе, возникнет дефицит валового продукта, а также долгий путь разрушения и

банкротства. В том же случае, и это наиболее часто происходит, когда не существует никаких инноваций со стороны предпринимателя, кроме тех, которые обеспечивают успех промышленности в целом, правило чистой прибыли остается в силе. Тем не менее, из того, что в соответствии с природой монополии любое предприятие должно оставаться для предпринимателя под угрозой и опасностями, следует, что чистая прибыль принадлежит ему под самым священным среди людей названием — труда и ума (интеллекта). Излишне напоминать, что чистая прибыль часто преувеличивается либо путем мошеннического сокращения заработной платы, либо любым другим способом. Это злоупотребления, которые исходят не из принципа, а из человеческой жадности и которые остаются вне сферы теории. Кроме того, я показал, рассматривая образование стоимости, гл. II, § 2: 1. как чистая прибыль никогда не может превышать разницу, которая является результатом неравенства средств производства; 2. как прибыль, получаемая обществом от каждого нового изобретения, оказывается несравнимо большей, чем прибыль предпринимателя. Я не буду возвращаться к этим вопросам, которые к настоящему времени уже исчерпаны: я лишь отмечу, что благодаря промышленному прогрессу чистая прибыль имеет постоянную тенденцию к снижению для промышленника, в то время как, с другой стороны, благосостояние увеличивается, так же, как концентрические слои, составляющие ствол дерева, становятся тоньше по мере роста дерева и по мере удаления от центра.

Наряду с чистой прибылью, естественным вознаграждением рабочего, я сообщал, как об одном из счастливейших последствий монополии, о *капитализации* стоимостей, из которой рождается другой вид прибыли, а именно *проценты* или аренда капитала. — Что касается *ренды*, при том, что ее часто путают с процентами; хотя, грубо говоря, это суммируется, так же, как прибыль и проценты, в общем выражении ДОХОД,— это нечто иное, чем проценты; она возникает не из монополии, а из собственности; она связана с особой теорией, и мы будем говорить о ней в свое время. Что же это за реальность, известная всем народам, и все же до сих пор так плохо определенная, которая называется процентом или ценой займа, и которая порождает фикцию производительности капитала?

Всем известно, что предприниматель, когда он учитывает свои производственные затраты, обычно делит их на три категории:

- 1) Стоимости потребления и оплаченные услуги;
- 2) его личное жалование;
- 3) амортизация и проценты по капиталу.

Именно из этой последней категории расходов родилось различие между предпринимателем и капиталистом, хотя эти два названия попеременно выражают только одну и ту же способность — монополию.

Таким образом, промышленное предприятие, которое дает только проценты по капиталу и ничего для чистой прибыли, является ничтожным предприятием,

которое приводит только к преобразованию своих стоимостей, не добавляя ничего к богатству; наконец, предприятие, у которого нет оснований для существования и которое покинуто в первый же день. Как же тогда получается, что этот процент по капиталу не рассматривается как достаточное дополнение к чистой прибыли? Как он сам не является чистой прибылью?

В этом заключен новый изъяс философии экономистов. Чтобы защитить ростовщичество, они утверждали, что капитал продуктивен, и они превратили метафору в реальность. Социалисты антисобственники не утруждали себя ниспровержением их софизмов; и в результате этой полемики возник такой ущерб теории капитала, что сегодня в сознании народа *капиталист* и *бездельник* являются синонимами. Разумеется, я не собираюсь здесь отказываться от того, что я сам поддерживал вместе со многими другими, или реабилитировать класс граждан, которые так странно игнорируют свои обязанности: но интересы науки и самого пролетариата вынуждают меня дополнять мои первые утверждения и поддерживать истинные принципы.

1) Всякое производство осуществляется с целью потребления, то есть пользования. В обществе слова, соотносимые с производством и потреблением, так же, как и слова чистая прибыль и валовая прибыль, обозначают совершенно идентичную вещь. Поэтому, если после того, как рабочий произвел чистую прибыль, он, вместо того, чтобы использовать ее для повышения своего благосостояния, ограничился своей заработной платой и применил излишек, который ему выпадает в новом производстве, как и многие люди, которые зарабатывают только для того, чтобы покупать, производство будет расти бесконечно, в то время как благосостояние и, с точки зрения общества, население будут оставаться в *status quo* (в существующем положении вещей). Значит, процент капитала, привлеченного промышленным предприятием, и который был сформирован постепенно путем накопления чистой прибыли, этот процент — как сделка между необходимостью увеличения, с одной стороны, производства, и, с другой стороны, благосостоянием; это способ воспроизводить и потреблять в то же время чистую прибыль. Вот почему некоторые промышленные компании платят своим акционерам дивиденды еще до того, как компания заплатит что-либо. Жизнь коротка, успех приходит на короткое время; с одной стороны, труд приказывает, с другой — человек хочет наслаждаться. Для выполнения всех этих требований чистая прибыль будет возвращена в производство; но между тем (*inter-ea, inter-esse*), то есть в ожидании нового продукта, капиталист будет наслаждаться.

Таким образом, поскольку показатель чистой прибыли отмечает прогресс богатства; процент по капиталу, без которого чистая прибыль была бы бесполезна и даже не существовала бы, свидетельствует о прогрессе благосостояния. Какая бы форма правления ни была установлена среди людей, независимо от того, живут ли они в условиях монополии или сообщества, открыт ли счет каждому работнику с помощью кредита и дебета, или что сообщество распределяет для него труд и удовольствие, закон, который мы только что выпустили, всегда будет выполняться. Подсчеты

наших процентов свидетельствуют именно об этом.

2) Стоимости, создаваемые чистой прибылью, входят в сбережения и капитализируются там в наиболее выгодной для обмена форме, наименее подверженной амортизации и наиболее свободной, одним словом, в денежной форме, единственной образованной стоимости. Поскольку этот капитал, каким бы свободным он ни был, стремится принять форму машин, зданий и т. д.; он все еще будет способен к обмену, но гораздо более, чем раньше, подвержен колебаниям спроса и предложения. После того, как он будет принят к использованию, ему будет трудно *освободиться*; и единственным ресурсом владельца будет его эксплуатация. Только эксплуатация может сохранять для капитала его номинальную стоимость; возможно, она увеличит его, возможно, уменьшит. Капитал, преобразованный таким образом, выглядит так, как если бы он был подвергнут опасности в морском предприятии: проценты — это страховая премия капитала. И эта премия будет более или менее высокой, в зависимости от обилия или нехватки капитала.

Позже еще будут различать страховую премию от процентов капитала, и в результате этого раздвоения возникнут новые факты: таким образом, история человечества есть не что иное, как вечное распознавание концепций ума.

3) Не только интерес к капиталу заставляет работника наслаждаться своими произведениями и обеспечивает его сбережения; но, и это самый замечательный эффект этого интереса, вознаграждая производителя, он заставляет его работать непрерывно и никогда не останавливаться.

Если предприниматель является капиталистом в отношении самого себя, то может случиться так, что он будет достаточно доволен всей прибылью, чтобы снять проценты со своих фондов: но тогда, несомненно, его производство перестанет развиваться, поскольку потерпит недостачу. Это то, что мы получаем, когда капиталист не является одновременно предпринимателем: поскольку тогда при вычете процента прибыль для производителя становится абсолютно нулевой, его производство становится для него постоянной опасностью, из которой для него становится важным освободиться в ближайшее время. Поскольку благосостояние должно развиваться для общества в бесконечной прогрессии, так же закон производителя заключается в том, что он постоянно реализует излишки: без этого его существование ненадежно, однообразно, утомительно. Поэтому интерес капиталиста к производителю подобен хлысту колонизатора, который звенит над головой спящего раба; это голос прогресса, который кричит: марш, марш! работай, работай! Судьба человека ведет его к счастью, поэтому она запрещает ему отдыхать.

4) Наконец, денежный интерес является условием движения капитала и основным агентом промышленной солидарности. Этот аспект был понят всеми экономистами;

и мы будем иметь дело с ним особым образом, заботясь о кредите.

Я доказал, и я думаю, что лучше, чем это было сделано до сих пор:

Что монополия необходима, так как она является антагонистом конкуренции;

Что она является сутью общества, так как без нее оно никогда не оставило бы первобытных лесов, и что без нее оно бы быстро регрессировало;

Наконец, что она является венцом производителя, поскольку либо чистой прибылью, либо процентами капитала, которые она отдает производству, она приносит монополисту увеличение благосостояния, которого заслуживают его предусмотрительность и усилия.

Так будем ли мы славить вместе с экономистами и освящать монополию на благо имущих консерваторов? Я хочу этого, при условии, что, поскольку я сделал их правыми в вышеизложенном, они, в свою очередь, будут правы в отношении того, что будет дальше.

§ II. Катастрофы в труде и извращения идей, вызванные монополией

Как и конкуренция, монополия подразумевает противоречие в термине и в определении. В самом деле, поскольку потребление и производство вещи в обществе идентичные, а продажа означает покупку, что говорит о привилегии продажи или использования, необходимо говорить о привилегии потребления и покупки, что приводит к отрицанию того и другого. Отсюда запрет на потребление, а также на производство, выраженный монополией против наемных работников. Конкуренция была гражданской войной, монополия — расправа над пленными.

Эти различные предложения объединяют все виды очевидного, физического, алгебраического и метафизического. То, что я добавлю, будет лишь усиленной экспозицией: их демонстрирует только их утверждение.

Любое общество, рассматриваемое в его экономических отношениях, естественно делится на капиталистов и рабочих, предпринимателей и наемных работников, распределенных по шкале, градусы которой обозначают доход каждого, независимо от того, состоит ли этот доход из заработной платы, прибыли, процентов, ренты или аренды.

Из этого иерархического распределения людей и доходов следует, что принцип Сэя, сообщенный ранее, что *В государстве чистая прибыль равна валовой прибыли*, уже не является истинным, поскольку в качестве эффекта монополии цифра *цен продаж* намного превосходит цифру *себестоимости*. Значит, поскольку наряду с этим себестоимость должна оправдывать цену продажи, из того, что нация фактически не имеет другого решения, кроме самой себя, следует, что обмен, в результате которого происходит движение и жизнь, невозможен.

«Во Франции 20 миллионов рабочих, распределенных по всем отраслям науки, искусства и промышленности, производят все, что необходимо для жизни человека. Сумма их заработных плат равна, предположительно, 20 миллиардам: но из-за прибыли (чистой прибыли и процентов), причитающейся монополистам, сумма выручки должна достигать 25 миллиардов. Значит, поскольку у нации нет других покупателей, кроме своих наемных и оплачиваемых работников, которые не платят никому другому, а цена продажи товара одинакова для всех, ясно, что для того, чтобы сделать обращение возможным, рабочий должен заплатить пять несмотря на

то, что он получил только четыре». (*Что такое собственность?* Гл. IV.)

Вот что делает богатство и бедность коррелятивными, нераз делимыми не только по идее, но и по факту; вот что заставляет их существовать в конкуренции друг с другом, и что дает право наемному работнику делать вид, что богатый не владеет ничем большим, чем бедняк, чем этот последний не разочарован. После того, как монополия сделала свой подсчет дохода, прибыли и процентов, работник-потребитель сделал свой; и получается, что, пообещав ему зарплату, представленную в трудовом договоре сотней, ему фактически дали только семьдесят пять. Таким образом, монополия провоцирует банкротство своих наемных работников, и совершенно точно, что она жива своим грабежом.

Последние шесть лет я поднимал вопрос об этом пугающем противоречии: почему оно не звучало в прессе? почему мастера известности не оповещают публику? почему те, кто взывают к необходимости предоставления политических прав рабочего, не сказали ему, что его грабят? почему молчали экономисты? почему?

Наша революционная демократия не шумит только потому, что боится революций: но, скрывая опасность, поскольку она не осмеливается смотреть ей в лицо, она лишь приумножает ее. «Мы похожи, — говорит г-н Бланки, — на машинистов, которые увеличивают дозу пара, одновременно закрывая клапаны». Жертвы монополии, утешьтесь! Если ваши палачи не хотят вас услышать, то Провидение их накажет: *non audierunt*, — говорит Библия, — *quia Deus volebat occidere eos* (не слышали, потому что Бог хотел уничтожить их).

Продажа не может соответствовать условиям монополии, возникает загромождение товаров; труд произвел за год то, что зарплата позволяет ему потреблять только за пятнадцать месяцев: значит, ему придется пробыть четверть года без работы. Но, если он не работает, он ничего не зарабатывает: как он тогда что-нибудь купит? И если монополист не может отказаться от своей продукции, как будет существовать его бизнес? Логическая невозможность множится вокруг цеха; факты, которые ее переводят, повсюду.

«Трикотажники Англии, — говорит Эжен Бюре, — пришли к тому, что не едят в течение одного дня из двух. Это состояние продолжалось восемнадцать месяцев». — И он приводит множество подобных случаев.

Но что огорчает в зрелище последствий монополии — видеть, как несчастные рабочие обвиняют друг друга в своей нищете и воображают, что, объединяясь и опираясь друг на друга, они предотвратят сокращение заработной платы. «Ирландцы, — говорит один из наблюдателей, — дали ужасный урок рабочим классам Великобритании... Они открыли нашим рабочим роковую тайну того, как ограничивать свои потребности содержанием только животной жизни и довольствоваться, подобно дикарям, минимумом средств к существованию, которых достаточно для продления жизни... Руководствуясь этим роковым примером, частично уступая необходимости,

рабочие классы утратили эту похвальную гордость, которая заставляла их правильно обставлять свои дома и приумножать вокруг себя приличествующие удобства, которые способствуют счастью».

Я никогда не читал ничего более печального и глупого. И что вы хотели, чтобы они сделали, эти рабочие? Пришли ирландцы: они должны быть убиты? Заработная плата была уменьшена: отказаться от нее и умереть? Необходимость заставила, сами же говорите. Затем последовали бесконечные заседания, болезни, уродства, дегенерация, отупение и все признаки промышленного рабства: все эти бедствия родились от монополии и ее печальных предшественников, конкуренции, машин и разделения труда: а вы обвиняете ирландцев!

В иных случаях рабочие обвиняют плохую судьбу и призывают к терпению: это аналог благодарности, которую они обращают к Провидению, когда работы предостаточно, а зарплата удовлетворительная.

Я нахожу в статье, опубликованной г-м Леоном Фоше в «Журнале экономистов» (сентябрь 1845 г.), что в течение некоторого времени английские рабочие утратили привычку к коалиции, что, безусловно, прогресс, с которым можно только поздравить их; но что это улучшение в моральном состоянии рабочих происходит главным образом от их экономического образования. «Не от промышленников, — кричал на митинге в Болтоне рабочий-прядильщик, — зависит заработная плата. Во времена депрессии хозяева — это, так сказать, только кнут, которым вооружается необходимость; и нравится им это или нет, нужно, чтобы они им ударили. Принцип регулирования — соотношение спроса и предложения; и у хозяев нет такой власти... Действуем, следовательно, осторожно; постараемся мириться с неудачей и пользоваться добром: Поддерживая прогресс нашей промышленности, мы будем полезны не только себе, но и всей стране» (аплодисменты).

В добрый час: вот хорошо вымуштрованные рабочие, модельные рабочие. Что за люди, эти прядильщики, которые подчиняются, не жалуясь на *кнут необходимости*, потому что регулирующим принципом заработной платы является *спрос и предложение!* Г-н Леон Фоше с очаровательной наивностью добавляет: «Английские рабочие — бесстрашные резонеры. Дайте им ложный принцип, и они математически доведут его до абсурда, не останавливаясь и не пугаясь, как если бы они шли к торжеству истины». Надеюсь, что, несмотря на все усилия экономической пропаганды, французские рабочие никогда не будут рассуждать в таком духе. *Спрос и предложение*, как и *кнут необходимости*, больше не оказывают влияния на их рассудок. Этой нищеты в Англии не было: она не протиснется в пролив.

Благодаря комбинированному эффекту разделения, машинам, чистой прибыли и процентам монополия расширяет свои завоевания в возрастающей прогрессии; ее развитие охватывают сельское хозяйство так же, как торговлю и промышленность, все виды продукции. Всем известно, что сказал Плиний о земельной монополии, которая определила падение Италии, *latifundia perdidere Italiam* (латифундия погубит

Италию). Та же монополия, которая до сих пор обедняет и делает итальянскую деревню непригодной для жизни и которая образует порочный круг, в котором Англия содрогается в конвульсиях; это она, насильственно установленная в продолжение родовой войны, порождает все беды Ирландии и причиняет так много скорби О'Коннелу, бессильному со всем его красноречием, в том, чтобы вести своих сторонников через этот лабиринт. Большие чувства и риторика — худшее лекарство от социальных бед: О'Коннелу было бы легче перевезти Ирландию и ирландцев из Северного моря в Австралийский океан, чем разрушить монополию, которая удушает их дыханием своих утомительных речей. Общие причастия и проповеди больше не будут происходить: если одно лишь религиозное чувство по-прежнему поддерживает моральный дух ирландского народа, то давно пора, чтобы немного этой светской науки, столь презираемой Церковью, пришло на помощь овцам, которых ее посох больше не защищает. Вторжение монополии в торговлю и промышленность слишком хорошо известно, чтобы собирать доказательства этого: кроме того, что толку спорить, когда результаты говорят так громко?

В описании нищеты рабочих классов Э. Бюре есть нечто фантастическое, что угнетает и ужасает вас. Это сцены, в которые воображение отказывается верить, несмотря на сертификаты и протоколы. Обнаженные супруги, спрятанные на дне пустой ниши, со своими голыми детьми; целые части населения, которые больше не ходят в церковь по воскресеньям, потому что они голые; трупы, хранящиеся по восемь дней без захоронения, потому что нет ни савана, чтобы его завернуть, ни чем оплатить пиво и гробовщика (а епископ получает от 4 до 500,000 ливров ренты¹); — семьи, сгрудившиеся в сточных канавах, живущие в отделениях со свиньями и гниющие заживо, или живущие в ямах, как альбиносы; по восемь ног на голых досках; и девственница и проститутка, угасающие в одной и той же наготе: повсюду отчаяние, дистрофия, голод, голод!...И эти люди, которые искупают преступления своих хозяев, не бунтуют! Нет, пламенем Немезиды! когда у людей больше нет мести, больше нет Провидения².

Массовые истребления монополии еще не воспеты. Наши сочинители рифм, незнакомые с делами этого мира, недрами пролетариата, продолжают направлять к луне свои вздохи *сладострастия*. Но какой, однако, предмет *медитации* — страдания, порожденные монополией!

Вальтер Скотт говорит:

«В прошлом, много лет назад, у каждого жителя деревни была своя корова и свинья, а вокруг дома — огороженный участок. Там, где сегодня пашет один фермер, когда-то

¹ Так у Прудона, при том, что ливры как денежная единица официально прекратили хождение во Франции в конце XVIII в. — А.А. А-О.

² Здесь Прудон играет рифмой: по-французски месть (vengeances) звучит как «венжанс», а провидение (providence) как «провиданс». — А.А. А-О.

жили тридцать мелких фермеров; так же, как для более богатого человека в одиночку это правда, что из тридцати фермеров прежних времен теперь двадцать девять жалких поденщиков, без применения для своего интеллекта и для своих рук, и из которых больше половины — это слишком много. Единственная полезная функция, которую они выполняют, — это платить, *когда могут*, аренду в размере 60 шиллингов в год, за хижины, в которых они живут».

Современная баллада, которую приводит Э. Бюре, воспевает одиночество монополии:

Прялка в долине молчит:
Семейные чувства окончились.
Над дымом старый дед
Протягивает свои бледные руки;
И пустой очаг
Печален так же, как его сердце.

Отчеты, подготовленные в парламенте, соперничают с романистом и поэтом.

«Жители Гленшейля, в окрестностях долины Дунде, раньше отличались от всех своих соседей превосходством физических качеств. Мужчины были высокими, крепкими, активными и смелыми; женщины — милыми и грациозными. У обоих полов был необычайный вкус к поэзии и музыке. Теперь — увы! Длительное испытание бедностью, длительное отсутствие достаточного количества пищи, пристойной одежды сильно ухудшило эту расу, которая была удивительно красивой».

Это роковая деградация, о которой мы говорили в двух главах о разделении труда и о машинах. А наши писатели позаботятся о приятных ретроспективах, как будто новость ознаменовала их гениальность! Первый из них, кто рискнул отправиться по этим адским дорогам, вызвал скандал в своей клике! Подлые паразиты, мерзкие торговцы прозой и стихами, все достойные зарплаты Марсия!⁵ Ох! если бы ваша пытка длилась столько же времени, сколько мое презрение, вы бы поверили в вечность ада.

Монополия, которая совсем недавно казалась нам столь обоснованной в правовом смысле, тем более несправедлива, поскольку не только делает заработную плату иллюзорной, но и вводит в заблуждение работника в самой оценке этой зарплаты, используя лицом к лицу с ним ложное название, ложное качество.

Г-н де Сисмонди в своих *«Исследованиях по социальной экономике»* где-то отмечает, что, когда банкир дает торговцу банкноты в обмен на его стоимости, то это не он

⁵ Легендарный пастух-сатир, которому царь Мидас присудил победу в музыкальном состязании с Аполлоном: Мидаса Аполлон наградила ослиными ушами, а с Марсия, подвесив его на сосне, содрал кожу. Именно такой «зарплаты» желает Прудон для современных ему писателей и поэтов. — А.А. А-О.

дает кредит торговцу, он получает его, наоборот, от него. «Этот кредит, — добавляет г-н де Сисмонди, — в действительности настолько короток, что торговец едва дает себе время его изучить, если банкир достоин этого, тем более что он первым запрашивает кредит, а не предоставляет его».

Таким образом, по словам г-на де Сисмонди, при выпуске банковских бумаг роли торговца и банкира меняются местами: первый является кредитором, а второй кредитуются.

Нечто подобное происходит между монополистом и работником.

Фактически, именно работники, как и торговец в банке, просят обесценить их работу; по закону именно предприниматель должен обеспечивать их гарантией и безопасностью. Я объяснюсь.

В любой операции любого характера предприниматель не может законно требовать, помимо своей личной работы, ничего, кроме ИДЕИ: что касается ИСПОЛНЕНИЯ, результата соревнования многих рабочих, то это эффект коллективной силы, авторы которой, так же свободные в своих действиях, как их вождь, не могут производить ничего, что возвращалось бы им безвозмездно. Теперь вопрос состоит в том, чтобы знать, эквивалентна ли сумма индивидуальных зарплат, выплачиваемых предпринимателем, коллективному эффекту, о котором я говорю: потому что, если бы это было иначе, аксиома Сэя, *Каждый продукт стоит того, что он стоит*, будет разрушена.

«Говорили, что капиталист оплачивал рабочие дни по спорной цене; следовательно, он им ничего не должен. Чтобы быть точным, следует сказать, что он столько же оплачивал *один день*, в течение которого занимал рабочих, что совсем не одно и то же. Потому что эта огромная сила, которая возникает в результате объединения рабочих, в результате согласованности и гармонии их усилий; это умножение продукта, предусмотренное, что правда, предпринимателем, но осуществленное свободными силами, которым он не заплатил. Двести гренадеров, оперирующих под руководством инженера, за несколько часов подняли на пьедестал обелиск: неужели мы думаем, что один человек за двести дней справится с этим? Однако, как считает предприниматель, сумма заработной платы в обоих случаях одинакова, поскольку он претендует на выгоду от коллективной силы. Значит, одно из двух: либо присвоение с его стороны, либо ошибка». (*Что такое собственность?* Глава III.)

Чтобы правильно эксплуатировать прялку-дженни потребовались механики, конструкторы, служащие, бригады рабочих и рабочие всех профессий. Во имя своей свободы, своей безопасности, своего будущего и будущего своих детей эти работники, нанимаясь в прядильный цех, должны были сделать запасы: где аккредитивы, которые они выдали предпринимателям? Где гарантии, которые они получили от них? О чем вы! миллионы людей продали свои руки и отчуждали

свою свободу, не зная сферы действия договора; они поверили в постоянное трудоустройство и достаточное воздаяние; они своими руками выполнили то, что задумали хозяева; благодаря этому сотрудничеству они стали партнерами в бизнесе: и когда монополия, неспособная или не желающая торговать, приостанавливает свое производство и оставляет эти миллионы рабочих без хлеба, им приказывают смириться. По новым процедурам они потеряли девять дней из десяти своей работы; а в качестве компенсации им предъявляют кнут необходимости, поднятый на них! Поэтому, если они отказываются работать за меньшую зарплату, их уверяют, что они сами себя наказывают. Если они принимают предложенную им цену, они теряют эту благородную гордость, этот вкус к приличным удобствам, которые делают работника счастливым и достойным, и дают ему право на симпатии богатых. Если они собираются вместе, чтобы заставить увеличить свою зарплату, их бросают в тюрьму! Хотя они должны преследовать своих эксплуататоров в суде, именно им суды будут мстить за нападения на свободную торговлю! Жертвы монополии, они будут нести наказание за монополистов! О, человеческая справедливость, глупая куртизанка, до каких пор, скрываясь под одеждами богини, ты будешь пить кровь зарезанного пролетария?

Монополия все захватила: землю, труд и орудия труда, продукты и распределение продуктов. Сама политическая экономия не могла не признать это: «Вы почти всегда находите на своем пути, — говорит г-н Росси, — монополию. Вряд ли найдется продукт, который можно считать чистым и простым результатом труда; таким образом, экономический закон, который соотносит цену с затратами на производство, никогда полностью не реализуется... Это формула, которая глубоко изменена в результате вмешательства той или иной монополии, которой подчинены инструменты производства» (*Курсы полит. экон.*, т. I, стр. 143).

Г-н Росси располагает в таких высотах, которые не позволяют придать его языку всю определенность и точность, которые требуются науке, когда речь идет о монополии. То, что он так любезно называет *модификацией экономических формул*, является лишь длительным и одиозным нарушением основных законов труда и обмена. Именно благодаря эффекту монополии в обществе, где чистый продукт, который учитывается в дополнение к валовому продукту, коллективный работник должен выкупить свой собственный продукт по цене, превышающей ту цену, которую стоит на самом деле этот продукт, что является противоречивым и невозможным; нарушен естественный баланс производства и потребления; работник обманут как размером заработной платы, так и правилами: прогресс в благосостоянии превращается для него в непрекращающийся прогресс в нищете: наконец, благодаря монополии все понятия коммутативного правосудия искажены, и социальная экономика из положительной науки становится настоящей утопией.

Эта пародия на политическую экономию под влиянием монополии является настолько замечательным фактом в истории социальных идей, что мы не можем

обойтись без приведения здесь некоторых примеров.

Таким образом, с точки зрения монополии, стоимость больше не является этой синтетической концепцией, которая служит для выражения связи конкретного объекта пользы со всем богатством: для монополии, оценивающей вещи не по отношению к обществу, а по отношению к себе, стоимость теряет свой общественный характер и является не более чем неопределенным, произвольным, эгоистичным, по существу мобильным отношением. Исходя из этого принципа, монополист распространяет квалификацию *продукта* на все виды крепостной зависимости и применяет идею *капитала* ко всем легкомысленным и постыдным отраслям, эксплуатируемым его страстями и пороками. Прелести куртизанки, говорит Сэй, — это *фонд, продукт* которого следует общему *закону стоимостей*, а именно *спросу и предложению*. Большинство трудов по политической экономии полны таких иллюстраций. Но поскольку проституция и прислуживание в доме, от которого она происходит, порицаются моралью, г-н Росси еще раз заметит нам, что политическая экономия, *изменив* свою формулу в результате вмешательства монополии, должна будет подвергнуть ее новому *исправлению*; хотя выводы ее сами по себе безукоризненны. Потому что, говорит он, политическая экономия не имеет ничего общего с моралью: это нам предстоит принять, изменить или исправить формулы, в зависимости от того, что требует наше благо, благо общества и забота о морали. Что-то среднее между политической экономией и правдой!

Точно так же теория чистой выручки, в высшей степени социальная, прогрессивная и консервативная, была, если можно так выразиться, индивидуализирована в свою очередь монополией, а принцип, который должен обеспечить благосостояние рассматриваемого общества, разрушен. Монополист, стремящийся к максимально возможной чистой выручке, больше не выступает в качестве члена общества и в интересах общества; он действует исключительно в своих интересах, независимо от того, противоречит ли этот интерес общественным интересам. Это изменение перспективы является причиной, которую г-н де Сисмонди приписывает депопуляции итальянской деревни. Согласно проведенным им сравнительным исследованиям продукции итальянского *сельского хозяйства*, в зависимости от того, будет ли она выращена или оставлена на пастбище, он обнаружил, что *валовая* выручка в первом случае будет в 12 раз более значительной, чем во втором; но поскольку выращивание требует большего количества рук, он также увидел, что в этом же случае *чистая* выручка будет меньше. Этого расчета, который не миновал внимания собственников, оказалось достаточно, чтобы закрепить их привычку оставлять свои земли необрабатываемыми, а сельскую местность Италии — необитаемой.

«Все части Италии, — добавляет г-н де Сисмонди, — представляют одинаковый контраст между воспоминаниями об их процветании в средние века и их нынешним опустошением. Город Серес, прославленный Ренцо да Сери, который защищал Марсель от Карла V и Женеву от герцога Савойского, воплощение одиночества. Во всех поместьях Орсини и Колонн никого. В лесах, окружающих красивое озеро Вико, человеческая раса исчезла; и солдаты, с которыми суровый префект Вико так часто

заставлял Рим дрожать в четырнадцатом веке, не оставили потомков. Кастро и Рончильоне опустошены...» (*Исследования по пол. экон.*)

На самом деле общество ищет самый большой валовый доход, а значит, и наибольшую возможную численность населения, потому что для него валовый доход и чистый доход идентичны. Монополия, наоборот, постоянно стремится к наибольшему чистому доходу, даже если он был получен только за счет уничтожения человеческого рода.

Под тем же влиянием монополии процент капитала, извращенный в его концепции, в свою очередь стал для общества принципом смерти. Так же, как мы объясняли, процент капитала, с одной стороны, является формой, в которой рабочий пользуется своим чистым доходом, в то же время заставляя его служить новым созиданиям; с другой стороны, этот процент является материальной связью солидарности между производителями с точки зрения увеличения богатств. Согласно первому аспекту, сумма процентов никогда не может превышать сумму самого капитала; в соответствии со второй точкой зрения, проценты в дополнение к возврату включают премию в качестве вознаграждения за оказанную услугу. Но ни в каком случае это положение не будет длиться вечно.

Но монополия, путая понятие капитала, о котором можно сказать только как о творении человеческой промышленности, с понятием эксплуатируемого фонда, который нам дала природа и который принадлежит всем, способствовала, кроме того, ее узурпации посредством анархического состояния общества, в котором владение может существовать только при условии его исключительности, суверенности и вечности; — монополия вообразила, что в принципе это означает, что капитал, подобно земле, животным и растениям, сам по себе имеет специфическую деятельность, которая освобождает капиталиста от внесения чего-то еще для обмена и от того, чтобы принимать участие в работе цеха. Из этой ложной идеи монополии произошло греческое название ростовщичества — *tokos*, как сказал бы маленький или растущий капитал; что позволило Аристотелю сформировать этот каламбур — *деньги не делают малых*. Но метафора ростовщиков превзошла шутку Стагирита⁴; ростовщичество, подобно ренте, которому оно подражает, объявлено бессрочным; и только очень поздно, вернувшись к принципу наполовину, оно воспроизвело идею *амортизации*...

В этом смысл этой загадки, которая вызвала столько скандалов среди богословов и юристов, и по которой христианская церковь дважды блуждала, первый раз осуждая всякие корысти, второй — подчиняясь настроениям экономистов и тем самым опровергая свои прежние максимы. Ростовщичество, или право на блага,

⁴ Аристотель — уроженец города Стагиры в древней Македонии, то есть это выражение Прудон использует так же, как если бы речь шла об уроженце Рима и он его называл бы римлянином. Правда, чтобы анонсировать родной город человека, не обязательно писать прилагательное, происходящее от названия этого города, с прописной, но мы, как было обещано, во всем следуем оригиналу. — А.А. А-О.

является одновременно выражением и осуждением монополии; это организованное и узаконенное ограбление труда капиталом; это то из всех экономических ниспровержений, которое наиболее рьяно обвиняет старое общество, и чья скандальная настойчивость оправдывает внезапное и без компенсации лишение собственности весь класс капиталистов.

Наконец, монополия, посредством своего рода инстинкта самосохранения, трансформировалась к идее ассоциации, которая может противоречить ей, или, лучше сказать, она не позволяет ей родиться.

Кто сегодня может обольщаться, что нашел определение того, каким должно быть общество между людьми? Закон различает два вида и четыре разновидности гражданских обществ, как и коммерческих обществ, от простых до анонимных. Я прочитал самые уважаемые комментарии, которые были написаны по всем этим формам объединения, и я заявляю, что я нашел лишь применение процедур монополии между двумя или более союзниками, которые соединяют свои капиталы и усилия против всех, кто производит и потребляет, кто изобретает и кто обменивается, кто живет и умирает. Условием *sine quâ non* (непременным) всех этих обществ является капитал, присутствие которого само по себе создает их и дает им основу; их объектом является монополия, то есть исключение всех других рабочих и капиталистов, следовательно — отрицание социальной универсальности в отношении людей.

Таким образом, в соответствии с определением Кодекса, коммерческое общество, которое бы возвело в принцип возможность для любого иностранца быть ее членом по его простому запросу и немедленно воспользоваться правами и прерогативами партнеров, даже менеджеров, перестанет быть таким обществом; суды автоматически объявят о его роспуске, прекращении его существования. Кроме того, акт такого общества, которым договаривающиеся стороны не предусматривают какого-либо взноса, и который, оставляя за каждым явное право конкурировать со всеми, ограничивается тем, что гарантирует для них работу и заработную плату, не обсуждая ни специализацию производства, ни капитал, ни проценты, ни прибыли и убытки: такой акт может показаться противоречивым по своему содержанию, лишенным как цели, так и смысла, и будет, по жалобе первого невосприимчивого партнера, отменен судьей. Разработанные таким образом соглашения не могут привести к каким-либо юридическим следствиям: люди, которые утверждают, что связаны со всеми, будут рассматриваться как никто; записи, в которых говорилось бы одновременно о гарантии и конкуренции между партнерами, без какого-либо упоминания о социальном фонде и без указания объекта, свелись к трансцендентальному шарлатанству, автора которого вполне можно было бы отправить в

Бисетр⁵, предполагая, что должностные лица сочтут такого человека сумасшедшим.

И тем не менее было доказано всем, что история и социальная экономика считают достоверным, что человечество было брошено голым и лишенным капитала на земле, которую оно эксплуатирует; следовательно, именно она создала и создает все богатство каждый день; что монополия является лишь относительным представлением, используемым для определения степени работника с определенными условиями пользования, и что весь прогресс состоит в бесконечном умножении продуктов, в определении их пропорциональности, то есть в организации работы и благосостояния через разделение (труда), механизмы, цеха, образование и конкуренцию. Самое тщательное изучение явлений не предоставит ничего более. С другой стороны, очевидно, что все устремления человечества и в его политике, и в его гражданских законах направлены на универсализацию, то есть на полное преобразование идеи общества, как определяют наши кодексы.

Из чего я заключаю, что акт общества, который больше не будет регулировать вклад партнеров, поскольку каждый участник, согласно экономической теории, не должен иметь абсолютно ничего при вступлении в общество, кроме условий работы и обмена, и который обеспечил бы доступ всем, кто представляет сам себя; я заключаю, говорю я, что такой акт общества был бы не каким иным, как рациональным и научным, поскольку он был бы выражением самого прогресса, органической формулой труда, поскольку он, так сказать, открыл бы человечество самому себе, предоставляя ему рудимент его основания.

Теперь, кто из юристов и экономистов когда-либо подходил к этой великолепной, но такой простой идее ближе, чем на тысячу миль? «Я не думаю, — говорит г-н Троплонь, — что дух ассоциации призван к большим достижениям, чем те, которых он достиг в прошлом и по сей день...; и я признаю, что я не пытался воплотить в жизнь такие надежды, которые я считаю преувеличенными... Есть только ограничения, которые ассоциация не должна пересекать. Нет! Ассоциация призвана во Франции не для того, чтобы управлять всем. Стихийный импульс индивидуального духа также является живой силой нашего народа и причиной его самобытности... / Идея ассоциации (объединения) не нова... Уже у римлян мы видим появление коммерческого общества со всей его атрибутикой из монополий, захватов, сговоров, коалиций, пиратства и продажности... Заказ исполняет гражданское, торговое и морское право средневековья: в то время это был самый активный инструмент труда, организованного в обществе... С середины четырнадцатого века начали возникать акционерные общества; и вплоть до провала Law (закона, англ.) было видно, что они постоянно увеличивались... Как? мы поражаемся тому, что акционируются шахты, фабрики, патенты, газеты! Но уже два столетия, как акционируются острова, королевства, почти целое полушарие. Мы вопием о чуде, потому что сотни

⁵ Старинный замок в предместье Парижа, во времена Прудона — исправительный дом, тюрьма. — А.А. А-О.

вкладчиков собираются вокруг предприятия: но уже в четырнадцатом веке весь город Флоренция был акционирован несколькими торговцами, которые продвинули деятельность своих компаний насколько возможно. — Затем, если наши операции оказались неудачными, если мы были бесшабашными, расточительными или легковверными, мы мучаем законодателя изнуряющими жалобами: мы требуем от него за претов, обнулений (сделок). С нашей манией все регулировать, *даже то, что уже кодифицировано*; связывать все с пересмотренными, исправленными и дополненными текстами; управлять всем, даже возможностями и неудачами в торговле, мы пишем, находясь среди множества существующих законов: есть чем заняться!...»

Г-н Троплонь верит в Провидение, но, конечно, он сам — не его человек. Он не тот, кто найдет формулу ассоциации, которую требуют сегодня умы, с отвращением относясь ко всем протоколам объединений и ограблений, которые г-н Троплонь свел в таблицу в своем комментарии. Г-н Троплонь сердится, и небеспричинно, на тех, кто хочет все связать в текстах законов; и он сам претендует на то, чтобы заковать будущее в пятидесяти статьях, где самая мудрая причина не обнаружит ни искры экономической науки, ни тени философии. *С нашей манией*, — восклицает он, — *все регулировать, ДАЖЕ ТО, ЧТО УЖЕ КОДИФИЦИРОВАНО!*... Я не знаю ничего более восхитительного, чем это заявление, которое делает одновременно правовед и экономист. После кодекса Наполеона, потяните лестницу!...

«К счастью, — продолжает г-н Троплонь, — все проекты перемен, обсуждавшиеся в 1837 и 1838 гг. с таким шумом, теперь забыты. Конфликт предложений и анархия реформистских мнений дали отрицательные результаты. В то время как реакция выступала против агитаторов (за перемены), здравый смысл сделал справедливость многих официальных планов реорганизации гораздо менее мудрой, чем существующий закон, намного менее гармоничными с правилами коммерции, гораздо менее либеральными после 1830 г., чем концепции имперского государственного совета! Теперь все вернулось к порядку, и Коммерческий кодекс сохранил свою целостность, свою превосходную целостность. Когда коммерция в том нуждается, наряду с коллективным обществом находится совместное предприятие, общество с ограниченной ответственностью, открытое акционерное общество, сдерживаемые только благоразумием участников и статьями Уголовного кодекса о мошенничестве» (Троплонь, *Гражданские и коммерческие общества*, предисловие).

Какая философия, радующаяся тому, что попытки реформ прерываются, и засчитывающая в победы отрицательные результаты изысканий! На данном этапе мы не можем углубляться в критику гражданского и коммерческого обществ, которые снабдили г-на Троплоня материалом для двух томов. Мы оставим эту тему на время, когда теория экономических противоречий будет завершена, и мы найдем в их общем уравнении программу объединения, которую мы опубликуем в связи с

практикой и концепциями наших древних.

Только одно слово о командитных товариществах (акционерных обществах).

На первый взгляд, можно подумать, что акционирование, благодаря своей обширной силе и простоте изменений, которые оно из себя представляет, может быть обобщено так, чтобы охватить всю нацию во всех ее коммерческих и промышленных отношениях. Но самый беглый анализ образования такого общества очень быстро показывает, что вид расширения, которому она подвержена, что касается числа акционеров, не имеет ничего общего с расширением социальных связей.

Во-первых, командитное товарищество (товарищество на вере⁶), как и все другие коммерческие компании, обязательно ограничивается одним родом деятельности: в этом отношении оно исключает все отрасли, чуждые своей собственной. Если бы это было иначе, акционирование изменилось бы по своей природе: это была бы новая форма компании, устав которой больше не был бы связан конкретно с прибылью, но с распределением работы и условиями обмена; это было бы именно объединением — таким, какое отрицает г-н Тропльон, и которое исключает юриспруденция монополии. Что касается персонала, который составляет командитное товарищество, он, естественно, подразделяется на две категории: управляющие⁷ и акционеры. Управляющие, в очень небольших количествах, выбираются из промоутеров, организаторов и руководителей предприятия: честно говоря, они — единственные партнеры. Акционерами, в сравнении с этим небольшим правительством, которое полновластно управляет компанией, являются все те, кто внесли свой вклад, которые, будучи не знакомы друг с другом, не располагая влиянием и при отсутствии ответственности, участвуют в деле только своими вкладами. Это премиальные кредиторы, но не партнеры⁸.

Из этого следует, что все отрасли в королевстве могут эксплуатироваться командитными товариществами, и любой гражданин, благодаря тому, что может легко увеличить свои акции, проявлять интерес в целом или большинству своих авуаров, без того, чтобы его состояние улучшилось: это может становиться все более и более рискованным. Потому что, опять же, акционер — это бремя, используемый товариществом материал: товарищество создавалось не для него. Чтобы объединение стало реальным, нужно, чтобы тот, кто в него входит, обладал бы качествами не игрока, но предпринимателя; имел бы совещательный голос в совете; чтобы его имя

⁶ Но Прудон, как видно из контекста, причисляет этот вид коммерческих предприятий к акционерным обществам, что в определенной степени соответствует действительности. — А.А. А-О.

⁷ В оригинале это *les gérants* — управляющие, заведующие; слово «менеджеры» во времена Прудона не использовалось. — А.А. А-О.

⁸ В чем Прудон с очевидностью не прав, поскольку акционеры обеспечивают себе статус партнера именно тем, что вносят в предприятие собственный капитал. — А.А. А-А.

существовало в социальном плане; что все, наконец, будет решено в отношении него на равной основе⁹. Но это именно те условия организации труда, которые не вошли в положения Кодекса; они образуют ПОСЛЕДУЮЩИЙ объект политической экономии, следовательно, они не должны предполагаться, но должны быть созданы и как таковые быть в корне несовместимыми с монополией.

Социализм, несмотря на пышность своего названия, до сего момента был удачлив не более, чем монополия в определении общества: можно так же сказать, что во всех своих организационных планах он постоянно проявлял себя в этом отношении в качестве плагиатора политической экономии. Г-н Блан, которого я уже цитировал в связи с конкуренцией и которого мы, шаг за шагом, наблюдали в качестве сторонника иерархического принципа, неофициального защитника неравенства, проповедующего коммунизм, одним росчерком пера отрицающего закон противоречия, потому что он не понимает его, использующего прежде всего власть как конечный довод своей системы, г-н Блан снова представляет нам любопытный пример социалиста, копирующего, не подозревая об этом, политическую экономию, постоянно крутящегося в порочном кругу процедур собственности. По сути, г-н Блан отрицает преобладание капитала; он также отрицает, что капитал равен труду в производстве, в чем он согласуется с обоснованными экономическими теориями. Но он не может или не знает, как обойтись без капитала, он использует капитал в качестве отправной точки, он призывает к государственному акционированию, — это означает, что он становится на колени перед капиталистами, и что он признает суверенитет монополии. Отсюда странные искажения его диалектики. Я прошу читателя простить меня за представление таких вековечных личностей: но, поскольку социализм, также, как политическая экономия, воплотились в определенном количестве авторов, мне не остается ничего другого, как цитировать этих авторов.

«Капитал, — говорил *Фаланж*, — как сущность, способствующая производству, обладает или не обладает легитимностью других продуктивных способностей? Если он незаконно претендует на долю в производстве, нужно его исключить, он не заинтересован в получении; если, наоборот, он является законным, его нельзя законно исключать из распределения прибылей, в увеличение которых он внес свой вклад».

Вопрос не мог быть задан более четко. Г-н Блан, напротив, считает, что он был задан в очень запутанной манере, что означает, что это очень смущает его, и он очень мучается, чтобы найти смысл.

Во-первых, он предполагает, что его спрашивают, «справедливо ли предоставлять капиталисту в прибыли производства *долю, равную доле рабочего?*» На что господин Блан без колебаний отвечает, что это будет несправедливо. Движение красноречия

⁹ Представляется, что Прудон здесь ведет речь о таком понятии, как миноритарные акционеры, и агитирует за предоставление им равных прав с акционерами мажоритарными, что вряд ли возможно было реализовать как во времена Прудона, так и сегодня. — А.А. А-О.

заставляет установить эту несправедливость.

Значит, фаланстерианец не спрашивает, должна ли доля капиталиста быть *равной доле рабочего* или нет; он только хочет знать — *будет ли у него доля?* И это то, на что господин Блан не отвечает.

Означает ли это, — продолжает г-н Блан, — что капитал *необходим*, как и сам труд, для производства? — Здесь г-н Блан делает различие: он признает, что капитал необходим *как* труд, но не *настолько, как* труд.

Еще раз, фаланстерианец не оспаривает количество, но закон. Слышим ли мы, — снова спрашивает г-н Блан, — что все капиталисты не бездельники? Г-н Блан, великодушный по отношению к капиталистам, которые работают, спрашивает, почему делают такой большой частью, причитающуюся тем, кто не работает? Тирада красноречия о *безличных* услугах капиталиста и *личных* услугах рабочего закончилась напоминанием о Провидении.

В третий раз вас спрашивают — является ли участие капитала в прибылях законным, раз вы признаете, что это необходимо для производства.

Наконец г-н Блан, который, однако, понял, решается ответить, что если он и соглашается с процентами для капитала, то лишь в качестве переходной меры и для того, чтобы смягчить капиталистам склон, с которого им приходится спускаться. Более того, его проект, делающий поглощение частного капитала в ассоциации неизбежным, приведет к безумию и отказу от принципов. Г-н Блан, если бы он изучал свой предмет, должен был бы ответить только одно: Я отрицаю капитал.

Таким образом, г-н Блан, и я подразумеваю под его именем весь социализм, после того, как в первом противоречии в названии его книги ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА, объявил, что капитал *необходим* для производства, и, следовательно, он должен быть организован и участвовать в прибылях так же, как труд, отвергает, в качестве второго противоречия, капитал организации и отказывается признать его; — третьим противоречием он — тот, кто высмеивает декорации и дворянские титулы, он раздает гражданские короны, награды и отличия заслуженным отечественным литераторам, изобретателям и художникам; он назначает им жалованье в соответствии с их степенями и рангами: все вещи, которые представляют собой реальное восстановление капитала, но не с той же математической точностью, как проценты и чистый доход; — четвертым противоречием г-н Блан учреждает эту новую аристократию на принципе равенства, — то есть он притворяется, что голосами хозяев голосуют равные и свободные соратники, — на привилегии праздности для рабочих, ограбления ограбленных; — пятым противоречием он устраивает эту эгалитарную аристократию покоиться на базе власти, наделенной огромной силой, то есть на деспотии, другой формы монополии; — шестым противоречием после того, как он своими поощрениями искусства и труда пытался соразмерять вознаграждение за службу, как монополия, зарплату в объеме, как у монополии, он принимается

восхвалять совместную (в коммуне) жизнь, труд и потребление, что не мешает ему с помощью национальных поощрений, взятых из общественного продукта, избежать последствий общего безразличия серьезных и значительных писателей, о которых не беспокоится сообщество читателей; — седьмым противоречием... Но остановимся на седьмом, потому что иначе мы бы не закончили и на семьдесят седьмом.

Говорят, что г-н Блан, который в настоящее время готовит историю французской революции, принялся серьезно изучать политическую экономию. Я не сомневаюсь, что первым плодом этого исследования должно стать то, что ему придется отречься от своего памфлета об *Организации труда* и следующим — реформировать все свои идеи относительно власти и управления. Такой ценой *История французской революции* авторства г-на Блана станет действительно полезным и оригинальным произведением.

Все без исключения социалистические секты обладают одинаковыми предубеждениями; все безотчетно, вдохновленные экономическим противоречием, признаются в бессилии перед необходимостью капитала; все ожидают для реализации своих идей обретения в руках власти и капитала. Утопии социализма в отношении ассоциации более чем когда-либо выявляют правду о том, о чем мы говорили в начале: *в социализме нет ничего такого, чего не было бы в политической экономике*, и этот вечный плагиат является бесповоротным осуждением обоих. Не заметно, чтобы где-то забрезжила эта материнская идея, которая так ярко выделяется из поколения экономических категорий: то, что высшая формула ассоциации не имеет ничего общего с капиталом, который является объектом счетов частных лиц; но что она должна быть связана исключительно с балансом производства, условиями обмена, постепенным снижением себестоимости, единственным источником прогресса богатства (благополучия). Вместо того, чтобы определять отношения отрасли к отрасли, рабочего к рабочему, провинции к провинции и народа к народу, социалисты думают только о том, чтобы обеспечить себя капиталом, озабочиваясь проблемой солидарности трудящихся, как если бы речь шла об основании новой монополии. Мир, человечество, капитал, промышленность, деловая практика существуют: вопрос только в поиске их философии, иными словами в том, чтобы организовать их: а социалисты ищут капиталы! Что же удивительного в том, что им не хватает реальности?

Итак, г-н Блан требует финансовой помощи государства и создания национальных цехов; таким же образом Фурье требовал шесть миллионов, и его школа до сих пор занята сбором этой суммы; так же коммунисты надеются на революцию, которая даст им власть и сокровища, изнемогая в ожидании бесполезных подписок¹⁰. Капитал и власть, второстепенные органы общества, — боги, которым поклоняется

¹⁰ Представляется, из контекста, что под «подписками» Прудон так же, как в случаях с Фурье и Бланом, имеет в виду сбор денежных средств. — А.А. А-О.

социализм: если бы капитал и власть не существовали, он бы их изобрел. Социализм, озабоченный властью и капиталом, полностью игнорирует смысл собственных протестов: более того, он не осознает, что, занимаясь этим, так же, как экономической рутинной, он лишается даже права на протест. Он обвиняет общество в антагонизме, и именно таким же антагонизмом он проводит реформу. Он требует капитала для бедных рабочих, как будто нищета рабочих не происходит из-за конкуренции капитала между ними, а также из искусственного противостояния труда и капитала; как если бы сегодня вопрос не был бы точно таким, каким он был до создания капитала, то есть снова и снова вопрос баланса; как если бы, наконец, давайте повторять это постоянно, повторять до пресыщения, если бы отныне речь шла о чем-то другом, кроме как о синтезе всех принципов, создаваемых цивилизацией, и как если бы этот синтез, если бы идея, которая ведет мир, была известна, но нужно было бы вмешательство капитала и государства, чтобы сделать это очевидным.

Социализм, пренебрегая критикой, чтобы отдаться декламации и утопии, смешавшись с политической и религиозной интригой, предал свою миссию и не принял во внимание характер века. Революция 1830 г. деморализовала нас, социализм нас изнежил. Как и политическая экономия, противоречия которой он только перефразирует, социализм бессилён удовлетворить умственным движениям: среди тех, кого он подчиняет, он лишь новый предрассудок, который нужно разрушить, а среди тех, кто пропагандирует его, — шарлатанство, требующее разоблачения, тем более опасное, чем более близкое.

Глава VII. ЭПОХА ПЯТАЯ. СТРАХОВКА ИЛИ НАЛОГ

Находясь на позиции своих принципов, человечество никогда не отступает, как если бы оно подчинялось верховному порядку. Подобно путешественнику, который косыми извилистыми путями поднимается из глубокой долины на вершину горы, оно бесстрашно идет по зигзагообразной дороге и уверенно идет к своей цели, не раскаиваясь и не останавливаясь. Достигнув угла монополии, общественный гений обращает свой грустный взгляд назад и в глубокой задумчивости говорит себе:

«Монополия отобрала у бедного наемного работника все — хлеб, одежду, очаг, образование, свободу и безопасность. Я подвергну монополиста контрибуции (заставлю платить налог); такой ценой я сохраню его привилегию.

Земля и шахты, леса и воды, первейшая область человека, находятся под запретом для пролетария. Я буду вмешиваться в их эксплуатацию, я буду иметь свою долю продукции, и монополия на землю будет уважаться.

Промышленность впала в феодализм: но это я тут сюзерен. Лорды будут платить мне дань, и они сохранят выгоду своего капитала.

Коммерция берет с потребителя ростовщическую прибыль. Я обложу его дорогу пошлинами, проштампую его платежные поручения и его отправления, и он пройдет.

Капитал победил труд интеллектом. Я собираюсь открыть школы; и рабочий, ставший интеллигентом, сможет, в свою очередь, стать капиталистом.

Продукции не хватает обращения, а общественная жизнь ограничена. Я буду строить дороги, мосты, каналы, рынки, театры и храмы, и это будет одновременно труд, богатство и выход.

Богатый живет в сытости в то время, как рабочий плачет, голодный. Я установлю налоги на хлеб, вино, мясо, соль и мед, на предметы необходимости и на дорогие вещи, и это будет милостыней для моих бедных.

И я буду охранять воды, леса, поселения, шахты и дороги; я пошлю сборщиков

налогов и воспитателей для детей; у меня будет армия против упрямцев, суды, которые будут их судить, тюрьмы, которые будут их наказывать, и священники, которые будут их проклинать. Все эти занятия будут предоставлены пролетариату и оплачены людьми монополии.

Такова моя достоверная и действенная воля».

Мы должны доказать, что общество не может ни думать лучше, ни действовать хуже: это будет предметом обзора, который, я надеюсь, прольет новый свет на общественную проблему.

Всякая общеполитическая мера, всякое административное и торговое регулирование, равно как и всякий налоговый закон, — по существу лишь одна из бесчисленных статей этой древней, всегда нарушаемой и всегда возобновляемой сделки между патрициатом и пролетариатом. Независимо от того, знали ли об этом стороны или их представители; даже если они зачастую рассматривали свои политические образования с совершенно другой точки зрения, — нам не важно: не у человека, законодателя или князя мы спрашиваем о смысле его деяний, а у самих деяний.

§ I. Синтетическая налоговая идея. Отправная точка и развитие этой идеи

Чтобы сделать более понятным то, что последует, я, путем своего рода переворота метода, которому мы до сих пор следовали, изложу превосходящую теорию налога; затем я опишу происхождение; наконец, я раскрою противоречие и результаты. Синтетическая идея налога, а также его первоначальная концепция послужат материалом для самых широких разработок. Я ограничусь простым изложением предложений с кратким указанием доказательств. Синтетическая идея налога, а также его первоначальная концепция предоставят материал для самых широких разработок. Я ограничусь простым изложением предложений с суммированием доказательств.

Налог, по своей сути и своему положительному назначению, является формой распределения такого рода государственных служащих, которых Адам Смит назвал *непродуктивными*, хотя он, как никто другой, соглашался с полезностью и даже необходимостью их работы в обществе. Под этим наименованием *непродуктивных* Адам Смит, чей гений все предвидел, а нам предоставил все сделать, подразумевал, что продукт, производимый этими работниками, *отрицателен*, что очень сильно отличается от нуля, и, следовательно, распределение в их отношении происходит другим способом, нежели посредством обмена.

Давайте рассмотрим, что происходит, с точки зрения распределения, в четырех больших разделах коллективного труда, *добычи, производства, торговли, сельского хозяйства*. Каждый производитель вносит в рынок реальный продукт, количество которого можно измерить, качество оценить, цену обсудить, и, в конечном итоге, стоимость дисконтировать, либо в отношении к другим услугам или товарам, либо в деньгах. Следовательно, для всех этих отраслей распределение является не чем иным, как взаимным обменом продуктами в соответствии с законом пропорциональности стоимостей.

Ничего подобного не происходит с так называемыми *государственными* чиновниками. Эти получают право на пропитание не за счет производства реальных видов пользы, а за счет непродуктивного производства, которым, не будучи в том виноватыми, они заняты. Для них закон пропорциональности противоположен: тогда как общественное богатство формируется и увеличивается прямо пропорционально количеству, разнообразию и доле фактических продуктов, поставляемых четырьмя основными промышленными категориями; расшире-

ние же этого богатства, совершенствование общественного порядка, напротив, предполагают, что касается сотрудников полиции, постепенное и неопределенное сокращение. Поэтому государственные чиновники на самом деле непродуктивны. В этом отношении Ж.-Б. Сэй думал, как А. Смит, и все, что он написал на эту тему, чтобы исправить своего учителя, и что мы имели неосторожность считать заслуживающим славы в его трудах, приходит исключительно, как это легко увидеть, по недоразумению. Одним словом, заработная плата государственных служащих представляет собой *дефицит* для общества: она должна быть учтена в *потерях*, цель которых в промышленной организации должна постоянно сокращаться: как еще квалифицировать представителей власти, если не так, как Адам Смит?

Так что это (такая) категория услуг, которые, не производя реальных продуктов, никак не могут рассчитаться обычным образом; услуги, которые не подпадают под действие закона обмена, которые не могут стать объектом отдельной спекуляции, конкуренции, акционирования или какого-либо рода торговли; услуги, которые предположительно выполняются всеми в основном бесплатно, но поручаются, согласно закону о разделении труда, небольшому числу специальных людей, которые занимаются исключительно ими, должны соответственно оплачиваться. История подтверждает этот общий факт. Человеческий рассудок, который по каждой проблеме пытается найти все решения, также обязался внести в обмен публичные функции: долгое время чиновники, как нотариусы и т. п., жили только своими специальностями. Но опыт показал, что этот метод распределения, используемый непродуктивно, был слишком дорогим, имел много недостатков, и пришлось отказаться от него.

Организация непродуктивных услуг способствует общему благосостоянию нескольких видов: во-первых, освобождая производителей от забот о государственных делах, в которых все должны участвовать, и поэтому все являются их рабами в большей или меньшей степени; во-вторых, создавая в обществе искусственную централизацию, образ и прелюдию к будущей солидарности отраслей; наконец, давая первую попытку уравнивания и дисциплины.

Таким образом, мы признаем, вместе с Ж.-Б. Сэем, пользу чиновников и других агентов государственной власти; но мы утверждаем, что эта польза полностью отрицательна, и поэтому мы сохраняем за ее носителями титул непродуктивных, который дал им А. Смит, не из-за какого-либо чувства невыгодности, но потому, что на самом деле их нельзя отнести к категории производителей. «Налог, — как очень правильно говорит экономист школы Сэя М.Д. Гарнье, — налог является лишением, которое нужно стремиться максимально уменьшать, до уровня потребностей общества». Если автор, которого я цитирую, задумывался о смысле своих слов, он заметил, что слово *лишение*, которое он использует, является синонимом *непродуктивности*, и, следовательно, те, в пользу которых взимается налог, являются на самом деле *непродуктивными*.

Я настаиваю на этом определении, которое кажется мне тем менее сомнительным,

что, если мы все еще спорим о слове, то все согласны с вещью, потому что она содержит в себе зародыш величайшей революции, которая должна произойти в мире, я имею в виду подчинение непродуктивных функций производительным, одним словом — фактическое подчинение власти, всегда требуемое и никогда не получаемое, гражданам.

Это следствие развития экономических противоречий, которое порядок в обществе сначала демонстрирует в обратном порядке; то, что должно быть сверху, будет размещено внизу; то, что должно быть полным, окажется пустым, а то, что должно быть освещено, будет отброшено в тень. Таким образом, власть, которая, по сути, подобно капиталу, является вспомогательной и подчиненной труду, становится посредством общественного антагонизма шпионом, судьей и тираном производительных функций; власть, которой ее изначальная неполноценность диктует подчинение, является князем и сувереном.

Во все времена рабочие классы применяли против официальной касты решение этой антиномии, ключ к которой может предоставить только экономическая наука. Колебания, то есть политические волнения, которые являются результатом этой борьбы труда против власти, иногда приводят к подавлению центральной силы, которая ставит под угрозу существование общества; иногда, преувеличивая эту же силу, порождают деспотизм. Затем привилегии командования, бесконечные радости, которые оно доставляет амбиции и гордости, превращают непродуктивные функции в объект всеобщего вожделения, новое волнение раздора посещает общество, которое, уже будучи разделенным одной частью на капиталистов и наемных работников, другой частью — на продуктивных и непродуктивных, снова разделяется в борьбе за власть на монархистов и демократов. Конфликты королевской власти и республики предоставляли нам материал всего самого изумительного, самого интересного из эпизодов нашей истории. Границы нашего труда не позволяют нам произвести столь долгую экскурсию; и после того, как мы указали на эту новое ответвление обширного источника человеческих заблуждений, мы сосредоточимся исключительно, говоря о налоге, на экономическом вопросе.

Такова, собственно, в своем сжатом виде, синтетическая теория налога, то есть, если я позволю себе это фамильярное сравнение этого пятого колеса колесницы человечества, которое делает так много шума и которое называется в правительственном стиле государством. — Государство, полиция или средства их существования налог это, повторяю, официальное название класса, который в политической экономии обозначается словом непродуктивный, иным словом — общественной прислуги.

Но общественный разум не предпринимает прыжка прямо в эту простую идею, которая на протяжении веков должна оставаться в состоянии возвышенной концепции. Чтобы цивилизация преодолела такую вершину, она должна пережить ужасные грозы и бесчисленные революции, в каждой из которых, говорят, она обновляет свои силы кровопролитием. И когда, наконец, производство, представленное капиталом, кажется в какой-то момент полностью подчиненным непродуктивному органу,

государству; тогда общество восстает от негодования; труд рыдает о том, что скоро увидит себя свободным; демократия содрогается от упадка власти; справедливость кричит о скандале, и все оракулы богов, которые уходят, в ужасе восклицают, что мерзость запустения царит в святом месте и что пришел конец времен. Как же верно, что человечество никогда не хочет того, чего ищет, и что наименьший прогресс не может быть достигнут без разрастания паники среди народов!

Какова же тогда в этой эволюции отправная точка общества, и каким путем оно идет к политической реформе, то есть к экономике в ее расходах, к равенству в распределении своего налога и к подчинению власти производству? Это то, что мы собираемся сказать в нескольких словах, оставив развитие на будущее.

Изначальная идея налогообложения — ВЫКУП.

Как по закону Моисея каждый первенец посвящался Иегове и должен был быть выкуплен жертвованием; так же налог представляется повсеместно в виде десятины или роялти, которыми владелец каждый год выкупает у суверена возможность эксплуатации (земли), которую он должен получать только от него. Эта теория налога к тому же является лишь одной из конкретных статей того, что называется общественным договором.

И древние, и современники — все согласны, в более или менее явных выражениях, представить правовое состояние обществ как реакцию слабости против силы. Эта идея доминирует во всех работах Платона, особенно в «Горгии», где он больше с тонкостью, чем с логикой, поддерживает причину законов против насилия, то есть законодательный произвол против аристократического и военного произвола. В этом скабрезном споре, где очевидность причин одинакова с обеих сторон, Платон лишь выражает чувство всей античности. Задолго до него Моисей, разделив землю, объявив наследство неотчуждаемым и, назначив в каждом пятидесятом году всеобщее очищение без возврата всех закладных, противопоставил барьер вторжениям силы. Вся Библия — гимн ПРАВОСУДИЮ, то есть, по древнееврейскому стилю, милосердию, милости сильного к слабому, добровольному отказу от привилегии силы. Солон¹, начав свою законодательную миссию со всеобщей отмены долгов, создав права и резервы, то есть барьеры, препятствующие возврату, был не менее реакционен. Ликург² пошел дальше: он защищал промышленную собственность и стремился растворить человека в государстве, сокрушая свободу, чтобы лучше сохранить равновесие. Гоббс³, заставив, с большим смыслом, выйти законодательство из состояния войны, пришел другим путем к установлению

¹ Солон (638—560 г. до н.э.), афинский политик и поэт, один из «семи мудрецов» Древней Греции. — А.А. А-О.

² Ликург (800—730 г. до н.э.), законодатель Древней Спарты. — А.А. А-О.

³ Томас Гоббс (1588—1679 гг.), британский философ. — А.А. А-О.

равенства над исключением — деспотизмом. Его книга, столь опороченная, — лишь развитие этой известной противоположности. Устав 1830 года, освящающий мятеж, совершенный в 89 г.⁴ разночинцами против дворянства, и учреждающий абстрактное равенство людей перед законом, несмотря на реальное неравенство сил и талантов, которое формирует основу действующей социальной системы, по-прежнему является не чем иным, как протестом общества в пользу бедного против богатого, малого против великого. Все законы рода человеческого о продаже, покупке, аренде, собственности, займе, залоге, исковой давности, наследовании, дарении, завещании, женском приданном, несовершеннолетию, опекунстве и т. д., и т. д., являются реальными барьерами, воздвигнутыми юридическим произволом против произвола силы. Соблюдение договоров, верность слову, религия клятвы — вот выдумки, костяшки, как говорил знаменитый Лисандр, с помощью которых общество обманывает сильных и ставит их под ярмо.

Налог принадлежит к тому большому семейству превентивных, принудительных, репрессивных и мстительных учреждений, которые А. Смит обозначал под общим названием страховки и которые являются, как я уже говорил, в своем изначальном понимании лишь реакцией слабости против силы. Это вытекает, независимо от исторических свидетельств, которые изобилуют и которые мы оставим в стороне, чтобы сосредоточиться исключительно экономических доказательств, из естественного различия налогов.

Все налоги подразделяются на две основные категории: 1) налоги распределения, или налоги на привилегии: они установлены наиболее давно; — 2) налоги на потребление или квоты, тенденция которых через ассимиляцию первых заключается в выравнивании между всеми государственных расходов.

Первый тип налога, который включает в себя земельный налог, налог на двери и окна, личный, движимый и рентный взнос, патенты и лицензии, права на передачу, сотые проценты, пособия в натуральной форме и дипломы, — это плата, которую суверен оставляет за всеми монополиями, которым он уступает или терпит; это, как мы уже говорили, надбавка бедняка, пропуск в собственность. Такова была форма и дух налога во всех старых монархиях: феодализм был прекрасным идеалом. В таком режиме налог является только данью, выплачиваемой владельцем собственнику или универсальному спонсору, королю.

Когда позднее, благодаря развитию публичного права, королевская власть, патриархальная форма суверенитета, начинает впитывать демократический дух, налог становится *взносом*, который каждый выплачивающий его обязан общественному делу, и который вместо того, чтобы попасть в руки князя, поступает в казну государства. В этой эволюции принцип налога остается неизменным: это еще не институт, который трансформируется; это настоящий суверен, который наследует

⁴ Прудон имеет в виду, разумеется, Великую французскую революцию 1789 г. — А.А. А-О.

фигуральному (символическому) суверену. Поступает ли налог в пособие князя, или служит для погашения общего долга, — это всегда только требование общества к привилегии: без этого невозможно сказать, почему налог устанавливается пропорционально к состояниям.

«То, что каждый вносит свой вклад в государственные расходы, только хорошо; но почему богатый должен платить больше, чем бедный? — Говорят, что это правильно, так как у него больше. Я признаю, что не понимаю эту справедливость. Одно из двух: либо пропорциональный налог гарантирует привилегию в пользу сильных налогоплательщиков, либо он сам по себе несправедлив. Потому что, если собственность имеет естественное право, как того требует декларация 93 г.1 (Декларация прав человека и гражданина 1793 г. — А.А. А-О.), все, что принадлежит мне в силу этого права, столь же священо, как и моя личность; это моя кровь, это моя жизнь, это я сам: любой, кто прикоснется к ней, оскорбляет мое зрение. Мои 100,000 франков доходов так же неприкосновенны, как дневной заработок в 75 сантимов гризетки, мои апартаменты — как ее мансарда. Цена не распределяется исходя из физической силы, фигуры или таланта: она не может быть больше из-за собственности» (*Что такое собственность*, гл. II.).

Эти наблюдения тем более справедливы, что принцип, который они призваны противопоставить принципу пропорционального распределения, имел свой период применения. Пропорциональный налог возник намного позже в истории, чем вассальная дань, которая состояла из простой официальной демонстрации, без реального сбора.

Под вторым видом налогов понимают, как правило, все те, которые назначают, по виду как противоположность, как *косвенные* взносы — на напитки, соли, табаки, таможенные, одним словом, все налоги, которые *непосредственно* затрагивают единственное, что нужно облагать налогом, — продукт. Принцип этого налога, название которого является настоящей бессмыслицей, несомненно, лучше обоснован в теории и обладает более справедливой тенденцией, чем предыдущий: также, несмотря на мнение массы, всегда обманываемой в отношении того, что служит ему, так же, как и что вредит ему, я не сомневаюсь в том, чтобы сказать, что этот налог является единственным нормальным, за исключением распределения и сбора (средств), которыми я здесь не занимаюсь.

Потому что, если это правда, как мы объясняли ранее, что истинная природа налога заключается в том, чтобы оплачивать, в соответствии с определенным режимом заработной платы, определенные услуги, которые уклоняются от обычной формы обмена, следует, что все производители, что касается личного применения, равно пользующиеся этими услугами, должны содействовать достижению сальдо в равной степени. Квота для каждого будет, следовательно, частью его товарного обмена, или, другими словами, удержанием от стоимостей, поставляемых им на потребление. Но при монопольном режиме и с учетом земельного сбора налог достигает продукт до того, как он вступает в обмен, и даже до того, как он произведен: обстоятельство,

которое приводит к отклонению суммы налога в затратах на производство, а следовательно, к тому, чтобы перенести его на потребителя и освободить от оплаты монополию.

Каким бы ни было значение налога распределения и налога на количество, одна вещь остается положительной, и это то, что нам важнее всего знать: что по пропорциональности налога замысел суверена состоял в том, чтобы заставить граждан вносить вклад в общественные издержки, либо, согласно старому феодальному принципу, посредством подушной оплаты, что подразумевало бы идею взноса, рассчитанного исходя из количества облагаемых налогом людей, а не из их собственности; но в таком объеме, который предполагает, что капиталы находятся под властью, превышающей таковую капиталистов. Все, стихийно и единодушно соглашаясь, находят подобное распределение справедливым; все, следовательно, считают, стихийно и единодушно соглашаясь, что налог — это восстановление общества, своего рода искупление монополии. Особенно это поражает в Англии, где по особому закону землевладельцы и фабриканты платят пропорционально своим доходам налог в двести миллионов, который называют налогом бедных.

В двух словах практическая и признанная цель налога состоит в том, чтобы наложить на богатых, во благо народа, взыскание, пропорциональное капиталу.

Однако анализ и факты показывают, что распределительный налог, налог на монополию, вместо того, чтобы его выплачивали владельцы, налагается на тех, кто ничем не владеет;

Что налог на долю, отделяющий производителя от потребителя, бьет только по последнему, оставляя капиталисту только ту долю, которую он должен был бы заплатить, если бы состояния были абсолютно равны;

Наконец, что армия, суды, полиция, школы, больницы, хосписы, приюты и исправительные дома, общественные рабочие места, сама религия, все, что общество создает для обороны, освобождения и помощи пролетарию, сначала оплачивается и обслуживается пролетарием, затем направляется против пролетария или теряется во имя пролетария; так что пролетариат, который сначала работал только на касту, которая его истребляет, касту капиталистов, должен работать еще и на касту, бичующую его, касту непродуктивных.

Эти факты теперь настолько известны, и экономисты, я отдаю им должное, изложили их с такой очевидностью, что я воздержусь от повторения их демонстраций, которые, впрочем, уже не находят оппонентов. То, что я предлагаю подчеркнуть, это что экономисты, мне кажется, поняли не до конца, — что условие, поставленное работнику этим новым этапом социальной экономики, не поддается никакому улучшению; что, кроме случая, когда промышленная организация, и в результате политической реформы, приведет к равенству состояний, — зло присуще полицей-

ским учреждениям так же, как мысль о благотворительности, которая их породила; наконец, что ГОСУДАРСТВО, в какой бы форме оно ни существовало, светское или религиозное, монархическое или республиканское, до тех пор, пока оно не станет послушным и покорным органом общества равных, будет для народа неизбежным адом, я почти сказал, законным проклятием.

§ II. Антиномия налога

Иногда я слышу, как сторонники *статус-кво* утверждают, что в настоящее время мы наслаждаемся достаточной свободой и что, несмотря на выступления против порядка вещей, мы находимся ниже наших институтов. Я, по крайней мере, с точки зрения налогообложения, вполне согласен с этими оптимистами.

Согласно только что рассмотренной нами теории, налог — это реакция общества на монополию. Мнения на этот счет единодушны: народ и законодатель, экономисты, журналисты и писатели, переводя каждый на свой язык общественную мысль, заявляют с завистью, что налог должен падать на богатых, бить по излишеству и предметам роскоши и оставлять в покое предметы первой необходимости. Если коротко, то мы сделали налог своего рода привилегией для привилегированных: плохая мысль, так как это было признанием легитимности привилегии, которая ни в каком случае, в какой бы форме она ни проявлялась, ничего не стоит. Народ должен был быть наказан за эту эгоистическую непоследовательность: Провидение не миновало исполнения своей миссии.

С момента, как налог был задуман как требование, он должен был устанавливаться пропорционально способностям, либо поражая капитал, либо более конкретно влияя на доход. В то же время я хотел бы отметить, что распределение налога является именно таким, которое было бы принято в стране, где все состояния были бы равны, за исключением разницы в размере и сборе, сбор налогов — то, что в нашем обществе наиболее либерально, и в этом отношении наши обычаи (нравы) фактически отстают от наших институтов. Но так как с нечестивцами даже лучшие вещи не могут не быть отвратительными, мы увидим, как эгалитарный налог сокрушает людей именно потому, что люди находятся в положении ниже.

Я предполагаю, что валовый доход во Франции на каждую семью, состоящую из четырех человек, составляет 1,000 франков: это немного больше, чем цифра г-на Шевалье, нашедшего всего 63 сантима в день на человека, или 919 франков 80 сантимов на домашнее хозяйство. Поскольку в настоящее время налог составляет более миллиарда, или примерно восьмую часть общего дохода, каждая семья, зарабатывая 1,000 франков в год, облагается налогом в размере 125 франков.

Из этого следует, что доход в 2,000 франков требует налога в 250 франков; доход в 3,000 франков — 375; доход в 4,000 франков — 500 франков и т. д. Пропорция строгая и математически безупречная: сборщики налогов уверены, что арифметически

ничего не теряют.

Но со стороны налогоплательщиков все выглядит совершенно по-другому. Налог, который, по мысли законодателя, должен соотноситься с состоянием, напротив, прогрессивен в смысле нищеты — так что, чем беднее гражданин, тем больше он платит. Это то, что я постараюсь дать почувствовать с помощью нескольких цифр.

Согласно пропорциональному налогу, налоговому органу причитается (во французских франках):

Для дохода/Размер налога

1,000/125

2,000/250

3,000/375

4,000/500

5,000/625

6,000/750

и т. д.

Таким образом, согласно этим подсчетам, налог увеличивается пропорционально доходу.

Но если учесть, что каждая сумма дохода состоит из 365 единиц, каждая из которых представляет собой ежедневный доход налогоплательщика, то обнаружится, что налог более не пропорционален; обнаружится, что он равен. Действительно, если за доход в 1,000 франков государство взимает 125 франков налогов, это похоже на то, что оно отнимает у семьи 45 дней пропитания; таким же образом взносы в размере 250, 375, 500, 625, 750 франков, соответствующие доходам в 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 франков, по-прежнему составляют для каждого из бенефициаров только 45-дневное сальдо.

Теперь я говорю, что это равенство налогов — чудовищное неравенство, и что это странная иллюзия воображения, поскольку ежедневный доход более значителен, чем плата, основой которого он является. Перенесем нашу точку зрения от личного дохода к коллективному доходу.

Под влиянием монополии общественное благосостояние, в котором отказано рабочему классу для того, чтобы не отказать в нем классу капиталистов, целью

налога было умерить смещение и реагировать на узурпацию, осуществляя пропорциональное изъятие у каждого привилегированного. Но пропорциональное чему? тому, что привилегированный воспринимал как слишком большое (изъятие), без сомнения, а не той доле социального капитала, которую представляет его доход. Значит, цель налогообложения упущена, и закон оказывается перевернутым в сторону обмана, поскольку налоговый орган, вместо того чтобы взять свою восьмую там, где эта восьмая существует, требует ее именно у тех, кому он должен ее вернуть. Последняя операция сделает это ощутимым.

Предполагая, что доход во Франции составляет 68 сантимов в день на человека, отец семейства, который либо в качестве зарплаты, либо в качестве дохода от своего капитала зарабатывает 1,000 франков в год, получает четыре доли национального дохода; тот, кто получает 2,000 франков, имеет восемь долей; тот, кто получает 4,000 франков, имеет шестнадцать, и т. д. Отсюда следует, что рабочий, который с дохода 1,000 франков платит 125 франков налогов, отдает общественному порядку половину доли, что составляет одну восьмую от его дохода и средств к существованию его семьи; в то время как рантье, который с дохода 6,000 франков платит только 750 франков (налога), получает прибыль в размере 17 долей от коллективного дохода или, другими словами, зарабатывает с налогом 425 процентов.

Воспроизведем ту же истину в другой форме.

Во Франции насчитывается около 200,000 избирателей. Я не знаю, какова сумма взносов, уплачиваемых этими 200,000 избирателями, но я не думаю, что сильно отклонюсь от истины, предположив среднее значение для каждого в 300 франков, а всего для 200,000 плательщиков — 60 миллионов, к которым мы добавим дополнительно еще четверть их доли косвенных взносов, то есть 75 миллионов, или 75 франков на душу (предполагая, что семья каждого избирателя состоит из пяти человек), которые выплачивает государству класс избирателей. Бюджет (Франции), согласно *Экономическому ежегоднику* за 1845 г., составляет 1,106 миллиона, остается 1 миллиард 31 миллион¹, что дает 31 франк и 30 сантимов на каждого гражданина, не являющегося избирателем, — две пятых взноса, выплачиваемого богатым классом. Значит, для того, чтобы эта доля была справедливой, необходимо, чтобы среднее благосостояние класса, не являющегося избирателем, составляло две пятых от среднего благосостояния класса избирателей: и это то, что не является правдой, потому что должно быть более трех четвертей.

Но эта диспропорция покажется еще более шокирующей, если вдуматься, что только что сделанный нами расчет по классу избирателей совершенно ошибочен, в пользу

¹ Прудон вычитает 75 000 000 франков, полученных, предположительно, от класса избирателей в качестве налогов, из бюджета Франции в 1 106 000 000, что дает ему результат в 1 031 000 000 франков. — А.А. А-О.

плательщиков.

На самом деле единственными налогами, которые подсчитываются для осуществления избирательного права, являются:

1. земельный взнос;
2. индивидуальный и движимый;
3. двери и окна;
4. патент.

Значит, за исключением индивидуального и движимого (налога), который мало изменяется, остальные три налога переведены на потребителей; то же самое относится и ко всем косвенным налогам, которые владельцы капитала возмещают за счет потребителей, за исключением, однако, трансфертных налогов, которые непосредственно влияют на владельца и поднимаются в общей сложности до 150 миллионов. Значит, если мы оценим, что избирательная собственность составляет одну шестую этой последней суммы, что будет преувеличением, доля прямых взносов (409 миллионов) составляет на одну душу 12 франков, сумма косвенных взносов (547 миллионов) — 16 франков, средний налог, уплачиваемый каждым избирателем с семьей, состоящей из пяти человек, составит в общей сложности 265 франков, в то время как доля рабочего, который имеет только свою сажень, чтобы прокормить себя, свою жену и двух детей, составит 112 франков. — В более общем выражении средний взнос на душу в высшем классе составит 53 франка; в нижестоящем классе — 28. На что я вновь задаю свой вопрос: Является ли благосостояние граждан, находящихся по эту сторону избирательного ценза, половиной от благосостояния тех, кто находится по его другую сторону?

С налогами происходит то же самое, что с периодическими изданиями, которые в действительности стоят тем дороже, чем реже они выходят. Ежедневная газета стоит 40 франков, еженедельная — 10 франков, ежемесячная — 4 франка. Все кажется равным, кроме того, что подписные цены на эти газеты распределяются между ними как числа 40, 70 и 120, а дороговизна увеличивается от редкости публикаций. Так вот, именно таков налоговый ход: это абонемент, оплачиваемый каждым гражданином в обмен на право работать и жить. Тот, кто пользуется этим правом в наименьшей пропорции, платит больше; тот, кто пользуется немного больше, платит меньше; тот, кто пользуется много, платит мало.

Экономисты в целом со всем этим согласны.

Они атаковали пропорциональный налог не только в его принципе, но и в его применении; они выявили в нем аномалии, которые, почти все, исходят из того, что отношение капитала к доходу, или возделываемой площади, находящейся в ренте,

никогда не фиксируется.

«То есть взнос в размере одной десятой от дохода с земель, и земель разного качества, производящих, первый 8 франков² пшеницы, второй — 6, третий — 5: налог будет требовать одну восьмую с дохода от наиболее плодородной земли, одну шестую — от чуть менее плодородной, и, наконец, одну пятую — от еще менее плодородной. Не будет ли налог установлен в обратном смысле от того, каким он должен быть?— Вместо земель можно предполагать другие орудия производства и сравнивать капиталы одинаковой стоимости или объемы работ одинакового порядка, применяемые к отраслям промышленности с различной производительностью: вывод будет тот же. Несправедливо требовать подушный налог в 10 франков с рабочего, который зарабатывает 1,000 франков, и с художника или врача, которые получают 60,000 ливров ренты» (Д. Гарнье, *Принципы политической экономии*). Эти размышления вполне справедливы, хотя они падают только на восприятие или на тарелку и не доходят до самого принципа налогообложения. Ибо, допуская распределение по доходу, вместо того, чтобы по капиталу, всегда получается так, что налог, который должен быть соразмерен состояниям, нагружается на потребителя.

Экономисты сделали шаг вперед: они высоко оценили несправедливость пропорционального налога.

«Налог, — говорит Сэй, — никогда не может повышаться на необходимость», — этот автор, правда, не определяет, что следует понимать под необходимостью: но мы можем восполнить это упущение. Необходимым является то, что каждый человек получает от общего дохода страны, за вычетом того, что должно быть изъято для налога. Таким образом, чтобы считать круглыми цифрами, если производство во Франции составляет восемь миллиардов, а налог — один миллиард, необходимость каждого человека в день составляет 56 с половиной сантимов. Все, что превышает этот доход, подлежит налогообложению, по Ж.-Б. Сэю, все, что ниже, должно оставаться священным для налогового инспектора.

Это то, что тот же автор выражает другими словами, когда говорит: «Пропорциональный налог несправедлив». Адам Смит уже сказал до него: «Это небезосновательно, что богатый вносит вклад в государственные расходы не только пропорционально доходу, но и чему-то большему». «Я пойду дальше, — добавляет Сэй, — я не побоюсь сказать, что прогрессивный налог является единственно справедливым». И М.Ж. Гарнье³, последний аббревиатор (сокращающий)⁴ экономистов: «Реформы должны

² У Прудона это обозначено как «8 fr.»: видимо, это следует понимать как «производящих на 8 франков». — А.А. А-О.

³ Прудон имеет в виду Жозефа Гарнье (1813—1881 гг.), политэконома, основателя *Journal des economistes*. — А.А. А-О.

⁴ *Abreviat|eur, -rice.* (фр.) — сокращающ|ий, -ая. — А.А. А-О.

стремиться к достижению прогрессивного равенства, если можно так выразиться, гораздо более точного, гораздо более справедливого, чем так называемое равенство налогов, которое является просто чудовищным неравенством».

Таким образом, по общему мнению и по свидетельству экономистов, доказаны две вещи: одна, что в своем принципе налог реакционен в отношении монополии и направлен против богатого; другая, что на практике этот же налог неверен своей цели; что, ударяя прежде всего по бедняку, он совершает несправедливость, и что законодатель должен постоянно стремиться распределить его более справедливо.

Я был обязан прочно установить этот двойной факт, прежде чем перейти к другим соображениям: теперь начинается моя критика.

Экономисты, с этим добродушием честных людей, которое они унаследовали от своих предшественников, и которое до сих пор создает им славу, старались не замечать, что прогрессивная теория налога, на которую они указывают правительствам как на *nec plus ultra* (крайность) мудрой и либеральной администрации, противоречива в своих терминах и наполнена легионом невозможностей. Они поочередно обвиняли в угнетении налогами варварские времена, невежество князей, кастовые предрассудки, алчность торговцев, все то, что, словом, по их мнению, мешало прогрессированию налога, создавало препятствия искренней практике уравнивания перед бюджетом: они ни минуты не сомневались, что то, что они требовали под названием прогрессивного налога, — переворот всех экономических понятий.

Таким образом, они не видели, например, что налог был прогрессивным тем самым, что он был пропорциональным, но что прогресс оказывался обратным, направленным, как мы уже говорили, не в смысле наибольшего состояния, а в смысле меньшего. Если бы экономисты имели четкое представление об этом перевороте, неизменном во всех странах с налогами, такое необычное явление не преминуло бы привлечь их внимание; они бы искали причины этого, и в конце концов выяснили бы, что то, что они принимали за катастрофу цивилизации, за следствие запутанных трудностей человеческого управления, было продуктом противоречия, присущего всей политической экономии.

Прогрессивный налог, применяемый либо к капиталу, либо к доходу, — это само отрицание монополии, той монополии, которая встречается повсюду, — говорит Росси, — на пути общественной экономики; которая является истинным стимулом промышленности, надеждой на сбережения, хранителем и отцом всякого богатства; исходя из чего мы могли бы сказать, наконец, что общество не может существовать с ним, но не будет существовать без него. Если налог внезапно становится тем, чем он, несомненно, должен быть, а именно пропорциональным (или прогрессивным, это то же самое) вкладом каждого производителя в общественные платежи, то сразу же рента и прибыль конфискуются на благо государства; труд лишается плодов своих творений; каждый человек сокращается до скудной доли в 56 с половиной сантимов,

нищета становится всеобщей; договор, заключенный между трудом и капиталом, расторгается, и общество, лишенное руля, деградирует до уровня своих начал.

Скажут, может быть, что легко предотвратить абсолютное уничтожение прибыли капитала, остановив в любой момент эффект прогрессирования.

Эклектика, золотая середина, соглашение с небесами или моралью: всегда будет одна и та же философия! Настоящей науке претят такие сделки. Любой вложенный капитал должен возвращаться производителю в виде процентов; любой труд должен оставлять излишек, любая зарплата должна быть равной продукту. Под эгидой этих законов общество постоянно достигает с помощью самых разнообразных производств максимально возможного благосостояния. Эти законы абсолютны: нарушать их — значит, убивать, калечить общество. Значит, капитал, который, в конце концов, есть не что иное, как накопленный труд, неприкосновенен. Но с другой стороны, тенденция к равенству не менее убедительна: она проявляется на каждой экономической стадии с возрастающей энергией и непобедимой уверенностью. Вы должны, следовательно, удовлетворять одновременно труду и справедливости: вы должны предоставить первому все более реальные гарантии и обрести второе без уступок или двусмысленности.

Вместо этого вы только и знаете, как постоянно подменять ваши теории благосостоянием князя, останавливать ход экономических законов произволом власти и под предлогом справедливости лгать в равной степени зарплате и монополии! Ваша свобода — это лишь полусвобода, ваша справедливость — это полусправедливость, и вся ваша мудрость состоит в этих усредненных терминах, со всегда двойной порочностью, поскольку они не предоставляют прав требования ни с одной, ни с ни другой стороны! Нет, такой не может быть наука, которую вы нам обещали, и которая, раскрывая нам секреты производства и потребления богатств, должна недвусмысленно разрешать общественные антиномии. Ваша полулиберальная доктрина является кодексом деспотизма и обнаруживает в вас столько же бессилия двигаться, сколько стыда отступить.

Если общество, вовлеченное в свою предшествующую экономическую историю, не может повернуть в обратном направлении; если до появления универсального уравнения монополия должна сохраняться в своем владении, никакие изменения в основании налога невозможны: в этом есть только одно противоречие, которое, как и любое другое, должно быть доведено до исчерпания. Значит, наберитесь мужества ваших мнений: уважение к богатству и отсутствие пощады для бедных, которых осудил Бог монополии. Чем меньшим располагает наемный работник для поддержания жизни, тем больше он должен платить: *qui minus habet, etiam quod habet au feretur ab eo* (у того, у кого меньше других, будет отнято даже то, что имеет). Это необходимо, это фатально: так происходит спасение общества.

Попробуем все-таки обратить вспять прогрессию налога и сделать так, чтобы вместо

рабочего больше всего возвращал (платил) капиталист.

Но для начала я замечаю, что при обычном способе изъятия налогов такой переворот неосуществим.

Действительно, если налог ударяет по используемому капиталу, совокупность этого налога включается в себестоимость продукции, и тогда одно из двух: или продукт, несмотря на увеличение рыночной стоимости, будет приобретен потребителем, и, следовательно, производитель будет освобожден от налога; или тот же продукт будет считаться слишком дорогим, и в этом случае налог, как очень хорошо сказал Ж.-Б. Сэй, действует как десятина, которая будет возложена на посеы, — он препятствует производству. Так же, как слишком высокий трансфертный налог останавливает движение недвижимости и делает фонды менее продуктивными, создавая помехи тому, чтобы они переходили из рук в руки.

Если, наоборот, налог падает на продукт, это не более, чем налог на количество, который каждый платит в соответствии с размером его потребления, в то время как капиталист, которого он должен был достичь, сохраняется (не платит).

Более того, предположение о прогрессивном налоге, основанном либо на продукте, либо на капитале, совершенно абсурдно. Как мы можем представить, что на один и тот же продукт будет распространяться пошлина в 10 % у одного продавца и только 5 — у другого? Как фонды, уже обремененные ипотечными кредитами, которые меняют хозяев каждый день, как капитал, образованный в результате акционирования или единоличного благосостояния человека, будут распознаваться кадастром и облагаться налогом больше не из-за их стоимости или их ренты, но исходя из состояния или предполагаемой прибыли владельца?...

Остается, следовательно, один последний ресурс, — это налог на чистый доход, как бы он ни формировался, для каждого налогоплательщика. Например, доход в 1000 франков облагался бы налогом в размере 10 %; доход в 2000 франков — 20 %; доход в 3000 франков — 30 % и т.д. Оставим в стороне тысячу трудностей и неприятностей переписи и предположим операцию настолько простую, насколько хочется. Итак! именно эту систему я обвиняю в лицемерии, противоречиях и несправедливости.

Во-первых, я говорю, что эта система лицемерна, потому что если не отнять у богатого всю часть дохода, которая превышает средний национальный продукт на семью, что недопустимо, она не переводит, как предполагается, рост налогов на сторону богатства, в лучшем случае она изменяет пропорциональную причину. Таким образом, текущий рост налога для состояний в 1,000 франков дохода и НИЖЕ будет подобен цифрам 10,11,12,13 и т. д.; а для состояний в 1,000 франков дохода и ВЫШЕ — как числа 10,9,8,7,6 и т. д. — налог всегда повышается с нищетой и уменьшается с богатством: если бы мы ограничились падением косвенного налога, который в первую очередь поражает бедный класс, и обложили бы налогом доход богатого класса, то прогрессия была бы, правда, для первых такой, как числа 10,

10.25, 10.50, 10.75, 11, 11.25, и т. д.; а для вторых — как 10, 9.75, 9.50, 9.25, 9, 8.75, и т. д. Но эта прогрессия, пусть и менее быстрая с обеих сторон, тем не менее всегда будет продвигаться в одном и том же направлении, всегда в обратном от справедливости: и именно поэтому налог, так называемый прогрессивный, способный в лучшем случае подпитывать болтовню филантропов, не имеет научной ценности. Она ничего не изменила в налоговой юриспруденции: всегда, как говорится, бедняку достается котомка, всегда богач — объект заботы власти.

Добавлю, что эта система противоречива.

Действительно, *отдавать и удерживать не стоит*, говорят юристы. Почему же тогда, вместо того чтобы освящать монополии, единственной выгодой для держателей которых было бы тотчас лишиться вместе с доходом всего пользования, не объявить сразу аграрный закон? Зачем устанавливать в Конституции, что каждый свободно пользуется плодами своего труда и своего производства, когда по факту или под воздействием тенденции налогообложения такое разрешение предоставляется только до дивидендов в размере 56 с половиной сантимов в день — дело, правда, в том, что закон не предусмотрел бы, но что обязательно стало бы результатом прогрессии? Законодатель, утвердив нас в наших монополиях, хотел способствовать производству, поддерживать священный огонь промышленности: так какой смысл нам производить, если, еще не будучи соучастниками, мы производим не для себя одних? Как, после того, как нас объявили свободными, можно навязать нам условия купли-продажи, аренды и обмена, которые отменяют нашу свободу?

Человеку принадлежит, согласно государственной регистрации, 20,000 ливров ренты. Налог с помощью новой прогрессии заберет у него 50 %. При такой ставке ему выгоднее вывести свой капитал, а вместо дохода поглотить фонд. Так что пусть ему возместят. Но что! возместить: государство не может быть принуждено к возмещению; и если оно согласится выкупить, это будет пропорционально чистой прибыли. Значит, регистрация ренты в 20,000 франков⁵ будет приносить лишь 10,000 для рантье из-за налога, если он хочет возмещения от государства: если он не разделит его на двадцать лотов, в каком случае оно вернет ему вдвое больше. Точно так же достояние, который приносит 50,000 франков, налог, присваивающий две трети дохода, потеряет две трети цены. Но если хозяин разделит это достояние на сто лотов и выставит его на торги, террор налоговой службы уже не остановит покупателей, он сможет изъять весь капитал. Поскольку при прогрессивном налогообложении недвижимое имущество больше не следует закону спроса и предложения, не оценивается по своему реальному доходу, а по качеству собственника. Следствием этого будет то, что крупные капиталы обесценятся, а в повестку дня будет поставлена посредственность; владельцы будут спешно реализовывать (собственность), потому что для них будет лучше поглотить

⁵ Так у Прудона: в предыдущей фразе об этой же сумме ренты он указывал ее размер в ливрах, в данной фразе — во франках. — А.А. А-О.

имущество, чем получать от него недостаточную ренту; капиталисты отзовут свои средства или разместят их только по ростовщическим ставкам; всякая крупная эксплуатация будет запрещена, всякое видимое состояние преследуется, любой капитал, превышающий цифру необходимого, запрещен. Подавленное богатство будет собираться само по себе и вывозиться контрабандой; и труд, как человек, привязанный к трупу, будет объят нищетой в бесконечной связи. Не насмеются ли экономисты, которые излагают подобные реформы, над реформаторами?

Продемонстрировав противоречие и ложь прогрессивного налога, должен ли я доказать его несправедливость? Прогрессивный налог, как его понимают экономисты и вслед за ними некоторые радикалы, неосуществим, говорил я ранее, — если он бьет по капиталу и продуктам (производства): следовательно, я предположил, что он бьет по доходам. Но кто не видит, что это чисто теоретическое различие между *капиталом, продуктами и доходами* падает перед налоговым инспектором, и что те же самые невозможности, на которые мы указали, вновь проявляют здесь свой роковой характер?

Промышленник обнаруживает процесс, при котором, экономя 20 % своих производственных затрат, он получает 25,000 франков дохода. Налоговик требует у него 15. Значит, предприниматель вынужден повышать свои цены, поскольку по факту налога его процесс, вместо того, чтобы сэкономить 20 %, экономит лишь 8. Не мешает ли налог хорошей цене? Таким образом, полагая, что достигает богатых, прогрессивный налог всегда достигает потребителя; и он не может не достигать его, подавляя производство: какой просчет!

Это по закону о социальной экономике весь вложенный капитал должен непрерывно возвращаться предпринимателю в виде процентов. С прогрессивным же налогом этот закон радикально искажается, поскольку вследствие эффекта прогрессирования процент капитала уменьшается до такой степени, что он приводит производство к потере части или даже всего упомянутого капитала. Чтобы это было иначе, проценты на капитал должны были бы увеличиваться прогрессивно, как и сам налог, что абсурдно. Таким образом, прогрессивный налог останавливает формирование капиталов; более того, он мешает их обращению. Если кто-либо, на самом деле, захочет приобрести какое-либо оборудование для эксплуатации или земельный фонд, он должен будет, в соответствии с повышением взносов, учитывать не только фактическую стоимость такого оборудования или земельного фонда, но и налог, который он повлечет за собой; таким образом, если реальный доход составляет 4 %, и если в силу налога или условия покупателя этот доход должен быть уменьшен до 3, приобретение не может быть осуществлено. После подавления всех процентов и возмущения рынка по его секторам, прогрессивный налог останавливает рост благосостояния и уменьшает рыночную стоимость до положения ниже реальной стоимости; он умаляет, он парализует общество. Какая тирания! какая насмешка!

Таким образом, прогрессивный налог превращается, независимо от того, что он делает, в отказ от правосудия, защиты производства, в конфискацию. Это произвол

без ограничений и тормозов, данный властям на все, что посредством труда, сбережений, улучшений средств, способствует общественному богатству.

Но зачем теряться в химерических гипотезах, когда мы прикасаемся к истине? Не вина пропорционального принципа, если налог поражает различные классы общества с таким шокирующим неравенством; вина заключается в наших пред-рассудках и наших нравах. Налог, так же как и человеческие действия, поступает честно и точно. Общественная экономика приказывает ему заняться доходом; он занимается доходом. Если доход ускользает, он поражает капитал: что может быть более естественным? Налог, опережающий цивилизацию, предполагает равенство рабочих и капиталистов: несгибаемое выражение необходимости, он, кажется, приглашает нас стать равными посредством образования и работы и, уравнивая наши функции и объединяя наши интересы, прийти к соглашению с ним. Налог отказывается отличать человека от человека: и мы обвиняем его математическую строгость в несоответствии наших состояний! мы требуем от самого равенства преклониться перед нашей несправедливостью!... Разве я не был прав, когда сказал в начале, что по отношению к налогу мы остаемся позади наших установлений?

Кроме того, мы всегда видим, как законодатель останавливается в фискальном законодательстве перед разрушительными последствиями прогрессивного налога и освящает необходимость, непреложность пропорционального налога. Поскольку равенство благосостояния не может избежать нарушения капитала: антиномия должна быть методично разрешена, под угрозой для общества вернуться в хаос. Вечная справедливость не примиряется со всеми фантазиями людей: как женщина, которую могут оскорбить, но на которой не женятся без торжественного отчуждения от самого себя, она требует от нас, вместе с отказом от нашего эгоизма, признания всех своих прав, которые принадлежат науке.

Налог, конечной целью которого, как мы видели, является вознаграждение непродуктивного, но чья первоначальная мысль заключается в восстановлении рабочего, налог при монопольном режиме сокращается до чистого и простого протеста, в виде некоего внесудебного акта, задача которого — усугубить положение работника, мешая монополисту, в распоряжении которого он находится. Что касается идеи преобразования пропорционального налога в прогрессивный налог или, лучше сказать, обращения в обратную сторону прогрессии налога, то это промах, вся ответственность за который лежит на экономистах.

Но угроза отныне нависает над привилегией (преимуществом). Со способностью изменять пропорциональность налога правительство имеет в своем распоряжении быстрое и надежное средство лишать по своему усмотрению капитала его владельцев; и это страшно — видеть повсюду этот великий институт, основу общества, объект стольких противоречий, стольких законов, такой лести и стольких преступлений, СОБСТВЕННОСТЬ, подвешенную на кончике нити над зияющей

пастью пролетариата.

§ III. Губительные и неотвратимые последствия налога (прожиточные, законы против роскоши, страховка сельскохозяйственная и промышленная, патенты на изобретения, торговые марки и т. д.)

В июле 1843 г. г-н Шевалье задавался по теме налога следующими вопросами:

- «1) Требуем ли мы (оплаты налога) от всех или предпочтительно от одной части нации?
- 2) Налог выглядит как подушный, или он в точности пропорционален состоянию налогоплательщиков?
- 3) Сельское хозяйство обременено более или менее, чем производящая промышленность или торговля?
- 4) Собственность на землю облагается в более щадящем режиме, чем движимая собственность?
- 5) Тот, кто производит, находится в более выгодном положении, чем тот, кто потребляет?
- 6) Имеют ли наши налоговые законы характер законов против роскоши?».

На эти различные вопросы г-н Шевалье дает ответ, который я перескажу, и который обобщает все, с чем наиболее философским по теме мне пришлось столкнуться:

- «а) Налог универсален, направлен на массу, охватывает нацию в целом; однако поскольку бедняков больше всего, их охотнее облагают налогом в уверенности, что соберут больше.
- б) По природе вещей налог иногда влияет на форму оплаты, о чем свидетельствует соляной налог.
- с, d, e) Налоговик обращается к труду настолько же, насколько к потреблению, потому что во Франции все работают: к землевладению больше, чем к движимому имуществу, и к сельскому хозяйству больше, чем к промышленности.
- f) По той же причине особенности наших законов менее характерны для законов,

направленных против роскоши».

Как! профессор, это все, что вам сказала наука! — *Налог направлен на массу*, говорите вы; *он охватывает нацию в целом*. Ох! мы знаем это слишком хорошо; но это то, что несправедливо и то, что мы просим вас объяснить. Правительство, когда оно занималось налоговой базой и распределением налога, не могло верить и не поверило, что все состояния равны; следовательно, оно не могло желать, оно не желало, чтобы существовали коэффициенты взносов. Почему тогда практика правительства всегда противоположна его теории? Ваше мнение, пожалуйста, по этому сложному делу! Объясните, оправдайте или осудите налогового инспектора; примите сторону, которую хотите, если примете только одну сторону, и скажите что-нибудь. Помните, что вас читают люди, и что они не могут передать доктору, говорящему *ex cathedra* (с кафедры), подобные предложения: *Бедняки самые многочисленные; поэтому их охотнее облагают налогом в уверенности, что соберут больше*. Нет, месье: не число регулирует налог; налог прекрасно знает, что миллионы бедняков, добавленные к миллионам бедняков, не формируют избирателя. Вы делаете налогового одиозным и абсурдным, а я утверждаю, что он ни такой, ни этакий. Бедный платит больше, чем богатый, потому что Провидение, для которого нищета является одиозной, как порок, устроило вещи таким образом, что нищий всегда должен подвергаться наибольшему давлению. Налоговое неравенство — это небесное зло, которое гонит нас к равенству. Боже! Если бы профессор политической экономии, который когда-то был апостолом, мог понять это откровение!

По природе вещей, говорит г-н Шевалье, налог иногда влияет на форму оплаты. Хорошо! в каком случае справедливо, что налог влияет на форму оплаты? всегда или никогда? Каков принцип налога? Какова цель? Говорите, отвечайте.

И какой урок, прошу вас (ответить), мы можем извлечь из этого замечания, которое столь мало достойно того, чтобы его воспринимали, что *налоговик обращается к труду настолько же, насколько к потреблению, потому что во Франции все работают: к землевладению больше, чем к движимому имуществу, и к сельскому хозяйству больше, чем к промышленности*? Какое значение имеет для науки эта бесконечная констатация необработанных фактов, если из вашего анализа не вытекает ни одна идея?

Все сборы, такие как налог, рента, проценты с капитала и т. д., действуют на потребление, входят в счет накладных расходов и являются частью цены продажи; так что всегда, в значительной степени, налог платит потребитель: мы знаем это. И как товары, которые потребляются больше, также являются теми, от которых больше возврат, обязательно происходит так, что самые бедные бывают наиболее обремененными: это следствие, как и первое, неизбежно. Что нам дают, еще раз, ваши налоговые различия? Какой бы ни была классификация облагаемой материи, поскольку невозможно оценить капитал за пределами дохода, капиталист всегда будет в выигрыше, а пролетариат будет страдать от беззакония, притеснения. Это не распределение налогов плохое, а распределение благ. Г-н Шевалье не может

игнорировать это: почему тогда г-н Шевалье, чья речь имела бы больше авторитета, чем речь писателя, подозреваемого в неприязни к порядку вещей, не говорит это?

С 1806 по 1811 год (это наблюдение, а также следующее, принадлежит г-ну Шевалье) ежегодное потребление вина в Париже составляло 160 литров на человека: сегодня оно составляет всего 95. Удалите налог от 30 до 35 сантимов за литр у розничного продавца; и потребление вина скоро вырастет с 95 литров до 200; и винодельческая отрасль, которая не знает, что делать со своей продукцией, получит выход. — Благодаря пошлинам на импорт крупного рогатого скота потребление мяса сократилось для народа в пропорции, аналогичной вину; и экономисты с испугом признали, что производительность труда французского рабочего меньше, чем английского рабочего, потому что его меньше кормили.

Из-за симпатии к рабочим классам г-н Шевалье хотел бы, чтобы наши производители чувствовали бы немного влияния иностранной конкуренции. Снижение пошлины на шерсть на 1 франк на одну пару штанов оставляло бы в кармане потребителей около тридцати миллионов, половину суммы, необходимой для уплаты налога на соль. — На 20 сантимов меньшая цена на рубашку произведет вероятную экономию, которая будет равна содержанию под ружьем корпуса из двадцати тысяч человек.

За пятнадцать лет потребление сахара возросло с 53 миллионов килограммов до 118; в настоящее время его потребление составляет в среднем 3,5 килограмма на человека. Этот прогресс показывает, что сахар должен теперь учитываться вместе с хлебом, вином, мясом, шерстью, хлопком, деревом и углем в числе предметов первой необходимости. Сахар — это аптека для бедняков: было бы слишком, чтобы увеличить потребление этой статьи с 3,5 килограммов на человека до 7? Уберите налог, который составляет 49 франков 50 сантимов на 100 килограммов, и ваше потребление удвоится.

Таким образом, налог на пропитание волнует и третирует бедного пролетария тысячью способов: высокая стоимость соли наносит вред производству скота; пошлины на мясо еще больше уменьшают рацион рабочего. Чтобы удовлетворять одновременно налогу и потребности в напитках брожения, которую ощущает рабочий класс, их подают в смеси, неизвестной химику, что в пиве, что в вине. Что нам еще нужно от церковных диетических рецептов? Благодаря налогу весь год — это великий пост для рабочего; и его пасхальный ужин не стоит перекуса Господина в Страстную пятницу. Есть срочная необходимость отменить повсеместно налог на потребление, который истощает людей и заставляет их голодать: к такому выводу пришли как экономисты, так и радикалы.

Но если пролетарий не постится, чтобы накормить Цезаря, что будет есть Цезарь? И если бедняк не разорвет свой плащ, чтобы покрыть наготу кесаря, во что оденется

Цезарь?

Вот вопрос, неизбежный вопрос, который должен быть решен.

Поэтому г-н Шевалье, задавшись вопросом № 6, носят ли наши налоговые законы характер законов против роскоши, ответил: Нет, наши налоговые законы не имеют характера законов против роскоши. Г-н Шевалье мог бы добавить, и это было бы как новым, так и правдивым, что именно это является лучшим в нашем налоговом законодательстве. Но г-н Шевалье, который до сих пор сохраняет, несмотря ни на что, старое волнение радикализма, предпочитал выступать против роскоши, что не могло скомпрометировать его ни перед какой партией. «Если бы в Париже, — воскликнул он, — мы потребовали бы с частных экипажей, седельных или перевозящих лошадей, слуг и собак, налог, который мы накладываем на мясо, мы бы совершили честную сделку».

Для того ли, чтобы комментировать политику Мазаньелло¹, г-н Шевалье сидит в Коллеж де Франс? Я видел в Бале собак, несущих налоговую табличку на шеях, как признак их капитализации, и я полагал, что в стране, где налог практически равен нулю, налог на собаку был гораздо большим уроком этики и гигиенической мерой предосторожности, чем один элемент выручки. В 1844 г. налог на ввозимых собак для всей провинции Брабант (667,000 жителей) составлял 2 франка 11,5 сантимов за голову, всего 63,000 франков. Исходя из этого мы можем предположить, что тот же налог, производящий в объеме всей Франции 3 миллиона, приведет к снижению налога на долю 8 сантимов на человека в год. Разумеется, я далек от утверждения, что нужно пренебрегать 3 миллионами, особенно с расточительным правительством; и я сожалею, что Палата отложила налог на собак, который всегда использовался, чтобы обеспечивать дотации для полдюжины «их высочеств». Но я напоминаю вам, что налог такого рода имеет в качестве принципа гораздо меньше налоговых процентов, чем оснований для порядка; следовательно, с фискальной точки зрения его следует рассматривать как явление с нулевым значением, и что он должен быть даже отменен как оскорбительный, поскольку большинство людей, немного более гуманизированных, чувствует отвращение к компании животных. *Восемь сантимов в год, какое облегчение нищеты!...*

Но г-н Шевалье пощадил другие ресурсы: лошадей, экипажи, прислугу, предметы роскоши, роскошь, наконец! Сколько всего в одном этом слове — РОСКОШЬ!

Давайте сократим эту фантазмагорию простым подсчетом: осмысление придет позже. В 1842 г. общая собранная пошлина на импорт составила 129 миллионов. Из этой суммы в 129 миллионов 61 вид товаров, предназначенных для потребления, соответствовали 124 миллионам, а 117 видов товаров, принадлежащих к предметам

¹ Мазаньелло, производное от Томазо Аньелло, — так звали рыбака, предводителя восстания в Неаполе в 1647 г. Видимо, таким образом Прудон саркастически намекает на то, что рассуждения г-на Шевалье слишком далеки от текущей реальности. — А.А. А-О.

роскоши, — 50 тысячам франков. Среди первых сахар дал 43 миллиона, кофе — 12 миллионов, хлопок — 11 миллионов, шерсть — 10 миллионов, масла — 8 миллионов, уголь — 4 миллиона, лен и конопля 3 миллиона; всего: 91 миллион на 7 статей. Таким образом, показатель выручки уменьшается по мере того, как товар используется меньше, потребляется реже, а роскошь становится все более изысканной. И все же предметы роскоши являются наиболее облагаемыми. Поэтому для того, чтобы добиться заметного сокращения налогообложения товаров первой необходимости, пошлины на предметы роскоши будут увеличены в сто раз, и все, что будет получено, — это уничтожение торговли запретительным налогом. Значит, все экономисты выступают за отмену таможен; не для того ли, чтобы заменить их льготами?... Обобщим этот пример: соль производит налоговому 57 миллионов, табак 84 миллиона. Давайте посмотрим, с цифрами в руках, какими налогами на предметы роскоши, после снятия (гипотетически) налогов на соль и табак, мы восполним этот дефицит.

Вы хотите поражать предметы роскоши: вы обращаете цивилизацию вспять. Я утверждаю, что предметы роскоши должны быть настоящими. Каковы с экономической точки зрения предметы роскоши? Таковы, чья доля в общем богатстве самая низкая, те, которые идут последними в промышленном ряду, и чье создание предполагает предсуществование всех остальных. С этой точки зрения все продукты человеческого труда были и раз за разом переставали быть предметами роскоши, поскольку под роскошью мы понимаем не что иное, как хронологический либо коммерческий постфактум в элементах богатства. Словом, роскошь — это синоним прогресса, это в каждый момент общественной жизни является выражением максимального благосостояния, достигаемого трудом и достигаемого как правом, так и предназначением каждого. Значит, так же, как налог в течение определенного круга времени относится к недавно построенному дому и недавно распаханному полю, он должен чистосердечно приветствовать новые товары и драгоценные предметы беспошлинно, потому что с их дефицитом нужно постоянно бороться, поскольку любое изобретение заслуживает поощрения. Так что же! хотели бы вы создать под предлогом роскоши новые категории граждан? и вы всерьез относитесь к городу Саленте и прозопопее Фабрициуса² ?

Так как предмет ведет нас туда, давайте поговорим о морали. Вы, несомненно, не будете отрицать ту истину, избитую сенеками³ всех веков, о том, что роскошь *развращает и ослабляет* нравы: что означает, что она гуманизирует, возвышает и облагораживает привычки; что первым и наиболее эффективным образованием для людей, стимулом идеала для большинства людей является роскошь. Грации были обнажены, согласно древним; но кто сказал, что они были нищими? Это вкус к роскоши, который в наши дни, в отсутствие религиозных принципов поддерживает

² Один из самых талантливых учеников Рембрандта, прославившийся приданием человеческих черт природным явлениям (прозопопея). — А.А. А-О.

³ Производное от Сенеки, римского философа, воспитателя Нерона. — А.А. А-О.

общественное движение и раскрывает свое достоинство для низших классов. Академия гуманитарных и политических наук это хорошо поняла, поскольку избрала роскошь как тему одного из своих выступлений, и я от всего сердца аплодирую ее мудрости. Роскошь действительно уже больше, чем право в нашем обществе, это необходимость; и действительно должно жалеть того, кто никогда не позволяет себе немного роскоши. И именно тогда, когда всеобщими усилиями стремятся популяризировать все больше и больше предметов роскоши, вы хотите ограничить наслаждение народа объектами, которые вам хочется квалифицировать объектами необходимости! Именно тогда, когда сообщество роскоши сближает и объединяет ряды, вы углубляете разделительную линию и повышаете свои ступени! Рабочий потеет, лишает себя и ужимает себя, чтобы купить украшение для своей невесты, ожерелье для своей маленькой дочери, часы для своего сына: и вы отнимаете у него это счастье, если он не платит ваш налог, то есть ваш штраф!

Но задумывались ли вы, что облагать предметы роскоши — значит запрещать искусство роскоши? Считаете ли вы, что производители шелка, чья заработная плата в среднем не достигает 2 франков; портные за 50 сантимов; ювелиры, часовщики с их бесконечной безработицей; прислуга в 40 экю, считаете ли вы, что они зарабатывают слишком много? Вы уверены, что работник роскоши не будет платить налог на роскошь, как потребитель напитков платит налог на напитки? Знаете ли вы также, что наибольшая дороговизна предметов роскоши не будет препятствием для удешевления стоимости товаров первой необходимости, и если, полагая, что вы благоприятствуете наиболее многочисленному классу, вы не ухудшаете общее состояние? Прекрасное предположение, правда! Дадим рабочему 20 франков на вино и сахар и заберем 40 на удовольствиях. Он выиграет 75 сантимов на коже своих ботинок, но чтобы отвезти семью в деревню четыре раза в год, он заплатит 6 франков за экипажи! Мелкий буржуа платит 600 франков горничной, прачке, белошвейке, коммивояжерам; и если исходя из экономии, которая всех устраивает, он возьмет прислугу, то налоговый в интересах средств к существованию накажет эту мысль о сбережении! До чего же абсурдна, если приглядеться, филантропия экономистов!

Тем не менее я хочу удовлетворить вашу фантазию; и так как вам абсолютно необходимы законы против роскоши, я делаю вид, что даю вам вырубку. И я заверяю вас, что в моей системе восприятие будет легким: никаких контролеров, диспетчеров, дегустаторов, пробирщиков, калибраторов, кондукторов; пунктов мониторинга или офисных расходов; ни малейшей досады или нескромности, никакого ограничения. Пусть законом будет предписано, что в будущем никто не сможет совмещать две зарплаты, и что самые высокие гонорары во всех занятиях не смогут превышать 6,000 в Париже, и 4,000 — в департаментах. И что! вы опускаете глаза!.. Признайте тогда, что ваши законы против роскоши — только лицемерие.

Чтобы утешить людей, некоторые придают налогу вид коммерческой рутины. Если, например, говорят они, цена на соль будет снижена наполовину, если оплата доставки писем будет уменьшена в той же пропорции, потребление не преминет

увеличиться, выручка станет больше, чем двойной, налоговый выиграет и потребитель — вместе с ним.

Я предполагаю, что происходящее подтверждает этот прогноз, и я говорю: Если бы оплата доставки писем была сокращена на три четверти, и если бы соль давалась даром, выиграл бы налоговый? Конечно, нет. Так в чем тогда смысл того, что называют почтовой реформой? Это связано с тем, что для каждого вида продукта существует естественная ставка, СВЕРХ которой прибыль становится ростовщической и провоцирует тенденцию к сокращению потребления, но НИЖЕ которой ведет к убыткам для производителя. Это весьма похоже на определение стоимости, которое экономисты отвергают и по поводу которой мы говорили: Это секретная сила, которая устанавливает крайние пределы, между которыми колеблется стоимость; значит, существует среднее значение, которое выражает справедливую стоимость.

Никто, разумеется, не желает, чтобы почтовые услуги были убыточными; мнение, следовательно, состоит в том, чтобы эти услуги производились *по себестоимости*. Это настолько элементарно по своей простоте, что удивляет, что необходимо было посвятить себя кропотливому исследованию результатов сокращения оплаты доставки писем в Англии; накапливать пугающие цифры и вероятности до потери зрения, пытаться разум, чтобы узнать, принесет ли сокращение во Франции прибавку или дефицит, и, наконец, чтобы не иметь возможности договориться ни о чем. Что! Не нашлось человека в здравом уме, чтобы сказать Палате (депутатов): нет необходимости ни в докладе посла, ни в примерах из Англии: нужно постепенно сокращать расходы на почтовую доставку до тех пор, пока доход не достигнет уровня расходов!⁴ Куда подевался наш старый галльский рассудок?

Но, скажут, если налог, соответствующий себестоимости, будет выставлен на соль, табак, почтовые отправления, сахар, вино, мясо и т. д., потребление, несомненно, увеличится, улучшение будет огромным: но за счет чего тогда государство будет покрывать свои расходы? Сумма косвенных налогов составляет почти 600 миллионов: на чем вы хотите, чтобы государство собирало этот налог? Если налоговый ничего не заработает на почте, нужно будет увеличить налог на соль; если не повышать на соль, все нужно будет перенести на напитки; это перечисление никогда не закончится. Значит, выпуск по себестоимости продукции как со стороны государства, так и частной промышленности, невозможен.

Итак, замечу я в свою очередь, поддержка государством страдающих классов невозможна, так же, как невозможен закон против роскоши, как невозможен прогрессивный налог; и все ваши разглагольствования на тему налога — прокурорское сутяжничество. У вас даже нет надежды на то, что увеличение населения, разде-

⁴ Слава небесам, министр решил этот вопрос, с чем я его искренне поздравляю. Согласно предложенному тарифу, оплата доставки писем будет сокращена до 10 сантимов для расстояния от 1 до 20 километров; — 20 сантимов от 20 до 40 километров; — 30 сантимов от 40 до 120 километров; — 40 сантимов от 120 до 560 километров; — 50 сантимов для больших расстояний.

ляющего налоговое бремя, облегчит ношу для каждого; потому что с населением увеличивается нищета, а с нищетой увеличиваются дело и персонал государства.

Различные налоговые законы, поставленные на голосование Палатой депутатов в ходе сессии 1845-46 гг., являются примерами абсолютной неспособности власти, какой бы она ни была и что бы она ни делала, обеспечивать благосостояние людей. Поэтому единственно тем, что она является властью, то есть представителем божественного права и права собственности, органом силы, она необходимо бесплодна, и все ее действия отмечены фатальным разочарованием.

Ранее я упоминал реформу почтового тарифа, которая снижает цену доставки примерно на треть. Конечно, если речь идет только о причинах, мне незачем упрекать правительство в том, что оно допустило это полезное сокращение: тем менее я буду стремиться приуменьшить его заслуги критикой мелких деталей, которыми наполнена ежедневная пресса. Довольно дорогой налог снижается на 30 %; распределение стало более справедливым и регулярным: я вижу только факт и аплодирую министру, который это сделал. Вопрос не в этом.

Прежде всего, преимущество, которым правительство дает нам возможность воспользоваться с налогом на письма, полностью оставляет этому налогу свой характер соразмерности, то есть несправедливости: вряд ли есть необходимость в дальнейшей демонстрации этого. Неравенство сборов в отношении почтовых тарифов остается прежним, выгода от этого сокращения в основном получается не для самых бедных, но для самых богатых. Тот торговый дом, который платил 3,000 франков за почтовую доставку, будет платить не более 2,000 франков; это, следовательно, 1,000 франков чистой прибыли, которую он прибавит к 50,000, которые дает его торговля, и которыми он обязан щедрости налогового. Со своей стороны крестьянин, рабочий, который напишет два раза в год сыну-солдату и получит такое же количество ответов, сэкономит 50 сантимов. Не правда ли, что почтовая реформа является противоположностью справедливого распределения налогов? что, если, согласно желанию г-на Шевалье, правительство хотело ударить по богатым и пощадить бедных, налог на почтовую доставку был последним, что следовало бы сокращать? Разве не кажется, что налоговый, который неверен духу своего института, ждал только повода для ощутимого сокращения бедности, чтобы иметь возможность сделать подарок на счастье?

Это то, что могли сказать цензоры законопроекта, и что никто из них не увидел. Это правда, что критика, вместо того, чтобы быть обращенной к министру, ударила по власти в ее основании и вместе с властью — по собственности: что заставило их перестать считаться противниками. Сегодня все мнения — против правды.

Могло ли быть иначе? Нет, поскольку, если бы сохранили старый налог, то навредили бы всем, не помогая никому; а если его снизили, то нельзя было разделить тариф по категориям граждан без нарушения статьи 1 Конституции, в которой говорится: «Все французы равны перед законом», то есть перед налогом. Тем не менее, почтовый

налог является необходимо персональным; следовательно, это налог на душу населения; поэтому, что справедливо в этом отношении, будет несправедливым с другой точки зрения, баланс расходов невозможен.

В то же время другая реформа была проведена заботами правительства, а именно реформа тарифа на рогатый скот. Ранее пошлины на домашний скот, будь то импорт из-за границы или ввоз в города, взимали за голову; отныне их придется брать по весу. Эта полезная реформа, востребованная с давнего времени, частично объясняется влиянием экономистов, которые в этом случае, как и во многих других, которые я даже не могу припомнить, проявили самое почетное усердие и оставили очень далеко за собой праздные декларации социализма. Но и здесь добро, вытекающее из закона, направленного на улучшение положения малоимущих, иллюзорно. Выровняли, упорядочили взимание налога на животных; не распределили одинаково между людьми. Богатые, которые потребляют 600 килограммов мяса в год, могут почувствовать новое состояние мясной лавки; подавляющее большинство людей, которые никогда не едят мясо, ничего не заметят. И я снова повторяю свой вопрос: могло ли быть так, чтобы правительство или Палата сделали бы нечто иное, чем то, что было сделано? Еще раз — нет; ибо вы не можете сказать мяснику: ты продашь свое мясо богатым по 2 франка за килограмм, а бедным — по 10 су. Это прямо противоположно тому, что вы получите от мясника.

То же с солью. Правительство сократило на четыре пятых количество соли, используемой в сельском хозяйстве, и при условии денатурации. Некий журналист, который не нашел ничего лучшего для критики, подал жалобу, в которой он оплакивает участь этих бедных крестьян, с которыми по закону обращаются хуже, чем с их скотом. В третий раз спрашиваю: Это может быть иначе? Одно из двух: или сокращение будет абсолютным, и тогда налог на соль должен быть заменен другим; и я бросаю вызов всей французской журналистике — изобрести налог, который выдержит двухминутное испытание; — или сокращение будет частичным, либо сохраняя часть прав за всеми облагаемыми товарами, либо отменяя все права, но только для части товаров. В первом случае сокращение недостаточно для сельского хозяйства и для бедного класса; во втором существует подушный налог, со всей его огромной диспропорцией. Что бы мы ни делали, это бедняк, всегда бедняк, которые поражен, так как, несмотря на все теории, налог никогда не может исходить из чего иного, кроме как из соображений капитала, которым владеют или потребляют, принадлежащего или потребляемого, и что если бы налоговый инспектор захотел поступить по-другому, она остановил бы прогресс, он запретил бы богатство, он убил бы капитал.

Демократы, которые упрекают нас в принесении в жертву революционного интереса (что такое революционный интерес?) интересу социалистическому, должны сказать нам, как, не делая из государства единственного владельца и не учреждая общности товаров и доходов, они намерены, по системе какого-то налога, поддержать народ и заставить работать то, что у него отнимает капитал. У меня закружилась голова: по всем вопросам я вижу, что власть поставлена в самое ложное положение, а мнение

газет размыто в беспредельной чепухе.

В 1842 г. г-н Араго выступал за то, чтобы железными дорогами управляли компании, и большинство во Франции думало, как он. В 1846 г. он заявил, что изменил мнение; и, не считая спекулянтов железных дорог, можно сказать, что большинство граждан изменили мнение аналогично г-ну Араго. Во что верить и что делать с этими переменами ученых и Франции?

Управление государством, кажется, может лучше защитить интересы страны: но это долго, дорого, неразумно. Двадцать пять лет ошибок, просчетов, неожиданностей, миллионы, брошенные сотнями в великую работу по построению страны, доказали это самым сомневающимся. Мы видели даже инженеров, членов администраций, громко заявлявших о несостоятельности государства в вопросах общественных работ так же, как в вопросах промышленности.

Управление компаниями безупречно, это правда, с точки зрения интересов акционеров; но вместе с ними жертвуется общий интерес, открываются двери для биржевых игр, эксплуатации общественности организованной монополией.

Идеалом будет система, объединяющая преимущества двух режимов без каких-либо их недостатков. Тогда каково средство примирения этих противоречивых персонажей? средство раздуть рвение, экономику, проникательность этих несменяемых должностных лиц, которым нечего приобретать или терять? Способ сделать интересы общества столь же ценными для компании, как и ее собственные интересы, сделать так, чтобы эти интересы действительно стали их собственными, но при этом не отменяли бы интересов государства и, следовательно, средство иметь свои собственные интересы? Кто в официальном мире понимает необходимость и, следовательно, возможность такого примирения? Не говоря уже о том, кто владеет секретом?

В этом случае правительство, как всегда, поступило эклектично: оно взяло часть управления на себя и передало другую часть компаниям; то есть, вместо того, чтобы примирить противоположности, оно просто ввергло их в конфликт. И пресса, которая ни по поводу чего не имеет ни большего, ни меньшего рассудка, чем власть, пресса, разделенная на три фракции, взяла сторону — кто за министерскую сделку, кто исключительно за государство, кто исключительно за компании. Так что сегодня, не более, чем до того, ни публика, ни г-н Араго, несмотря на их поворот, не знают, чего хотят.

Какое же стадо в девятнадцатом веке эта французская нация — со своими тремя ветвями власти, со своей прессой, своими корпусами ученых, своей литературой, своим образованием! Сто тысяч человек в нашей стране с постоянно открытыми глазами на все, что касается национального прогресса и чести отечества. Теперь задайте этим сотням тысяч человек самый простой вопрос, касающийся обществен-

ного порядка, и вы можете быть уверены, что все столкнутся с той же глупостью.

Лучше, чтобы повышение в должности государственных служащих осуществлялось на основе заслуг или на основе стажа работы?

Конечно, нет никого, кто не хотел бы, чтобы этот двойной способ оценки был объединен в один. Каким (замечательным) было бы общество, в котором права талантов всегда соответствовали бы возрасту! Но, говорят, такое совершенство утопично, потому что оно противоречиво в своем утверждении. И вместо того, чтобы видеть, что именно это противоречие делает это возможным, принимаются спорить о соответствующей ценности двух противоположных систем, каждая из которых ведет к абсурду, также приводит к недопустимым злоупотреблениям.

Кто оценит заслуги? один скажет: правительство. Однако правительство признает заслуги только своих созданий. Так что невозможно приблизиться к выбору, нет аморальной системы, которая разрушит независимость и достоинство государственного служащего.

Но, говорит другой, выслуга лет очень уважаема, без сомнения. Жаль, что у нее есть недостаток: сдерживать все, что по сути своевольно и свободно, труд и мысль; создавать препятствия для власти, даже среди ее агентов, и придавать случайности, часто от бессилия, цену гения и отваги.

Наконец, идут на компромисс: правительству предоставляется возможность произвольно назначать на ряд должностей людей, якобы имеющих заслуги, и которые, как предполагается, не нуждаются в опыте; в то время как остальные, считающиеся, по-видимому, неспособными, продвигаются вперед по очереди. И пресса, эта старая дылда всех самонадеянных посредственностей, которая чаще всего видит лишь дармовые сочинения молодых людей, лишенных таланта настолько же, как и научных знаний, пресса, готовая снова начать свои рейды против власти, обвиняя ее, не без причины, здесь в фаворитизме, там — в косности.

Кто мог бы гордиться тем, что никогда ничего не делал по прихоти прессы! После декламаций и жестикюляции, направленных против необъятности бюджета, она — та самая, кто призывает увеличить содержание для армии государственных служащих, которым, честно говоря, действительно не на что жить. Иногда это образование, высшее и начальное, которое с помощью прессы делает свои жалобы услышанными; иногда это деревенское духовенство, настолько плохо оплачиваемое, что оно вынуждено поддерживать дополнительный заработок, плодотворный источник скандалов и злоупотреблений. Затем это вся административная нация, которая обделена жильем, одеждой, теплом и едой: это миллион человек со своими семьями, почти восьмая часть населения, чья бедность является позором для Франции, и для которых необходимо было бы в первую очередь увеличить бюджет на 500 миллионов. Можете ли взять из среднего дохода 920 франков на четверых 236 франков, более четверти, чтобы оплатить, с учетом других государственных расходов, заработок

тех, кто ничего не производит? И если вы этого не можете, если вы не можете ни оплатить ваши расходы, ни сократить их, чего вы требуете? на что вы жалуетесь?

Пусть люди узнают это однажды: все надежды на снижение и справедливость налога, которые поддерживают разглагольствования власти и обличения партийных активистов, — все это мистификации: ни налог не может сократиться, ни распределение не может быть справедливым при монопольном режиме. Напротив, чем больше ухудшается состояние гражданина, тем более тяжелой для него становится (налоговая) нагрузка: это фатально, неотразимо, несмотря на откровенное намерение законодателя и неоднократные усилия налогового инспектора. Тот, кто не может стать или оставаться богатым, кто вошел в пещеру несчастья, должен смириться с тем, чтобы платить пропорционально своей нищете: *Lasciate ogni speranza, voi ch'entrate* (Оставь надежду всяк сюда входящий).

Налог, следовательно, страховка, отныне мы больше не будем разделять эти две идеи, является новым источником пауперизма: налог усугубляет подрывные последствия предыдущих антиномий, разделения труда, машин, конкуренции, монополии. Он нападает на работника в его свободе и в его сознании, в его теле и в его душе, паразитизмом, неприятностями, мошенничествами, которые он внедряет, и наказанием, которое следует за ними. При Людовике XIV одна только контрабанда соли каждый год производила 3,700 случаев конфискации домов, 2,000 арестов мужчин, 1,800 женщин, 6,600 детей, 1,100 конфискованных лошадей, 50 конфискованных экипажей, 300 приговоров к галерам. И это, замечает историк, было продуктом только единственного налога, налога на соль. Каково же было общее количество несчастных, заключенных в тюрьму, подвергнутых пыткам, экспроприациям из-за налогов?

В Англии на четыре семьи приходится одна непродуктивная, и она живет в сытости. Какая будет польза для рабочего класса, думаете вы, если эту паразитарную проказу убрать! Без сомнения, теоретически вы правы; на практике подавление паразитизма было бы бедствием. Если четверть населения Англии непродуктивна, есть другая четверть этого же населения, которая работает на него: что будет делать эта часть работников, если они вдруг потеряют размещение своей продукции? Абсурдное предположение, говорите вы. Да, абсурдное предположение, но очень реальное предположение, которое вы должны признать именно потому, что оно абсурдно. Во Франции постоянная армия, состоящая из 500,000 человек, 40,000 священников, 20,000 врачей, 80,000 юристов, 26,000 таможенников, и, я не знаю, скольких сотен тысяч других ничего не производящих граждан всех видов представляют собой огромный рынок сбыта для нашего сельского хозяйства и наших фабрик. Если этот рынок сбыта внезапно закроется, промышленность остановится, торговле наступит конец, сельское хозяйство задохнется под своими продуктами.

Но как же можно представить себе, что нация окажется в затруднительном положении, если избавится от лишних ртов? — Спросите лучше, как машина, чье потребление было запланировано на уровне 300 килограммов угля в час,

потеряет свою силу, если ей дадут всего 150. — Но, тем не менее, нельзя ли сделать продуктивными этих непродуктивных, поскольку нельзя от них избавиться? Эх! дитя: скажите мне тогда, как вы будете обходиться без страховки, монополии, конкуренции и всех противоречий, наконец, из которых состоит ваш порядок вещей? Слушайте.

В 1844 г. по случаю волнений в Рив-де-Жие г-н Ансельм Пететин опубликовал в «Независимом обозрении» две статьи, полные разума и откровенности по теме об анархии в эксплуатации угольных шахт в бассейне Луары. Г-н Пететин указал на необходимость объединения шахт и централизации эксплуатации. Факты, которые он довел до сведения общественности, не были проигнорированы властями: обеспокоились ли власти объединением шахт и организацией этой отрасли? Ни в коем случае. Власти следовали принципу свободной конкуренции, отпустили ситуацию на самотек и наблюдали за происходящим.

С тех пор владельцы угледобычи объединили свои усилия, не без некоторого беспокойства со стороны потребителей, которые в этом объединении усмотрели секретный проект повышения цен на топливо. Будет ли вмешиваться власть, получившая многочисленные жалобы на эту тему, чтобы восстановить конкуренцию и предотвратить монополию? Она не может: право коалиции по закону идентично праву ассоциации; монополия — основа нашего общества, как конкуренция — его завоевание; и при условии отсутствия беспорядков власть отпустит ситуацию на самотек и будет наблюдать за происходящим. Как она может вести себя по-другому? Может ли она запретить законно образованную торговую компанию? может ли она заставить соседствующих операторов уничтожить друг друга? Может ли она запретить им сократить расходы? Может ли она установить максимум? Если бы власть сделала только одну из этих вещей, она бы отменила установленный порядок. Таким образом, власть не может выступать с какой-либо инициативой: она создана для защиты и способствования одновременно как монополии, так и конкуренции с учетом патентов, лицензий, взносов за землю и других сервитутов, которые она установила в отношении собственности. Помимо этих оговорок, власти не имеют права ничего утверждать от имени общества. Общественное право не определено: более того, это будет само отрицание монополии и конкуренции. Как тогда власть будет защищать то, что закон не предусматривает, не определяет, от того, что является противоположностью прав, признанных законодателем?

Так же, когда шахтер, которого мы должны рассматривать в событиях в Рив-де-Жие как истинного представителя общества лицом к лицу с владельцами угледобычи, решил сопротивляться росту монополистов, отстаивая свою зарплату, и противопоставить коалицию коалиции, власть расстреляла шахтера. А политические громилы обвиняют власть, предвзятую, по их словам, жестокою, продавшуюся монополии и т. д. Что касается меня, я заявляю, что этот способ оценки действий власти кажется мне не очень философским, и что я отвергаю его изо всех сил. Вероятно, можно было бы убить меньше людей, также вероятно, что можно было бы убить больше: здесь следует отметить не количество погибших и раненых, а репрессии против рабочих.

Те, кто критиковал власть, поступили бы так же, как она, за исключением, может быть, нетерпения их штыков и точности стрельбы: они бы подавили, говорю я, они не могли поступить иначе. И причина, которую напрасно пытались бы игнорировать, заключается в том, что конкуренция законна; товарищество с ограниченной ответственностью законно; спрос и предложение законны, и все последствия, которые непосредственно вытекают из конкуренции, акционирования и свободной торговли, законны: в то время как забастовка рабочих НЕЗАКОННА. И это не только в Уголовном кодексе так сказано, это экономическая система, это необходимость в установленном порядке. Пока труд не независим, он останется рабским: общество существует только по этой цене. То, что каждый рабочий свободно располагает собой и своими руками, это можно терпеть⁵; но то, что рабочие посредством коалиций применяют насилие к монополии, это то, чего общество не может допустить. Разружьте монополию, и вы уничтожите конкуренцию, и вы дезорганизуете цех, и вы повсюду посеете разложение. Власти, расстреливая шахтеров, оказались в положении Брута, помещенного между его любовью к отцу и его обязанностями консула: он должен был потерять своих детей или спасти республику. Альтернатива была ужасна: но таков дух и буква общественного договора, таково содержание соглашения, таков порядок Провидения.

Таким образом, полиция, созданная для защиты пролетариата, действует против пролетариата. Пролетария согнали из лесов, с рек, гор; ему запретили передвигаться; скоро он узнает того, кто приведет его в тюрьму.

Достижения в сельском хозяйстве заставили почувствовать в основном преимущества искусственных лугов и необходимость упразднить пустые пастбища. Везде расчищают, облагораживают, огораживают общие земли: новые достижения, новое богатство. Но бедный поденщик, не имевший иного достояния, кроме коммунального, который летом кормил корову и нескольких овец, выпасая их вдоль дорог, по зарослям и расчищенным полям, потеряет свой единственный и последний ресурс. Землевладелец, покупатель или производитель коммунальных товаров теперь будет торговать в одиночку, с пшеницей и овощами, молоком и сыром. Вместо того, чтобы ослаблять древнюю монополию, создают новую. Это даже не дорожные рабочие, которые не оставляют за межой принадлежащий им луг и не изгоняют неадминистративный скот. Что из этого следует? что поденный рабочий, прежде чем отказаться от своей коровы, пасет в нарушение закона, предается мародерству, приносит тысячу убытков, приговаривается к штрафу и к тюрьме: какая ему польза от полиции и достижений сельского хозяйства?

⁵ Новый закон об удостоверениях еще более ограничил независимость рабочих. Демократическая пресса еще раз выразила свое возмущение по этому поводу людям из власти, как будто они сделали что-то иное, нежели применение принципов власти и собственности, которые являются принципами демократии. То, что палаты (парламента) сделали с точки зрения удостоверений, было неизбежно, и этого следовало ожидать. Также невозможно, чтобы общество, основанное на принципе собственности, не привело бы к различию каст, чтобы демократия не достигла бы деспотизма, религия была бы разумной, фанатизм был бы терпимым. Это закон противоречия: сколько времени нам потребуется, чтобы услышать это?

— В прошлом году мэр Мюлуза, чтобы предотвратить мародерство винограда, запретил любому лицу, не владеющему виноградниками, циркулировать днем или ночью по тропинкам, которые пролегают или пересекают виноградники: щедрая мера предосторожности, поскольку она порождает желания и сожаления. Но если общественная дорога является лишь аксессуаром собственности; если общее достояние превращается в собственность, если общественное достояние, наконец, ассимилируется с собственностью, сохраняется, эксплуатируется, сдается в аренду, продается как собственность, что остается для пролетариата? Какая польза ему от того, что общество выходит из состояния войны, чтобы войти в полицейский режим?

Как и земля, промышленность имеет свои привилегии: привилегии, закрепленные в законе, как всегда, с учетом условий и оговорок; но, также как всегда, в большой ущерб потребителю. Вопрос интересный: скажем несколько слов об этом.

Я цитирую г-на Ренуара.

«Привилегии, — говорит г-н Ренуар, — были исправлением правил...»

Я прошу разрешения г-на Ренуара перефразировать его мысль: правило было исправлением привилегии. Потому что, кто говорит «правило», говорит «ограничение»: значит, как можно представить, что привилегия была ограничена до того, как она существовала? Я понимаю, что суверен подчинил привилегии правилам; но я не понимаю также, как он создал бы привилегии специально, чтобы смягчить действие правил. Подобное допущение не было бы ничем мотивировано; это было бы следствием без причины. С точки зрения логики, так же, как истории, все то уместно и монополизировано, что происходит от закона и правила: это справедливо как для гражданского кодекса, так и для уголовного. Первое вызвано владением и присвоением; второе — преступлениями и проступками. Г-н Ренуар, озабоченный идеей кабалы, присущей любому правилу, рассматривал привилегию как компенсацию этой кабалы; и именно это заставило его сказать, что *привилегии являются исправлением правил*. Но то, что добавляет г-н Ренуар, доказывает, что это противоположно тому, что он хотел сказать: «Основополагающий принцип нашего законодательства, принцип временной монопольной концессии как цены контракта между обществом и рабочим, всегда преобладал и т. д.». Что имеется в виду под этой монопольной *концессией*? Простое признание, декларация. Общество, желая отдать предпочтение новой отрасли и пользоваться преимуществами, которые она обещает, *идет на компромисс* с изобретателем так же, как идет на компромисс с поселенцем: оно на время гарантирует ему монополию в его отрасли; но оно не создает монополию. Монополия существует благодаря самому факту изобретения; и это признание монополии, которое составляет общество.

Эта двусмысленность рассеяна, я перехожу к противоречиям закона.

«Все промышленно развитые страны приняли временную монополию как цену

контракта между обществом и изобретателем... Я не склонен полагать, что все законодатели всех стран совершили ограбление».

Г-н Ренуар, если он когда-либо прочтет эту работу, сделает все возможное, чтобы я признал, что, цитируя ее, я критикую не его мысль: он сам чувствовал противоречия патентного права. Все, на что я претендую, это чтобы вернуть это противоречие в общую систему.

Почему, прежде всего, монополия в промышленности *временная*, в то время как земельная монополия *бессрочная*? Египтяне были более последовательны: у них эти две монополии были одинаково наследственными, бессрочными, неприкосновенными. Я знаю, какие соображения были выдвинуты против бессрочности литературной собственности, и я признаю их все: но эти соображения одинаково хорошо применимы к собственности на землю: более того, они позволяют существовать противоположным аргументам. В чем секрет всех этих законодательных вариаций? — Кроме того, мне больше не нужно говорить, что, указывая на это несоответствие, я не хочу клеветать или производить сатиру: я признаю, что законодатель определился, не добровольно, но по необходимости.

Но самое явное противоречие — то, которое вытекает из устройства закона. Раздел IV, ст. 30, § 3 гласит: «Если патент относится к принципам, методам, системам, открытиям, теоретическим или чисто научным, промышленное применение которых не указано, патент является недействительным».

Теперь, что такое *принцип, метод, теоретическая концепция, система*? Это в чистом виде плод гения, это изобретение в его чистоте, это идея, это всё. Применение — это грубый факт, ничто. Таким образом, закон исключает из выгоды патента то, что заслуживает патента, а именно идею; напротив, он предоставляет патент применению, то есть материальному факту, копии идеи, сказал бы Платон. Поэтому неправильно, когда говорят *патент на изобретение*; нужно говорить *патент на первое применение*.

Человек, который в эти дни изобрел бы арифметику, алгебру, десятичную систему, не получил бы патент, но у Баррема⁶ было бы право собственности на его подсчеты-факты. Паскаль не смог бы запатентовать свою теорию давления воздуха: стекольщик добился бы вместо него привилегии для барометра. «Спустя 2000 лет, — я цитирую г-на Араго, — один из наших соотечественников догадался, что винт Архимеда, который используется для поднятия воды, может быть использован для сброса газов: достаточно, ничего не меняя, поворачивать его справа налево, а не слева направо, как для того, чтобы поднимать воду. Большие объемы газа, загруженные посторонними веществами, переносятся таким образом на дно глубокого слоя

⁶ Бертран Франсуа Баррем (1638—1703 гг.), ввел в XVIII в. в бухгалтерский учет правила дебета и кредита. — А.А. А-О.

воды; газ очищается на пути вверх. Я утверждаю, что это изобретение; что человек, который увидел способ превратить винт Архимеда в выдувную машину, имел право на патент». Самое необычное заключается в том, что сам Архимед был бы обязан выкупить право использовать свой винт: и г-н Араго находит это справедливым.

Нет необходимости приумножать эти примеры: то, что закон хотел монополизировать, — это не идея, а, как я уже говорил, факт; изобретение, но применение. Как будто идея не была категорией, охватывающей все факты, которые ее переводят; как если бы метод, система не были бы обобщением опыта, несущего в себе то, что составляет плод гения, — изобретение! Здесь законодательство более чем антиэкономическое, оно бестолковое. Значит, я имею право спросить у законодателя: почему, несмотря на свободную конкуренцию, которая есть не что иное, как право применять теорию, принцип, метод, систему, не пригодную для использования, она в некоторых случаях запрещает эту самую конкуренцию, это право применять принцип? «Больше нельзя, — заявил небезосновательно г-н Ренуар, — задушить своих конкурентов, объединив силы в корпорациях; мы компенсируем себя патентами. Почему законодатель протянул руки этому заговору монополий, такому запрету теорий, которые принадлежат всем?

Но какой смысл постоянно обращаться к тому, кто не может ничего сказать? Законодатель не знал, в каком духе он действовал, когда делал странное заявление о праве собственности, которое нужно, чтобы быть точным, назвать правом приоритета. Пусть он объяснится, по крайней мере, по условиям договора, заключенного им от нашего имени с монополистами.

Я игнорирую часть, касающуюся дат и других административных и налоговых формальностей, и я прихожу к этой статье:

«Патент не гарантирует изобретения».

Несомненно, общество или князь, который его представляет, не может и не должно гарантировать изобретение, поскольку, уступая четырнадцатилетнюю монополию, общество становится правопреемником привилегии, и, следовательно, патент должен предоставить гарантию. Как же тогда доблестные законодатели могут прийти и сказать своим избирателям: мы договорились от вашего имени с изобретателем; он обязался заставить вас пользоваться его открытием при условии его исключительной эксплуатации в течение четырнадцати лет. Но мы не гарантируем изобретение! — А на что же вы рассчитывали, законодатели? Как вы не поняли, что без гарантии изобретения вы уступаете привилегию, уже не для реального открытия, а для возможного открытия, и что таким образом поле промышленности было отчуждено вами до того, как был найден плуг? Конечно, ваш долг велел вам быть осторожными; но кто дал вам мандат на то, чтобы быть простофилями?

Таким образом, патент на изобретение — это даже не дата, а досрочное отчуждение. Как если бы закон гласил: я гарантирую землю первому обитателю, но без гарантии

качества, места или даже ее существования; без того, чтобы я знал, что я должен ее уступить или что ее кто-нибудь присвоит! Приятного пользования законодательной властью!

Я знаю, что у закона были веские причины, чтобы воздержаться; но я утверждаю, что у него были и хорошие резоны, чтобы вмешаться. Доказательство:

«Нельзя это скрыть, — сказал г-н Ренуар, — нельзя этому помешать: патенты являются и будут орудием шарлатанства, а заодно и законной наградой за труд и гениальность... Это в общественном здравом смысле — вершить правосудие жонглирований».

Можно также сказать: общественный здравый смысл — отличать настоящие средства от фальшивых, натуральное вино от фальшивого; общественный здравый смысл — отличать на бутоньерке украшение, данное за заслуги, от данного блудливому — за посредственность и интриги. Почему тогда вы называетесь Государством, Силой, Властью, Полицией, если полиция должна основываться на здравом смысле?

Как говорится: «У кого есть земля, у того есть война»; также

«У кого привилегия, у того — судебный процесс».

Эй! как вы будете судить о подделке, если у вас нет гарантии? Напрасно утверждать, что по закону первично применение, на самом деле это лишь подобие. Там, где качество вещи составляет саму ее реальность, не требовать гарантии — это не предоставлять права ни на что, это лишаться средства сравнения процессов и обнаружения подделок. С точки зрения промышленных процессов, успех зависит от такой малости! Теперь эта малость — это всё.

Из всего этого я делаю вывод, что закон о патентах на изобретения, необходимый по его мотивам, невозможен, то есть нелогичен, произволен, фатален по его экономике. Под империей определенных потребностей законодатель полагал, в общих интересах, предоставить привилегию для определенной вещи; и оказывается, что он дал незаполненный чек монополии, что он лишил общественность шансов сделать открытие или любое другое аналогичное, что он пожертвовал правами конкурентов без компенсации и предоставил жадности шарлатанов добросовестность потребителей. Затем, чтобы ничего не пропустить в абсурдности контракта, он сказал тем, кому должен был гарантировать: гарантируйте сами себе!

Я верю не больше, чем г-н Ренуар, что законодатели всех времен и всех стран совершали грабеж, освящая различные монополии, на которых базируется государственная экономика. Но г-н Ренуар также может согласиться со мной, что законодатели всех времен и стран никогда ничего не понимали в своих собственных указах. Глухой и слепой научился звонить в колокола и заводить часы в своем (церковном) приходе. Что ему было удобно в его работе в качестве звонаря, так это

то, что ни звук колоколов, ни высота колокольни не вызывали у него головокружения. Законодатели всех времен и всех стран, к которым я вместе с г-м Ренуаром испытываю глубочайшее уважение, похожи на этого слепо-глухого человека: они — жакемары⁷ всего человеческого безумия.

Какая слава для меня, если я приду к тому, чтобы заставить эти автоматы задуматься! если смогу заставить их понять, что их работа — это полотно Пенелопы, с которым они обречены на то, чтобы оно разматывалось с одной стороны, в то время, как они продолжают шить его на другом!

Поэтому, несмотря на то, что мы приветствуем создание патентов, в других случаях мы требуем отмены привилегий, и всегда с той же гордостью, с тем же удовлетворением. Г-н Гораций Сэй⁸ хочет, чтобы торговля мясом была свободной. Среди других причин он приводит следующий математический аргумент:

«Мясник, который хочет обанкротиться, ищет покупателя для своих запасов; он учитывает свою утварь, свои товары, свою репутацию и своих клиентов; но при нынешнем режиме он добавляет стоимость голого титула, то есть права участвовать в монополии. Однако этот дополнительный капитал, который мясник-покупатель приобретает для титула, вызывает интерес: это не новое творение: необходимо, чтобы он включил этот интерес в цену своего мяса. Следовательно, ограничение количества тисков⁹ может скорее повысить цену мяса, чем снизить его.

Я не боюсь попутно сказать, что то, что я говорю здесь о продаже мясной лавки, применимо к любому поручению, имеющему название продажи».

Причины, по которым г-н Гораций Сэй говорит об отмене привилегий мясника, не подлежат объяснению: кроме того, они относятся к печатникам, нотариусам, поверенным, судебным приставам, клеркам, аукционистам, брокерам, биржевым маклерам, фармацевтам и другим так же, как к мясникам. Но они не разрушают причины, которые привели к принятию этих монополий, и которые в основном вытекают из необходимости обеспечения безопасности, подлинности, регулярности транзакций, как интересы торговли и здравоохранения. — Цель, скажете вы, не достигнута. — Боже мой! Я это знаю: оставив мясную торговлю в конкуренции, вы будете есть падаль; установив мясную монополию, вы будете есть падаль. Это единственный плод, на который вы можете рассчитывать из своего монопольного и

⁷ Jaquemart — резная фигурка, бьющая молоточком в такт с ходом настенных часов. — А.А. А-О.

⁸ Сэй, который постоянно фигурирует в труде Прудона, зовут Жан-Батист: видимо, Прудон называет его здесь «Горацием» саркастически, от шекспировского «друг Гораций» из «Гамлета». — А.А. А-О.

⁹ Des étaux в оригинале. — А.А. А-О.

патентного законодательства.

Злоупотребление! восклицают экономисты-регуляторы. Создайте полицию надзора за торговлей, сделайте обязательными торговые марки, накажите за фальсификацию товаров и т. д.

На пути, где цивилизация вовлечена, куда бы мы ни свернули, мы всегда придем или к деспотизму монополии, а следовательно, к угнетению потребителей; или к уничтожению привилегии с помощью действий полиции, что означает регресс в экономике, растворение общества, уничтожение свободы. Чудесная вещь! в этой системе свободной промышленности злоупотребления, так же, как педикулярные паразиты, возрождаются из собственных средств защиты, если законодатель захотел пресечь все преступления, контролировать все мошенничества, предохранять от всех посягательств людей, имущество и государственные дела, от реформы к реформе он умудрится умножить непроизводительные функции до такой степени, что вся нация пройдет через них, и это приведет к тому, что в конце концов некому будет производить. Каждый станет полицейским: промышленный класс станет мифом. Тогда, возможно, порядок будет царствовать в монополии.

«Принцип закона, который должен применяться к товарным маркам, — говорит г-н Ренуар, — то, что эти марки не могут и не должны превращаться в гарантии качества». Это является следствием патентного права, которое, как мы видели, не гарантирует изобретения. Если принять принцип г-на Ренуара: для чего тогда будут использоваться марки? Что для меня важно прочесть на бутылочной пробке, вместо *вина в двенадцать* или *вина в пятнадцать*, «Компания Энофиль», или другого, какого угодно производства? Меня волнует не имя продавца, а качество и справедливая цена товара.

Предполагается, правда, что название производителя будет как сокращенный знак хорошего или плохого изготовления, высокого или низкого качества. Так почему бы не согласиться откровенно с мнением тех, кто требует вместе с маркой *происхождения* марку *обозначения*? Такая оговорка не понимается. Оба вида марки имеют одну и ту же цель; вторая — только изложение или парафраза первой, конспект проспекта продавца: почему, опять же, если происхождение что-то означает, марка не определяет это значение?

Г-н Воровски очень хорошо развил этот тезис в своей вступительной речи 1843—44 гг., суть которой полностью заключается в этой аналогии: «Так же, — говорит г-н Воровски, — как правительство смогло определить критерий *количества*, оно может, оно должно установить критерий *качества*; один из этих критериев является необходимым дополнением другого. Денежная единица, система мер и весов не влияла на промышленную свободу; режим товарных знаков также не повредит». Затем г-н Воровски подкрепляет себя авторитетом князей науки А. Смита и Ж.-Б. Сэя: предосторожность всегда полезная, поскольку слушатели подчиняются авторитету

гораздо больше, чем разуму.

Что касается меня, я заявляю, что полностью разделяю идею г-на Воловски, и это потому, что я нахожу ее глубоко революционной. По словам г-на Воловски, марка — не что иное, как критерий качества, равно как для меня — общая оценка. Ибо, независимо от того, делает ли это специальный орган, который маркирует от имени государства и гарантирует качество товаров, как это имеет место в случае золота и серебра, или же забота о товарном знаке переходит к производителю; от момента, как товарный знак должен сообщать *о внутреннем составе товара* (это собственные слова г-на Воловски) *и защищать потребителя от неожиданностей*, он обязательно разрешается по фиксированной цене. Это не то же самое, что цена: два одинаковых продукта, но разного происхождения и качества, могут иметь одинаковую стоимость; глоток бургундского может стоить глотка бордосского; но марка, будучи значимой, ведет к точному знанию цены, поскольку позволяет сделать анализ. Рассчитать цену товара — значит расчленив его на составные части; это именно то, что должен сделать товарный знак, чтобы что-то значить. Следовательно, мы движемся, как я уже сказал, к общему ценообразованию.

Но общее ценообразование — это не что иное, как определение всех стоимостей, и здесь политическая экономия вновь вступает в противоречие в своих принципах и тенденциях. К сожалению, чтобы провести реформу г-на Воловски, необходимо начать с разрешения всех предыдущих противоречий и поставить себя в более высокую сферу ассоциации: и именно этот недостаток навлек на систему г-на Воловски порицание большинства его коллег-экономистов.

Действительно, система товарных знаков неприменима в существующем порядке, потому что эта система, противоречащая интересам производителей, несовместимая с их привычками, может существовать только благодаря энергичной воле власти. Предположим на мгновение, что орган власти несет ответственность за нанесение знаков: его агенты должны будут постоянно вмешиваться в работу, так как они вмешиваются в торговлю напитками и производство пива; к тому же эти последние, чьи действия уже кажутся такими навязчивыми и досадными, занимаются только налогооблагаемыми количествами, а не обменными качествами¹⁰. Нужно, чтобы эти налоговые контролеры и аудиторы изучали все детали, чтобы пресечь и предотвратить мошенничество; а что за мошенничество? У законодателя не будет

¹⁰ В августе 1989 г. будущий переводчик Прудона побывал с экскурсией на винодельческом предприятии, расположенном на берегу реки Мозель на территории Великого Герцогства Люксембургского. В ходе экскурсии ему рассказали, что когда в середине 80-х гг. XX в. качество производимого на этом частном предприятии Мозельского вина ухудшилось, к конвейеру был приставлен государственный контролер, а на бутылках с выпускаемым здесь вином появился специальный знак, сообщавший покупателям об осуществлении государственного контроля. Когда качество вина вновь достигло прежнего высокого уровня, контролер закончил работу на конвейере, и знак также перестал печататься на бутылочных этикетках. — А.А. А-О.

вовсе или будет плохое определение: именно здесь задача становится пугающей.

Нет мошенничества при продаже вина самого высокого качества, но есть мошенничество при передаче качества одного товара другому: поэтому вы обязаны различать качества вин и, следовательно, гарантировать их. — Есть ли мошенничество в том, чтобы делать смеси? Шапталь в своем трактате об искусстве изготовления вина советует их как чрезвычайно полезные; с другой стороны, опыт доказывает, что некоторые вина недружелюбные, образно говоря, по отношению друг к другу или несовместимые, производят посредством смешения неприятный и вредный для здоровья напиток. И вот вы уже обязаны сказать, какие вина полезно смешивать, а какие нет. Является ли мошенничеством ароматизация, алкоголизация, вымачивание вин?

Шапталь рекомендует и это; но все знают, что эта аптека иногда дает полезные результаты, иногда губительные и отвратительные эффекты. Какие вещества вы собираетесь запретить? в каких случаях? в какой пропорции? Будете ли вы защищать цикорий в кофе, глюкозу в пиве, воду, сидр, пропорцию три-шесть в вине?

Палата депутатов в своем эссе, информирующем о законе, который ей вздумалось выдвинуть в этом году на тему фальсификации вин, остановилась в самой середине своей работы, будучи побежденной неразрешимыми трудностями вопроса. Она (палата депутатов) вполне могла бы заявить, что введение воды в вино и алкоголя свыше пропорции 18 % было бы мошенничеством, а затем поместить это мошенничество в категорию преступлений. Она находилась на почве идеологии: здесь не бывает загромождений (препятствий). Но все усмотрели в этом удвоении суровости интерес налогового инспектора гораздо больший, нежели интерес потребителя; но палата не осмелилась создать — чтобы отслеживать и констатировать мошенничество — целую армию дегустаторов, контролеров и т. д., и нагрузить бюджет несколькими новыми миллионами; но, запретив вымачивание и алкоголизацию — единственное средство для торговцев-производителей сделать вино доступным для всех и получить прибыль, она не смогла расширить сбыт, сократив налоги на производство. Одним словом, Палата, продолжая фальсификацию вин, лишь отодвинула границы мошенничества. Чтобы ее работа достигла цели, нужно было заранее сказать, как торговля вином возможна без фальсификаций, как люди могут покупать нефальсифицированное вино: то, что вытекает из компетенции и происходит из функций Палаты.

Если вы хотите гарантировать потребителю как стоимость, так и здоровье, вы должны знать и определять все, что составляет хорошее и честное производство, следить постоянно за руками производителя, следовать за каждым его шагом. Это не он производитель; это вы, государство, настоящий производитель.

То есть вы попали в ловушку. Или вы препятствуете свободной торговле, погружаясь в производство тысячами способов; или вы объявляете себя единственным произво-

дителем и единственным продавцом.

В первом случае, досаждая всем, вы в конечном итоге возмутите всех; и рано или поздно государство будет исключено, торговые марки будут отменены. Во-втором вы повсеместно заменяете индивидуальную инициативу действиями власти, что противоречит принципам политической экономии и основанию общества. Вы выберете середину? это фаворитизм, кумовство, лицемерие, худшая из систем.

Теперь предположим, что марка оставлена на попечение производителя. Я говорю, что тогда марки, даже если их сделать обязательными, постепенно утратят свое значение и станут лишь доказательством происхождения (товара). Нужно плохо разбираться в торговле, чтобы представить себе, что предприниматель, глава мануфактуры, использующий процессы, не представленные патентом, предаст секрет своего производства, своих доходов, своего существования. Следовательно, значение (марки) будет ложным: и не во власти полиции сделать иначе. Римские императоры, чтобы обнаружить христиан, которые скрывали свою религию, заставляли всех поклоняться идолам. Они производили отступников и мучеников; а число христиан только увеличилось. Аналогичным образом значимые марки, полезные для некоторых фирм, вызовут бесчисленные мошенничества и репрессии: это все, чего можно ожидать. Для того, чтобы производитель достоверно указывал внутренний состав, то есть промышленную и коммерческую стоимость своего товара, необходимо устранить опасность конкуренции и удовлетворить его монопольные инстинкты: вы можете это обеспечить? Также необходимо заинтересовать потребителя пресечением мошенничества; что до тех пор, пока производитель не будет полностью бескорыстен, невозможно и противоречиво. Невозможно: поместите с одной стороны порочного потребителя Китай; с другой — дебетанта (получателя) Англию; между этими двумя — ядовитый наркотик, приносящий экзальтацию и опьянение; и, невзирая на все полиции мира, вы получите торговлю опиумом. — Противоречие: в обществе потребитель и производитель едины, то есть оба заинтересованы в том, чтобы производить то, потребление чего для них губительно; и, поскольку каждое потребление следует за производством и продажей, все согласится защитить первый интерес, за исключением того, чтобы предупредить о втором.

Мысль, которая предложила товарные знаки, относится к той же, что и та, которая ранее диктовала законы максимума. Здесь снова один из бесчисленных перекрестков политической экономии.

Общеизвестно, что законы максимума, разработанные и очень хорошо мотивированные их авторами в целях устранения дефицита, имели неизменно в качестве результата усугубление дефицита. Кроме того, не является ли несправедливость или недоброжелательность, в которой экономисты их обвиняют, эти отвратительные законы, их неуклюжесть, хамство. Но какое противоречие в теории, которой они

оппонируют!

Чтобы восполнить дефицит, необходимо воззвать к средствам существования, или, точнее, заставить их появиться однажды; до тех пор нечего повторять. Для того, чтобы производились средства к существованию, необходимо привлекать владельцев прибылью, возбуждать их конкуренцию и обеспечивать им полную свободу на рынке: не кажется ли этот процесс самой абсурдной гомеопатией? Как постичь, что чем легче смогут выкупить меня, тем скорее я буду обеспечен? Оставьте, как есть, говорят, пусть все происходит, оставьте действовать конкуренции и монополии, особенно в периоды дефицита и даже когда дефицит является следствием конкуренции и монополии. Какая логика! Но, главное, какая мораль!

Но почему бы нам тогда не сделать тариф для фермеров, как он существует для пекарей? Почему нет контроля за севом, жатвой, сбором винограда, фуражом и скотом, как существует штамп¹¹ для газет, циркуляры и ордера, как регулирование для пивоваров и виноторговцев? В системе монополии это, соглашусь, было бы большим мучением; но с нашими тенденциями к недобросовестной торговле и стремлением власти постоянно увеличивать свой штат и бюджет, закон о надзоре за сбором урожая становится с каждым днем все более необходимым.

К тому же было бы сложно сказать, что именно — свободная торговля или законы максимума — приносит наибольшее количество вреда во времена дефицита. Но какую бы вечеринку вы ни выбрали, и вы не можете миновать альтернативу, разочарование неизбежно, и катастрофа огромна. С максимумом припасы прячутся; террор растёт под действием самого закона, цена пропитания растёт, растёт; движение вскоре останавливается, и за этим следует катастрофа, быстрая и беспощадная, как набег (грабёж)¹². С конкуренцией ход бедствия более медленный, но не менее губительный: какое дело истощенным или умершим от голода до того, что последующий подъем обеспечил пропитание! До того, что другие выкупили! Это история того царя, которому Бог в наказание за его гордость предложил альтернативу: три дня чумы, три месяца голода или три года войны. Давид выбирает самое короткое: экономисты предпочитают самое долгое. Человек настолько жалкий, что предпочтет лучше умереть от чахотки, чем от апоплексии: ему кажется, что он не столько умирает. Вот причина, заставившая так преувеличивать минусы максимума и выгоды свободной торговли.

Кроме того, если Франция в течение двадцати пяти лет не ощущала общего дефици-

¹¹ Timbre в оригинале — печать, штамп. Контекст наталкивает на мысль, что Прудон имеет в виду штамп, свидетельствующий о прохождении печатных изданий государственного контроля перед отправкой в тираж, то есть не что иное, как цензуру. Но в этом случае Прудон вновь (см. комментарий переводчика в начале) смешивает понятия, а именно понятия государственного контроля за качеством продукции и государственного политического контроля за содержанием прессы. — А.А. А-О.

¹² В оригинале — *razia*, непереводимое; переводится как «набег» или «налет» слово *razzia* (фр.) — А.А. А-О.

та, причина заключается не в свободе торговли, которая очень хорошо умеет, когда она этого хочет, производить полноту пустоты и в изобилии заставить царствовать голод: это связано с улучшением путей сообщения (доставки), которые, сокращая расстояния, вскоре возвращают равновесие в момент, вызванный локальной нехваткой. Яркий пример печальной истины о том, что в социуме всеобщее благо никогда не является следствием сговора определенных желаний!

Чем больше мы углубляем эту систему иллюзорных сделок между монополией и обществом, то есть, как мы объяснили в § 1 этой главы, между капиталом и трудом, между патрициатом и пролетариатом: тем больше мы обнаруживаем, что все спланировано, отрегулировано, выполнено в соответствии с этим адским принципом, которого не знали Гоббс и Макиавелли, эти теоретики деспотизма: ВСЕ ЧЕРЕЗ НАРОД И ПРОТИВ НАРОДА. В то время, как труд производит, капитал под маской ложного плодородия пользуется и злоупотребляет: законодатель, предлагая свое посредничество, хотел напомнить привилегированному человеку о братских чувствах и окружить рабочего гарантиями; а теперь из-за фатального противоречия интересов он обнаруживает, что каждая из этих гарантий является инструментом пыток. Потребуется сто томов, жизнь десяти человек и железные легкие, чтобы с этой точки зрения рассказать о преступлениях государства против бедняка и о бесконечном разнообразии пыток. Достаточно краткого взгляда на основные категории полиции, чтобы мы могли оценить их дух и экономию.

После того, как под воздействием хаоса гражданских, коммерческих, административных законов разум был приведен в смятение, сделавшее еще более смутным представление о справедливости, увеличивая противоречия, и сделав необходимым объяснить эту систему целой кастой толкователей, нужно было организовать пресечение преступлений и предусмотреть их наказание. Уголовное правосудие, этот порядок, столь богатый в большой непродуктивной семье всего непродуктивного, чьи расходы на содержание ежегодно превышают 30 миллионов во Франции, стало для общества принципом существования, необходимым настолько же, насколько хлеб в жизни человека; но с той разницей, что человек живет благодаря продукту своих рук, а общество пожирает своих членов и питается собственной плотью.

По мнению некоторых экономистов насчитывается:

В Лондоне ... 1 преступник на 89 жителей.

В Ливерпуле ... 1 на 45

В Ньюкастле ... 1 на 27

Но этим цифрам не хватает точности, и, самое страшное, что полиция не отражает реальной степени социального извращения. Необходимо определить не только количество виновных, но и количество преступлений. Работа уголовных судов является лишь особым механизмом, который служит для освещения морального разрушения человечества при режиме монополии; но эта официальная демонстрация далека от того, чтобы охватить зло во всех его проявлениях. Вот другие цифры,

которые могут привести нас к более определенному пониманию.

Парижские исправительные суды рассмотрели:

В 1835 ... 106,467 случаев.

В 1836 ... 128,489

В 1837 ... 140,247

Предположив, что процесс продолжался до 1846 г., и к этому общему количеству исправительных дел добавляются дела судов присяжных, простой полиции и всех преступлений, не известных или оставшихся безнаказанными, преступлений, количество которых намного превышает, по мнению чиновников, число тех, которых настигает правосудие, можно прийти к тому выводу, что в городе Париже больше нарушений закона, чем жителей. И поскольку из числа предполагаемых исполнителей этих преступлений необходимо вычесть детей в возрасте 7 лет и младше, которые находятся за пределами обвинения, следует учитывать, что каждый взрослый гражданин по три или четыре раза в году оказывается виновным с точки зрения установленного порядка.

Таким образом, система собственности поддерживает себя в Париже лишь ежегодным потреблением одного или двух миллионов преступлений! Значит, даже если все эти преступления совершит один человек, все равно останется аргумент: этот человек будет козлом отпущения, ответственным за грехи Израиля: какое значение имеет количество преступников, если правосудие условно?

Насилие, лжесвидетельство, воровство, мошенничество, презрение к людям и обществу происходят из существа монополии; они вытекают из него таким естественным образом, с такой совершенной регулярностью и по таким надежным законам, что можно было подвергнуть их совершение подсчету, и, учитывая численность населения, состояние его промышленности и просвещения, и вывести из них статистику морали. Экономисты еще не знают, что такое принцип стоимости; но они знают, с точностью до десятичного знака, соразмерность преступления. Так много тысяч душ, так много преступников, так много приговоров: это не обманывает. Это одно из лучших исполнений подсчета вероятностей и самая передовая отрасль экономики. Если бы социализм изобрел эту обвинительную теорию, все бы кричали о клевете.

Что там такого, кроме всего, что должно нас удивить? Как нищета является обязательным результатом противоречий общества, результатом, который можно математически определить в соответствии с процентной ставкой, размером заработной платы и коммерческими ценами; таким же образом, преступления и проступки являются еще одним следствием этого же антагонизма, способным, как и его причина, быть определенным с помощью расчетов. Материалисты сделали самые глупые выводы из этого подчинения свободы законам чисел: как будто человек не находится под влиянием всего, что его окружает, и что управляется

неизбежными законами, и что он не должен, в своих самых свободных проявлениях, испытывать удары этих законов!

Тот же самый характер необходимости, который мы только что отметили при установлении и загрузке уголовного правосудия, встречается, но в более метафизическом аспекте, в его морали.

По мнению всех моралистов, наказание должно быть таким, чтобы оно предусматривало исправление виновного и, следовательно, чтобы оно было далеко от всего, что могло бы привести к его деградации. Далеко от идеи борьбы с этим счастливым устремлением разумов и от дискредитации опытов, которые сделали бы славу величайшим представителям античности. Филантропия, несмотря на всю нелепость, которую иногда придают ее имени, останется в глазах потомства самой почетной чертой нашего времени: отмена смертной казни только откладывается; то же касается торговой марки; исследования тюремного режима, создания цехов в тюрьмах, множество других реформ, которые я даже не могу назвать, свидетельствуют о реальном прогрессе в наших идеях и в наших обычаях. То, что автор христианства в порыве возвышенной любви рассказывал о своем мистическом царстве, где раскаявшийся грешник должен быть прославлен выше всего невинного, эта утопия христианского милосердия стала желанием нашего недоверчивого общества; и когда кто-то мыслит о единстве чувств, которое царит в этом отношении, он спрашивает себя с удивлением, кто же препятствует исполнению этого желания?

Увы! причина в том, что разум все же сильнее любви, а логика более цепкая, чем преступление; потому что здесь, как и везде, царит неразрешимое противоречие в нашей цивилизации. Давайте не заблудимся в фантастических мирах; давайте примем реальность в ее ужасной наготе.

Преступление — это позор, а не эшафот,

говорит пословица. Только тем, что человек наказан, при условии, что он заслужил наказание, он унижается: наказание позорит его не по определению кодекса, а по причине вины, которая мотивировала наказание. Какое значение, следовательно, имеет материальность мучений? какое значение имеют все ваши пенитенциарные системы? Что вы делаете с ним, так это удовлетворяете вашу чувствительность, но вы бессильны реабилитировать несчастного, которого поразило ваше правосудие. Обвиненный, однажды обезображенный наказанием, неспособен к примирению; его изъян неизгладим, и его проклятие вечно. Если бы это было иначе, приговор прекратил бы быть соразмерным преступлению; это была бы только фикция, это не было бы ничем. Тот, кого страдания привели к краже, если он позволил правосудию настигнуть себя, навсегда остается врагом Бога и людей; лучше бы ему не приходиться в мир: как сказал Иисус Христос, *Vonum erat ei, si natus non fuisset homo ille* (Было бы лучше, если бы никогда не родился). И то, что произнес Христос, христиане и неверующие, не ошибочно: непоправимость стыда — это единственное из всех откровений Евангелия, что услышал мир собственности. Таким образом,

отделенному от природы монополией, отрезанному от человечества нищетой, матерью преступлений и наказаний, какое убежище останется для плебея, которого труд не может накормить, и кто недостаточно силен, чтобы отнять?

Для ведения этой наступательной и оборонительной войны против пролетариата общественная сила была необходима: исполнительная власть исходила из потребностей гражданского законодательства, администрации и правосудия. И снова лучшие надежды превратились в горькие разочарования.

Подобно законодателю, бургомистру и судье, князь выдавал себя за представителя божественной власти. Защитник бедных, вдов и сирот, он обещал заставить свободу и равенство воцариться вокруг престола, прийти на помощь труду и прислушаться к гласу народа. И народ с любовью бросился в объятия власти; но когда опыт заставил его почувствовать, что власть против него, то вместо того, чтобы атаковать институт (власти), он принялся обвинять князя, не желая понимать, что князь, будучи по своей природе и предназначению главой всех непродуктивных и самым крупным из монополистов, не мог принять сторону народа.

Любая критика формы или действий правительства приводит к этому существенному противоречию. И когда так называемые теоретики суверенитета народа утверждают, что средство защиты от тирании власти состоит в том, чтобы заставить ее исходить из одобрения народа, они только крутятся, как белка в колесе. Поскольку, как только конституционные условия власти, то есть авторитет, собственность, иерархия, оказываются налицо, одобрение народа становится не чем иным, как согласием народа на угнетение: это самое отвратительное шарлатанство.

В системе права, независимо от его происхождения, монархического или демократического, власть является благородным органом общества; именно ее посредством оно живет и движется; все инициативы исходят от нее; весь порядок, все совершенство — ее произведение. Согласно определениям экономической науки, определениям, соответствующим реальному положению вещей, напротив, власть — это серия непродуктивности, которую организованное общество должно постоянно стремиться сокращать. Как же тогда, с принципом власти, столь дорогим для демократов, желание политической экономии, желание, которое является также желанием народа, может реализоваться? Как правительство, которое в этой гипотезе является всем, станет послушным слугой, подчиненным органом? Каким образом князь мог бы получить власть для того, чтобы ее ослабить, и работал бы, в видах порядка, на собственное устранение? Как он может не заниматься укреплением себя, увеличением своего персонала, постоянным получением новых субсидий и, наконец, освобождением себя от зависимости от народа, роковым пределом любой власти, вышедшей из народа?

Говорят, что народ, назначая своих законодателей и передавая через них свою волю власти, всегда сможет остановить ее вторжения; таким образом, народ будет исполнять одновременно как роль князя, так и роль суверена. Вот в двух словах

утопия демократов, вечная мистификация, которой они обманывают пролетариат.

Но будет ли народ создавать законы против власти; против принципа авторитета и иерархии, который является принципом самого общества; против свободы и собственности? В гипотезе, в которой мы находимся, это более чем невозможно, это противоречиво. Значит, собственность, монополия, конкуренция, промышленные привилегии, неравенство состояний, преобладание капитала, иерархическая и подавляющая централизация, административное угнетение, правовой произвол, будут сохранены; и поскольку невозможно, чтобы правительство не действовало в соответствии с его принципом, капитал останется таким же, как ранее, богом общества, а народ, всегда эксплуатируемый, всегда деградирующий, в ходе испытания его (правительства) суверенитета продемонстрирует лишь собственное бессилие.

Напрасно приверженцы власти, все эти доктринальные династико-республиканцы¹³, которые отличаются друг от друга только тактикой, льстят себе утверждением в привнесении повсюду реформ. Что реформировать?

Реформировать конституцию? — Это невозможно. Когда нация массово вступала в Конституционную ассамблею, она выходила оттуда только после голосования за другую форму своего рабства или за ее роспуск.

Переделать кодекс, произведение императора, суть римского права и обычая? — Это невозможно. Что вы поставите на место своей рутины собственности, за пределами которой вы ничего не видите и не слышите? На место ваших монопольных законов, из круга которых бессильно выбраться ваше воображение? Вот уже более полувека, как королевская власть и демократия, эти две сивиллы¹⁴, завещанные нам древним миром, заставили посредством конституционной сделки достичь соглашения между своими оракулами; с тех пор, как мудрость князя объединилась с голосом народа, какое откровение произошло? какой принцип порядка был открыт? Какой выход из лабиринта привилегий отмечен? До того, как князь и народ подписали этот странный компромисс, чем их идеи не походили друг на друга? И с тех пор, как каждый из них пытается нарушить договор, чем они отличаются друг от друга?

Снизить государственные расходы, распределить налоги на более справедливой основе? — Это невозможно: в налогах, как и в армии, человек из народа всегда будет

¹³ Сарказм Прудона очевидно направлен против приверженцев Наполеона III — Шарля Луи Наполеона Бонапарта, племянника Наполеона I, занимавшего в момент второго издания «Философии нищеты» в 1850 г. пост первого президента Второй Французской республики. — А.А. А-О.

¹⁴ Собираетельное от одной из античных прорицательниц по имени Сивилла. — А.А. А-О.

обеспечивать больше, чем его контингент¹⁵.

Регулировать монополию, обуздать конкуренцию? — Это невозможно; вы убили бы производство.

Открывать новые рынки сбыта? — Это невозможно¹⁶. Организовать кредит? — Это невозможно¹⁷.

Атаковать наследование? — Это невозможно¹⁸.

Создать национальные цеха, обеспечить, при отсутствии работы, минимум для рабочих; назначить им долю в прибыли? — Это невозможно. В характере правительства заниматься трудом лишь для того, чтобы связать рабочих, так же, как оно занимается произведенными продуктами (изделиями) только для того, чтобы повесить свою десятину.

Исправить, с помощью системы компенсации, пагубные последствия машин? — Это невозможно.

Бороться с помощью регулирования с отупляющим влиянием разделения труда? — Это невозможно.

Заставить народ пользоваться преимуществами образования? — Это невозможно.

Установить тариф на товары и заработную плату и зафиксировать с помощью авторитета государства стоимость вещей? — Это невозможно, это невозможно.

Из всех реформ, которых добивается терпящее бедствие общество, ни одна не входит в компетенцию власти; ни одна не может быть реализована ею, потому что сущность силы претит ей, и потому что человеку не дано объединить то, что Бог разделил. По крайней мере, скажут сторонники правительственной инициативы, вы поймете, что для осуществления революции, обещанной развитием антиномий, власть будет вспомогательной мощностью. Зачем тогда выступать против реформы, которая, передав власть в руки народа, так хорошо поддержала бы ваши взгляды? Социальная реформа является целью; политическая реформа — инструмент: почему,

¹⁵ Так у Прудона: *C'est impossible: à l'impôt comme à l'armée, l'homme du peuple fournira toujours plus que son contingent.* — А.А. А-О.

¹⁶ См. далее, том II, глава IX.

¹⁷ То же, глава X.

¹⁸ То же, глава XI (все три сноски — Прудона).

если вы хотите достичь цели, вы отталкиваете средства?

Таково сегодня рассуждение всей демократической прессы, которую я от всей души благодарю за то, что, наконец, посредством профессии квазисоциалистической веры она сама провозгласила небытие своих теорий. Поэтому во имя науки демократия требует политических реформ в качестве предварительного шага к социальной реформе. Но наука протестует против этой уловки, оскорбительной для нее; наука отказывается от любого альянса с политикой, и несмотря на то, что ожидает от нее минимальной помощи, именно посредством политики она должна начать работу своих исключений.

Как мало общего у человеческого разума с истиной! Когда я смотрю на демократию, то вижу, что социалист прошлого постоянно требовал капитал для того, чтобы бороться с влиянием капитала; богатство, чтобы предотвратить нищету; ограничение свободы, чтобы организовать свободу; реформу правительства, чтобы реформировать общество: когда я вижу, говорю я, как она берется руководить обществом, при условии, что социальные вопросы устранены или решены: мне кажется, я слышу гадалку, которая, прежде чем отвечать на запросы ее клиентов, начинает интересоваться их возрастом, их состоянием, их семьей, всеми происшествиями их жизни. Эй! несчастная ведьма, если ты знаешь будущее, ты знаешь, кто я, и чего я хочу; почему ты меня спрашиваешь?

Поэтому я отвечу демократам: Если вы знаете, как нужно использовать власть, и если вы знаете, как должна быть организована власть, вы владеете экономической наукой. Значит, если вы владеете экономической наукой, если у вас есть ключ к ее противоречиям, если у вас есть средство организации труда, если вы изучили законы обмена, вам не нужен ни капитал нации, ни общественная сила. С этого дня вы более могущественны, чем деньги, сильнее, чем власть. Так как, поскольку рабочие с вами, вы являетесь тем самым единственными хозяевами производства; вы сдерживаете торговлю, промышленность и сельское хозяйство; вы распоряжаетесь общественным капиталом; вы — налоговые арбитры; вы блокируете власть и попираете ногами монополию. Какую еще инициативу, какой большой авторитет вы требуете? Кто мешает вам применять ваши теории?

Конечно, это не политическая экономия, хотя ее обычно придерживаются и уполномочивают: поскольку все в политической экономии обладает своей истинной и ложной стороной, проблема сводится для вас к тому, чтобы комбинировать экономические элементы таким образом, чтобы их целое больше не представляло противоречия.

Это также не гражданский закон: поскольку этот закон, санкционирующий экономическую рутину только из-за ее преимуществ, невзирая на ее недостатки, стремится, как и сама политическая экономия, к подчинению всем требованиям точного

синтеза, и, следовательно, нет ничего более выгодного для вас.

Наконец, это не власть, которая, будучи последним проявлением антагонизма и созданная только для защиты закона, могла помешать вам, только отрекаясь от себя самой.

Кто же, еще раз, вас останавливает?

Если вы владеете общественной наукой, вы знаете, что проблема ассоциации заключается в организации не только *непродуктивных* (тех, кто не производит): с этой стороны, слава небесам, уже мало что можно сделать; но и *производителей*, и, посредством этой организации, покорить капитал и подчинить власть. Такова война, которую вы должны поддержать: война труда против капитала; война свободы против власти; война производителя против непродуктивного; война равенства против привилегий. То, что вы требуете, чтобы успешно закончить войну, — это именно то, с чем вы должны бороться. Однако, чтобы бороться с властью и ограничивать ее, чтобы поставить ее в подобающее для нее место в обществе, бессмысленно менять хранителей власти и вносить некоторые изменения в ее маневры: необходимо найти такое сочетание сельского хозяйства и промышленности, с помощью которого власть, которая сегодня доминирует в обществе, станет его рабом. У вас есть секрет этого сочетания?

Но что я говорю? вот в точности то, с чем вы не согласитесь. Поскольку вы не можете представить общество без иерархии, вы сделали себя апостолами власти; поклонниками власти, вы думаете только об укреплении власти и об обуздании свободы; ваша любимое изречение — о том, что нужно обеспечивать благо народа, невзирая на народ; вместо того, чтобы приступить к социальной реформе путем уничтожения власти и политики, вам нужно воссоздать власть и политику. Итак, посредством ряда противоречий, которые доказывают вашу добросовестность, но из которых, как это хорошо знают истинные друзья власти, аристократы и монархисты, ваши конкуренты, получается иллюзия, вы обещаете нам через силу экономию в расходах, справедливое распределение налогов, охрану труда, бесплатное образование, всеобщее избирательное право и все антипатические утопии власти и собственности. И власть в ваших руках всегда приводила к упадку: и вот почему вы никогда не могли ее удержать, вот почему 18 брюмера¹⁹ хватило четырех человек, чтобы отнять ее у вас, и сегодня буржуазия, которая любит власть, как вы, и хочет сильной власти, не вернет ее вам.

Таким образом, власть, инструмент коллективного могущества, созданный в обществе чтобы служить посредником между трудом и привилегиями, неизбежно оказывается прикованной к капиталу и направленной против пролетариата.

¹⁹ Прудон говорит о государственном перевороте 18 брюмера VIII года Республики — 9 ноября 1799 г., в результате которого вместо Директории, Совета пятисот и Совета старейшин был установлен новый режим во главе с генералом Наполеоном Бонапартом. — А.А. А-О.

Никакая политическая реформа не может разрешить это противоречие, поскольку, по признанию самих политиков, подобная реформа приведет лишь к большей энергии и расширению власти и что, если не свергнуть иерархию и не распустить общество, власть не сможет прикоснуться к прерогативам монополии. Таким образом, проблема для трудящихся классов состоит не в том, чтобы завоевать, а в том, чтобы победить одновременно как власть, так и монополию, то есть заставить появиться из недр народа, из глубин труда бóльшую власть, более мощный факт, который охватывает капитал и государство и подчиняет их. Любое предложение реформы, которое не соответствует этому условию, является просто еще одним поветрием, надзорным жезлом, *virgam vigilantem* (наблюдением за работниками), как сказал пророк, угрожающим пролетариату.

Венцом этой системы является религия. Мне нет нужды заниматься здесь философской ценностью религиозных убеждений, рассказывать их историю, искать их толкование. Я ограничусь рассмотрением экономического происхождения религии, тайной связи, которая воссоединяет ее с полицией, места, которое она занимает в ряду социальных проявлений.

Человек, отчаявшись найти баланс своих возможностей, так сказать, вырывается из себя и ищет в бесконечности эту суверенную гармонию, осознание которой является для него высшей степенью разума, силы и счастья. Не имея возможности с ним согласиться, он преклоняет колени перед Богом и молится. Он молится, и его молитва, гимн Богу, является богохульством против общества.

Это от Бога, говорит человеку самому себе, авторитет и власть приходят ко мне: поэтому давайте повиноваться Богу и князю. *Obedite Deo et principibus* (Повинуйтесь Богу и вождям). — Это от Бога ко мне приходят закон и право, *Per me reges regnant, et potentes decernunt justitiam* (Мною правят короли, а князья объявляют справедливость): давайте уважать то, что сказали законодатель и магистрат. Это Бог делает процветающим труд, поднимает и опрокидывает судьбы: да исполнится его воля! *Dominus dedit, Dominus abstulit, sit nomen Domini benedictum* (Бог дал, Бог взял, да будет имя Господа благословенно). Это Бог наказывает меня, когда нищета поглощает меня, когда я терплю преследования за справедливость: давайте с уважением принимать беды, которые Его милосердие использует, чтобы очистить нас; *Humiliamini igitur sub potenti manu Dei* (Смиритесь под могучей рукой Божьей). Эта жизнь, которую дал мне Бог, является лишь испытанием, которое ведет меня к спасению: избежим удовольствия; возлюбим, разыщем страдание; получим радость от покаяния. Грусть, которая исходит от несправедливости, является милостью свыше; блаженны плачущие! *Beati qui lugent!... Hæc est enim gratia, si quis sustinet tristitias, patiens injuste* (Блаженны скорбящие!... Блаженны те, кто поддерживают скорбящих, терпящих несправедливость).

Прошло столетие с тех пор, как один миссионер, проповедовавший перед аудиторией, состоявшей из финансистов и больших господ, воздал должное этой одиозной морали. «Что я могу сделать? — Возопил он в слезах. — Я опечален

бедными, лучшими друзьями моего Бога! Я проповедовал суровость покаяния перед несчастными, которым не хватало хлеба! Но именно здесь, где мои взоры падают только на сильных и богатых, на угнетателей страдающего человечества, я должен разразиться словом Божиим во всей его громовой силе...»

Признаем, однако, что теория смирения служила обществу, предотвращая мятеж. Религия, освящая божественным правом неприкосновенность власти и привилегий, дала человечеству силу продолжать свой путь и исчерпать свои противоречия. Без этой повязки на глазах людей общество распалось бы тысячу раз. Кто-то должен был пострадать, чтобы оно исцелилось; и религия, утешитель страждущих, решила заставить страдать бедных. Именно это страдание привело нас туда, где мы находимся; цивилизация, которая обязана всем своим чудесам рабочему, обязана еще своим будущим и своим существованием его добровольной жертве. *Oblatus est quia ipse voluit, et livore ejus sanati sumus* (Избит, потому что хотел этого, и его ранами мы исцелились).

О, рабочий народ! Народ обеднённый, обиженный, осужденный! народ, который заключают в тюрьму, осуждают и убивают! Народ поруганный, заклеянный! Разве не знаешь ты, что есть предел, даже терпению, даже преданности? Не перестанешь ли ты преклонять слух к этим ораторам мистики, которые говорят тебе, что нужно молиться и ждать, проповедуя спасение иногда религией, иногда властью, и чьи страстные и звучные слова пленяют тебя? Твоя судьба — загадка, которую не могут разрешить ни физическая сила, ни душевное мужество, ни вспышки энтузиазма, ни возвышение каких-либо чувств. Те, кто говорят тебе обратное, обманывают тебя, и все их речи ведут к тому, чтобы отложить час твоего освобождения, готового прозвучать. Что такое энтузиазм и чувство, что такое поэзия, борющаяся с необходимостью? Чтобы преодолеть необходимость, нужна только сама необходимость, последний довод природы, чистая сущность материи и духа.

Таким образом, противоречие стоимости, порожденное необходимостью свободной воли, должно было быть преодолено пропорциональностью стоимости, еще одной необходимостью, вызванной союзом между свободой и разумом. Но для того, чтобы эта победа разумного и свободного труда принесла все свои последствия, обществу необходимо было пройти долгие перипетии мытарств.

Следовательно, возникла необходимость, чтобы труд для увеличения своего могущества разделился; и по факту этого разделения — необходимость деградации и обнищания для рабочего. Было необходимо, чтобы это изначальное разделение превратилось в инструменты и сложные комбинации; и необходимость в том, чтобы посредством этой перестройки подчиненный рабочий терял вкупе с законной зарплатой до тех пор, пока не будет занята кормящая его промышленность.

Была необходимость, чтобы конкуренция вызволила готовую к гибели свободу; и необходимость, чтобы это избавление привело к массовой ликвидации рабочих

мест.

Была необходимость, чтобы производитель, облагороженный своим искусством, как раньше воин оружием, высоко держал свое знамя, чтобы смелость человека почиталась в труде, как на войне; и необходимость, чтобы из привилегий немедленно возродился пролетариат.

Была необходимость, чтобы общество взяло под свою защиту плебея побежденного, нищего и бесприютного; и необходимость, чтобы эта защита превратилась в новую серию пыток.

На нашем пути мы встретим еще другие необходимости, которые все исчезнут, как и первые, перед более важными необходимостями вплоть до момента, когда, наконец, придет общее уравнение, высшая необходимость, торжествующий факт, который должен установить господство труда навсегда.

Но это решение не может произойти от взмаха руки или напрасной сделки. Так же невозможно объединить труд и капитал, как и производить без труда и без капитала; — так же невозможно создать равенство посредством власти, как подавить власть и равенство и создать общество без народа и без полиции.

Необходимо, я повторяю, чтобы НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА поменяла текущие формулы общества; пусть это будет ТРУД людей, а не их доблесть или их голоса, который посредством сочетания искусного, законного, бессмертного и неотвратимого сочетания подчинит капитал людям и передаст им его власть.

Глава VIII. ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЧЕЛОВЕКА И БОГА В ВИДУ ЗАКОНА ПРОТИВОРЕЧИЯ, ИЛИ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОВИДЕНИЯ

Древние обвиняли в присутствии зла в мире человеческую природу.

Христианское богословие по-своему подступилось к этой теме; и поскольку это богословие подводит итог всему религиозному периоду, который от происхождения общества простирается до нашего времени, можно сказать, что догмат изначального предначертания, имея для себя согласие рода человеческого, приобретает этим даже самую высокую степень вероятности.

Таким образом, согласно всем свидетельствам древней мудрости, каждый народ, защищающий как превосходящие свои собственные институты и прославляющий их, должен понимать причину зла не посредством религий, правительств и традиционных обычаев, приветствуемых уважением поколений, а посредством первобытного извращения, своего рода врожденной хитрости человеческой воли. Что же касается того, как бытие (существование) могло извратиться и извращаться *изначально*, то древние выходили из этой трудности посредством притчи: яблоко Евы и ящик Пандоры остались знаменитейшими из их символических решений.

Следовательно, древность не только поместила в своих мифах вопрос происхождения зла; она решала его посредством другого мифа, без колебаний утверждая преступность *ab ovo* (из яйца (То есть изначально. — А.А. А-О.)) нашего рода.

Современные философы установили вопреки христианской догме не менее туманную догму — догму развращенности общества. *Человек рождается добрым*, — восклицает Руссо в своем безапелляционном стиле; — *но общество*, то есть формы и институты общества, *его развращают*. Именно в этих терминах сформулирован парадокс, или, лучше сказать, протест философа из Женевы. Однако очевидно, что эта идея — лишь разворот античной гипотезы. Древние обвиняли индивидуума; Руссо обвиняет человека коллективного: по сути, это все то же предложение,

абсурдное предложение.

Однако, несмотря на принципиальную идентичность принципа, формула Руссо, именно потому, что она была оппозицией, была прогрессом: поэтому она была встречена с энтузиазмом и стала сигналом к реакции, полной антилогий и непоследовательностей. Уникальная вещь! именно к анафеме, направленной автором «*Эмиля*»¹ против общества, которое возвышает современный социализм.

В течение семидесяти-восемидесяти лет принцип социального извращения эксплуатировался и популяризировался различными сектантами, которые, копируя Руссо, всеми силами отталкивают антиобщественную философию этого писателя, не замечая, что стремясь реформировать общество, они остаются так же антиобщественными, как и он. Это любопытное зрелище — видеть этих псевдоноваторов, осуждающих следом за Жан-Жаком монархию, демократию, собственность, сообщество, твое и мое, монополию, наемный труд, полицию, налог, роскошь, торговлю, деньги, одним словом, все, что составляет общество, и без чего общество нельзя себе представить; затем, обвиняя в мизантропии и пара-логизме того же Жан-Жака, потому что, осознав небытие всех утопий, в то же время указывая на антагонизм цивилизации, он сделал строгий вывод против общества, признавая при этом, что вне общества нет человечества.

Я советую перечитать «*Эмиля*» и «*Общественный договор*»² тем, кто в рамках веры клеветников и плагиаторов воображает, что Руссо создал свой тезис лишь из стремления к уникальности. Этот замечательный диалектик был приведен к отрицанию общества с точки зрения справедливости, несмотря на то, что он был вынужден признать это необходимым; точно так же, как мы, верящие в неопределенный прогресс, не перестаем отрицать как нормальное и окончательное нынешнее состояние общества. Только в то время, как Руссо посредством политической комбинации и системы воспитания стремился приблизить человека к тому, что он называл природой, и которое было для него идеалом общества; мы, получившие образование в более глубокой школе, говорим, что задача общества — постоянно разрешать свои антиномии, о чем Руссо не мог и помыслить. Таким образом, со стороны ныне заброшенной системы «*Общественного договора*», и что касается только критики, социализм, что бы он ни говорил, все еще находится в том же положении, что и Руссо, вынужденный непрестанно реформировать общество, то есть постоянно отрицать его.

Руссо, одним словом, лишь в общей и безапелляционной манере заявил о том, что социалисты повторяют в деталях и в каждый момент прогресса: знать, что общественный порядок несовершенен и что чего-то в нем всегда не хватает. Ошибки

¹ Произведение Жан-Жака Руссо «*Эмиль, или О воспитании*». — А.А. А-О.

² Произведение Жан-Жака Руссо «*Об общественном договоре, или Принципы политического права*». — А.А. А-О.

Руссо нет, не может быть в этом отрицании общества: она состоит, как мы это покажем, в том, что он не умел следовать своей аргументации до конца и отрицать одновременно и общество, и человека, и Бога.

Во всяком случае, теория невинности человека, соотносимая с теорией разложения общества, в конечном счете возобладала. Подавляющее большинство социализма, Сен-Симон, Оуэн, Фурье и их последователи; коммунисты, демократы, прогрессисты всех мастей торжественно отвергали христианский миф о грехопадении человека, чтобы подменить его системой грехопадения общества. И поскольку большинство этих сектантов, несмотря на свою вопиющую безбожность были все еще слишком религиозны, слишком набожны, чтобы завершить работу Жан-Жака и возложить на Бога ответственность за зло, они нашли способ вывести из предположения Бога догму о прирожденной человеческой доброте и начали еще более красочно выступать против общества.

Теоретические и практические последствия этой реакции заключались в том, что зло, то есть эффект внутренней и внешней борьбы, будучи само по себе ненормальным и преходящим, исправительные и репрессивные учреждения также преходящи; что в человеке нет порока, но среда, в которой он живет, развратила его склонности; что цивилизация ошиблась в своих тенденциях; что принуждение безнравственно, что наши страсти святы; что наслаждение свято, и его следует искать как самую добродетель, потому что Бог, который заставляет нас желать его, свят. И женщины, пришедшие на помощь красноречию философов, обрушили поток антирестриктивных протестов, *quasi de vulvâ erumpens* (извергся из чрева), чтобы служить мне сравнением Святого Писания, на потрясенную публику.

Сочинения этой школы предаются своему евангельскому стилю, ипохондрическому теизму, как и их ребус — диалектике.

«Мы обвиняем, — говорит г-н Луи Блан, — почти во всех наших видах зла человеческую природу; надо бы обвинить в этом порок социальных институтов. Оглянитесь вокруг себя: что за неуместные и СЛЕДОВАТЕЛЬНО порочные способности? Сколько беспокойных действий, не нашедших своей законной и естественной цели! Мы заставляем наши страсти проходить через нечистую среду; они изменяются в ней: что в этом удивительного? Поместите здорового человека в зловонную атмосферу, он будет дышать смертью... Цивилизация пошла по ложному пути...; и сказать, что иначе и быть не может, — значит потерять право говорить о справедливости, морали, прогрессе; значит потерять право говорить о Боге. Провидение исчезает, чтобы освободить место для грубейшего фатализма». В «*Организации труда*» г-на Блана, которую я с пристрастием цитирую, имя Бога встречается сорок раз, и всегда — чтобы ни о чем не сказать, потому что в моих глазах он лучше других представляет передовое демократическое мнение, и мне нравится делать ему честь, опровергая его.

Таким образом, в то время как социализм, которому помогает крайняя демократия,

обожеествляет человека, отрицая догму грехопадения, и, следовательно, свергает Бога, который теперь бесполезен в виду совершенства своего творения; этот же социализм, по трусости духа, возвращается к утверждению Провидения, и это в тот самый момент, когда он отрицает провиденциальный авторитет истории.

И поскольку ничто среди людей не имеет таких шансов на успех, как противоречие, идея религии удовольствия, обновленная Эпикуром во время затмения общественного разума, была использована для воодушевления национального гения; именно этим отличают новых теистов от католиков, против которых первые выступали в течение двух лет только из фанатичного соперничества. Сегодня модно говорить по любому поводу о Боге и выступать против папы, призывать Провидение и высмеивать Церковь. *Слава Богу, мы больше не атеисты*, — сказала однажды *Реформа*; тем более, — могла бы она добавить невзначай, — что мы не христиане. Каждый, кто держит перо, дал себе слово увлечь народ; и первая статья новой веры заключается в том, что бесконечно добрый Бог сотворил человека таким же добрым, как он сам; что не мешает человеку на глазах Бога делать себя злым в отвратительном обществе.

Однако, несмотря на эти проявления, скажем даже на эти склонности религии, это чувствительно, что ссора между социализмом и христианской традицией, между человеком и обществом должна закончиться отрицанием Божественности. Общественный разум не отличается для нас от абсолютного разума, который есть не кто иной, как сам Бог, и отрицать общество на его предыдущих этапах — значит отрицать Провидение, значит отрицать Бога.

Итак, мы находимся между двумя отрицаниями, двумя противоречивыми утверждениями: одно, которое голосом древности, ставящим общество и Бога, которого оно представляет, относится к человеку только по принципу зла; другое, которое, протестуя от имени свободного, умного и прогрессивного человека, отвергает социальную немощь и, следовательно, творческий и вдохновляющий гений общества, все потрясения Вселенной.

Однако, поскольку аномалии общественного порядка и угнетение индивидуальных свобод проистекают прежде всего из игры экономических противоречий, мы должны искать, учитывая данные, которые мы выявили:

1) Является ли фатальность, сфера которой окружает нас, для нашей свободы настолько властной и необходимой, что нарушения закона, совершенные под империей антиномий, перестают быть значимыми? И, если нет, откуда эта вина, свойственная человеку?

2) Не потерпело ли неудачу с обществом во время опасности гипотетическое существо, прекрасное, всемогущее, мудрейшее, которому вера приписывает высокую направленность человеческих беспокойств? И, если это так, объясните эту

недостаточность Божественности.

В двух словах, мы рассмотрим, является ли человек Богом, является ли сам Бог Богом, или же, чтобы достичь полноты ума и свободы, мы должны искать более высокий предмет.

§ I. Вина человека. Разоблачение мифа о грехопадении

Пока человек живет по закону эгоизма, он обвиняет самого себя; как только он поднимается до концепции общественного закона, он обвиняет общество. И в том, и в другом случае это всегда человечество обвиняет человечество; и то, что до сих пор явственно вытекает из этого двойного обвинения, — это странная способность, о которой мы еще не сообщали, и которую религия приписывает Богу, как и человеку, ПОКАЯНИЕ.

В чем же раскаивается человечество? За что Бог, который также раскаивается в нас, хочет наказать нас? *Pœnituit Deum quod hominem fecisset in terrâ; et tactus dolore cordis intrinsecûs, delebo, inquit, hominem...* (И раскаялся Бог, что он создал человека из земли; и это огорчило его в его сердце...)

Если я докажу, что преступления, в которых человечество обвиняет себя, не являются следствием его экономических затруднений, при том, что они являются следствием его идей; что человек совершает зло бесплатно и без принуждения, так же, как он почитает себя актами героизма, которого не требует правосудие: из этого следует, что человек под давлением своей совести может привести некоторые смягчающие обстоятельства, но он никогда не может быть полностью освобожден от своего проступка; что борьба происходит в его сердце, как и в его разуме; что иногда он достоин похвалы и иногда достоин порицания, что всегда является признанием его дисгармонии; наконец, что сущность его души — это вечный компромисс между противоположными силами притяжения, его мораль — качающаяся система, одним словом, и это слово объясняет все, — эклектика.

Мое доказательство скоро будет приведено.

Существует закон, предшествующий нашей свободе, принятый от начала мира, дополненный Иисусом Христом, проповедуемый, свидетельствуемый апостолами, мучениками, исповедниками и девственницами, запечатленный в недрах человека и превосходящий всю метафизику: это ЛЮБОВЬ. *Возлюби ближнего своего, как самого себя*, говорит нам Иисус Христос после Моисея. Все здесь. *Возлюби ближнего своего, как самого себя*, и общество будет совершенным; возлюби ближнего своего, как самого себя, и все различия между князем и пастырем, богатым и бедным, ученым и невежественным, испарятся; все противоречия человеческих интересов исчезнут. *Возлюби ближнего, как самого себя*, и счастье труда, без всякой заботы о будущем,

наполнит твои дни. Чтобы исполнить этот закон и стать счастливым, человеку нужно лишь следовать по зову своего сердца и прислушиваться к голосу сострадания: он противостоит! Он делает больше: не довольствуясь предпочтением ближнего, он постоянно работает над тем, чтобы уничтожить ближнего: предав любовь эгоизму, он ниспровергает ее несправедливостью.

Человек, говорю я, не верный закону милосердия, произвел сам для себя из противоречий общества, без всякой надобности, столько средств причинить вред; своим эгоизмом цивилизация превратилась в войну неожиданностей и ловушек; он лжет, он ворует, он убивает, без обстоятельств непреодолимой силы, без провокаций, без оправдания. Словом, он совершает зло со всеми характеристиками нарочито злой натуры, тем более преступной, чем более она умеет, когда хочет, совершать добро также безвозмездно, что заставило сказать с такой же рассудительностью, как и глубиной: *Homo homini lupus, vel deus* (Человек человеку волк...).

Чтобы не слишком распространяться, а главное, чтобы ничего не предрешать по вопросам, которые мне придется взять на себя, я ограничусь ранее проанализированными экономическими фактами.

Будь разделение труда по своей природе, вплоть до дня синтетической организации, неодолимой причиной физического, морального и интеллектуального неравенства среди людей, ни общество, ни сознание ничего не смогут с этим поделаться. Это факт необходимости, в котором богач так же невиновен, как и рабочий, обреченный государством на всевозможные беды.

Но как случилось, что это роковое неравенство перешло в дворянское звание для одних, низкое положение для других? Как случилось, что если человек добр, что он не сумел своей добротой устранить это препятствие, такое метафизическое, и вместо того, чтобы усиливать между людьми братскую связь, беспощадная необходимость разрывает ее? Тут человек не может извиниться за свою экономическую неспособность, за свою законодательную непредусмотрительность: ему достаточно иметь сердце. Почему, в то время как мученики разделения труда должны были быть спасены, прославлены богатыми, они были отвергнуты как нечистые? Почему никогда не замечали, как хозяева иногда меняют рабов; князья, чиновники и священники перемещают занятых в промышленности; дворяне заменяют крестьян на земле? Откуда взялась у сильных такая жестокая гордыня?

И обратите внимание, что такое поведение с их стороны было бы не только благотворительным и братским; это была самая строгая справедливость. В соответствии с принципом коллективной силы трудящиеся являются равными и соратниками своих руководителей; так же, как в самой системе монополии общность действий, восстанавливающая равновесие, которое нарушил индивидуализм, справедливость и милосердие совмещаются. Как же тогда, с учетом гипотезы о сущностной доброте человека, объяснить чудовищную попытку изменить власть одних на благородство, а послушание других на простоту? Труд между крепостным и свободным человеком,

как и цвет между черным и белым, всегда пересекала непреодолимая черта: и мы сами, столь гордые своим человеколюбием, думаем в глубине души так же, как наши предшественники. Сочувствие, которое мы испытываем к пролетарию, похоже на то, что вселяют в нас животные: страх страданий, гордость за то, что мы отдаляемся от всего, что страдает, — вот из каких уловок эгоизма происходит наше человеколюбие.

Ибо, наконец, я не хочу, чтобы этот факт сбил нас с толку, не правда ли, что спонтанная благотворительность, столь чистая в своем первобытном понятии (*elemosyna* — милость, лат., симпатия, нежность), подаяние, наконец, стала для несчастного признаком упадка, публичного увядания? И социалисты, исправляя христианство, осмеливаются говорить с нами о любви! Христианская мысль, совесть человечества, поступила правильно, когда создала так много учреждений для облегчения несчастья. Для того чтобы постичь суть евангельского учения и сделать законное милосердие столь же почетным для тех, кто был бы его объектом, как и для тех, кто его осуществлял, нужно было что? меньше гордыни, меньше похоти, меньше эгоизма. Может ли кто-нибудь сказать мне, если человек такой хороший, то как право на милостыню стало первым звеном в длинной цепи нарушений, проступков и преступлений? Осмелятся ли еще обвинять злодеяния человека антагонизмом общественной социальной экономики, поскольку этот антагонизм давал ему такую прекрасную возможность проявить милосердие своего сердца, я говорю не самоотвержением, но простым исполнением справедливости?

Я знаю, и это возражение единственное, что может быть мне сделано, что милосердие терпит позор и бесчестье, потому что человек, требующий его, слишком часто, — увы! — подозревается в проступке, и что редко благородство нравов и труда рекомендуют его. И статистика доказывает своими цифрами, что в десять раз больше бедняков по трусости и беспечности, чем по случайности или невезению.

Я не могу опровергнуть это замечание, из которого слишком много фактов доказывают истину и которое к тому же получило санкцию народа. Народ первым обвиняет бедняков в лености; и нет ничего более обычного, чем встречать в низших классах людей, которые хвастаются, как дворянским титулом, тем, что никогда не ходили в госпиталь, и к их величайшей скорби тем, что не получали никакой помощи от общественного милосердия. Так же, как богатство сознается в своих хищениях, нищета сознается в своем унижении. Человек является тираном или рабом добровольно, до того, как стать им по воле судьбы; сердце пролетария подобно сердцу богача, — это канализация бурлящей чувственности, рассадник подлости и обмана.

На это неожиданное откровение я спрашиваю, как бывает, если человек так добр и милосерден, что богатый клеветает на милосердие, а бедный оскверняет его? — Это извращение суждений у богатого, — говорят одни; это деградация способностей у бедного, — говорят другие. — Но как получается, что суждение извращается, с одной стороны, а с другой — деградируют способности? Как получается, что истинное и сердечное братство не остановило с обеих сторон последствия гордыни и труда?

Пусть мне ответят причинами, а не фразами.

Труд, изобретая процессы и машины, которые бесконечно умножают его мощь, а затем, стимулируя соперничество индустриального гения и обеспечивая его завоевания за счет прибыли капитала и привилегий эксплуатации, сделал более глубоким и неизбежным иерархическое построение общества: опять-таки не надо никого обвинять в этом. Но я еще раз подтверждаю святой закон Евангелия в том, что от нас зависело вытянуть из этого подчинения человека человеку, или, лучше сказать, рабочего от рабочего, совсем другие последствия.

Традиции феодальной жизни и жизни патриархов подавали пример промышленникам. Разделение труда и прочие происшествия на производстве были лишь призывами к большой семейной жизни, намеками на подготовительную систему, по которой должно было переводиться и развиваться братство. Хозяйства, корпорации и права первородства были задуманы с этой идеей; даже многие коммунисты не уклоняются от этой формы объединения: удивительно ли, что идеал так жив среди тех, кто, побежденный, но не обращенный, до сих пор остается его представителем? Кто же тогда мешал милосердию, объединению, самоотверженности, возможности поддерживать себя в иерархии, когда иерархия была лишь условием труда? Достаточно было, чтобы люди с машинами, доблестные всадники, сражающиеся равным оружием, не делились тайнами или запасами своих секретов; чтобы бароны отправлялись в поход только ради более дешевого товара, а не для его захвата; и чтобы вассалы, уверенные, что война приведет только к увеличению их богатства, всегда проявляли предприимчивость, трудолюбие и верность. Начальник цеха был уже не просто капитаном, который маневрировал своими вооруженными людьми в их интересах так же, как и в своих, и обслуживал их не своими деньгами, а их же собственными услугами.

Вместо этих братских отношений у нас были гордыня, ревность и лжесвидетельство; хозяин, эксплуатирующий, подобно сказочному вампиру, униженного наемника, и наемник в заговоре против хозяина; бездельник, пожирающий существо рабочего, и крепостной, крадущийся по грязи, не имеющий энергии ни на что, кроме ненависти.

«Призванные обеспечить в деле производства, эти — орудия труда, те — труд: капиталисты и рабочие сегодня в борьбе (друг с другом), почему? Потому что произвол руководит всеми их отношениями; потому что капиталист спекулирует на потребности, которую испытывает рабочий в том, чтобы получить инструменты, в то время как рабочий, со своей стороны, стремится воспользоваться потребностью, которую испытывает капиталист в увеличении своего капитала» (Л. Блан, «*Организация труда*»).

Но откуда этот произвол в отношениях капиталиста и рабочего? К чему эта вражда интересов? К чему это взаимное ожесточение? Вместо того, чтобы постоянно объяснять факт самим фактом, идите в глубину (проблемы), и вы обнаружите повсюду пыл

потребления, который не сдерживают ни закон, ни справедливость, ни милосердие; вы увидите эгоизм, бесконечно стремящийся к будущему и приносящий в жертву своим чудовищным прихотям труд, капитал, жизнь и безопасность всего.

Богословы назвали *вожделение* или *алчный аппетит* страстью чувственных вещей, следствием, по их мнению, первородного греха. Меня сейчас мало волнует, что такое первородный грех; замечу только, что алчный аппетит богословов есть не что иное, как эта *потребность в роскоши*, о которой сообщала Академия гуманитарных наук как о доминирующем мотиве наших времен. Теперь теория пропорциональности стоимостей показывает, что естественной мерой роскоши является производство; что любое ожидаемое потребление покрывается эквивалентной последующей потерей, и что преувеличение роскоши в обществе имеет своей обязательной корреляцией увеличение нищеты. Теперь, когда человек жертвует своим личным благополучием ради ожидаемых роскошных наслаждений, возможно, я обвиню его только в неосторожности; но когда он использует благосостояние своего ближнего, благосостояние, которое должно было оставаться для него неприкосновенным, то исходя из милосердия и во имя справедливости я говорю, что тогда человек дурной, злой без оправдания.

Когда Бог, согласно Боссюэ, сформировал внутреннее содержание человека, он сначала вложил в него добро. Таким образом, любовь — наш первый закон: предписания чистого разума, а также наущения чувствительности появляются только во второй и третьей очереди. Такова иерархия наших способностей: принцип любви, составляющий основу нашего сознания и обслуживаемый разумом и органами. Следовательно, одно из двух: виновен либо человек, который посягнул на благотворительность, чтобы повиноваться своей жадности; или, если эта психология ошибочна, и в человеке потребность в роскоши должна равняться милосердию и разуму, то человек является беспорядочным животным, фундаментально злым и самым изощренным из существ.

Таким образом, органические противоречия общества не могут прикрыть ответственность человека; сами по себе эти противоречия, кроме того, являются лишь теорией иерархического режима, первичной формой и, следовательно, безупречной формой общества. По антиномии их развития труд и капитал постоянно сводились к равенству, к подчинению, солидарности так же, как к зависимости: один был агентом, другой — провокатором и хранителем общественного достояния. Это знамение было смущенно воспринято теоретиками феодальной системы; христианство появилось для того, чтобы закрепить договор; и вновь это ощущение неправильно понятой и искаженной организации, но самой по себе невинной и законной, которая вызывает у нас сожаления и поддерживает надежду партии. Поскольку эта система была предсказана судьбой, мы не можем сказать, что она была плохой сама по себе, так же, как мы не можем назвать плохим эмбриональное состояние, потому что в физиологическом развитии оно предшествует взрослой

жизни.

Поэтому я настаиваю на своем обвинении:

При режиме, упраздненном Лютером и французской революцией, человек, насколько позволял ему прогресс его промышленности, мог быть счастлив: он не хотел этого; напротив, он защищал себя (от этого). Труд был признан позорным; клирик и дворянин сделали себя пожирателями бедного; чтобы удовлетворить свои животные страсти, они гасили в своих сердцах милосердие; они разоряли, угнетали, убивали труженика. И вот опять мы видим, как капитал гонится за пролетариатом. Вместо того, чтобы умерить ассоциацией и взаимопомощью разрушительную тенденцию экономических принципов, капиталист ее увеличивает без необходимости и злого умысла; он злоупотребляет чувствами и самосознанием рабочего; он делает его камердинером своих интриг, поставщиком своих излишеств, сообщником своих грабежей; он делает его во всем похожим на себя, и именно тогда он может бросить вызов справедливости ожидаемых революций. Чудовищная вещь! человек, который живет в нищете, чья душа, следовательно, кажется более близкой к милосердию и чести, этот человек разделяет испорченность своего хозяина; как и он, он отдает все гордыне и похоти, и если иногда он возмущается неравенством, от которого страдает, то это не столько из стремления к справедливости, сколько из соперничества вожделения. Величайшее препятствие, которое нужно преодолеть равенству, заключается не в аристократической гордыне богатого, а в непокорном эгоизме бедного. И вы рассчитываете на его природенную доброту, чтобы реформировать все сразу, спонтанность и преднамеренность его умысла!

«Поскольку ложное и антиобщественное воспитание, данное нынешнему поколению, — говорит Луи Блан, — не позволяет искать мотив соперничества и воодушевления в ином месте, кроме как в дополнительном вознаграждении, разница в зарплатах будет сформулирована исходя из иерархии функций, и только совершенно новое воспитание должно будет изменить в этом отношении идеи и нравы».

Оставим тому, что они стоят, иерархию функций и неравенство зарплат: рассмотрим здесь только мотив, данный автором. Не странно ли видеть, как господин Блан констатирует доброту нашей природы и в то же время обращается к самой подлой из наших склонностей, к жадности? Воистину, зло должно показаться вам настолько глубоким, чтобы вы сочли необходимым начать восстановление милосердия с преступления против милосердия. Иисус Христос ломал забрало гордыни и похоти: видимо, распутники, которых он катехизировал, были святыми персонажами в сравнении с дурно пахнущими овцами социализма. Но скажите нам, наконец, как были искажены наши идеи; почему антисоциально наше воспитание, поскольку теперь доказано, что общество пошло по пути, проложенному судьбой, и что нельзя

больше обвинять его в преступлениях человека?

Воистину логика социализма изумительна.

Человек добр, говорят они; но надо *отвращать* его от зла, чтобы он воздерживался от него. Человек добр; но надо *заинтересовать* его добром, чтобы он творил добро. Ибо если корысть его страстей ведет его в сторону зла, то он будет творить зло; и если та же корысть оставляет его безразличным к добру, то он не будет творить добра. И общество не будет иметь права упрекать его в том, что он прислушивался к своим страстям, потому что общество должно было вести его своими страстями. Какая богатая и драгоценная натура этот Нерон, который убил свою мать, потому что эта женщина раздражала его, и сжег Рим, чтобы иметь представление о судьбе Трои! Какая душа художника у этого Гелиогабала, организовавшего проституцию! какой могучий характер у Тиберия! но какое мерзкое общество, которое извратило эти божественные души и которое вместе с тем произвело Тацита и Марка-Аврелия!

Так вот что называется невинностью человека, святостью его страстей! Древняя Сафо, покинутая любовниками, возвращается в супружескую норму; равнодушная к любви, она возвращается к Гименею, и она святая! Как жаль, что это слово «святой» не имеет во французском языке того двойного значения, которое оно имеет на иврите! Все согласились бы со святостью Сафо.

Я читал в отчете бельгийских железных дорог, что бельгийская администрация выделила своим механикам премию в размере 35 сантимов за гектолитр кокса, которая была бы сэкономлена на среднем потреблении 95 килограммов за пройденный лье, эта премия принесла результат, заключающийся в том, что потребление снизилось с 95 килограммов до 48. Этот факт обобщает всю философию социализма: постепенно обучать рабочего справедливости, воодушевлять его к труду, поднимать его до вершин самоотдачи путем повышения зарплаты, соучредительства, отличий и воздаяний. Конечно, я не намерен порицать этот старый, как мир, метод: каким бы образом вы ни приручали и ни делали змей и тигров полезными, я этому аплодирую. Но не говорите, что ваши звери — это голуби; поскольку при любом ответе я заставлю вас увидеть их когти и зубы. Прежде чем бельгийские механики заинтересовались экономией топлива, они сожгли вдвое больше. Значит, с их стороны были проявлены беспечность, небрежность, расточительность, возможно, воровство, поскольку они были связаны по отношению к администрации контрактом, который обязывал их практиковать все противоположные добродетели. — *Это хорошо*, — скажете вы, — *заинтересовать рабочего*. — Более того, я говорю, что это справедливо. Но я утверждаю, что этот *интерес*, который оказывает на человека большее влияние, чем данное обязательство, который более влиятелен, словом, чем ДОЛГ, обвиняет человека. Социализм отступает в нравственности, и он пренебрегает христианством. Он больше не понимает милосердия, хотя именно он, по его мнению, изобрел милосердие.

Посмотрите все же, замечают социалисты, какие счастливые плоды уже принесло

совершенствование нашего общественного порядка! Несомненно, нынешнее поколение лучше, чем предшествовавшее ему: ошибаемся ли мы, заключая, что совершенное общество произведет совершенных граждан? — Скажите сначала, — отвечают консерваторы, сторонники догмы грехопадения, — что религия очистила сердца, неудивительно, что институты это почувствовали. Пусть теперь религия завершит свою работу, и не беспокойтесь об обществе.

Так говорят и возражают друг другу в бесконечном разглагольствовании теоретики обоих мнений. Они не понимают, ни одни, ни другие, что человечество, чтобы служить мне выражением Библии, является единым и постоянным в своих поколениях, то есть все в нем, в каждую эпоху своего развития, как в индивиде, так и в массе, происходит из одного и того же принципа, который заключается не в *бытии*, а в *становлении*. Они не видят, с одной стороны, что прогресс в нравственности — это непрестанное завоевание ума над животными чувствами, так же как прогресс в богатстве — это плод войны, которую труд ведет против скупости природы; следовательно, идея потерянной обществом исконной добродетели столь же абсурдна, как идея потерянного трудом исконного богатства, и сделку со страстями следует воспринимать в том же смысле, как сделку со спокойствием. С другой стороны, они не хотят слышать, что если в человечестве есть прогресс, либо по факту религии, либо по какой-либо другой причине, то предположение о конституционной испорченности — это нонсенс, противоречие.

Но я предвосхищаю выводы, которые мне придется сделать: займемся лишь констатацией того, что нравственное совершенствование человечества, как и материальное благополучие, осуществляется путем череды колебаний между пороком и добродетелью, *заслугой* и *провинностью*.

Да, есть прогресс человечества в справедливости, но этот прогресс нашей свободы, возникающий из прогресса нашего разума, несомненно, не доказывает нашей природной доброты; и, не позволяя нам превозносить наши страсти, он поистине разрушает их преобладание. Наша злоба со временем меняет моду и стиль: лорды средневековья грабили путешественника на большой дороге, а затем предлагали ему гостеприимство в своем замке; меркантильный феодализм, менее жестокий, эксплуатирует пролетария и строит для него больницы: кто осмелится сказать, кто из них заслужил пальму добродетели?

Из всех экономических противоречий стоимость является той, которая, доминируя над другими и обобщая их, как бы держит скипетр общества, я чуть не сказал — нравственного мира. До тех пор, пока стоимость, колеблющаяся между двумя полюсами, стоимостью полезной и стоимостью обмена, не достигнет своего назначения, «твое» и «мое» останутся произвольно установленными; условия успеха — следствием случая; собственность опирается на сомнительное звание, все в общественной экономике является временным. Какие выводы должны были извлечь из этой неопределенности стоимости общительные, умные и свободные существа? создание дружественных правил, защищающих труд, гарантирующих обмен и

низкие цены. Какая счастливая возможность для всех — заменить верностью, бескорыстием, нежностью сердца незнание объективных законов справедливости и несправедливости! Вместо этого торговля стала повсюду, посредством спонтанных усилий и единодушного согласия, случайной сделкой, контрактом на копию, лотереей, часто спекуляцией на неожиданности и мошенничеством.

Что заставляет собственника пропитания, хранителя общественного магазина имитировать дефицит, поднимать тревогу и вызывать возмущение? Общественное легкомыслие сдает потребителя на милость; любое изменение температуры дает ему предлог; уверенная перспектива наживы в конце концов разворачивает его, и страх, умело распространяемый, бросает население в его сети. Правда, мотив, заставляющий действовать мошенника, вора, убийцу, эти натуры, извращенные, как говорят, социальным порядком, — тот же самый, который оживляет скупщика. Как же тогда эта страсть к наживе, существующая сама собой, оборачивается во вред обществу? Каким образом превентивный, репрессивный и принудительный закон должен был постоянно вводить ограничения для свободы? Ибо в этом состоит обвинительный факт, и отрицать его невозможно: всюду закон появился в результате злоупотребления; всюду законодатель видел себя вынужденным поставить человека в положение, в котором он будет бессилён приносить вред, что синонимично попытке заткнуть глотку льву, сделать инфибуляцию кабану. И социализм, всегда подражая прошлому, сам не претендует ни на что другое: что же такое, в самом деле, эта организация, которую он требует, если не более сильная гарантия справедливости, более полное ограничение свободы? Характерная черта коммерсанта — сделать из любой вещи либо объект, либо инструмент продвижения. Разобщенный со своими единомышленниками, не согласный со всеми, он — «за» и «против» всех фактов, мнений, партий. Открытия, наука — все это в его глазах военная машина, против которой он борется и которую он хотел бы уничтожить, если только он сам не сможет использовать ее, чтобы убить своих конкурентов. Артист, ученый — артиллерист, умеющий маневрировать событиями пьесы и норовящий подкупить, если не может приобрести. Коммерсант убежден, что логика — это искусство доказывать по собственному желанию, что истинно и что — ложно; именно он изобрел политическую продажность, торговлю совестью, проституцию талантов, коррупцию прессы. Он умеет находить аргументы и адвокатов для всяких измышлений, для всех беззаконий. Только он никогда не питал иллюзий относительно стоимости политических партий: он считает их все одинаково годными к эксплуатации, то есть одинаково абсурдными.

Без всякого уважения к собственным мнениям, которые он поочередно то провозглашает, то отрицает; преследуя в других нарушения, в которых он сам виновен, он лжет в своих претензиях, он лжет в своих сведениях, он лжет в своих документах; он преувеличивает, он смягчает, он переоценивает; он смотрит на себя как на центр мира, и все, что вне его, имеет лишь существование, стоимость, относительную истинность. Тонкий и хитрый в своих сделках, он утверждает, он резервирует, всегда боясь того, чтобы сказать слишком много и не сказать достаточно; злоупотребляя словами с простаками, обобщая, чтобы не компрометировать себя, выбирая, чтобы

ни на что не соглашаться, он три раза поворачивается вокруг себя самого и семь раз почешет подбородок, прежде чем сказать свое последнее слово. Приходит ли он, наконец, к какому-то к выводу? он перечитывает, он толкует, комментирует; он дает себе пытку найти в каждой частице своего поступка глубокий смысл, а в самых ясных фразах — противоположность тому, что в них сказано.

Какое бесконечное искусство, какое лицемерие в отношениях с рабочим человеком! От простого руководителя до крупного предпринимателя, как они договариваются эксплуатировать его! как они умеют спорить о работе, чтобы получить ее по самой подлой цене! Для начала это надежда, за которую хозяин получает движение дела; затем обещание, что он учитывает наряд (на работу); затем испытание, жертва (поскольку ему никто не нужен), которую несчастный должен признать, довольствуясь самой низкой заработной платой; это бесконечные требования и перегрузки, вознаграждаемые самыми грабительскими и фальшивыми расчетами. И надо, чтобы рабочий замолчал и поклонился, чтобы он сжал кулак под рабочей блузой: ведь начальник руководит делом так, чтобы быть счастливым от участия в мошенничествах. И это отвратительное давление, такое спонтанное, такое наивное, такое свободное от всякого высшего порыва, потому что общество еще не нашло способа предотвратить его, подавить, наказать, его приписывают социальному принуждению! Какое безобразие!

Коммивояжер — это тип, высочайшее выражение монополии, резюме торговли, то есть цивилизации. Любая функция зависит от него, участвует в нем или ассимилируется с ним: поскольку с точки зрения распределения богатств отношения людей между собой все сводятся к обмену, то есть к перемещению стоимостей, можно сказать, что цивилизация персонифицировалась в коммивояжере.

Расспросите коммивояжеров о нравственности их профессии; они будут добросовестны: все они скажут вам, что коммивояж — это разбой. Жалуются на мошенничество и фальсификации, которые позорят промышленность: торговля, я имею в виду прежде всего агентскую (разъездную), — не что иное, как гигантский и постоянный заговор монополистов, по очереди конкурирующих или сговаривающихся; это уже не функция, осуществляемая ради законной прибыли, это обширная организация ажиотажа по всем предметам потребления, так же, как по передвижению людей и товаров. Уже жульничество признано терпимым в этой профессии: сколько приписок в накладных, сколько вычеркнуто, фальсифицировано! Сколько печатей сфабриковано! Сколько скрытого или выдуманного ущерба! Сколько вранья о качествах! Сколько слов — данных и взятых назад! Сколько частичных удалений! Сколько интриг и коалиций! И сколько предательств!

Коммивояжер, то есть торговец, то есть человек, — игрок, клеветник, шарлатан, продажный, вор, фальсификатор...

Это эффект нашего антагонистического общества, — замечают неомистики. Так говорят люди торговли, первые из тех, кто при любых обстоятельствах обвиняют

коррупцию века. То, что они делают, по их мнению, происходит совершенно против их воли: они следуют необходимости, они находятся в обстоятельствах самообороны.

Нужны ли гениальные усилия, чтобы понять, что эти взаимные упреки достигают самой природы человека, что так называемое извращение общества есть не что иное, как извращение самого человека, и что противопоставление принципов и интересов — это всего лишь случайность, так сказать, внешняя, которая подчеркивает, но без необходимого влияния, и черноту нашего эгоизма, и те редкие достоинства, которыми гордится наш род?

Я понимаю дисгармонию конкуренции и ее непреодолимые последствия: это неизбежность. Конкуренция в своем главном выражении — сцепление (шестеренка), посредством которого рабочие используют взаимное ободрение и поддержку. Но пока не осуществится организация, которая должна вознести конкуренцию до ее настоящего естества, она остается гражданской войной, в которой производители, вместо того чтобы помогать друг другу в труде, перемалывают и сокрушают друг друга трудом. Опасность здесь была неминуема: человек, чтобы отвратить ее, обладал высшим законом любви; и нет ничего проще, подталкивая конкуренцию в интересах производства до крайних пределов, исправлять потом ее смертоносные последствия справедливым распределением. Далекая от этого, эта анархическая конкуренция уподобилась душе и разуму рабочего. Политэкономия вручила человеку это оружие смерти — и он ударил им; он использовал конкуренцию, как лев использует свои когти и челюсти, чтобы убивать и пожирать. Как же, повторяю, внешняя случайность изменила природу человека, которого предполагают хорошим, и мягким, и общительным?

Виноторговец призывает к себе на помощь желе, магнит, моль¹, воду и яды; в сочетаниях, полученных от своего руководителя, он добавляет все это к разрушительным эффектам конкуренции. Откуда такая ярость? Оттуда, — говорите вы, — что его конкурент подает ему пример! А этого конкурента кто провоцирует? Другой конкурент. Когда мы рассмотрим общество, тогда мы обнаружим, что это масса, а в массе каждый человек, в особенности по молчаливому согласию своих страстей, гордыни, лени, жадности, недоверия, ревности организовал эту ненавистную войну.

Сгруппировав вокруг себя орудия труда, производственное сырье и рабочих, предприниматель должен обрести в продукте вместе с расходами, которые он понесет, сначала проценты своих капиталов, а затем прибыль. Именно в результате этого принципа ссуда под проценты в конце концов утвердилась, а выгода, рассматриваемая сама по себе, всегда считалась законной. В этой системе, поскольку даже полиция прошлого не замечала сокровенного противоречия ссуды под проценты, наемный работник, вместо того чтобы подчиняться непосредственно себе, должен

¹ La pyrale у Прудона переводится как «бабочка, чьи гусеницы поедают растения». — А.А. А-О.

был зависеть от своего начальника — как вооруженный человек принадлежал графу, как племя — патриарху. Такое устройство отношений было необходимо, и до тех пор, пока не установится полное равенство, его могло хватить для благополучия всех. Но когда хозяин в своем беспорядочном эгоизме сказал служащему: ты от меня доли не получишь, и обрадовал его тем же трудом и зарплатой, где же фатальность, где оправдание? Придется ли еще, чтобы оправдать *аппетит похотливый*, отбрасывать нас к *аппетиту вспылчивому*? Остерегайтесь: отступая, чтобы оправдать человека в черед его похотей, вместо того чтобы спасти его нравственность, вы предаете ее. Что касается меня, то я предпочитаю виновного человека свирепому зверю. Природа сделала человека общительным: спонтанное развитие его инстинктов иногда делает его ангелом милосердия, иногда очаровывает его чувством братства и идеей преданности. Но существовал ли когда-нибудь капиталист, утомленный наживой, способствующий общему благу и сделавший освобождение пролетариата своей последней операцией? Это должны быть такие люди, фавориты успеха, у которых все есть, кроме короны благотворительности: но какой бакалейщик, разбогатев, начинает продавать по себестоимости? Какой пекарь, у которого столько дел, бросает свою клиентуру и заведение своим мальчикам-работникам? какой аптекарь, выйдя на пенсию, поставяет лекарства по себестоимости? Если у милосердия есть свои мученики, почему же у него нет своих поклонников? Если бы внезапно сформировался конгресс рантье, капиталистов и предпринимателей, проводящих реформы, но все еще пригодных для службы, чтобы безвозмездно заполнить определенное количество отраслей, общество за короткое время реформировалось бы снизу доверху. Но работать даром!... это от Винсента де Поля², Фенелона³, от всех тех, чья душа всегда была отделена, а сердце бедно. Человек, обогатившись наживой, станет городским советником, членом благотворительного комитета, офицером приютов; он будет выполнять все почетные функции, кроме именно той, которая была бы эффективной, но противной его привычкам. Работать без надежды на прибыль! это невозможно, так как это будет означать самоуничтожение. Может быть, он и захочет; но у него не достанет смелости. *Video meliora proboque, deteriora sequor*. Собственник в отставке — это на самом деле тот филин из басни, который собирает плоды бука для своих искалеченных мышей, в ожидании, когда он сам же их и сожрет. Стоит ли еще обвинять общество в этих последствиях столь продолжительной, столь свободно, столь полно услаждаемой страсти?

Кто же тогда объяснит эту тайну множественного и разноголосого существа, способного как на высшие добродетели, так и на самые страшные преступления? Собака лижет своего хозяина, который бьет ее; потому что природа собаки — верность, и эта природа никогда не покидает ее. Агнец укрывается в объятиях пастыря, который в итоге обдирает и поедает его; потому что неотделимый характер овцы — кротость и

² Викентий де Поль — католический святой, основатель конгрегаций лазаристов и дочерей милосердия. — А.А. А-О.

³ Франсуа де Салиньяк де Ла Мот-Фенелон — французский священник, писатель, автор романа «Приключения Телемака», популярного в XVIII—XIX вв. — А.А. А-О.

покой. Конь мчится сквозь пламя и стрельбу, не касаясь своими быстрыми копытами раненых и мертвых, лежащих на его пути; потому что душа коня неистощима в своем великодушии. Эти животные — мученики во имя нас по своей постоянной и преданной природе. Но слуга, который защищает своего господина с риском для жизни, за небольшое количество золота предает и убивает его; целомудренная жена оскверняет постель в связи с отвращением или с отсутствием, и в Лукреции мы находим Мессалину; владелец, по очереди отец и тиран, приподнимает и восстанавливает своего разоренного фермера, и отвращает со своих земель свою слишком многочисленную семью, увеличенную по слову феодального договора; военный человек, зеркало и образец рыцарства, делает из трупов своих товарищей средство для собственного продвижения вперед. Эпаминондас⁴ и Регулус⁵ торгуют кровью своих солдат: какие доказательства прошли перед моими глазами! и по ужасному контрасту профессия жертвоприношения наиболее плодотворна в трусости. У человечества есть свои мученики и отступники: чему, опять же, я приписываю этот раскол?

К антагонизму общества, говорите вы всегда; к состоянию разлуки, изоляции, вражды со своими ближними, в котором до сих пор жил человек; одним словом, к тому отчуждению его сердца, которое заставило его принять наслаждение за любовь, собственность за обладание, наказание за труд, пьянство за радость; к тому ложному сознанию, наконец, раскаяние которого не переставало преследовать его под именем *первородного греха*. Когда человек, примирившись с самим собой, перестанет смотреть на своего ближнего и на природу как на враждебные силы, тогда он будет любить и производить по спонтанности своей энергии; его страсть будет отдавать так же, как она сегодня приобретает; и он будет искать в труде и самоотверженности свое единственное счастье, свое высшее наслаждение. Тогда любовь станет истинно и безраздельно законом человека, справедливость останется лишь пустым именем, назойливым воспоминанием о периоде насилия и слез.

Разумеется, я не игнорирую ни факта антагонизма, или, как вам будет угодно назвать, религиозного отчуждения, ни необходимости примирения человека с самим собой; вся моя философия есть лишь вечность примирений. Вы признаете, что противоречие нашей природы является предпосылкой общества, скажем лучше, материей цивилизации. Это именно тот факт, но, заметьте, нерушимый факт, смысл которого я ищу. Конечно, мы были бы близки к взаимопониманию, если бы вместо того, чтобы рассматривать инакомыслие и гармонию человеческих способностей как два отдельных, отрезанных и последовательных периода в истории, вы согласились бы видеть в них, как и я, лишь две стороны нашей природы, всегда противоположные, всегда добивающиеся примирения, но никогда полностью не примиренные. Одним словом, поскольку индивидуализм — исконное качество человечества, то объединение — это дополнительный термин; но оба они находятся

⁴ Эпаминонд — древнегреческий военачальник. — А.А. А-О.

⁵ Марк Атилий Регул — древнеримский военачальник и политик. — А.А. А-О.

в непрестанном проявлении, и на земле справедливость вечно является условием любви.

Таким образом, догмат грехопадения есть не только выражение особого, преходящего состояния разума и человеческой морали: это спонтанное, в символическом стиле, оттого столь же удивительное, сколь и несокрушимое, исповедание вины в склонности ко злу нашего рода. Горе мне грешному, — восклицает со всех сторон и на всех языках сознание рода человеческого, *Vae nobis quia peccavimus!* (Горе нам, потому что мы согрешили!). Религия, конкретизируя и драматизируя эту идею, вполне могла перенести за пределы мира и на задворки истории то, что интимно и неотвратимо для нашей души; это было с ее стороны всего лишь интеллектуальным миражом: она не ошиблась в существенности и устойчивости факта. Значит, именно этот факт всегда является оправданием, и именно с этой точки зрения мы будем объяснять догмат о первородном грехе.

У всех народов были свои искупительные обычаи, покаянные жертвы, репрессивные и уголовные институты, рожденные ужасом и сожалением о грехе (первородства). Католицизм, который воздвигает теорию повсюду, где общественная спонтанность выражает идею или возлагает надежду, превращает в таинство как символическую, так и действительную церемонию, посредством которой грешник выражает свое покаяние, просит у Бога и людей прощения за свою вину и готовится к лучшей жизни. Поэтому я не сомневаюсь, что Реформация, отвергая раскаяние, опираясь на слово «метанойя»⁶, приписывая вере только добродетель, развенчивая, наконец, наказание, сделала шаг назад и полностью проигнорировала закон прогресса. Отрицать — еще не значит отвечать. Злоупотребления церкви призывали с этой точки зрения, как и многое другое, к реформе; теории наказания, проклятия, отпущения грехов и благодати содержали, если позволено так сказать, в скрытом состоянии, всю систему воспитания человечества; надо было развивать, подталкивать к рационализму эти теории: Лютер умел только разрушать. Предсмертное исповедание было деградацией покаяния, двусмысленной демонстрацией, замененной великим актом смирения; Лютер рассчитывая на папистское лицемерие, сократил первобытное исповедание перед Богом и людьми (*exomologoumai tô théô kai humin, adelphoï*) до монолога. Христианский смысл, таким образом, был утрачен; и лишь три века спустя он был восстановлен философией.

Затем, поскольку христианство, то есть религиозное человечество, не могло ошибиться в РЕАЛЬНОСТИ факта, существенного для человеческой природы, того факта, который оно обозначило словами *изначального преступления*, давайте еще раз спросим христианство, человечество, о СМЫСЛЕ этого факта. Не будем удивляться ни метафоре, ни аллегории: истина не зависит от фигур (речи). А впрочем, что для нас есть истина, если не непрекращающийся прогресс нашего духа от поэзии к

⁶ *Metanoïa* (фр.) — буквально означает перемену в отношении к каким-либо событиям и сожаление, в религии фактически является синонимом понятия «покаяние»; Прудон использует это слово в противовес понятиям «раскаяние» и «наказание». — А.А. А-О.

прозе?

И сначала давайте выясним, не будет ли эта своеобразная идея изначальной предначертанности иметь где-то в христианском богословии свою коррелятивность. Ибо истинная идея, родовая идея, не может быть результатом изолированного замысла; нужна серия.

Христианство, заложив в качестве первого термина догмат грехопадения, продолжило свою мысль, утверждая для всех, кто умирал в этом состоянии скверны, бесповоротное отделение от Бога, вечное мучение. Затем оно дополнило свою теорию, примиряя эти две противоположности догмой реабилитации или благодати, согласно которой всякая тварь, рожденная в ненависти к Богу, примиряется заслугами Иисуса Христа, которые вера и покаяние делают действенными. Таким образом, сущностная испорченность нашей природы и вечная кара, кроме искупления добровольным участием в жертве Христовой: такова в сумме эволюция богословской идеи. Второе утверждение является следствием первого; третье — отрицанием и преобразованием двух других: ведь изначальное зло нерушимо, а искупление, которое оно влечет, вечно, если только не появится высшая сила, которая посредством полного обновления разорвет эту участь и прекратит анафему.

Человеческий разум в своих религиозных фантазиях, как и в своих самых положительных теориях, всегда имеет только один метод: та же метафизика произвела христианские мистерии и противоречия политической экономии; вера, сама того не ведая, происходит из разума; и мы, исследователи божественных и человеческих проявлений, имеем право именем разума проверить гипотезы богословия.

Что же, таким образом, вселенский разум, сформулированный в религиозных догмах, увидел в человеческой природе, когда посредством столь точного метафизического построения он по очереди утверждал *неразумность* проступка, вечность наказания, необходимость помилования? Завесы богословия начинают становиться настолько прозрачными, что она вполне напоминает естествознание.

Если мы предположим операцию, посредством которой высшее существо произвело все существа, уже не как эманацию, изливание созидательной силы и бесконечной субстанции, а как разделение или дифференциацию этой существенной силы, то каждое организованное или неорганизованное существо предстанет перед нами как специальный представитель одной из бесчисленных виртуальностей бесконечного бытия, как расщепление абсолюта; и совокупностью всех этих индивидуальностей (флюидов, минералов, растений, насекомых, рыб, птиц и четвероногих) будет творение, будет вселенная.

Человек, это резюме вселенной, суммирует и синкретирует в своем лице все виртуальности бытия, все расколы абсолюта; он — вершина, где эти виртуальности, существующие только в силу своего расхождения, объединяются в пучок, но не проникают друг в друга и не путаются. Человек, следовательно, одновременно, по-

средством этой агрегации, — дух и материя, спонтанность и размышление, механизм и живое, ангел и бес. Он гадкий клеветник, кровожадный, как тигр, обжорливый, как свинья, непристойный, как обезьяна; и преданный, как собака, великодушный, как лошадь, трудолюбивый, как пчела, моногамный, как голубь, общительный, как бобр и овца. Более того, он человек, то есть разумный и свободный, склонный к образованию и совершенствованию. Человек пользуется такими же именами, как Юпитер: все эти имена написаны на его лице; и в разнообразном зеркале природы его непогрешимый инстинкт умеет распознать их. Змея прекрасна с точки зрения разума; именно убеждение находит ее отвратительной и уродливой. Древние, как и современники, уловили эту конституцию человека путем агломерации всех земных виртуальностей: работы Галла и Лаватера⁷ были, если можно так сказать, всего лишь попытками дезагрегирования человеческого синкретизма, а классификация, которую они составили из наших способностей, — сокращенной картиной природы. Человек, наконец, подобно пророку в львиной яме, действительно предан зверям; и если что-то и должно сообщить потомству о гнусном лицемерии нашего времени, так это то, что ученые, фанатичные спиритуалисты, верили, что служат религии и морали, искажая наш род и заставляя лгать анатомию.

Поэтому вопрос только в том, зависит ли от человека, невзирая на противоречия, которые множатся вокруг него постепенным распространением его идей, дать больший или меньший рост виртуальности, находящейся в его власти, или, как говорят моралисты, его страстям; другими словами, если, подобно древнему Гераклу, он сможет победить животное начало, которое его одолевает, адский легион, который, кажется, всегда готов его пожрать.

Однако всеобщее волеизъявление народов свидетельствует, как мы отмечали в главах III и IV, о том, что человек, невзирая на все его животные влечения, стремится к разуму и свободе, то есть вначале к способности оценивать и выбирать, а затем к силе действий, не равнодушной к добру и злу. Кроме того, мы обнаружили, что эти две способности, оказывающие друг на друга необходимое влияние, были способны к развитию, к бесконечному совершенствованию.

Общественная судьба, слово человеческой тайны, таким образом, заключено в этом: ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОГРЕСС.

Воспитание свободы, укрощение наших инстинктов, избавление или искупление нашей души — вот, как доказал Лессинг⁸, смысл христианской тайны. Это воспитание будет происходить в течение всей нашей жизни и всей жизни человечества: противоречия политической экономии могут быть разрешены; сокровенное

⁷ Прудон имеет в виду Франца Йозефа Галля (1758—1828 гг.), австрийского врача и анатома, основателя френологии, и Иоганна Каспара Лафатера (1741—1801 гг.), швейцарского писателя, также ставшего известным в области френологии; см. «Системы Галля и Лафатера». — А.А. А-О.

⁸ Готхольд Эфраим Лессинг (1729—1781 гг.), немецкий поэт, драматург, критик. — А.А. А-О.

противоречие нашего бытия никогда не будет разрешено. Вот почему великие учителя человечества — Моисей, Будда, Иисус Христос, Зороастр — все были апостолами искупления, живыми символами покаяния. Человек по своей природе грешен, то есть по существу не *зловредный*, а скорее *нескладный* (плохо скроенный), и его предназначение — вечно воссоздавать в себе свой идеал. Именно это глубоко чувствовал величайший из художников Рафаэль, когда говорил, что искусство состоит в том, чтобы делать вещи не такими, как их сделала природа, а такими, какими ей следовало их сделать.

Так что это мы должны отныне учить богословов, ибо только мы продолжаем традицию Церкви, только мы обладаем смыслом Священного писания, Соборов и Отцов. Наше толкование опирается на все, что есть наиболее определенное и достоверное, на самый высокий авторитет, который может быть у людей, на метафизическое строение идей и фактов. Да, человек порочен, потому что нелогичен, потому что его конституция — всего лишь эклектика, постоянно удерживающая в борьбе виртуальности бытия, независимо от общественных противоречий. Жизнь человека — это лишь непрерывная сделка между трудом и горем, любовью и наслаждением, справедливостью и эгоизмом; а добровольная жертва, которую человек совершает по велению своих худших побуждений, — это крещение, которое готовит его примирение с Богом, которое делает его достойным Блаженного Союза и вечной благодати.

Таким образом, цель общественной экономики, неуклонно обеспечивающей порядок в труде и способствующей воспитанию вида, состоит в том, чтобы сделать как можно больше посредством равенства, излишнего милосердия, того милосердия, которое не умеет повелевать своими рабами; или, лучше сказать, вытянуть, как цветок из его стебля, милосердие из справедливости. Эй! если бы милосердие имело силу создать счастье среди людей, оно давно привело бы свои доказательства; а социализм, вместо того чтобы искать, как организовать труд, должен был бы только сказать: берегитесь, вам не хватает благотворительности.

Но, увы! Милосердие в человеке скудное, постыдное, слабое и безразличное; чтобы действовать, ему нужны эликсиры и ароматы. Вот почему я придерживался тройной догмы преступления, проклятия и искупления, то есть совершенства по справедливости. Свобода здесь всегда нуждается в помощи, и католическая теория небесных милостей дополняет эту слишком реальную демонстрацию несчастий нашей природы.

Благодать, говорят богословы, это в порядке спасения — всякая помощь или средство, способное привести нас к вечной жизни. — То есть человек совершенствуется, цивилизовывается, очеловечивается не иначе, как непрерывным спасением опыта, промышленностью, наукой и искусством, наслаждением и скорбью, словом — всеми упражнениями тела и духа.

Есть *обычная* благодать, именуемая также *оправдывающей* и *освящающей*, которая

мыслится как качество, пребывающее в душе, заключающее в себе вселенные добродетели и дары Святого Духа и то, которое не отделимо от милосердия. — Иными словами, обычная благодать — символ преобладающих притяжений добра, которые ведут человека к порядку и любви, в центре которых ему удастся укротить свои дурные наклонности и остаться хозяином в своем пространстве. Что же касается *современной* благодати, то она указывает на внешние средства, способствующие расцвету чувств порядка и служащие для борьбы с подрывными страстями.

Благодать, по мнению Святого Августина, по существу безвозмездна, и предшествует в человеке греху. Боссюэ⁹ выразил ту же мысль в своем стиле, полном поэзии и нежности: *когда Бог со творил внутреннее содержание человека, он прежде всего вложил в него доброту*. — Действительно, первое определение свободы воли заключается в этой природной *доброте*, посредством которой человек непрестанно побуждается к порядку, труду, учебе, скромности, милосердию и жертвенности. Поэтому святой Павел, не нападая на свободную волю, мог сказать, что во всем, что связано с исполнением добра, *Бог действует в нас желанием и действием*. Ибо все святые устремления человека находятся в нем еще до того, как он мыслит и чувствует; и смятение сердца, которое он испытывает, когда насилует их, восторг, который переполняет его, когда он подчиняется им, все приглашения, наконец, исходящие к нему от общества и его воспитания, не принадлежат ему.

Когда благодать такова, что воля с ликованием и любовью без колебаний и бесповоротно устремляется к добру, она называется *действенной*. — Все видели такие душевные проявления, которые провоцируют вдруг акт героизма. Свобода не погибает в ней; но, по ее предопределениям, можно сказать, что она была неизбежна, чтобы так решиться. И пелагианцы¹⁰, лютеране и другие ошибались, говоря, что благодать подрывает свободную волю и убивает ее созидательную силу; поскольку все определения воли обязательно исходят или от общества, которое ее поддерживает, или от природы, которая открывает ему поприще и показывает ему его предназначение.

Но, с другой стороны, августины, томисты, конгруисты, Янсениус, П. Томассен, Молина и т.д. странным образом презирали друг друга, когда, поддерживая одновременно и свободу воли, и благодать, не видели, что между этими двумя терминами существует такая же связь, как между веществом и образом, и когда признали оппозицию, которая не существует. Необходимо, чтобы свобода, как и разум, как всякое вещество и сила, определялась, то есть имела свои состояния и атрибуты. Однако, в то время как в этом вопросе образ и атрибут присущи веществу, будучи современными веществу; в свободе режим дается тремя, так сказать, внешними агентами: человеческой сущностью, законами мышления,

⁹ Жак Бенинь Боссюэ, французский проповедник XVII в. — А.А. А-О.

¹⁰ Производное от имени Пелагия, британского богослова-ересиарха IV в., отрицавшего догму первородного греха и возвышавшего способности человека. — А.А. А-О.

упражнениями или воспитанием. *Благодать*, наконец, как и ее противоположность, *искушение*, указывает на сам факт определения свободы.

В итоге все современные представления о воспитании человечества являются лишь интерпретацией, философией католической доктрины благодати, доктрины, которая не показалась ее авторам туманной только из-за их представлений о свободе воли, которая, по их мнению, угрожала, как только говорили о благодати или источнике ее определений. Напротив, мы утверждаем, что свобода, сама по себе безразличная ко всяким условиям, но предназначенная действовать и формироваться в соответствии с заранее установленным порядком, получает свой первый импульс от Творца, который внушает ей любовь, разум, мужество, решимость и все дары Святого Духа, а затем передает ее работе опыта. Отсюда следует, что благодать необходимо *первозданна*, что без нее человек не способен ни на какие блага, и что тем не менее свобода воли самопроизвольно, с обдумыванием и выбором, исполняет свое предназначение. Во всем этом нет ни противоречия, ни тайны. Человек как человек хорош; но, как и тиран, изображенный Платоном, который тоже был «доктором» благодати, человек несет в себе тысячу чудовищ, которых должен одолеть культ справедливости и науки, музыки и гимнастики, все милости случая и состояния. Исправьте какое-нибудь определение в святом Августине, и все это учение о благодати, прославленное спорами, которые вызвали и сбили с толку Реформацию, покажется вам сияющим ясностью и гармонией.

А теперь человек — это Бог?

Бог, согласно богословской гипотезе, является суверенным, абсолютным, высоко синтетическим существом, бесконечно мудрым и свободным и, следовательно, непреходящим и святым; разумно, что человек, синкретизм творения, точка объединения всех физических, органических, интеллектуальных и моральных виртуальностей, проявленных творением; совершенствующийся и подверженный ошибкам человек не удовлетворяет условиям Божественности, которые природа его разума предполагает. Он не Бог, он не сможет, в процессе бытия, стать Богом.

Более того, дуб, лев, Солнце, сама вселенная, осколки абсолюта, не являются Богом. Таким же образом ниспровергаются антропология и физиология.

Теперь речь идет об обратном испытании этой теории.

С точки зрения социальных противоречий мы оценили нравственность человека. Мы, в свою очередь, оценим и с той же точки зрения мораль Провидения. Иными словами, возможен ли Бог, которого умозрение и вера предадут поклонению смертным?

§ II. Описание мифа о Провидении. Отступление Бога

Из числа трех доказательств, которые у теологов и философов принято приводить в пользу существования Бога, ставят на первое место всеобщее согласие.

Я учел этот аргумент, когда, не отвергая и не признавая его, немедленно задался вопросом: Что, утверждая Бога, утверждает всеобщее согласие? И в связи с этим я должен напомнить, что различие религий не является свидетельством той ошибки, в которую впал человеческий род, утверждая вне себя высшее Я, равно как и разнообразие языков не является свидетельством нереальности разума. Гипотеза о Боге, отнюдь не ослабевая, тем не менее укрепляется и ослабляется самим расхождением и противопоставлением культов.

Аргумент иного рода тяготеет к миропорядку. В связи с этим я заметил, что природа, спонтанно утверждающая человеческим голосом свое собственное различие в духе и материи, — остается выяснить, управляет ли бесконечный дух, мировая душа, в своей смутной интуиции, вселенной, как и сознанием, — говорит нам, что дух одушевляет человека. Если таким образом, — добавил я, — порядок был безошибочным показателем присутствия духа, то во вселенной нельзя было не признать присутствия Бога.

К сожалению, это не доказано и не может быть доказано. Ибо, с одной стороны, чистый дух, сконструированный в противоположность материи, есть противоречивая сущность, о реальности которой ничто, следовательно, не может свидетельствовать.

С другой стороны, некоторые упорядоченные сами в себе сущности, такие как кристаллы, растения, планетная система, которые в ощущениях, которые они заставляют нас испытывать, не вызывают у нас, подобно животным, чувство ради чувства, кажутся нам совершенно лишенными сознания, и оснований располагать разум в центре мира существует не больше, чем предполагать его в спичке; и может случиться так, что если разум, сознание, где-то и существует, то только в человеке.

Однако если мировой порядок не может ничего сообщить о существовании Бога, он открывает, возможно, не менее ценную вещь, которая послужит нам вехой в наших исследованиях: это то, что все существа, все сущности, все явления прикованы друг к другу совокупностью законов, вытекающих из их свойств, вместе названных мною (гл. III) *неизбежностью* или *необходимостью*. Что, следовательно, существует

бесконечный разум, охватывающий всю систему этих законов, все поле фатальности; что с этим бесконечным разумом объединяется в сокровенном проникновении высшая воля, вечно определяемая совокупностью космических законов и потому бесконечно могущественная и свободная; что, наконец, эти три вещи — фатальность, разум, воля — современны и адекватны друг другу во Вселенной, и идентичны: ясно, что до сих пор мы не находим ничего противоречащего; но именно эту гипотезу, именно этот антропоморфизм еще предстоит продемонстрировать.

Таким образом, в то время как свидетельство рода человеческого открывает нам Бога, не говоря о том, каким может быть этот Бог; мировой порядок открывает нам неизбежность, то есть абсолютный и непреложный набор причин и следствий, одним словом, систему законов, которая была бы, если бы Бог существовал как вид и знание этого Бога.

Третье и последнее доказательство существования Бога, предложенное теистами и названное ими метафизическим доказательством, есть не что иное, как тавтологическое построение категорий, которое абсолютно ничего не доказывает.

Что-то существует, значит, существует что-то.

Что-то множественно, значит, что-то одно.

Что-то происходит после чего-то, значит, что-то предшествует чему-то.

Что-то меньше или больше, чем что-то, значит, что-то больше, чем все остальное.

Что-то движется, значит, что-то является движущей силой,

и т. д., до бесконечности.

Это то, что до сих пор называется на факультетах и конференциях, со слов министра народного просвещения и монсеньеров епископов, — приводить метафизическое доказательство существования Бога. Вот то, что элита французской молодежи обречена блять вслед за своими преподавателями, в течение года, под страхом не получить диплом и с невозможностью изучать право, медицину, политехнику и науки. Конечно, если что и должно удивлять, так это то, что с такой философией Европа еще не атеистична. Упорство теистической идеи рядом с тарабарщиной школ и величайшим из чудес; она образует сильнейший предрассудок, на который можно ссылаться во славу Божества.

Я не знаю, что человечество называет Богом.

Я не могу сказать, человек ли это, вселенная, или какая-то другая невидимая реальность, которую под этим именем следует понимать; или это слово выражает только идеал, сущность разума.

Однако, чтобы воплотить в жизнь мою гипотезу и мои исследования, я буду рассматривать Бога, следуя тривиальному мнению, как отдельное существо, присутствующее повсюду, отдельное от творения, наделенное нетленной жизнью,

как бесконечной наукой и деятельностью, но все предвидящее и справедливое, карающее порок и вознаграждающее добродетель. Я отброшу пантеистическую гипотезу, как лицемерную и бездушную. Бог — личный, или его нет: эта альтернатива — аксиома, из которой я выведу всю свою теодицею.

Таким образом, для меня сейчас, — чтобы не заботиться о вопросах, которые могут возникнуть в будущем в связи с идеей Бога, — важно знать, с учетом фактов, которые я видел в обществе, что я должен думать о поведении Бога, как это предлагается в моей вере, и относительно человечества. Словом, именно с точки зрения доказанного существования зла я хочу с помощью новой диалектики прощупать, изучить Высшее существо.

Зло существует: по этому вопросу сейчас все, кажется, согласны.

Так вот, спрашивали стоики, эпикурейцы, манихеи¹, атеисты, как соотносить присутствие зла с идеей суверенно доброго, мудрого и могущественного Бога? Как же тогда Бог, то ли беспомощный, то ли нерадивый, то ли злой, позволив злу проникнуть в мир, мог возложить ответственность за их поступки на создания, которых он сам создал несовершенными, и тем самым предал всем опасностям их тяготений? Как, наконец, поскольку он обещает праведникам после смерти неизбывное блаженство, или, другими словами, поскольку он дает нам идею и желание счастья, но не дает нам наслаждаться им уже в этой жизни, заставляя нас радоваться искушению зла, вместо того чтобы подвергать нас вечным мучениям?

Таково, в своем старинном составе, содержание протеста атеистов.

Сегодня почти не спорят: теисты больше не беспокоятся о логических несоответствиях своей системы. Нам нужен Бог, Провидение прежде всего: по этому пункту идет конкуренция между радикалами и иезуитами. Социалисты проповедуют во имя Бога счастье и добродетель; в школах те, кто выступают сильнее всего против Церкви, являются первыми из мистиков.

Древние теисты больше заботились о своей вере. Они стремились если не продемонстрировать ее, то, по крайней мере, сделать ее разумной, прекрасно чувствуя в отношении своих преемников, что без убежденности нет для верующего ни достоинства, ни покоя.

Поэтому отцы Церкви отвечали неверующим, что зло — это лишь *лишение большего блага*, и что в рассуждениях о *лучшем* не хватает точки опоры, на которой можно было бы закрепится, что ведет прямо к абсурду. Поскольку всякое творение обязательно ограничено и несовершенно, Бог в своем бесконечном могуществе

¹ Синкретическое религиозное течение, существовавшее в эпоху династии Сасанидов в III в. н. э. на территории нынешнего Ирака. — А.А. А-О.

может непрестанно прибавлять к своим совершенствам: в этом отношении всегда, в той или иной степени, в творении есть лишение блага. И наоборот, настолько несовершенное и ограниченное творение, как предполагают, с момента своего существования оно пользуется определенной степенью блага, лучшей для него, нежели небытие. Поэтому, если есть правило, по которому человек считается добрым до тех пор, пока он творит все добро, которое он может творить, то это не так в случае с Богом, так как обязанность бесконечно творить добро противоречива в самой способности творить: совершенство и творение — два термина, которые необходимо взаимоисключительны. Таким образом, Бог был единственным судьей той степени совершенства, которую надлежало дать каждому творению: выдвинуть в этом отношении обвинение против него — значит оклеветать его справедливость.

Что же касается греха, то есть нравственного зла, то у Отцов были в ответ на возражения атеистов теории свободы воли, искупления, оправдания и благодати, к которым нам больше не придется возвращаться.

У меня нет понятия о том, что атеисты категорически возразили этой теории несовершенства, присущего творению, — теории, ярко воспроизведенной г-ном де Ламенне в его «Эскизе»². На самом деле они не могли ответить; ибо, рассуждая согласно ошибочному представлению о зле и свободной воле и в глубоком неведении законов человечества, им также не хватало причин ни для того, чтобы восторжествовать над своим сомнением, ни для того, чтобы опровергнуть верующих.

Выйдем из сферы конечного и бесконечного и разместимся в концепции порядка. Может ли Бог сделать круглый круг, квадрат с прямыми углами? — Несомненно.

Был бы Бог виноват, если бы, сотворив мир по законам геометрии, он ввел нас в разум или только позволил нам поверить — без того, чтобы это было нашей ошибкой, что круг может быть квадратным, или квадрат круглым, и это ложное мнение должно было привести нас к неисчислимой череде зла? — Без сомнения, еще раз.

Ну вот! вот как раз то, что сделал Бог, Бог Провидения, в управлении человечеством; вот в чем я его обвиняю. Он знал из всей вечности, — так как после шести тысяч лет мучительного опыта мы, смертные, это сами обнаружили, — что порядок в обществе, то есть свобода, богатство, наука, достигается путем примирения противоположных идей, каждая из которых, в частности, считается абсолютной, должны были ввергнуть нас в пучину страданий: почему он не предупредил нас? Почему он с самого начала не выправил наше суждение? Почему он оставил нас с несовершенной логикой, особенно когда наш эгоизм должен был позволить себе

² Фелисите Робер де Ламенне (1782—1854), французский священнослужитель (аббат), публицист и философ; считается одним из основоположников христианского социализма. — А.А. А-О.

несправедливость и коварство? Он знал, этот ревнивый Бог, что, предавая нас рискам опыта, мы поздно обречем ту безопасность жизни, которая составляет все наше счастье: почему, когда мы открыли собственные законы, он не сократил это долгое обучение? Почему, вместо того чтобы увлечь нас противоречивыми взглядами, он не перевернул опыт, проведя нас путем анализа от синтетических идей к антиномиям, вместо того, чтобы позволить нам мучительно взбираться на крутую вершину от антиномии к синтезу?

Если, как ранее думали, зло, от которого страдает человечество, происходит только от неизбежного несовершенства во всяком творении; скажем лучше, если бы это зло было причиной только антагонизма возможностей и желаний, составляющих наше существо, и разум должен научить нас владеть и управлять, мы не имели бы права жаловаться. Так как наше условие было таким, каким оно могло быть, Бог будет оправдан.

Но перед этой невольной иллюзией нашего понимания, иллюзией, которую так легко было развеять, и последствия которой должны были быть столь ужасны, где оправдание Провидения? Не правда ли, что здесь благодать миновала человека? Бог, которого вера представляет как нежного отца и благоразумного учителя, предает нас фатальности наших незавершенных замыслов; он роет ров под нашими ногами; он заставляет идти нас вслепую: и потом, при каждом падении, он обвиняет нас в злодействе. Что я говорю? кажется, несмотря на него, что в конце всего пути мы узнаем свою дорогу; это как если оскорбить его славу, став, через испытания, которые он налагает на нас, умнее и свободнее. Что же нам, таким образом, нужно непрерывно требовать от Божества, и чего хотят от нас эти спутники Провидения, которое вот уже шестьдесят веков с помощью тысячи религий обманывает и сбивает нас с толку?

Что! Бог своими вестниками и законом, который он вложил в наши сердца, повелевает нам любить ближнего, как самих себя, поступать с другими так, как мы хотим, чтобы поступали с нами, отдавать каждому то, что ему причитается, не жульничать с заработной платой рабочего, не давать займы ростовщичеством; к тому же он знает, что милосердие в нас едва теплится, совесть колеблется, и что малейший предлог всегда кажется нам достаточным основанием для освобождения нас от закона: и именно с подобными положениями он втягивает нас в противоречия торговли и собственности, где, по неизбежности теорий, должны неизбежно погибнуть милосердие и справедливость! Вместо того, чтобы просвещать наш разум о сфере принципов, которые располагаются в этой сфере со всей властью необходимости, но последствия которых, утверждаемые эгоизмом, смертельны для человеческого братства, он ставит этот обманутый разум на службу нашей страсти; он разрушает в нас обольщением духа равновесие совести; он оправдывает в наших собственных глазах наши присвоения и скупость; он делает неизбежным, законным отделение человека от себе подобного; он создает между нами разделение и ненависть, делая невозможным равенство трудом и правом; он заставляет нас верить, что это равенство, закон мира, несправедливо между людьми: и потом он массово нас

изгоняет за то, что мы не умеем исполнять его непонятные предписания! Конечно, я думаю, что доказал, что отказ от Провидения не оправдывает нас; но, каким бы ни было наше преступление, мы не виновны перед ним; и если есть существо, которое прежде нас и более, чем мы, заслужило ад, то я должен назвать его Богом.

Когда теисты, чтобы установить свой догмат Провидения, утверждают в качестве доказательства природный порядок; и хотя этот аргумент является лишь принципиальным заявлением, все же нельзя сказать, что он подразумевает противоречие, и что приводимый факт противоречит гипотезе. Ничто, например, в системе мира не обнаруживает мельчайшей аномалии, легчайшей незапланированности, из которой можно почерпнуть какое-нибудь предубеждение против идеи высшего, личного разумного движителя. Одним словом, если природный порядок не доказывает реальность Провидения, он не противоречит ему.

Совсем другое дело в управлении человечеством. Здесь порядок не появляется одновременно с материей; он не был, как в системе мира, создан раз и навсегда. Он развивается постепенно в соответствии с судьбоносным рядом принципов и следствий, которые само человеческое существо, существо, которому он предназначен, должно извлекать самопроизвольно, с помощью собственной энергии и под воздействием опыта. Никаких откровений в этом отношении ему не дано. Человек с самого на чала подчинен заранее установленной необходимости, абсолютному и непреодолимому порядку. Но чтобы этот порядок осуществился, нужно, чтобы человек его открыл (обнаружил); чтобы эта необходимость существовала, он должен ее угадать. Эту работу по изобретению можно было бы сократить: никто, ни на небе, ни на земле, не придет на помощь человеку; никто не научит его. Человечество на протяжении сотен веков будет поглощать свои поколения; оно истощится в крови и грязи, если Бог, которому оно поклоняется, ни разу не придет, чтобы просветить его разум и сократить его испытание. Где здесь божественное действие? где провидение?

«Если бы Бога не существовало, — это говорит Вольтер, враг религий, — его следовало бы изобрести». — Почему? — *«Потому что, — добавляет тот же Вольтер, — если бы я имел дело с князем-атеистом, который был бы заинтересован в том, чтобы меня истолкли в ступе, я, конечно, был бы истолчен».* Странная аберрация великого ума! А если бы вы имели дело с набожным князем, которому его исповедник повелел бы от имени Бога сжечь вас заживо, разве вы не были бы уверены, что тоже были бы сожжены? Забудете ли вы инквизицию и Святого Варфоломея³, и костры Ванини⁴ и Бруно, и пытки Галилея, и мученическую гибель стольких свободных мыслителей?... Не пытайтесь здесь различать использование и злоупотребление: ибо

³ Прудон, очевидно, имеет в виду так называемую Варфоломеевскую ночь — массовую расправу католиков над гугенотами в Париже 24 августа 1572 г., произошедшую в канун дня св. Варфоломея. — А.А. А-О.

⁴ Джулио Чезаре Ванини, итальянский философ, просветитель-антиклерикал, подвергшийся в 1619 г. за свои убеждения отрезанию языка и повешению с последующим сожжением трупа. — А.А.

я возразил бы вам, что из мистического и сверхъестественного принципа, который все охватывает, все объясняет, все оправдывает, как идея Бога, что все следствия правомерны, и что усердие верующего является единственным судьей.

«Я когда-то верил, — говорит Руссо, — что можно быть честным человеком и обходиться без Бога: но я отвернулся от этой ошибки». То же самое рассуждение в глубине души, что и у Вольтера, то же оправдание нетерпимости: человек творит добро и воздерживается от зла только по мотивам Провидения, которое следит за ним: анафема тем, кто его отрицает! И, как бы то ни было, тот же человек, который таким образом требует за нашу добродетель наказания воздающего и мстительного Божества, является и тем, кто проповедует в качестве догмата веры прирожденную доброту человека.

А я говорю: первая обязанность умного и свободного человека — непрестанно изгонять идею Бога из своего ума и совести. Ибо Бог, если он существует, по существу враждебен нашей природе, и мы никоим образом не подпадаем под его власть. Мы приходим к науке, невзирая на него, к благополучию, невзирая на него, к обществу, невзирая на него: каждое наше достижение — это победа, в которой мы сокрушаем Божество.

Пусть больше не говорят: неисповедимы пути Господа! Мы проникли в них и в характере пролитой крови прочитали доказательства бессилия, если не злого умысла Бога. Мой разум, длительное время униженный, постепенно поднимается до уровня бесконечности; со временем он откроет все, что скрывает от него неопытность; со временем я стану все меньше и меньше создателем несчастий, и благодаря просвещению, которое я обрету, совершенствуя свою свободу, я очищусь, идеализирую свое существо и стану главой творения, равным Богу. Одно мгновение беспорядка, которое мог предотвратить и которое не стал предотвращать Всевышний, обвиняет его провидение и ставит под сомнение его мудрость: малейший прогресс, который человек, невежественный, покинутый и преданный, совершает в направлении к добру, безмерно его возвышает. По какому праву Бог сказал бы мне: *Будь свят, потому что я свят?* Лживый дух, отвечу я ему, глупый Бог, кончилось твое царствование; ищи другие жертвы среди зверей. Я знаю, что я не являюсь и никогда не стану святым; а как же ты им будешь, если я похож на тебя? Вечный отец, Юпитер или Иегова, мы узнали тебя: ты есть, ты был, ты навсегда будешь ревновать Адама, тиранить Прометея.

Таким образом, я не впадаю в софизм, опровергнутый святым Павлом, когда он запрещает вазе сказать гончару: почему ты сделал меня такой? Я не упрекаю автора вещей в том, что он сделал из меня негармоничное существо, бессвязный комплект; я мог существовать только в таком виде. Я просто кричу ему: почему ты лжешь мне? Почему своим молчанием ты разжег во мне эгоизм? Почему ты подверг меня

А-О.

пытке вселенского сомнения, горькой иллюзии антагонистических идей, которые ты вложил в мое понимание? Сомнения в истине, сомнения в справедливости, сомнения в моем сознании и свободе, сомнения в тебе — о, Боже! и, как следствие этого сомнения, необходимость войны с самим собой и со своим ближним! Вот, Высший отец, что ты сделал для нашего счастья и для своей славы; вот каковы были, с самого начала, твоя воля и твое правление; вот хлеб, смешанный с кровью и слезами, которым ты нас кормил. Грехи, за которые мы просим твоего прощения, — это ты заставляешь нас совершать их; ловушки, от которых мы заклиная тебя избавить, — это ты их расставляешь; и сатана, который осаждает нас, этот Сатана — это ты.

Ты торжествовал, и никто не смел перечить тебе, когда, терзая телом и душой праведного Иова, образ нашего человечества, ты надругался над его искренним благочестием, его сдержанным и благоговейным невежеством. Мы были как новорожденные перед твоим невидимым величием, которому мы отдали небо как балдахин, и землю — как скамью. А теперь ты свергнут и разбит. Твое имя, бывшее так долго последним словом ученого, решением судьи, силой князя, надеждой бедняка, прибежищем кающегося грешника, и...! это непередаваемое имя, отныне обреченное на презрение и анафему, будет освистано среди людей. Потому что Бог — это глупость и трусость; Бог — лицемерие и ложь; Бог — тирания и нищета; Бог — это зло. Пока человечество будет преклоняться перед алтарем, человечество, раб царей и жрецов, будет осуждено; пока человек во имя Бога получит клятву другого человека, общество будет основано на лжесвидетельстве, мир и любовь будут изгнаны из смертных. Бог, отойди! ибо отныне, излечившись от страха тебя и став мудрым, клянусь, простертой к небу рукой, что ты — всего лишь палач моего разума, призрак моей совести.

Поэтому я отрицаю господство Бога над человечеством; я отвергаю его провиденциальное управление, небытие которого в достаточной мере установлено метафизическими и экономическими галлюцинациями человечества, одним словом — мученической смертью нашего рода; я отказываюсь от юрисдикции Высшего существа над человеком; я лишаю его званий отца, царя, судьи, доброго, милостивого, милосердного, милосердного, воздающего и мстящего. Все эти атрибуты, из которых состоит идея Провидения, — всего лишь карикатура на человечество, непримиримая с самостоятельностью цивилизации и к тому же опровергнутая историей ее aberrаций и катастроф. Следует ли из этого — поскольку Бог уже не может быть признан как Провидение, поскольку мы отнимаем у него этот атрибут, столь важный для человека, — что он без колебаний сделал его синонимом Бога, что Бога нет, и что ложность богословского догмата, что касается реальности его содержания, уже сейчас доказана?

Увы! Нет. Предубеждение относительно божественной сущности было уничтожено; таким же образом обнаруживается независимость человека: вот и все. Реальность божественного бытия осталась вне пределов досягаемости, и наша гипотеза все еще остается. Продемонстрировав, в случае с Провидением, что невозможно, чтобы

был Бог, мы сделали в определении идеи Бога первый шаг: теперь речь идет о том, согласуется ли эта первая данность с тем, что осталось от гипотезы, — следовательно, в той же точке разума определить, что Бог есть, если он есть.

Ибо, как и после того, как мы установили виновность человека под влиянием экономических противоречий, мы должны были оправдать эту вину, под страхом искалечить человека и сделать его лишь презренным сатиром; так же, после того, как мы признали химеру провидения в Боге, мы должны искать, как это отсутствие провидения согласуется с идеей суверенного разума и суверенной свободы под угрозой провала предложенной гипотезы, и того, что ничто еще не оказывается ложным.

Поэтому я утверждаю, что Бог, если он Бог, не похож на чучела, которые делали из него философы и священники; что он не мыслит и не действует в соответствии с законом анализа, предвидения и прогресса, который является отличительной чертой человека; что, напротив, он, по-видимому, идет обратным, ретроградным путем; что интеллект, свобода, личность в Боге сформированы иначе, чем в нас; и что это совершенно мотивированное своеобразие природы делает из Бога существо антицивилизующее, антилиберальное, античеловеческое.

Я доказываю свое предложение, идя от негатива к позитиву, то есть выводя истину из моего тезиса о прогрессе возражений.

1) Бог, говорят верующие, может быть признан только как бесконечно добрый, бесконечно мудрый, бесконечно могущественный и т. д.: вся литания бесконечностей. Так вот, бесконечное совершенство не может примириться с данностью безразличного или даже реакционного отношения к прогрессу: следовательно, или Бога не существует, или возражение, взятое из развития антиномий, доказывает лишь неведение, в котором мы являемся тайнами бесконечного. Я отвечаю на эти рассуждения, что если для того, чтобы узаконить совершенно произвольное мнение, достаточно отвергнуть непостижимость тайн, то я так же люблю тайну Бога без провидения, как и тайну безуспешного Провидения. Но при наличии фактов нет необходимости ссылаться на подобную вероятность; следует придерживаться положительной констатации опыта. Однако опыт и факты свидетельствуют о том, что человечество в своем развитии подчиняется непреклонной необходимости, законы которой возникают и система которой реализуется по мере того, как коллективный разум обнаруживает ее, и ничто в обществе не свидетельствует ни о внешнем подстрекательстве, ни о провиденциальной заповеди, ни о каких-либо сверхчеловеческих мыслях. То, что заставило поверить в Провидение, — это та самая необходимость, которая как бы является основой и сутью коллективного человечества. Но эта необходимость, какой бы систематической и прогрессивной она ни являлась, не устанавливает от того ни в человечестве, ни в Боге провидения; достаточно, чтобы убедиться в этом, вспомнить бесконечные колебания и мучитель-

ные попытки, посредством которых проявляется социальный порядок.

2) Другие спорщики встают поперек и восклицают: к чему эти непонятные поиски? Нет большего бесконечного разума, чем Провидение; нет во вселенной ни «я», ни воли, кроме человека. Все, что случается, как злого, так и доброго, обязательно случается. Непреодолимый набор причин и следствий охватывает человека и природу в одной и той же неизбежности; и то, что мы называем в себе сознанием, волей, суждением и т. д., — лишь отдельные случаи всего вечного, неизменного и фатального.

Этот аргумент является обратным предыдущему. Он состоит в том, чтобы заменить идею всемогущего и мудрого автора идеей необходимой и вечной, но бессознательной и слепой координации. Это противопоставление уже заставляет нас предчувствовать, что диалектика материалистов не тверже, чем диалектика верующих.

Кто говорит о необходимости или неизбежности, тот говорит об абсолютном и нерушимом порядке; кто же, напротив, говорит о потрясениях и беспорядке, тот утверждает все, что противоречит неизбежности. Так вот, в мире есть беспорядок — беспорядок, производимый расцветом спонтанных сил, которые не сдерживает никакая власть: как это может быть, если все неизбежно? Но кто же не видит, что эта старая вражда теизма и материализма исходит из ложного понятия свободы и неизбежности, двух терминов, которые считались противоречивыми, в то время как на самом деле их нет! Если человек свободен, сказали одни, то Бог тем более свободен, а неизбежность — лишь слово; — если в природе все связано, подхватили другие, нет ни свободы, ни Провидения: и каждый в недоумении рассуждал в том направлении, которого он придерживался, так и не сумев понять, что это так называемое противопоставление свободы и неизбежности было лишь естественным, но не прямо противоположным различием фактов действительности с фактами разума.

Неизбежность — это абсолютный порядок, закон, кодекс, *фатум* образования Вселенной. Но хотя этот кодекс сам по себе исключает идею верховного законодателя, он предполагает ее настолько естественно, что вся древность не колебалась в том, чтобы это признать: и весь вопрос сегодня заключается в том, предшествовал ли, как полагали основатели религий, во Вселенной законодатель закону, то есть, предшествует ли интеллект неизбежности, — или, как этого желают современники, закон предшествует законодателю, иными словами — рождается ли разум из природы. ДО или ПОСЛЕ, эта альтернатива обобщает всю философию. Спорим ли мы о предшествовании разума, или его возникновении впоследствии, в добрый час: но отрицаем ли мы его во имя неизбежности, это исключение, которое ничем не оправдано, и достаточно, чтобы опровергнуть его, напомнить о самом факте, на котором оно основано, — о существовании зла.

Система мира является производной от данных — материи и притяжения: вот что

неизбежно. Из двух взаимосвязанных и противоречивых идей должна следовать одна композиция: вот что еще неизбежно. То, что претит (противоречит) неизбежности, — это не свобода, назначение которой, напротив, состоит в том, чтобы обеспечить в определенной сфере исполнение неизбежности: это беспорядок, это все, что мешает исполнению закона. Существует ли — да или нет — беспорядок в мире? Фаталисты этого не отрицают, так как по самой странной оплошности именно присутствие зла сделало их фаталистами. Так вот, я говорю, что присутствие зла, отнюдь не свидетельствующее о неизбежности, нарушает неизбежность, совершает насилие над судьбой и предполагает причину, существование которой — неправильное, но добровольное, — находится в несоответствии с законом. Эта причина, я ее называю свободой; и я доказал (гл. IV) что свобода, равно как и разум, который в человеке служит факелом, тем более великая и совершенная чем она лучше гармонирует с порядком природы, каковой есть неизбежность.

Таким образом, противопоставить неизбежность свидетельству сознания, которое чувствует себя свободным, и *vice versa* (наоборот) — значит доказать, что мы воспринимаем идеи в обратном направлении, и что у нас нет ни малейшего понимания вопроса. Прогресс человечества может быть определен воспитанием разума и человеческой свободы через неизбежность: абсурдно смотреть на эти три термина как исключаящие друг друга и непримиримые, когда на самом деле они поддерживают друг друга; неизбежность служит основой, разум приходит после, и свобода венчает сооружение. Именно познать и пронизать неизбежность стремится человеческий разум; именно к соглашению с ней стремится свобода: а критика спонтанного развития и инстинктивных верований человеческого рода, которой мы сейчас предаемся, по сути, является лишь изучением неизбежности. Объясним это.

Человек, одаренный деятельностью и умом, имеет власть нарушать порядок мира, частью которого он является. Но все его отклонения были предвиденными и совершаются в определенных границах, которые после ряда выходов и приходов возвращают человека к порядку. Именно по этим колебаниям свободы можно определить роль человечества в мире; а так как судьба человека связана с судьбой созданий, то от него можно вернуться к высшему закону вещей и к истокам бытия.

Поэтому я больше не буду спрашивать: откуда у человека власть нарушать порядок Провидения и почему Провидение это позволяет? Я ставлю вопрос в другой терминологии: каким образом человек, неотъемлемая часть Вселенной, произведенный неизбежностью, обладает силой нарушать неизбежность? почему неизбежная организация, организация человечества, оказывается случайной, нелогичной, полной суматохи и катастроф? Неизбежность совершается не за час, не в течение века, не в тысячу лет: почему наука и свобода, если неизбежно, что они у нас появились, не появились раньше? Ибо, пока мы страдаем от ожидания, неизбежность находится в противоречии с самой собой; с учетом присутствия зла нет большей неизбежности, чем Провидение. Что такое, одним словом, неизбежность, опровергаемая с каждым мгновением фактами, происходящими в ее утробе? Вот что фаталисты обязаны объяснить, точно так же, как теисты обязаны объяснить,

что может быть бесконечным разумом, который не умеет ни предвидеть, ни предотвращать несчастья своих созданий.

Но это не все. Свобода, разум, неизбежность являются, по существу, тремя адекватными выражениями, служащими для обозначения трех различных граней бытия. В человеке разум — это лишь определенная свобода, которая ощущает свой предел. Но эта свобода является еще, в кругу своих определений, неизбежностью, неизбежностью живучей и персональной. Поэтому, когда сознание человеческого рода провозглашает, что неизбежность Вселенной, то есть высшая, верховная неизбежность, адекватна разуму, так же, как и бесконечной свободе, оно лишь выдвигает гипотезу в любом случае законную, проверка которой необходима всем сторонам.

3) В настоящее время *гуманисты*, новые союзники, появляются и говорят: Человечество в целом — это реальность, ведомая общественным гением под мистическим именем Бога. Этот феномен коллективного разума, вид миража, — в котором человечество, созерцая себя, принимает себя за внешнее, возвышенное существо, — который смотрит на него и руководит его судьбами; эта иллюзия сознания, скажем мы, была проанализирована и объяснена; и отныне богословская гипотеза воспроизводится в науке. Надо сосредоточиться только на обществе, на человеке. *Бог* в религии, *государство* в политике, *собственность* в экономике — такова тройная форма, в которой человечество, ставшее чуждым самому себе, не переставало разрывать себя своими же руками, и которую сегодня оно должно отвергнуть.

Я допускаю, что любое утверждение или предположение о Божественности исходит из антропоморфизма, и что Бог есть прежде всего лишь идеал, или, лучше сказать, призрак человека. Более того, я допускаю, что идея Бога является прообразом и основой принципа власти и произвола, который в нашей задаче — уничтожить или, по крайней мере, подчинить везде, где бы он ни проявлялся — в науке, в работе, в городе. Я также не противоречу гуманизму, я продолжаю его. Овладевая его критикой божественного существа и применяя ее к человеку, я наблюдаю:

Что человек, поклоняясь себе, как Богу, постулировал из него идеал, противоречащий его собственной сущности, и объявил себя антагонистом верховного совершенного существа, одним словом, бесконечности;

Что человек, следовательно, по его собственному суждению, является лишь ложным божеством, так как, создавая Бога, он отрицает самого себя; и что гуманизм — такая же отвратительная религия, как и все теизмы античного происхождения;

Что этот феномен человечества, возмнившего себя Богом, не объясняется терминами гуманизма и требует дальнейшего истолкования.

Бог, согласно богословской концепции, — это не только суверенный арбитр Вселенной, непогрешимый и бессознательный царь творений, разумный тип человека;

он — вечное, неизменное, присутствующее везде, бесконечно мудрое, бесконечно свободное существо. Так вот, я говорю, что эти атрибуты Бога содержат в себе больше, чем идеал, больше, чем нечто возвышающееся, до такой степени, насколько это будет угодно, над соответствующими атрибутами человечества; я говорю, что они противоречат друг другу. Бог противоположен человеку, так же как милосердие противоположно справедливости; святость, идеал совершенства, противоположна совершенству; царственность, идеал законодательной власти, противоположна закону и т. д. Так что божественная гипотеза возродится из своего разрешения в человеческой реальности, и проблема полного, гармоничного и абсолютного существования, всегда удаленного, всегда возвращается.

Чтобы продемонстрировать эту радикальную антиномию, достаточно сопоставить факты с определениями.

Из всех фактов, наиболее достоверных, наиболее постоянных, наиболее бесспорных, несомненно, что человеческое знание прогрессивно, методично, рефлексивно, одним словом, экспериментально; до такой степени, что любая теория, лишенная подтверждения опыта, то есть постоянства и сцепления в своих представлениях, теряет научный характер. В этом отношении мы не можем вызывать ни малейшего сомнения. Сама математика, квалифицируемая как чистая, но подверженная ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ высказываний, тем самым вытекает из опыта и признает его закон.

Наука о человеке, исходя из приобретенного наблюдения, таким образом продвигается вперед и продвигается в безграничной сфере. Термин, к которому она стремится, идеал, который она стремится реализовать, но никогда не может достичь его, а наоборот, постоянно отступает от него, — это бесконечность, абсолют.

Так что было бы бесконечной наукой, абсолютной наукой, определяющей такую же бесконечную свободу, какую предполагает умозрение (домысел) в Боге? Это было бы знание не просто всеобщее, а интуитивное, спонтанное, свободное от всяких колебаний, как от всякой объективности, хотя оно охватывало и реальное, и возможное; наука достоверная, но не доказательная; полная, но не последовательная; наука, наконец, которая, будучи вечной в своем становлении, была бы лишена всякого характера прогресса в соотношении ее частей.

Психология собрала множество примеров такого способа познания, в инстинктивных и волшебных способностях животных; в спонтанном таланте некоторых людей, рожденных расчетливыми, или творческими, независимо от всякого образования; наконец, в большинстве человеческих институтов и первобытных памятников, произведенных бессознательным, независимым от теорий гением. И столь правильные, столь сложные движения небесных тел; чудесные сочетания материи: не кажется ли, что все это — следствие особого инстинкта, присущего стихиям?... Если, следовательно, Бог существует, то нечто от него предстает нам во Вселенной и в нас самих: но это нечто находится в явном противоречии с нашими самыми

подлинными тенденциями, с нашим самым определенным предназначением; это нечто постоянно стирается из нашей души посредством образования, и вся наша забота заключается в том, чтобы оно исчезло.

Бог и человек — это две природы, которые избегают друг друга, как только узнают друг друга: как, если не преобразится ни одна из них, ни обе, они когда-нибудь смогут примириться? Как, если прогресс разума состоит в том, чтобы всегда отдалять нас от божества, то Бог и человек посредством разума станут тождественны? Как, в результате, человечество посредством образования сможет стать Богом?

Возьмем другой пример.

Суть религии — чувство. Следовательно, через религию человек приписывает Богу чувство, как он приписывает ему разум; более того, он утверждает, следуя обычному ходу своих идей, что чувство в Боге, как и наука, бесконечно.

Но одного этого достаточно, чтобы изменить в Боге качество чувства и сделать его атрибутом, совершенно отличным от человеческого. В человеке чувство течет, так сказать, из тысячи разнообразных источников: оно противоречит себе, оно мутится, оно рвется само; без этого оно не чувствовало бы себя. В Боге, напротив, чувство бесконечно, то есть оно единое, полное, постоянное, кристально чистое и не имеющее никакой необходимости раздражаться контрастом, чтобы прийти к счастью. Мы сами переживаем этот божественный способ ощущения, когда единое чувство, восхищающее все наши способности, как в экстазе, на мгновение накладывает молчание на другие привязанности. Но этот восторг всегда существует только с помощью контраста и какой-то провокации, пришедшей откуда-то извне: он никогда не бывает совершенным, или, если он достигает полноты, то это как светило, которое достигает своего апогея в одно неделимое мгновение.

Таким образом, мы живем, чувствуем, мыслим только через череду противостояний и потрясений, через междоусобную войну; наш идеал, следовательно, не бесконечность, это равновесие; бесконечность выражает нечто иное, чем мы.

Говорят: У Бога нет атрибутов, свойственных только ему; его атрибуты — атрибуты человека; поэтому человек и Бог — одно и то же.

Напротив, атрибуты человека, будучи бесконечными в Боге, тем самым являются собственными и специфическими: именно характер бесконечного становится особенностью, сущностью, благодаря которой существует конечное. Отрицание, следовательно, реальности Бога, — как отрицание реальности противоречивой идеи; отталкивание от науки и морали этого неуловимого и кровавого призрака, который, чем дальше, тем больше, кажется, преследует нас; может до определенного момента оправдать себя и ни в коем случае не навредит. Но не стоит из Бога делать

человечество, потому что это будет клеветой на обоих.

Можно ли сказать, что противостояние между человеком и божественным существом иллюзорно и что оно происходит из противостояния, которое существует между отдельным человеком и сущностью человечества в целом? Тогда надо утверждать, что человечество, поскольку именно человечество обожествляется, не является ни прогрессивным, ни противопоставленным в разуме и чувстве; словом, что оно бесконечно во всем, что опровергается не только историей, но и психологией.

Это не так, — восклицают гуманисты. Чтобы иметь идеал человечества, надо рассматривать его уже не только в его историческом развитии, а во всей совокупности его проявлений, как если бы все человеческие поколения, собравшись в одно мгновение, образовали единого человека, человека бесконечного и бессмертного. То есть отказываться от реальности, чтобы захватить проекцию; что настоящий человек — это не реальный человек; что для того, чтобы найти настоящего человека, человеческий идеал, нужно выйти из времени и войти в вечность, что я говорю? Деизм — это конечное для бесконечности, человек для Бога! Человечество, таким, каким мы его знаем, каким оно развивается, таким, одним словом, каким оно может существовать, право; нам пока дали перевернутое изображение, как в зеркале, а потом сказали: Вот человек! А я отвечаю: Это уже не человек, это Бог. Гуманизм — самый совершенный теизм.

Так что же это за провидение, которое предполагают в Боге теисты? Способность в основном человеческая, антропоморфный атрибут, с помощью которого Бог должен смотреть в будущее в соответствии с ходом событий, поскольку мы, люди, смотрим в прошлое, следуя перспективе хронологии и истории.

Так вот, очевидно, что как бесконечность, то есть спонтанная и универсальная интуиция в науке, претит человечеству, так и провидению претит гипотеза божественного существа. Бог, для которого все идеи равны и параллельны; Бог, чей разум не отделяет синтез от антиномии; Бог, для которого вечность делает все сущее настоящим и современным, не смог, создавая нас, открыть нам тайну наших противоречий; и это именно потому, что он Бог, потому что он не видит противоречия, потому что его разум не подпадает под категорию времени и закона прогресса, потому что его разум интуитивен, а его наука бесконечна. Провидение в Боге — это одно противоречие в другом; именно посредством провидения Бог действительно был сотворен по образу и подобию человека; отнимите это провидение, Бог перестает быть человеком, а человек в свою очередь должен отказаться от всяких притязаний на божество.

Спросят, вероятно, для чего Богу бесконечная наука, если ему не ведомо, что происходит в человечестве.

Давайте различать. У Бога есть восприятие порядка, чувство добра. Но этот порядок, это добро он видит как вечное и абсолютное, он не видит его в том, что он предлагает

последовательного и несовершенного; он не улавливает его недостатков. Только мы способны видеть, чувствовать и оценивать зло, как и измерять длительность; потому что только мы способны производить зло, и потому что наша жизнь временна. Бог видит, чувствует только порядок; Бог не улавливает того, что происходит, потому что то, что происходит, находится *ниже* него, ниже его горизонта. Мы, напротив, видим разом добро и зло, временное и вечное, порядок и беспорядок, конечное и бесконечное; мы видим в себе и вне себя; и разум наш, потому что он конечен, выходит за пределы нашего горизонта.

Таким образом, посредством сотворения человека и развития общества разум конечный и провиденциальный, наш разум, был заложен в противоположность интуитивному и бесконечному разуму, Богу; так что Бог, не теряя ничего из своей бесконечности во всяком смысле, кажется, одним только фактом существования человечества, умаляется. Прогрессивный разум, возникающий в результате проекции вечных идей на подвижную и наклонную плоскость времени, человек может слышать язык Бога, потому что он исходит от Бога, и его разум поначалу подобен разуму Бога; но Бог не может ни слышать нас, ни спускаться к нам, потому что он бесконечен, и он не может облечься в атрибуты конечного, не перестав быть Богом, не разрушая себя. Догмат Провидения в Боге оказывается ложным, по сути и по праву.

Сейчас легко увидеть, как та же аргументация оборачивается против системы обожествления человека.

При неизбежном восприятии человеком Бога как абсолютного и бесконечного в его атрибутах, в то время как он сам (человек) развивается в обратном направлении от этого идеала, возникает несогласие между прогрессом человека и тем, что человек воспринимает как Бога. С одной стороны, кажется, что человек, по синкретизму своей конституции и совершенству своей природы, не является Богом и не может стать Богом; с другой стороны, ощутимо, что Бог, Высшее существо, является антиподом человечества, онтологической вершиной, от которой оно бесконечно отдалается. Бог и человек, распределив, так сказать, антагонистические способности бытия, по-видимому, играют партию, чьей ценой является управление вселенной: одному — спонтанность, непосредственность, непогрешимость, вечность; другому — незапланированность, дедукция, подвижность, время. Бог и человек играют в вечные шахматы и беспрестанно убегают друг от друга; в то время как второй делает ходы, не давая себе отдыха в размышлениях и теориях, первый, по своей провиденциальной неспособности, кажется, отступает в спонтанности своей природы. Таким образом, существует противоречие между человечеством и его идеалом, оппозиция между человеком и Богом, противопоставление, которое христианское богословие аллегоризировало и олицетворяло под именем Дьявола или Сатаны, то есть противоречивого, врага Бога и человека.

Такова фундаментальная антимономия, которую, я вижу, не учитывают современные критики, и которая, если пренебречь ею, рано или поздно приведет к отрицанию

Бого-человека, а следовательно, и к отрицанию всей этой философской интерпретации, снова откроет дверь религии и фанатизму.

Бог, по мнению гуманистов, есть не что иное, как само человечество, коллективное «я», которому подчиняется как невидимому хозяину индивидуальное «я». Но зачем это своеобразное видение, если портрет точно скопирован с оригинала? Почему человек, который с самого рождения непосредственно и без телескопа знает свое тело, свою душу, своего вождя, своего священника, свою родину, свое государство, должен вглядываться в себя, как в зеркале, и не узнавать себя в фантастическом образе Бога? В чем необходимость этой галлюцинации? Что это за мрачное и темное сознание, которое по прошествии определенного времени очищает себя, исправляет себя и, вместо того чтобы приниматься за другое, окончательно устанавливается как таковое? Зачем человеку эта трансцендентальная исповедь общества, когда само общество было там, настоящее, видимое, осязаемое, желаемое и действенное; когда, наконец, оно было известно как общество и названо так?

Нет, говорят, общества не существовало; люди были сгруппированы, но не связаны: произвольное устройство собственности и государства, так же, как нетерпимый догматизм религии доказывают это.

Чистая риторика: общество существует с того дня, когда люди, общаясь трудом и словом, принимали взаимные обязательства и рождали законы и обычаи. Несомненно, общество совершенствуется по мере развития науки и экономики: но ни в одну эпоху цивилизации прогресс не влечет за собой такой метаморфозы, о которой мечтали создатели утопии; и как бы превосходно ни было будущее состояние человечества, оно тем не менее будет естественным продолжением, необходимым следствием его прежних позиций.

К тому же, поскольку ни одна система объединения сама по себе не исключает, как я уже отмечал, братства и справедливости, политический идеал никогда не мог быть спутан с Богом, и на самом деле видно, что у всех народов общество отличалось от религии. Первое принималось за *цель*, второе рассматривалось только как *средство*; князь был министром коллективной воли, в то время как Бог властвовал над сознаниями, ожидая за гробом виновных, избежавших правосудия людей. Сама идея прогресса и реформ нигде не отсутствовала; наконец, ничто из того, что составляет общественную жизнь, ни в одной религиозной стране не было полностью проигнорировано или неправильно понято. Зачем же тогда, еще раз, нужна эта тавтология Общества-Божественности, если верно, как утверждается, что богословская гипотеза не содержит в себе ничего, кроме идеала человеческого общества, предвечного типа человечества, преображенного равенством, солидарностью, трудом и любовью?

Конечно, если это оказалось бы предрассудком, мистицизмом, разочарованием, которое кажется мне сегодня опасным, то это уже не католицизм, который уходит, это было бы скорее этой гуманитарной философией, происходящей от человека, основанной на вере в умозрение, которое слишком научно, чтобы не смешиваться

произвольно со святым и священным существом; провозглашая его Богом, то есть по существу благим и упорядоченным во всех его проявлениях, несмотря на обескураживающие свидетельства, которые он не прекращает предоставлять, о своей сомнительной морали; приписывая свои пороки принуждению, в котором он жил, и обещая себе от него, посредством полной свободы, акты чистой преданности, потому что в мифах, в которых человечество, следуя этой философии, изобразило себя, описываются и противопоставляются друг другу под названиями ада и рая времена принуждения и наказания и эпоха счастья и независимости! При таком учении достаточно будет, впрочем, того, что человек признает, что он не Бог и не добрый, не святой и не мудрый, чтобы он тотчас же бросился в объятия религии: так что в конечном счете все, что мир получит от отрицания Бога, будет воскресением Бога.

Не таков, на мой взгляд, смысл религиозных басен. Человечество, признавая Бога своим автором, своим учителем, своим *альтер эго* (другим я), лишь антитезой определило свою собственную сущность: эклектичную и полную контрастов сущность, исходящую от бесконечности и противоречивую бесконечности, развитую во времени и стремящуюся к вечности, ошибочную по всем этим причинам, хотя и руководствующуюся чувством прекрасного и порядка. Человечество — дочь Бога, как и всякая оппозиция — дочь прежнего положения: именно поэтому человечество открыло Бога подобным себе, наделило его собственными атрибутами, но всегда придавая им специфический характер, то есть определяя Бога противоречивым себе. Человечество является призраком для Бога, так же как он является призраком для него; каждый из двух предназначен для другой причины, причины и конца существования.

Таким образом, было недостаточно доказать посредством критики религиозных идей, что представление о божественном «я» ведет к восприятию человеческого «я»; еще нужно было контролировать эту дедукцию с помощью критики самого человечества и посмотреть, удовлетворяет ли это человечество условиям, которые предполагает его кажущаяся божественность. Так вот, именно этой работе мы торжественно положили начало, когда, исходя одновременно из человеческой реальности и из гипотезы божественного, начали разворачивать историю общества в его экономических установках и в его умозрительных заключениях.

Мы обнаружили, с одной стороны, что человек, хотя и спровоцированный антагонизмом своих идей, хотя до некоторой степени оправданный, совершает зло бессмысленно и с расцветом животных страстей, что противно характеру свободного, разумного и святого существа. С другой стороны, мы показали, что природа человека не устроена гармонически и синтетически, а сформирована скоплением виртуальностей, специфичных для каждого существа, — обстоятельство, которое, открывая нам принцип нарушений, совершаемых человеческой свободой, завершило для нас демонстрацию небожественности нашего вида. Наконец, доказав, что в Боге не только не существует провидения, но что оно невозможно; иначе говоря, отделив в бесконечной Сущности божественные атрибуты от антропо-

морфных, мы пришли к выводу, вопреки утверждениям старой теодицеи, что в отношении человеческого предназначения, в основном прогрессивного, разум и свобода в Боге претерпевали контраст, своего рода ограничение и умаление, обусловленные характером его вечности, неизменности и бесконечности; так что человек, вместо того, чтобы почитать в Боге своего правителя и проводника, мог и должен был видеть в нем только своего антагониста. И этого последнего соображения будет достаточно, чтобы заставить нас отвергнуть также гуманизм, как неодолимо стремящийся через обожествление человечества к религиозной реставрации. Настоящее средство от фанатизма, по нашему мнению, состоит не в том, чтобы отождествлять человечество с Богом, что равносильно утверждению общности в социальной экономике, мистицизма и *status quo* (существующего положения вещей) — в философии; а в том, чтобы доказать человечеству, что Бог, в случае, если он существует, является его врагом.

Какое решение появится позже на основе этих данных? Будет ли Бог в конце концов кем-нибудь?

Не ведаю — узнаю ли я это когда-нибудь. Если правда, с одной стороны, что у меня сегодня оснований утверждать реальность человека, существа непоследовательного и противоречивого, не больше, чем (утверждать) реальность Бога, существа непостижимого и имманентного, то я знаю, по крайней мере, из радикального противопоставления этих двух натур, что мне нечего надеяться и опасаться таинственного автора, которого мое сознание невольно предполагает; я знаю, что мои самые подлинные наклонности каждый день отдаляют меня от созерцания этой идеи; что практический атеизм должен отныне быть законом моего сердца и моего разума; что из наблюдаемой неизбежности я должен постоянно познавать правило моего поведения; что любая мистическая заповедь, любое божественное право, которое было бы предложено мне, должно быть мною отброшено и преодолено; что возвращение к Богу через религию, лень, невежество или покорность — это покушение на самого себя; и что если когда-нибудь мне придется примириться с Богом, то это примирение, — невозможное, пока я жив, и в котором я буду иметь все, чтобы выиграть и ничего не потерять, может произойти только через мое уничтожение.

Итак, давайте сделаем заключение и запишем его на колонне, которая должна служить ориентиром для наших дальнейших исследований:

Законодатель *остерегается* человека, сокращенно — природы, и синкретизма всех существ. — Он *не полагается* на Провидение, способность, не мыслимую в бесконечном разуме.

Но, внимательный к последовательности явлений, послушный урокам судьбы, он ищет в неизбежности закон человечества, вечное пророчество его будущего.

Он также иногда вспоминает, что если чувство Божественного ослабевает среди

людей; если вдохновение свыше постепенно отступает, чтобы освободить место для умозаключений опыта; если между человеком и Богом происходит все более очевидное разделение; если этот прогресс, форма и состояние нашей жизни, ускользает от представлений бесконечного и, следовательно, анисторического разума; если, говоря проще, напоминание о Провидении со стороны правительства является одновременно трусливым лицемерием и угрозой свободе; однако всеобщее согласие народов, проявленное установлением стольких разнообразных культов, и вечно неразрешимое противоречие, которое поражает человечество в его идеях, проявлениях и тенденциях, указывают на тайную связь нашей души, а через нее — всей природы, с бесконечностью, связь, определение которой выразило бы одновременно в одной паре смысл Вселенной и причину нашего существования.

КОНЕЦ ПЕРВОГО ТОМА

Библиотека Анархизма
Антикопирайт



Пьер-Жозеф Прудон
Система экономических противоречий, или Философия нищеты. — Том 1
1846

Перевод, редактирование и комментарий д-ра филол. наук, проф. А. А. Антонова-Овсеенко, 2021 год. Редакционная коллегия: *Е.Н. Брызгалова*, д-р филол. наук, профессор (Россия, Тверь), *Е.Я. Дугин*, д-р социол. наук, профессор (Россия, Москва), *А.Г. Рихтер*, д-р филол. наук, профессор (Австрия, Вена).

ru.anarchistlibraries.net